

Наталия Гинзбург

Семейные беседы: Романы, повести, рассказы

В поисках слов не второго сорта

Библиотека современной итальянской литературы на русском языке пополнилась сборником произведений талантливой итальянской писательницы Наталии Гинзбург.

Родилась она в Палермо в 1916 году, детство и юность провела в Турине, где ее отец Джузеппе Леви преподавал анатомию в университете. Писать начала рано: первый рассказ, «Отсутствие», написан в семнадцать лет.

В это время Италия становится ареной бурных политических событий – в стране устанавливается фашистский режим. Суть фашизма писательница познала рано, в девять лет, когда в их доме несколько дней скрывался лидер итальянских социалистов-реформистов Филиппо Турати, эмигрировавший затем во Францию. Но в подлинную борьбу с фашизмом семья окажется вовлечена в 30-е годы, когда по всей Италии прокатится волна репрессий против прогрессивных сил. В те годы в Турине создается издательство «Эйнауди», вокруг которого группируются лучшие силы итальянской интеллигенции – Чезаре Павезе, Феличе Бальбо, Аугусто Монти, Карло Леви и другие. В 1934 году арестовывают брата писательницы – Марио, в тюрьму попадают отец и еще один брат вместе с другом семьи Леоне Гинзбургом. Спустя год брошен за решетку третий брат Наталии – Альберто, также участвовавший в подпольной деятельности. В атмосфере семейных и общественных бед растет и зреет талант молодой писательницы. Она тайно переписывается с Леоне Гинзбургом – профессором русской литературы, изгнанным из Туринского университета за антифашистские убеждения и сосланным, – а в 1938 году выходит за него замуж. Из-за невозможности продолжать преподавательскую деятельность Леоне Гинзбург начинает работать в издательстве «Эйнауди», однако и эту работу приходится оставить, когда его отправляют в новую ссылку – в провинцию Абруцци, куда за ним следует жена с двумя детьми. Вскоре появляется и третий ребенок. Так начался горестный, но вместе с тем счастливый период в жизни писательницы: ей нелегко переносить лишения, разлуку с друзьями и родными, зато она познает душевную теплоту крестьянского мира, а близость, сплоченность людей, очутившихся в общей беде, дают ей надежду на лучшее будущее.

В Абруцци написаны рассказ «Мой муж» (1941) и первая повесть – «Дорога в город» (опубликована в 1942 году под псевдонимом Алессандра Тернимпарте, чтобы скрыть «неарийское» происхождение писательницы).

1943 год. Арест Муссолини. Перемирие, затем немецкая оккупация. Леоне Гинзбург отправляется в Рим, где сотрудничает в антифашистской организации «Справедливость и свобода», основанной еще в 1929 году эмигрантами-социалистами в Париже и имевшей отделения по всей Италии. Наталия с помощью местных жителей, выдавших ее за беженку с Юга, на немецком грузовике приезжает с детьми в Рим. Леоне, издававшего в столице подпольную газету, арестовали через несколько дней после ее приезда. В феврале 1944 года он погиб в тюремной больнице, скорее всего, от перенесенных пыток.

Наталия переезжает к матери во Флоренцию, а после освобождения Рима поступает на работу в римское отделение издательства «Эйнауди», где занимается главным образом переводами. В 1945 году, вернувшись к родителям в Турин, она продолжает сотрудничать в «Эйнауди» вместе с Павезе и Бальбо; переписывается с Витторини, Кальвино, Леви. И пишет, все время пишет... Повести «Так все и было» в 1947 году была присуждена литературная премия «Темпо».

В 1950 году Наталия Гинзбург становится женой Габриэле Бальдини, музыковеда и специалиста по английской литературе. После переезда в 1952 году в Рим писательница создает свои основные произведения: «Все наши вчерашние дни» (1952, премия «Вейон»), «Валентино» (1957, премия «Виареджо»), «Вечерние голоса» (1961) – результат продолжительной поездки в Лондон, – «Маленькие добродетели» (1962).

Но, пожалуй, наибольшую известность принес Наталии Гинзбург автобиографический роман «Семейные беседы», написанный в 1963 году. Он сразу же получил одну из самых престижных в Италии литературных премий «Стрега» и много раз переиздавался.

Немало делает писательница и для театра. Ее пьеса «Газетное объявление» была удостоена международной театральной премии «Мардзотто» и поставлена Лукино Висконти. Пьеса «Я женился на тебе шутки ради» была экранизирована. Включенный в сборник рассказ «Парик» из книги «Городок у моря» (1973) также написан как сценический монолог.

Автобиографические мотивы ощутимы во всем творчестве Наталии Гинзбург. Помимо упомянутых «Семейных бесед» в нашей книге представлена глубоко личная зарисовка «Он и я», посвященная второму мужу – Габриэле Бальдини, умершему в 1969 году. Да и во всех практически ее романах, повестях и рассказах легко узнаваемы прототипы героев – родные и близкие, друзья и знакомые писательницы.

Во вступлении к «Семейным беседам» она пишет: «Места, события и действующие лица этой книги не выдуманы. Я ничего не придумала: всякий раз, когда, повинувшись моей давней романической привычке, я кое-что присочиняла, у меня тут же появлялась потребность это вымарать. И имена здесь все настоящие... Я писала только то, что помню... Я думаю, хотя книга взята из жизни, читать ее надо как роман, не требуя большего, чем от романа». Стремление к жизненной достоверности сочетается у Гинзбург с идеалом ясности и лаконичности повествования. «Я не люблю трудных романов, – заметила она как-то по этому поводу.

– Я всегда боюсь, что они намеренно затянуты, что неясность призвана затушевать скудость вдохновения. Я не люблю, когда писатель нарочно нагромождает детали и размывает хронологические рамки. Мне хочется, чтобы в романе все было как на ладони. Хочу знать, где я нахожусь, кто я, кто меня окружает, что происходит вокруг».

Об автобиографичности книг Гинзбург немало написано в итальянской критике. Вместе с Карло Салинари мы можем сказать, что «память для писательницы, несомненно, является основным источником художественного выбора: то, что сохранилось в памяти, – подлинно, действительно ею любимо; то, что в памяти не сохранилось, может быть выражено лишь напряжением ума или фантазии, то есть усилием, привнесенным извне».

Наряду с особенно бурным историческим временем, выпавшим на долю автора, наряду с фактами личной жизни на формирование Гинзбург как писательницы оказали влияние и факторы литературного происхождения: интерес матери к русскому языку, профессиональное знакомство мужа с историей русской литературы пробудили ее интерес к русской классике. Особенно близки ей Толстой и Чехов: первый привлекает ее прежде всего своей идеей о том, что в существовании людей образованных есть некая ошибка, заключающаяся в неумении понять ближнего, оторванности друг от друга, отчужденности; второй – объективностью и

сдержанностью письма, неприятием какой бы то ни было сентиментальности и фальши, убежденностью, что человека и жизнь надо изображать такими, какие они есть. С Чеховым писательницу роднит также внимание к бытовым подробностям, подчас оказывающим разъедающее воздействие на человека, любовь к рассказу или повести как к форме, позволяющей в концентрированном виде изложить авторскую мысль.

Не случайно сюжетная линия одного из первых рассказов Гинзбург, «Мой муж», повествующего о самоубийстве врача, женившегося для того, чтобы избавиться от «низменной» страсти к молодой крестьянке, очень близка истории, рассказанной Толстым в его «Дьяволе», герой которого Евгений Иртенев также оказывается в плену животных инстинктов и сводит счеты с собой после женитьбы на светской даме.

И уж совсем по-чеховски – лаконично и как бы со стороны – говорится в романе «Семейные беседы» о первом замужестве Наталии: «Мы с Леоне поженились и переехали в дом на виа Палламальо. Отец, когда мать ему сообщила о намерении Леоне жениться на мне, закатил обычный скандал...»

Значительное влияние на манеру Гинзбург оказали и такие крупные современные американские писатели, как Колдуэлл, Фолкнер, Синклер Льюис, Дос Пассос, Сароян, которыми после войны зачитывались в Италии в переводах Павезе и Витторини.

На протяжении довольно длительного периода в творчестве Гинзбург преобладала интимно-психологическая проза. Писательницу занимает вопрос, почему люди не могут быть счастливы, что отдаляет их друг от друга, почему они совершают поступки, разбивающие их жизнь. Так, в повести «Валентино» речь идет о растлевающем воздействии собственности на души людей. Герои осознают ошибочность своих поступков не после, а до их совершения. Главный герой повести, собираясь жениться на непривлекательной и нелюбимой женщине-собственнице, понимает, что ни о какой духовной близости не может быть речи, однако позволяет себя купить.

Не удастся жизнь и сестры Валентино – героини-рассказчицы. «...Как мало счастливых дней мне выпало в жизни, – с горечью констатирует она, – дней, когда я была свободна и принадлежала самой себе».

А настоящее счастье тем временем где-то совсем рядом. Человеку надо только сделать над собой усилие, найти нужные слова...

Близка по духу «Валентино» и повесть «Так все и было». Она родилась в тяжелый для писательницы год: только что кончилась война, после гибели мужа Наталия возвратилась в Турин, послевоенная действительность обернулась драмой для многих представителей итальянской интеллигенции, не обойдя и Наталию Гинзбург. «Когда писала „Так все и было“, – вспоминает она, – я чувствовала себя несчастной: у меня не было ни сил, ни желания кого бы то ни было обличать. А уж тем более в кого-либо стрелять, хотя повесть начинается именно с выстрела. Я была без сил и чувствовала себя несчастной».

В повести с максимальной глубиной анализируется душевное состояние обманутой женщины. Здесь, как и в «Валентино», те же причины краха семейной жизни: разобщенность, некоммуникабельность двух людей, отсутствие элементарных условий для нормального существования – радости труда, сознания правильности избранного пути, моральных устоев.

«В плане отрицательного отношения к буржуазному миру, – пишет итальянский критик Л. М. Пиккьоне, – мужчина предстает как носитель ущербного начала, как человек, увязший в эгоизме и отвращении к труду, лишенный прочных нравственных или вообще идейных убеждений, это маленький кособокий человек в белом плаще».

Свобода от нравственных или идейных убеждений, душевная лень и отсутствие

потребности трудиться вызывают у героев повести неудовлетворенность жизнью, мучительную раздвоенность, когда собственная душа представляется глубоким темным колодецем. Саморефлексия героини приводит ее к неизбежности трагического исхода для ограниченного обывательскими рамками существования. «Я постоянно думала о других женщинах... – говорит она. – Для них, думала я, все так просто... все они сумели как-то устроиться в жизни и не мучаются понапрасну... Мне же было совершенно ясно, что я к жизни не приспособлена и вряд ли теперь сумею что-либо изменить, по-моему, всю жизнь я только и делала, что пристально вглядывалась в темный колодец внутри себя».

И эта темнота в душах героев становится своеобразной отметиной, клеймом, знаком беды, от которой никуда не деться.

По возвращении в Рим Гинзбург работает над романом «Семейные беседы» – «романом неприукрашенных, чистосердечных и откровенных воспоминаний».

«Не знаю, – скажет позднее писательница, – лучшая ли это из моих книг, но она, несомненно, единственная, которую я писала, чувствуя себя абсолютно свободной. Писать ее для меня было таким же естественным делом, как говорить. Я ни о чем не заботилась: ни о запятых, ни о крупных или мелких стежках, – ни к кому не питала ненависти или отвращения».

Воспоминания юных лет, тихие радости семейной жизни, трудности, перенесенные вместе с людьми, близкими ей по духу, наполняют этот роман особым светом, не свойственным предыдущим ее произведениям. В известной мере это антитеза и «Валентино», и последующему «Дорогому Микеле». Отнюдь не все члены большой семьи и их друзья понимают друг друга с полуслова. Писательница с мягким юмором пишет о ворчливости отца, не желающего проникнуться непритязательными рассказами матери или увлечениями сыновей, и, напротив, об упрямстве матери и детей, не стремящихся разделить отцовскую страсть к горам. Словом, углов и шероховатостей в семье предостаточно. Но в отличие от первых своих повестей и рассказов писательница тайным чутьем находит пружины, способные объединить людей, сделать их близкими по духу. И начинает с самого элементарного, с библейского – «в начале было слово».

«Нас в семье пятеро. Теперь мы живем в разных городах... И даже при встречах иногда проявляем друг к другу равнодушие: у каждого свои дела. Но нам достаточно одной фразы или слова... из тех, что мы слышали в детстве бесчисленное количество раз... чтобы мы вновь почувствовали свое родство, вернулись в детство и юность... Эти фразы – наш праязык, лексикон давно минувших дней, нечто вроде египетских или ассирийско-вавилонских иероглифов; они – свидетельство распавшегося сообщества, которое, однако, сохранилось в текстах, неподвластных ярости волн и разрушительному воздействию времени».

Эта семейная и чисто семантическая соединительная ткань перерастает в духовную общность. Сосредоточиваясь на семейном лексиконе, писательница как бы втягивает в эту орбиту все, что привело к его возникновению и утверждению. Здесь и социалистические убеждения отца, и неприятие расистской идеологии, и дружба с видными представителями антифашистского движения в Турине: от коммунистов Джанкарло Пайетты и Витторио Фоа до анархиста Кафи и левой интеллигенции – Чезаре Павезе, Леоне Гинзбурга, Джулио Эйнаути, Феличе Бальбо. Арест отца, братьев, будущего мужа вносят в устоявшийся семейный уклад те переживания, без которых семейное счастье, пожалуй, перестало бы быть счастьем. Несмотря на все хлопоты, тревоги, страдания, жизнь наполнена особым, высоким смыслом, обретенным в борьбе. Недаром мать Наталии после освобождения мужа и сына из тюрьмы заявляет: «Ну вот, теперь снова начнется рутина!»

Все вышесказанное подается в романе Гинзбург отнюдь не прямолинейно. Уже отмечалось, что писательница тщательно избегает выпренности, дешевой сентиментальности, предпочитая говорить то намеками, то скороговоркой. Даже о гибели мужа в романе

говорится весьма скупой: «Леоне выпускал подпольную газету и дома почти не бывал. Через три недели после нашего приезда Леоне арестовали, больше я его не видела уже никогда. Я переехала к матери во Флоренцию». Вот и все, но сколько чувств за этими тремя фразами: и горечь потери любимого человека, и гордость за него, и страх за судьбу детей, и сознание невозможности оставаться дальше в городе, где они с мужем жили и боролись. Все, кроме пустоты и апатии.

Самое позднее из опубликованных в сборнике произведений – эпистолярный роман «Дорогой Микеле!», увидевший свет в 1973 году.

«Я давно уже не писала романов, – говорила тогда писательница. – Мне казалось, что я не смогу больше их писать... Мне казалось, что процесс придумывания и построения воображаемых событий – бесконечно грустное занятие. Думаю, что фантазирование, имевшее в свое время насущно-религиозный характер, ставит нас ныне перед лицом самых горестных утрат: распада связей с ближними, неопределенности будущего, обесценивания нравственных ценностей – и в конечном счете внушает нам мысль о нашем бессилии и одиночестве».

В центре романа – история римской буржуазной семьи, разъедаемой одиночеством и отчужденностью. От этой болезни не спасает ничто – ни перемена мест, ни жалкие попытки прийти на помощь друг другу, ни браки и разводы. В романе вновь проходит тема спасительности связующего семейного лексикона, который формируется годами и без которого все рухнет, как вавилонская башня. «...Мы потеряли драгоценное время, – говорит мать Микеле. – А ведь могли бы сесть, порасспросить друг друга о важных вещах. Быть может, мы не испытали бы такого счастья, даже, вероятно, почувствовали бы себя очень несчастными. Но зато я теперь вспоминала бы этот день... как искренний, важный для нас обоих день, когда мы узнали бы друг в друге человека, – мы, которые до этого обменивались лишь словами второго сорта, не ясными и необходимыми, а серыми, благодушными, обтекаемыми и бесполезными».

Общность языка для писательницы – это общность памяти, общность пережитого, счастье разделенных горестей и радостей. Объясняя трагическую судьбу Микеле, один из героев романа говорит: «У нынешней молодежи нет памяти, они ее в себе не культивируют... Когда я видел эти места и переживал эти мгновения, они мне казались такими великолепными, может быть, именно потому, что я знал, какими они явятся мне в воспоминаниях. Меня всегда глубоко огорчало, что Микеле не хотел или не мог почувствовать этого великолепия и шел дальше, никогда не оглядываясь назад». В многоголосом хоре современной итальянской литературы голос Наталии Гинзбург трудно спутать с чьим-либо другим. Она не ищет объяснения тупиковым, часто трагическим ситуациям на путях беспощадного «либидо» или гомосексуализма, врожденной склонности человека к насилию или преступлению, хотя и этим темам отчасти отдала дань в своих произведениях. Разобщенность людей, их некоммуникабельность – для нее продукт забвения элементарных правил человеческого общежития, семейного, дружеского, товарищеского общения, утрата всего того, что веками выработала мировая цивилизация. В наши дни повышенного внимания к общечеловеческим ценностям слово итальянской писательницы, несомненно, будет услышано.

Г. Смирнов

Семейные беседы

Места, события и действующие лица этой книги не выдуманы. Я ничего не придумала: всякий раз, когда, повинувшись моей давней романической привычке, я кое-что присочиняла, у меня тут

же появлялась потребность это вымарать.

И имена здесь все настоящие. Испытывая в рамках этой книги глубокое отвращение ко всякого рода выдумкам, я не могла изменить имена, которые представляются мне неотделимыми от реальных людей. Может, кому-нибудь и не по душе будет прочесть в книге свое имя и фамилию. Но я ему ничем помочь не могу.

Я писала только то, что помню. Поэтому тот, кто будет читать эту книгу как хронику, наверняка упрекнет меня за множество пробелов. Я думаю, хотя книга взята из жизни, читать ее надо как роман, не требуя большего, чем от романа.

Конечно, о многом, что помню, я не написала, в том числе о том, что касается меня лично.

Мне не очень хотелось говорить о себе. Ведь это не моя история, а история моей семьи – пусть не полная, с многими пробелами. Хочу еще добавить, что в детстве и юности я все время хотела написать книгу о людях, которые меня окружали. Это и есть та самая книга, но только отчасти, потому что память – вещь гибкая и книги, взятые из жизни, зачастую есть лишь слабые отблески, осколки того, что нам довелось увидеть или услышать.

В нашем доме, с самого детства помню, если мне или братьям случалось опрокинуть на скатерть стакан или уронить на пол нож, немедленно раздавался громовой голос отца:

– Опять насвинячили!

Если мы макали хлеб в соус, снова слышался окрик:

– А ну, не вылизывать тарелки! Прекратите это свинство!

Свинством отец считал и современную живопись, ее он просто не выносил.

– Не умеете вести себя за столом! С вами стыдно показаться на людях! Окажись такие свиньи в Англии за табльдотом, вас тут же выставили бы вон.

К Англии отец питал чрезвычайное уважение, полагая ее образцом мировой цивилизации.

За обедом он частенько перемывал косточки людям, с которыми встречался в течение дня. Людей он судил очень строго, всех называл недоумками.

– Вот недоумок, – говорил он о ком-нибудь из своих новых знакомых, имея в виду его умственные способности.

Помимо «недоумков» были еще «дикари». «Дикарем», в терминологии отца, считался всякий невоспитанный, застенчивый, не умеющий одеваться, ходить в горы, не владеющий иностранными языками человек.

Все, что в нашем поведении казалось ему недопустимым, квалифицировалось как «дикость».

– Не будьте дикарями. Пора кончать с этой дикостью! – то и дело покрикивал он. Под «дикостью» подразумевалось очень многое. Если мы в городской обуви отправлялись в горы, заговаривали в поезде или на улице с незнакомыми людьми, болтали с соседями, свесившись из окна, снимали туфли в гостиной, клали ноги на калорифер, в походах жаловались на усталость, жажду или натертые мозоли, брали с собой в горы вареную или жирную пищу и салфетки – все это была «дикость».

В горы разрешалось брать лишь вполне определенные продукты – плавленый сыр, джем, груши, крутые яйца, а пить можно было только чай, который отец сам готовил на спиртовке. Он склонял над нею ежик своих рыжих волос, хмурил густые брови и бортами куртки – только

эту поношенную шерстяную куртку цвета ржавчины с дырявыми карманами он и надевал в горы – прикрывал огонь от ветра.

Во время наших вылазок под запретом были также коньяк и кусковой сахар, поскольку их потребляют только «дикари»; нельзя было, например, завернуть и позавтракать в каком-нибудь альпийском шале, это тоже «дикость». Столь же «дико» было укрываться от солнца носовым платком или соломенной шляпой, в дождь надевать на голову непромокаемый капюшон или обматывать шею шарфом – эти вещи мать утром, перед отправкой, заботливо совала в рюкзак себе и нам, но, попадись они под руку отцу, он тут же их в ярости выкидывал.

Во время походов мы в своих тяжелых, подбитых шипами ботинках, шерстяных гольфах, шлемах и горных очках на лбу просто обливались потом и с завистью смотрели на «дикарей», легко карабкавшихся на скалы в теннисных тапочках или кушавших сливки за столиками альпийских шале.

Прогулки в горы мать называла «затеей дьявола для потехи своих чертенят» и всегда норовила от них уклониться, особенно когда предполагалось обедать не дома: она после обеда любила почитать газету, а потом вздремнуть на диване.

Лето мы всегда проводили в горах. На три месяца – с июля по сентябрь – снимали дом. Отец обычно выбирал дом, стоявший на отшибе, и ежедневно он и братья надевали рюкзаки, отправляясь за продуктами в деревню. Ни о каких увеселениях не могло быть и речи. Вечера проводили дома: мы с матерью и братьями усаживались вокруг стола, а отец уходил на другую половину дома и там читал. Время от времени он заглядывал в комнату, где мы играли во что-нибудь или болтали, окидывал нас хмурым, подозрительным взглядом и жаловался матери на нашу служанку Наталину, разворошившую все его книги.

– Все твоя любезная Наталина! Совсем из ума выжила! – говорил он, вовсе не заботясь, что Наталина из кухни могла его слышать. Впрочем, она давно привыкла к нелестным отзывам о своем «уме» и совсем не обижалась.

Иногда по вечерам отец готовился к походам или восхождениям. Сидя на корточках, он смазывал китовым жиром ботинки – свои и братьев: считал, что только он умеет смазывать ботинки этим жиром. Затем весь дом содрогался от грохота железа: это он искал крюки, гвозди, ледорубы.

– Куда подевался мой ледоруб? – бушевал он. – Лидия! Лидия! Куда вы засунули мой ледоруб?

На восхождение он отправлялся в четыре утра, иногда один, иногда с проводниками – своими приятелями, – иногда с братьями; после этих восхождений он так уставал, что к нему подойти было невозможно: лицо, опаленное солнцем и блеском ледников, на носу какая-то желтая мазь, напоминавшая сливочное масло, сдвинутые брови на хмуром, грозном челе, – он молча утыкался в газету и было достаточно пустяка, чтобы вызвать у него ужасный приступ гнева. Если он брал на восхождение моих братьев, то потом обзывал их «тюфяками» и «дикарями» и утверждал, что никто из его сыновей, за исключением старшего – Джино, заправского скалолаза, совершавшего вместе со своим другом труднейшие подъемы, – не унаследовал его страсти к горам: о Джино и его друге отец говорил со смешанным чувством гордости и зависти, сокрушаясь, что сам он уже не тот: старость – не радость.

Джино вообще был его любимчиком и во всем оправдывал отцовские надежды: интересовался естествознанием, собирал коллекции насекомых, горных пород и других минералов и был весьма усидчив. Он поступил на инженерный факультет, и, когда сдавал экзамен на «отлично», отец спрашивал, почему не выше.

Если же оценка была еще и с плюсом, отец заявлял:

– Видать, экзамен не из трудных.

В горах, когда отец не отправлялся на восхождение или в поход на целый день, он все равно каждый вечер объявлял, что намерен завтра «пройтись», и выходил из дома засветло в походной одежде, только без веревки, ледоруба и крючьев; уходил, как правило, один, потому что мы с братьями и мама, по его словам, «лежебоки», «тюфяки» и «дикари»; он тяжело ступал горными ботинками, заложив руки за спину, с трубкой в зубах. Иногда, правда, и мать тащил за собой.

– Лидия! Лидия! – гремел он поутру. – Пошли пройдемся! А то ты уж совсем обленилась на этих лужайках!

Мать послушно плелась за ним следом, опираясь на палочку и завязав свитер вокруг талии. Время от времени она встряхивала седыми кудрями, которые стригла очень коротко, несмотря на то что отец ненавидел короткую стрижку, входившую тогда в моду; каждый раз, как мать возвращалась от парикмахера, он поднимал такой крик, что хоть из дома беги.

– Опять обкорналась, ослица! – причем принадлежность к ослиному роду в словаре отца означала не глупость или невежество, а недостаток воспитания и вкуса. Нас, например, он называл «ослами», когда мы сквозь зубы отвечали или вовсе не отвечали на его вопросы.

– Это все Фрэнсис с толку тебя сбивает! – говорил отец, глядя на короткую стрижку матери.

Надо сказать, эту Фрэнсис – подругу матери – отец очень уважал и любил, ведь ко всему прочему она была женой друга его детства и школьного товарища; единственное, чего отец не мог ей простить, – это что она настропала мать коротко остричься. Фрэнсис часто бывала в Париже – у нее там жили родственники – и как-то зимой, вернувшись, сообщила:

– В Париже все носят короткую стрижку. В моде спортивный стиль.

– Теперь в Париже в моде спортивный стиль, – всю зиму твердили мать и сестра, подражая Фрэнсис, произносившей «р» на французский манер.

Обе укоротили платья, мать коротко остриглась, а сестра побоялась отца: волосы у нее были роскошные, светлые и до пояса.

Обычно с нами в горы ездила и бабушка, мать моего отца. Но жила она не с нами, а в деревенской гостинице.

Мы навещали ее; она сидела на площадке перед гостиницей под большим зонтом; бабушка была очень миниатюрная, с крохотными ножками, обутыми в черные высокие ботиночки на пуговках; она гордилась своими маленькими ножками, выглядывавшими из-под юбки, и высоко держала голову, увенчанную пышной копной светлых вьющихся волос. Каждый день отец водил ее «немного пройтись». Они ходили всегда по дороге, потому что бабушка была стара и не могла карабкаться по тропкам, особенно в своих ботиночках на маленьких каблуках; так они и ходили: он впереди – аршинным шагом, руки за спиной, в зубах трубка, она позади в шуршащем платье, мелко семеня ножками в ботиночках; бабушка ни за что не хотела гулять каждый день по одним и тем же местам.

– Это вчерашняя улица, – жаловалась она.

Отец рассеянно, не оборачиваясь, отвечал:

– Нет, это другая.



Но бабушка упорно твердила:

– Нет, это вчерашняя. По ней мы вчера ходили. – Чуть погодя она говорила отцу: – Я задыхаюсь от кашля.

Отец, не реагируя, шел вперед и даже не оглядывался на нее.

– Я задыхаюсь от кашля, – повторяла бабушка, хватаясь руками за горло: она имела обыкновение два-три раза повторять одно и то же. – Эта мерзавка Фантекки уговорила меня заказать коричневое платье! А я хотела синее! Я хотела синее! – твердила она, яростно тыча зонтиком в мостовую.

Отец приглашал ее взглянуть на горный закат, но она в приступе раздражения против Фантекки, своей портнихи, продолжала яростно долбить зонтиком землю. Бабушка выезжала в горы с единственной целью – побыть с нами: ведь она жила во Флоренции, а мы – в Турине, так что виделись мы только летом, но гор она не выносила и все время мечтала отдыхать во Фьуджи или Сальсомаджоре, где проводила лето в молодости.

Бабушка в прошлом была очень богата, разорилась она во время первой мировой войны: не веря в победу Италии и слепо уповая на Франца Иосифа, она решила во что бы то ни стало сохранить акции, купленные в Австрии, и так потеряла почти все состояние; отец, будучи ирредентистом, безуспешно пытался убедить ее расстаться с австрийскими акциями. Бабушка часто говорила «несчастье мое», имея в виду утраченные деньги; по утрам она расхаживала по комнате и в отчаянии заламывала руки. Но в общем она была не такая уж бедная. Во Флоренции у нее сохранился прекрасный дом с мебелью в индийском или китайском стиле и турецкими коврами: дедушка Паренте коллекционировал антиквариат. На стенах были развешаны портреты ее предков, дедушки Паренте и тети Вандеи, прозванной так за то, что она была ужасная реакционерка и даже содержала реакционный салон; а многочисленных теток и двоюродных сестер отца почти всех звали по старому еврейскому обычаю либо Маргаритой, либо Региной. Но вот моего прадеда среди портретов не было и о нем никогда не упоминали, потому что он, когда овдовел, поругался с обеими взрослыми дочерьми и заявил, что назло им женится на первой встречной; что и сделал, по крайней мере так рассказывали в семье; не знаю, была ли то в самом деле первая женщина, встреченная им у ворот дома, мне не известно. Во всяком случае, от новой жены у него родилась еще одна дочь, которую моя бабушка знать не желала и презрительно именовала «папиной девчонкой». С этой «папиной девчонкой» – важной дамой лет под пятьдесят – нам иногда доводилось встречаться во время летнего отдыха. Отец всякий раз говорил матери:

– Смотри, смотри, папина девчонка.

– Вы из всего устраиваете бордель, – говаривала бабушка, считая, что для нас нет ничего святого. – В вашем доме из всего устраивают бордель.

Эта фраза стала крылатой у нас в семье, и мы повторяли ее всякий раз, когда насмехались над покойниками и похоронами. Бабушка терпеть не могла животных и, если замечала, что мы возимся с кошкой, начинала кричать, что мы обязательно подцепим какую-нибудь заразу и ей передадим.

– Паршивая тварь! – восклицала она, топая ножками и тыча зонтом в землю.

Она была очень брезглива и ужасно боялась инфекции; но здоровье у нее было редкостное, за свои восемьдесят лет она ни разу не обратилась к врачу, даже зубы не лечила. Еще она боялась, что кто-нибудь шутки ради ее перекрестит; как-то раз один из моих братьев и впрямь притворился, будто собирается осенить ее крестным знаменем. Каждый день она читала молитвы на древнееврейском, ничего в них не понимая, ибо не знала этого языка. К неевреям она относилась брезгливо, как к кошкам. Исключение составляла только моя мать –

единственный человек иной веры, к которому она всю жизнь была привязана. Мать ее тоже любила и постоянно повторяла, что бабушка в своем эгоизме наивна и простодушна, как младенец.

Бабушка в молодости была, по ее словам, очень красива – вторая красавица Пизы. Первой была некая Вирджиния Дель Веккьо, ее подруга. Однажды в Пизу приехал синьор по имени Сегре с намерением жениться на самой красивой девушке Пизы. Но Вирджиния за него замуж не пошла. Тогда ему представили мою бабушку. Но и она ему отказала – заявила, что ей не нужны «объедки от Вирджинии».

В конце концов она вышла за моего деда – Микеле, человека, видимо, очень мягкого и покладистого. Овдовела бабушка совсем еще молодой. Однажды мы спросили у нее, почему она снова не вышла замуж; бабушка хрипло рассмеялась – мы никак не ожидали, что такая хрупкая, вечно стонущая старушка может так смеяться, – и отрезала:

– Еще чего! Чтоб он промотал все мое состояние!

Мать и братья часто жаловались, что им скучно сидеть летом в горах, в этом доме на отшибе, где нет ни компании, ни развлечений. Я же, как самая младшая, недостатка общения в те годы не ощущала и играла сама с собой.

– Вам скучно, потому что вы не живете духовной жизнью, – говорил отец.

В какой-то год у нас особенно туго было с деньгами, и мы уж думали, что придется остаться на лето в городе. Но в последний момент родители задешево сняли дом в поселке, который назывался Сен-Жак-д'Айа; в доме не было электричества, по вечерам зажигались керосиновые лампы. Должно быть, он был очень маленький и неудобный, потому что мать все лето твердила:

– Не дом, а сарай! Будь он проклят, этот Сен-Жак-д'Айа!

Нашим спасением были несколько переплетенных подшивок какого-то журнала с шарадами, ребусами и романами ужасов. Их одолжил моему брату Альберто его друг, некий Фринко. Журналами Фринко мы упивались все лето. Потом мать подружилась с одной синьорой, жившей по соседству. Это знакомство завязалось в отсутствие отца, который считал «дикостью» контакты с соседями. Но после выяснилось, что эта синьора Гиран живет в Турине в одном доме с Фрэнсис и знает ее в лицо, тогда отец сразу смягчился и согласился с ней познакомиться. Вообще-то отец всегда недоверчиво относился к посторонним, опасаясь наткнуться на какую-нибудь «темную личность», но, стоило обнаружить, что у него есть с ними общие знакомые, он тотчас же оттаивал.

Мать непрерывно говорила о новой знакомой, и на обед мы теперь ели блюда по рецептам синьоры Гиран.

– Новая восходящая звезда, – усмехался отец всякий раз при упоминании о синьоре Гиран.

«Новой восходящей звездой» или просто «новой звездой» отец иронически называл любое наше новое увлечение.

– Что бы мы тут делали без журналов Фринко и без синьоры Гиран! – заключила мать в конце того лета.

Наше возвращение в город было отмечено небольшим происшествием. Два часа на автобусе мы добирались до вокзала, потом вошли в вагон и расселись по местам, но вдруг обнаружили, что весь наш багаж остался на платформе. Начальник поезда поднял флажок и провозгласил:

– Поезд отправляется!

– Разбежался – отправляется! – рывкнул отец так, что в вагоне стены задрезались.

Поезд не отправился до тех пор, пока не был погружен наш последний чемодан.

В городе нам скрепя сердце пришлось расстаться с журналами Фринко: он потребовал их обратно. Что касается синьоры Гиран, то с ней мы больше не виделись.

– Надо пригласить синьору Гиран! Это бестактно! – ронял иногда отец.

Но мать была очень непостоянна в своих привязанностях: она никогда не встречалась с людьми от случая к случаю – либо видела их каждый день, либо вовсе не видела. Она была неспособна поддерживать знакомства ради приличия. «А вдруг они мне осточертеют?», «А вдруг они нагрянут в гости, когда я соберусь на прогулку?» – эти страхи просто сводили ее с ума. В подругах у матери числились, кроме Фрэнсис и еще нескольких жен отцовских друзей, большей частью женщины молодые, гораздо моложе ее; все это были дамы, не так давно вышедшие замуж и не очень богатые; им она давала советы, водила к своим портнихам. Она говорила, что «старухи» внушают ей ужас, и при этом имела в виду женщин примерно своего возраста. К тому же она панически боялась визитов. Стоило какой-нибудь из ее старых знакомых намекнуть, что она собирается нанести ей визит, мать впадала в самую настоящую панику.

– Сегодня я уж не выберусь погулять! – в отчаянии заявляла она.

А молодых подруг она таскала с собой и на прогулки, и в кино – они все были подвижны, легки на подъем, и в отношениях с ними не было и тени светских церемоний; у некоторых были маленькие дети, а мать очень любила детей. Бывало, ее подружки являлись в дом всем скопом. Отец называл их по-своему «бабами». Ближе к ужину из его кабинета частенько доносилось раскатистое:

– Лидия! Лидия! Ну что, убрались наконец твои бабы?

Тогда, скользнув по коридору, исчезала в двери последняя испуганная «баба». Молодые подружки матери ужасно боялись моего отца. За ужином отец спрашивал:

– Не надоело тебе возиться с этими бабами? И как ты не устаешь языком чесать?

Вечером к нам иногда заходили друзья отца, как и он, университетские профессора, ученые-биологи. Накануне этих визитов отец спрашивал у матери:

– Угощение приготовила?

Под угощением подразумевались чай и домашнее печенье: крепких напитков у нас дома никогда не бывало. Если мать не успевала ничего испечь, отец выходил из себя:

– Как нет? Разве можно принимать людей без угощения? Это же дикость!

Среди самых близких друзей моих родителей были супруги Лопес, то есть Фрэнсис и ее муж, а также семейство Терни. Мужа Фрэнсис звали Амедео, а прозвище Лопес прилипло к нему еще со студенческих времен. У моего отца в те годы была кличка Пом, сокращенное от «помидора», из-за его рыжих волос. Но отец бесился, когда его называли Помом, и только матери разрешал называть себя так. Однако между собой Лопесы именовали наше семейство «Помами», так же как мы звали их «Лопесами». Почему Амедео получил эту кличку, никто толком не мог мне объяснить, ее происхождение теряется во мраке. Внешне он был довольно тучен, волосы светлые, шелковистые, он грассировал, как его жена и три их сына, наши друзья. Лопесы были во всем гораздо изысканнее и современнее нас; жили в

прекрасном доме с лифтом и телефоном, которых в те годы почти ни у кого не было. Фрэнсис, часто ездившая в Париж, привозила оттуда последние новинки моды; однажды она привезла китайскую игру в коробке, разрисованной драконами, – игра называлась «ма-йонг»; все они научились играть в этот «ма-йонг», а Лучо, самый младший из сыновей Лопесов, мой ровесник, вечно хвастался передо мной этим «ма-йонгом», но научить меня этой игре не хотел – говорил, что это слишком сложно и мать не позволяет брать драгоценную коробку; помню, я просто изнывала от зависти, когда видела у них в доме эту таинственную запретную коробку.

Когда мои родители возвращались от Лопесов, отец всякий раз перевозносил их дом, мебель, чай, который подавали на тележке в красивых фарфоровых чашках, утверждал, что вот Фрэнсис «умеет вести хозяйство», умеет найти хорошую мебель и красивые чашки, знает, как обставить дом и подать чай.

Богаче или беднее нас были Лопесы – никто толком не знал, мать говорила, что они гораздо богаче, но отец возражал: денег у них тоже не так уж много, просто Фрэнсис «умеет вести хозяйство» и не такая «безалаберщина», как мы. Себя отец считал последним бедняком, особенно по утрам, когда просыпался. Он тут же будил мать и говорил ей:

– Не знаю, как мы будем дальше жить. Ты видела, акции на недвижимость опять понизились.

Акции эти постоянно падали, никогда не повышались.

– Будь проклята эта недвижимость! – отзывалась мать.

Она вечно жаловалась, что отец ничего не понимает в делах и, как только видит гиблые акции, сразу их покупает; часто мать советовала ему проконсультироваться у биржевого маклера, а он выходил из себя, кричал, что у него своя голова на плечах.

Что касается Терни, то эти были очень богаты. Правда, Мэри, жена Терни, была женщина очень простая, домашняя, в гости ходила редко и целыми днями вместе с нянькой Ассунтой, одетой во все белое, воспитывала двух своих детей; нянька во всем подражала Мэри, и обе они, следя за детскими играми, то и дело зачарованно шептались:

– Тсс! Тсс!

У Терни тоже вошло в привычку шикать на детей, а вообще он был очень восторженный: восхищался нашей служанкой Наталиной, хотя она вовсе не отличалась красотой, старыми платьями, которые видел на моей сестре и матери; про каждую встречную женщину он говорил:

– Какое интересное лицо, прямо как на той известной картине.

С этими словами он погружался в созерцание, вынимал изо рта леденец и обтирал его белоснежным батистовым платочком. Терни был биологом, и мой отец очень ценил его научные труды, однако частенько называл «недоумком» за его позерство.

– Этот недоумок Терни все время позирует, – говорил отец после встречи с ним. – Ну к чему эта поза? – добавлял он, немного помолчав.

Терни, приходя в гости, обычно останавливался с нами в саду потолковать о литературе; он был человек очень образованный, читал все современные романы и первым принес к нам в дом «В поисках утраченного времени». Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что он изо всех сил старался походить на Свана со своим леденцом и привычкой находить в каждом встречном сходство со знаменитыми картинами. Отец громко звал его в кабинет, чтобы поговорить о клетках и тканях.

– Терни! – кричал он. – Идите сюда! Не валяйте дурака!

Когда Терни утыкал нос в пыльные, потертые шторы нашей столовой и зачарованным шепотком спрашивал, не новые ли они, отец обрывал его:

– Может, хватит шута из себя корчить?

Больше всего на свете отец уважал социализм, Англию, романы Золя, Фонд Рокфеллера, горы и проводников в Валь-д'Аоста. А мать – социализм, стихи Поля Верлена, оперную музыку, в особенности «Лоэнгрин», арии из которого она часто пела нам вечером, после ужина.

Мать родилась в Милане, но предки ее тоже были из Триеста; после замужества она набралась у отца триестинских выражений, но, когда рассказывала нам о своем детстве, невольно переходила на миланский диалект.

Часто она вспоминала, как в юности шла по Милану и увидела какого-то чопорного господина, застывшего перед витриной парикмахерской и не сводившего глаз с манекена.

– Хороша, хороша, – приговаривал он. – Только шеей слишком длинна.

Многие из ее воспоминаний сводились вот к таким некогда услышанным и не имеющим большого смысла фразам. Однажды она гуляла вместе со своим классом и учительницей. Вдруг одна из девочек отделилась от группы и принялась обнимать проходившую мимо собаку.

– Это она, она, сестричка моей собачки! – говорила она, обнимая ее.

Мама училась в пансионе. Рассказывала, что там было ужасно весело.

Она выступала, пела и танцевала на утренниках, играла обезьянку в каком-то спектакле и пела в оперетке под названием «Башмачок, увязший в снегу».

А еще она сочинила оперу – и музыку, и либретто. Начиналась она так:

Студент дон Карлос де Тадрида

Недавно прибыл из Мадрида!

Открылась вдруг ему картина

На улице Берцуэллина:

В окне увидел пред собой

Он лик монахини молодой!

Позже написала она и такие стихи:

Привет, невежество, привет,

С тобой в желудке боли нет!

Где ты – здоровьем все крепки,

А учатся пусть дураки!

Так будем пить и веселиться

И в танце радостно кружиться!  
Теперь же, Муза, мне открой,  
Что уж постигла я душой:  
Философ леденит нам кровь,  
Невежда дарит нам любовь!

Была среди ее опусов еще пародия на Метастазию:

Коль скоро мог бы род людской  
Тоску души излить свободно,  
В ландо поехал бы любой,  
А не тащился б пешим ходом!

В пансионе она пробыла до шестнадцати лет. По воскресеньям ходила в дом своего дяди со стороны матери – у него было прозвище Барбизон. Там на обед подавали индейку, и Барбизон затем показывал жене на остатки, приговаривая:

– А это мы с тобой завтра утречком доедим.

Жену Барбизона, тетю Челестину, прозвали Барита. Кто-то ее убедил, что во всем присутствует барит, и она с тех пор, показывая, к примеру, на хлеб на столе, важно говорила:

– Видишь этот хлеб? В нем полно барита.

Барбизон был неотесанный мужик с красным носом. Моя мать, увидев у кого-нибудь красный нос, непременно замечала:

– Нос как у Барбизона.

После обедов с индюшкой Барбизон обычно говорил маме:

– Лидия, мы с тобой кое-что петрим в химии. Чем воняет сернистая кислота? Она воняет дерьмом. Сернистая кислота воняет дерьмом!

Настоящее имя Барбизона было Перего. Кто-то из друзей сочинил про него такой стишок:

Ну право, нет приятней ничего,  
Чем видеть дом и погреб Перего.

Сестер Барбизона называли «блаженными»: они были жуткие ханжи.

У матери имелась еще одна тетка по имени Чечилия; ее мать вспоминала по такому поводу: как-то она поведала Чечилии, что все они недавно переволновались за отца, который сильно запоздал к ужину, они уж думали, с ним что-то случилось.

– А что было на ужин: рис или макароны? – тут же спросила тетя Чечилия.

– Рис, – ответила мать.

– Хорошо, что не макароны, ведь они бы все разлезлись.

Дедушку и бабушку по матери я не знала: оба умерли до моего рождения. Бабушка Пина была из простой семьи и вышла замуж за своего соседа – уважаемого начинающего адвоката в очках. Каждый день она слышала, как он спрашивает у привратницы:

– Есть ли почта для меня?

Он никогда не говорил «письма» – только «почта», и бабушке это казалось признаком особой уважаемости. Из-за этой «почты» она и вышла за него замуж, да еще потому, что ей очень хотелось справиться к зиме черное бархатное пальтецо. Брак оказался неудачным.

В молодости бабушка Пина была изящная белокурая девица и как-то раз даже играла в любительской труппе. Когда поднимался занавес, бабушка Пина стояла на сцене перед мольбертом с кистью в руке и произносила следующие слова:

– Я не в силах больше рисовать, душа моя не лежит к труду, к искусству, она уносится далеко-далеко, гонимая горестными мыслями.

Мой дед позже ударился в социализм, был другом Биссолати, Турати и Кулишовой. Бабушка Пина оставалась чужда политическим увлечениям мужа. Так как он вечно таскал в дом социалистов, бабушка Пина сокрушалась, глядя на дочь:

– Кто на ней теперь женится, разве что газовщик.

В конце концов они разъехались. Дед под конец жизни оставил политику и опять подался в адвокаты, он очень обленился и спал до пяти вечера; если вдруг являлись клиенты, он говорил прислуге:

– Чего они пришли? Гони их прочь!

Бабушка Пина жила в последние годы во Флоренции. Иногда она приходила навестить мою мать, которая тем временем вышла замуж и тоже жила во Флоренции. Правда, бабушка Пина очень боялась моего отца. Однажды она пришла повидать моего брата Джино, который в то время был еще в пеленках; у него слегка поднялась температура, и, чтобы успокоить взволнованного отца, бабушка Пина сказала, что, возможно, у мальчика режутся зубки. Отец разбушевался: он считал, что от зубов не может быть температуры. Встретив на лестнице моего дядю Сильвио – он тоже шел к нам, – бабушка шепнула ему.

– Не вздумай сказать, что это от зубов.

За исключением фраз: «Не вздумай сказать, что это от зубов», «Кто на ней женится, разве что газовщик» и «Я не в силах больше рисовать», я о бабушке Пине ничего не знаю, другие ее высказывания до меня не дошли. Впрочем, помню, как у нас дома повторяли еще одну ее фразу:

– Каждый день, каждый день одно и то же: Друзилла опять разбила очки.

У бабушки было трое детей: Сильвио, моя мать и Друзилла, которая была близорука и все время била очки. Умерла бабушка во Флоренции в одиночестве, прожив трудную и горькую жизнь: ее старший сын Сильвио в тридцать лет выстрелил себе в висок в миланском парке.

По выходе из пансиона мать переехала из Милана во Флоренцию. Она поступила на медицинский факультет, но не закончила его, потому что познакомилась с моим отцом и вышла за него замуж. Бабушка по отцу была против этого брака, потому что моя мать не еврейка и к тому же – кто-то ей наболтал – ревностная католичка: при виде церкви она якобы непременно крестится и отвешивает поклоны. Это была, конечно, чушь: никто в семье матери не ходил в церковь и не крестился. Бабушка немного поартачилась, а потом согласилась познакомиться с матерью; встреча состоялась в театре, давали какую-то пьесу, где белая женщина попадает к неграм и одна из негритянок точит на нее зубы из ревности и вопит, выпучив глаза: «Котлету из белой мадамы! Котлету из белой мадамы!»

– Котлету из белой мадамы, – говорила мать всякий раз, как ела котлету.

В театр они пошли по контрамаркам, потому что брат моего отца, дядя Чезаре, был театральным критиком. Дядя Чезаре был полной противоположностью моему отцу – спокойный, полный и всегда веселый; как критик он не отличался строгостью, никогда ни одну пьесу не ругал, в каждой находил что-нибудь хорошее, а когда моя мать о какой-нибудь отзывалась плохо, он с возмущением говорил:

– Попробуй-ка, напиши такую же.

Дядя Чезаре женился на актрисе, и это была для бабушки настоящая драма. Много лет она знаясь не желала с невесткой, потому что актриса, на ее взгляд, еще хуже, чем ревностная католичка.

Мой отец, женившись, поступил во Флоренции работать в клинику одного из дядьев матери, прозванного Полоумный из-за того, что специализировался на умственных расстройствах. Полоумный на самом деле был человеком большого ума, эрудированным, ироничным; не знаю, дошло ли до него, что у нас в семье его так называют. В доме своей свекрови мать познакомилась с огромным выводком Маргарит и Регин, двоюродных сестер и теток моего отца, а также со знаменитой Вандеей, в ту пору еще здравствовавшей. Что до дедушки Паренте, то он давно умер; умерла и его жена, бабушка Дольчетта, и их слуга, Грузчик Бепо. Про бабушку Дольчетту мы знали, что она была маленькая и круглая, как шарик, и вечно страдала несварением желудка, потому что слишком много ела. При несварении ее рвало, и она ложилась в постель, но спустя немного домашние обнаруживали, что она снова ест яйцо.

– Уж больно свежее, – говорила она в свое оправдание.

У дедушки Паренте и бабушки Дольчетты была дочь по имени Розина. Муж этой Розины умер, оставив ее с малыми детьми и почти без денег. Она тогда вернулась в отцовский дом. На следующий день после ее возвращения, когда все сидели за столом, бабушка Дольчетта спросила, поглядев на дочь:

– Что это с нашей Розиной, не больно-то она весела нынче?

Истории про яйцо и про Розину во всех подробностях рассказывала нам мать, потому что отец рассказывать не умел; он путался, начинал оглушительно хохотать: воспоминания о семье и о детстве всегда вызывали у него приступы смеха, и мы сквозь этот смех ничего не могли понять в его рассказах.

Мать, напротив, рассказывала очень хорошо и любила рассказывать. Начинала она обычно за столом, обращаясь к кому-нибудь из нас, и – неважно, шла ли речь о семействе моего отца или о ее родственниках, – все больше увлекалась, глаза блестели, словно она рассказывала



эту историю в первый, а не в сотый раз.

– Был у меня дядя по прозвищу Барбизон.

Кто-нибудь непременно говорил:

– Да знаю! Ты сто раз рассказывала!

Она тогда поворачивалась к другому и продолжала вполголоса.

Отец, до которого долетали отдельные слова, кричал:

– Да сколько можно повторять одно и то же?!

– У Полоумного в клинике был один пациент, – продолжала тихо рассказывать мать, – который считал себя богом. «Добрый день, многоуважаемый синьор Липман», – говорил ему каждое утро Полоумный. «Многоуважаемый – может быть, и да, а Липман, пожалуй, нет!» – отвечал ему сумасшедший, мнивший себя богом.

Мы хорошо запомнили фразу одного дирижера, приятеля Сильвио, который, приехав на гастроли в Бергамо, одернул не слишком внимательных певцов:

– Мы приехали в Бергамо не баклуши бить, а исполнять «Кармен», шедевр Бизе.

Нас в семье пятеро. Теперь мы живем в разных городах, кто-то за границей и не слишком часто пишем друг другу. И даже при встречах иногда проявляем друг к другу равнодушие: у каждого свои дела. Но нам достаточно одной фразы или слова, слова или фразы из тех, что мы слышали в детстве бесчисленное количество раз. Достаточно сказать: «Мы приехали в Бергамо не баклуши бить» или «Чем воняет сернистая кислота», чтобы мы вновь почувствовали свое родство, вернулись в детство и юность, неразрывно связанные с этими фразами, с этими словами. По одной из этих фраз мы узнали бы брата даже в темной пещере или среди миллионной толпы. Эти фразы – наш праязык, лексикон давно минувших дней, нечто вроде египетских или ассиро-вавилонских иероглифов; они – свидетельство распавшегося сообщества, которое, однако, сохранилось в текстах, неподвластных ярости волн и разрушительному воздействию времени. Эти фразы – основа нашего семейного единства, которое будет существовать, пока мы живы, и возродится, где бы мы ни были, стоит кому-нибудь из нас сказать:

– Многоуважаемый синьор Липман.

И сразу у нас в ушах зазвучит нетерпеливый голос отца:

– Да сколько можно повторять одно и то же?

Как случилось, что из племени банкиров, далеких и близких предков отца, вышли мой отец и его брат Чезаре, начисто лишенные деловой хватки, – не знаю. Отец посвятил свою жизнь научным исследованиям, профессии далеко не прибыльной; о деньгах он имел весьма расплывчатое представление и, в сущности, был к ним равнодушен; когда ему доводилось иметь с ними дело, он их постоянно терял, поскольку вел себя так, что потеря становилась неизбежной; если же все обходилось благополучно, то лишь по чистой случайности. Всю жизнь его мучил страх со дня на день быть выброшенным на улицу, страх беспочвенный, связанный с природным его пессимизмом – к примеру, в отношении будущности своих детей; страх этот угнетал его, словно скопление черных туч над скалистыми горами, но не затрагивал глубин присущего ему абсолютного и неизменного равнодушия к деньгам. Он говорил «солидная сумма», когда речь шла о пятидесяти лирах или, как он выражался, пятидесяти франках, ибо для него денежной единицей был франк, а не лира. Вечером он обходил комнаты, осыпая нас бранью за невыключенный свет, но мог, не задумываясь,

спускать миллионы, когда наудачу покупал и продавал акции или отправлял издателям свои труды, не требуя за это вознаграждения.

После Флоренции родители переехали на Сардинию – отца назначили преподавать в университет Сассари – и несколько лет прожили там. Потом переселились в Палермо, где родилась я – последняя, младшая из пятерых детей. В первую мировую отец служил военным врачом на Карее. Наконец мы осели в Турине.

Первые годы жизни в Турине оказались нелегкими, особенно для матери. Только что кончилась война, жизнь все дорожала, а денег у нас не было. В Турине мы мерзли, мать жаловалась и на холод, и на дом, сырой и темный: отец, по ее словам, как всегда, взял первое попавшееся, ни у кого не спросясь. Отец же заявлял, что она жаловалась в Сассари, жаловалась в Палермо: она где угодно найдет предлог побрюзжать. Однако о Палермо и Сассари мать вспоминала теперь как о рае земном. И в Сассари, и в Палермо у нее остались друзья, которым она, правда, не писал а из-за неспособности поддерживать связи с далекими людьми, но то и дело вспоминала и друзей, и прекрасные, залитые солнцем дома, где она жила припеваючи, со всеми удобствами, и отличную прислугу. В Турине же ей первое время вообще не удавалось найти прислугу. Пока наконец не знаю откуда в доме не появилась Наталина, прослужившая у нас тридцать лет.

По правде говоря, в Сассари и Палермо, несмотря на жалобы и брюзжание, матери действительно было очень хорошо; характер у нее был легкий, она всегда находила себе друзей, и все ее любили, она умела радоваться окружающему, умела быть счастливой. Была она счастлива и в первые годы в Турине, среди всей нашей неустроенности и лишений, хотя и вечно плакалась по причине холода, раздражительности мужа, тоски по родным местам, подросших детей, которым нужны были учебники, теплая одежда, ботинки – а разве на всех напасешься? И все же она была счастлива: поплакавшись, мгновенно веселела и на весь дом распевала «Лознгрину», и «Башмачок, увязший в снегу», и «Дона Карлоса де Тадрида». Впоследствии она вспоминала эти годы, когда дети жили еще с ней, денег не было, акции на недвижимость все падали, а в доме было темно и сыро, как самую прекрасную, счастливейшую пору своей жизни.

– Во времена виа Пастренго, – говорила она потом: на виа Пастренго мы тогда жили.

Дом на виа Пастренго был очень большой. Десять или двенадцать комнат, двор, сад, куда выходила застекленная веранда. Однако он действительно был темный и сырой: зимой в уборной даже росли грибы. Об этих грибах в семье много было разговору: братья сказали бабушке по отцу, которая приехала к нам погостить, что мы их поджарим и съедим, а бабушка хотя и не поверила, но все равно с ужасом и отвращением произнесла:

– В этом доме из всего устраивают бордель.

Я была в то время совсем маленькая и Палермо, город, где родилась и откуда уехала, когда мне было три года, помнила смутно. Но и я, уподобляясь сестре и матери, воображала, что тоскую по Палермо, по пляжу в Монделло, куда мы ходили купаться, по синьоре Мессине, подруге моей матери, и по девочке Ольге, подруге моей сестры: ее я звала «взаправдашной Ольгой», чтобы отличать от моей куклы Ольги, и всякий раз, когда мы встречались на пляже, говорила:

– Я стесняюсь взаправдашной Ольги.

Все они остались там, в Палермо и Монделло. Упиваясь своей воображаемой тоской, я сочинила первое в своей жизни стихотворение всего из двух строчек:

Палермино, Палермин

Куда лучше, чем Турин.

Это стихотворение было воспринято дома как признак раннего поэтического дарования, и я, ободренная шумным успехом, тут же сложила еще одно четверостишие про горы, о которых слышала от братьев:

В Гриволу, ура, ура!

Нынче едет детвора!

На Монблан бы взобралась,

Если б сил я набралась!

В нашем доме было принято сочинять стихи по всякому поводу. Мой брат Марио написал однажды стишок о ненавистных ему мальчишках Този из Монделло:

Таких зануд, как Този,

Не сыщешь и в навозе.

Но особенно прославилось стихотворение, сочиненное моим братом Альберто лет в десять-одиннадцать. Оно не было связано с каким-либо реальным фактом и являлось исключительно плодом поэтического воображения.

Старая дева

По имени Ева

Родила ребенка,

Большого постреленка.

В доме читали «Дочь Йорио»[1], но еще чаще, собравшись вечером вокруг стола, декламировали стихотворение, которому научила нас мать, слышавшая его в детстве, на благотворительном вечере в пользу пострадавших от наводнения в долине реки По.

Вот уже несколько дней, как вода поднималась все выше.

«Дева Мария, нас скоро затопит до крыши! –

Так голосили в деревне старухи. –

Так что, сыночки, возьмите свой скорб и бегите отсюда.

Какое вам дело до старого бедного люда?!»

Отец отказался; он молод и смел, остальных убедить он пытался,

Что не ворвется в долину ревущая эта стихия.

К матери он подошел и сказал ей тихонько: «Мария,

Ляг отдохни и детей уложи ты с собою.

Дремлет великая По, и колышатся воды в покое

В русле, навек предназначенном милостью божьей.

Спите спокойно, мы все свои силы положим,

Коли стрясется беда, мы подставим могучие плечи,

Чтобы наш мир оставался незыблем и вечен!»

Концовку мать забыла, думаю, она не очень помнила и начало, потому что, например, там, где говорится:

Отец отказался; он молод и смел, остальных убедить он пытался...

строчка чересчур длинная и в размер не укладывается. Но пробелы в памяти она восполняла выражением, с каким читала слова:

...мы подставим могучие плечи,

Чтобы наш мир оставался незыблем и вечен!

Отец терпеть не мог это стихотворение и, когда слышал, как мы его декламируем вместе с матерью, приходил в ярость и кричал, что ни на что серьезное мы не способны – только и можем устраивать «балаган».

Почти каждый вечер к нам наведывались Терни и сокурсники моего старшего брата Джино, учившегося тогда в Политехническом институте. Мы сидели за столом, читали стихи, пели.

Студент дон Карлос де Тадрида

Недавно прибыл из Мадрида! –

пела мать, а отец, читавший у себя в кабинете, то и дело появлялся в дверях, дымил трубкой и из-под сдвинутых бровей подозрительно оглядывал сидевших в столовой.

– Недоумки! Все бы вам устраивать балаган!

Единственными разговорами, в которых отец принимал участие, были научные или политические дискуссии и обсуждение событий «на факультете», например, когда кого-нибудь из профессоров переводили в Турин совершенно, по мнению отца, незаслуженно, ибо тот был «недоумком», или, наоборот, не переводили, хотя он это вполне заслужил, так как у него «очень светлая голова». В научных вопросах никто из нас не мог быть ему собеседником, но он все равно ежедневно информировал мать об обстановке «на факультете» и о том, что происходит у него в лаборатории, как ведут себя некоторые культуры тканей, которые он наблюдал в пробирках, и возмущался, если мать не проявляла должного интереса. Отец за обедом ужасно много ел, но поглощал все с такой скоростью, что, казалось, он не ест вовсе; в один миг опустошив тарелку, он и сам был уверен, что ест мало, и заразил своей уверенностью мать, всегда его умолявшую хоть немного поесть. Он же, наоборот, ругал мать за обжорство.

– Не наедайся так! У тебя будет несварение!

Или время от времени рявкал на нас:

– Не трогай ногти!

Мать с детства имела привычку отдирать заусенцы: это стоило ей ногтеды, а позже, в пансионе, даже один раз кожа слезла с пальца.

Все мы, по мнению отца, переедали и рисковали получить несварение желудка. Если еда ему не нравилась, он говорил, что она вредна для здоровья, потому что плохо переваривается, если нравилась – говорил, что полезна и «возбуждает перистальтику».

Если блюдо было ему не по душе, он выходил из себя:

– Ну кто так готовит мясо? Вы же знаете, что я такое мясо терпеть не могу!

Но если что-то готовили по его вкусу, это отца все равно раздражало.

– Нечего готовить специально для меня! Я не желаю, чтоб готовили специально для меня! Я ем все, – заявлял он. – Я не такой привереда, как вы. Главное для меня – поесть.

– Нельзя же все время говорить о еде, это вульгарно! – выговаривал он нам, если слышал, как мы обсуждаем то или иное кушанье.

– Как же я люблю сыр! – неизменно восклицала мать, когда на столе появлялось блюдо с сыром.

– Господи, какая ты зануда! – взрывался отец. – Сколько можно повторять одно и то же?!

Отец очень любил спелые фрукты, поэтому, если нам попадалась перезревшая груша, мы тут же ее отдавали ему.

– Ага, подсовываете мне гнилые груши! Ах вы, ослы чертовы! – Он хохотал так, что стены в доме тряслись, и в два укуса поглощал грушу.

– Орехи, – говорил отец, раскалывая орех, – очень полезны. Они возбуждают перистальтику.

– А ты разве не зануда? – пеняла ему мать. – И ты всегда повторяешь одно и то же.

Отец страшно оскорблялся:

– Да как у тебя язык повернулся назвать меня занудой? Чертова ослица!

Политика вызывала в нашем доме жаркие споры, которые оканчивались бранью, бросанием салфеток, яростным хлопаньем дверей. Это были первые годы фашизма. Почему отец и братья спорили с таким жаром, я не могу себе объяснить, ведь они, как я полагаю, все были против фашизма; недавно я спросила об этом братьев, но ни один не смог ничего толком объяснить. Однако всем были памятливы эти яростные споры. Мне кажется, мой брат Марио из духа противоречия защищал Муссолини, и это, конечно, выводило из себя отца: у них с Марио были вечные раздоры.

О Турати отец мой всегда отзывался как о предельно наивном человеке, а мать, не считавшая наивность пороком, вздыхала, качала головой и говорила:

– Бедный мой Филиппет!

Однажды, будучи проездом в Турине, Турати зашел к нам домой; помню, как он сидел в гостиной, большой, как медведь, с седой окладистой бородой. Я видела его дважды – тогда и позднее: перед тем как ему пришлось бежать из Италии, он неделю скрывался у нас. Но на память мне не приходит ни единого слова, которое он сказал в тот день в нашей гостиной: помню лишь гул голосов, оживленные разговоры и не более того.

Отец каждый день возвращался домой разгневанным: то ему встретилась колонна чернорубашечников, то среди своих знакомых он обнаружил на заседаниях факультета новоиспеченных фашистов.

– Шуты! Мерзавцы! Шутовство! – кипятился он, усаживаясь за стол, швыряя салфетку, с грохотом отодвигая тарелку, стакан.

У отца была привычка громко выражать свое мнение на улице, и знакомые, провожавшие его до дома, боязливо озирались по сторонам.

– Труссы! Дикари! – гремел дома отец, рассказывая о перепуганных знакомых.

Думаю, ему доставляло удовольствие пугать их своими громкими высказываниями: отчасти он забавлялся, отчасти не умел понижать голос, всегда очень громкий, даже когда отцу казалось, что он шепчет.

По поводу зычности его голоса, которым он совсем не умел владеть, Терни и мать рассказывали, что однажды на каком-то профессорском сборище в залах университета мать тихонько спросила отца про человека, стоявшего в нескольких шагах от них.

– Кто такой? – гаркнул во всю глотку отец, так что все обернулись. – Я тебе скажу, кто он такой! Он дурак, каких мало!

Отец не терпел анекдотов, которые рассказывали мы с матерью; анекдоты в нашем доме назывались «байками», и мы обожали слушать и рассказывать их. А отец прямо из себя выходил. Из «баек» он выносил только антифашистские да еще старые, времен своей молодости, которые они с матерью и Лопесами частенько вспоминали по вечерам. Кое-какие из этих анекдотов казались ему слишком сальными, так что в нашем присутствии он старался рассказывать их шепотом, хотя, насколько помнится, они были совсем невинные. Голос его тогда превращался в гулкое рокотание, и в нем отчетливо различались многие слова, в особенности слово «кокотка», часто употреблявшееся в этих бородатых анекдотах: его отец силился выговаривать как можно тише, и благодаря этому оно выходило особенно смачно.

Отец вставал всегда в четыре утра. Проснувшись, он первым делом шел проверять, закис ли «медзорадо» – йогурт, который его научили делать пастухи на Сардинии. В те годы он еще не вошел в моду и не продавался, как теперь, во всех молочных барах. В потреблении йогурта, как и во многих других вопросах, отец был пионером. Скажем, зимний спорт в то время тоже еще не вошел в моду, и отец был, пожалуй, единственным человеком в Турине, который ходил на лыжах. Как только выпадал первый снег, отец взваливал на плечи лыжи и отправлялся в субботу вечером в Клавье. В то время еще не было ни лыжной базы в Сестрьере, ни отелей в Червинии. Он ночевал обычно в горном шале под названием «Хижина Маутино». Иногда он тащил с собой братьев или кого-нибудь из своих ассистентов, увлекавшихся горными лыжами. Лыжи он величал по-английски «ski». Кататься отец научился еще в юности, в Норвегии. Возвращаясь домой в воскресенье вечером, он неизменно ворчал, что снег плохой: то слишком сухой, то слишком липкий. Так же и своим «медзорадо» он никогда не был доволен: либо, говорил, слишком жидкий, либо слишком густой.

– Лидия! «Медзорадо» не удался! – гремел он в коридоре.

«Медзорадо» он заквашивал на кухне в супнице, закрытой тарелкой и завернутой в старую мамину шаль кораллового цвета. Иногда «медзорадо» вовсе не получался, и приходилось его выбрасывать: это была какая-то зеленоватая водичка с загустевшими комками словно из белого мрамора. «Медзорадо» – продукт очень нежный, довольно малейшей оплошности, чтобы все пошло насмарку – например, не совсем плотно обернуть супницу шалью, так что проникал воздух.

– Сегодня опять не удался! Все твоя Наталина! – кричал отец из коридора еще полусонной матери, которая что-то мычала в ответ.

Когда мы отправлялись летом в горы, ни в коем случае нельзя было забыть закваску для «медзорадо» – хорошо упакованную и перевязанную шпагатом чашечку с кислым молоком.

– Где закваска? Вы закваску взяли? – спрашивал в поезде отец, роясь в рюкзаке. – Нету! Здесь нет! – кричал он.

Иногда мать действительно забывала закваску, и ее приходилось делать снова с помощью пивных дрожжей.

По утрам отец принимал холодный душ. От ледяной воды он издавал страшный рык, затем одевался и огромными чашками поглощал изрядно сдобренный сахаром «медзорадо», такой холодный, что зуб на зуб не попадал. Из дома отец выходил еще затемно, когда улицы были почти пустынные; в туринский туман и холод он выходил в длинном широком плаще с множеством карманов и кожаных пуговиц, а на лоб низко надвигал широкий берет, так что получался почти что козырек; заложив руки за спину, с трубкой в зубах, он шагал своей странной походкой, скособочившись, одно плечо выше другого, и, несмотря на то что прохожих было совсем мало, он и тех умудрялся толкнуть, поскольку шел задумавшись, с опущенной головой.

В столь ранний час в лаборатории еще никого не было, только швейцар Конти наводил порядок; Конти был приземистый, спокойный, молчаливый человечек в извечном сером халате; отца он боготворил, и отец тоже был сильно к нему привязан; Конти приходил к нам домой, когда надо было починить шкаф, сменить патрон в лампе или затянуть ремнями чемоданы. Он прослужил в лаборатории много лет и очень неплохо разбирался в анатомии; во время экзаменов он, бывало, подсказывал студентам, навлекая на себя гнев отца; правда, потом, довольный, отец рассказывал матери, что Конти знает анатомию лучше студентов. В лаборатории отец надевал такой же серый халат, как у Конти, и так же кричал в коридорах, как дома.

Студент дон Карлос де Тадрида

Недавно прибыл из Мадрида, –

во весь голос распевала мать, расчесывая мокрые волосы: она тоже, встав с постели, принимала холодный душ; у них с отцом были жесткие массажные перчатки, которыми они после душа докрасна растирались.

– Я заледенела! – радостно восклицала мать, обожавшая холодную воду. – Ну прямо вся заледенела! Брр!

И, завернувшись в махровый халат, выходила с чашечкой кофе прогуляться по саду. Братья были уже все в школе, и в доме на некоторое время воцарялся покой. Мать распевала свои арии и сушила намокшие волосы на утреннем ветерке. Затем шла в гладильню поболтать с Наталиной и Риной.

Гладильню иногда называли еще «гардеробной». Там стояла швейная машинка и кровать Риной: днем она строчила на машинке. Рина была чем-то вроде домашней портнихи, хотя была способна лишь перелицовывать наши пальто да ставить заплатки на штаны. Платьев шить она не умела. Когда не было работы у нас, она шла к Лопесам: Фрэнсис и моя мать перекидывали ее, как мячик. Рина была крохотная женщина, почти карлица; мою мать она называла «госпожа маман», а встречаясь в коридоре с отцом, торопилась прошмыгнуть, как мышка, потому что отец ее терпеть не мог.

– Рина! Опять она здесь! – негодовал отец. – Терпеть не могу эту сплетницу! К тому же толку от нее никакого!

– Но ведь и Лопесы ее всегда приглашают, – оправдывалась мать.

Темперамент у Риной был очень переменчив. Являясь к нам после долгой отлучки, она прямо не знала, чем угодить, за все хваталась: и матрасы-то с подушками она переберет, и шторы выстирает, и пятна с ковров повыведет кофейной гущей, как – она заметила – делают в доме Фрэнсис. Вскоре, однако, ей все это надоедало: она дулась, бранилась с Наталиной, срывала зло на мне и Лучо, хотя прежде обещала водить нас на прогулки и угощать конфетами; Лучо, младший сын Фрэнсис, почти каждый день приходил поиграть со мной.

– Оставьте меня в покое! Мне надо работать! – сердито кричала Рина, строча на машинке.

– Ну и негодяйка! – возмущалась мать по утрам, когда Рина без предупреждения исчезала и неизвестно было, где ее искать, так как не появлялась она и у Фрэнсис.

В «гардеробной» валялись распоротые по ее милости матрасы и подушки вперемешку с ключьями шерсти, а на коврах от кофейной гущи оставались желтоватые полосы.

– Ну и негодяйка! Ни за что ее больше не приглашу!

Но через несколько недель Рина возвращалась – сияющая, милая, услужливая. И мать сразу забывала ее проступки, подсаживалась к Рине, слушала ее болтовню под стрекот машинки, которую карлица приводила в движение ножкой, обутой в суконную тапочку.

Наталина моей матери напоминала Людовика XI. Она тоже была невысокая, худенькая, с вытянутым лицом; волосы у нее то были гладко зачесаны назад, а то пышно взбиты и подкручены щипцами.

– Мой Людовик Одиннадцатый, – говорила по утрам мать, когда та входила к ней в спальню,



обмотав шею шарфом, мрачная, с ведром и шваброй в руке.

Наталина путала мужской и женский род.

– Утром она ушел без пальто, – говорила она моей матери.

– Кто – она?

– Марио. Он хоть бы предупредила.

– Кто – он?

– Он, синьора Лидия, – говорила Наталина, обиженно громыхая ведром.

– Наталина, – рассказывала мать своим подругам, – это настоящая «молния и землетрясение» – все делает с необычайной быстротой, но и с жутким грохотом.

Вид у Наталины был как у побитой собаки – это потому, что она пережила несчастливое, сиротское детство, росла в приютах, потом была в услужении у жестоких хозяек. Но по своим прежним хозяйкам, которые награждали ее такими затрещинами, что в голове гудело, она тем не менее скучала и на рождество посылала им красивые позолоченные открытки. Иногда – даже подарки. Она вечно сидела без гроша, потому что была щедрая, непрактичная и постоянно давала в долг своим подружкам, с которыми ходила по воскресеньям гулять. Несмотря на то что выглядела она как побитая собака, характер у нее был язвительный, упрямый и властный; все она изливала на нас, в особенности на мою мать. В глубине души Наталина ее нежно любила, и мать отвечала взаимностью, но внешне никогда перед ней не заискивала, скорее, наоборот.

– Хорошо еще, что он – женщина, иначе как стал бы зарабатывать на жизнь, ведь он такая неумеха, – объясняла она матери.

– Кто – он?

– Ну он, она то есть!

Дома мы жили в постоянном страхе перед отцовским гневом. Он вспыхивал неожиданно, иногда по самым пустяковым причинам – из-за куда-то задевавшихся ботинок, не поставленной на место книги, перегоревшей лампочки, небольшой задержки с обедом или переваренной пищи. Кошмаром для нас были и стычки между моими братьями Альберто и Марио, они также вспыхивали внезапно: из их комнаты доносился грохот опрокидываемых стульев, удары в стену, затем дикие душераздирающие вопли. Альберто и Марио были уже большими крепкими парнями, и, когда они схватывались, дело кончалось плохо: оба выходили с разбитыми носами, распухшими губами, в изодранной одежде.

– Они у-убьют друг друга! – кричала мать, заикаясь от страха. – Скорей, Беппино, они убьют друг друга!

Отец на расправу был крут. Он растаскивал драчунов и лупцевал их по щекам. Я была маленькая, но и теперь помню, с каким страхом смотрела на дикую, яростную схватку троих мужчин. Жестокие драки Альберто и Марио были чаще всего беспричинными, как и гнев отца: затерявшаяся книга, галстук, очередь в ванную. Однажды Альберто появился в школе с перевязанной головой, и учитель спросил его, что случилось. Тот встал и ответил:

– Мы с братом хотели помыться.

Из них двоих Марио был старше и сильнее. А если его разозлить, он весь напряжинивался: мышцы, кулаки, челюсти становились как железные. Маленьким он был довольно хиловатый,

и отец, чтобы закалить, брал его с собой в горы – он всех нас туда таскал. Марио с тех лет втайне возненавидел горы и, едва только вырвался из-под отцовской опеки, совершенно перестал туда ходить. Но в те годы ему еще приходилось слушаться отца. Свою злобу он вымещал не только на Альберто, но и на какой-нибудь вещи, с которой не мог совладать. В субботу после обеда он спускался в подвал за лыжами и если не сразу находил их или не мог расстегнуть тугие крепления, то прямо клокотал от гнева; сюда примешивалась и обида на Альберто и на отца, которых в тот момент не было поблизости: Альберто он проклинал за то, что тот пользуется его лыжами, отца – за то, что тот силком тащит его в эти ненавистные горы и заставляет при этом надевать старые лыжи с ржавыми креплениями. Иногда он не мог натянуть горные ботинки. В этом подвале в него словно бес вселялся: мы сверху слышали адский шум. Марио швырял на землю все наши лыжи, молотил по креплениям, разбрасывал ботинки, рвал веревки, крушил ящики, пинал стулья, столы, стены. Помню, мне как-то довелось присутствовать при одном из таких «тихий» приступов гнева: Марио мирно сидел в гостиной и читал газету, как вдруг озверел, оскалил зубы, стал сучить ногами и рвать газету в клочья. Альберто и отец были в тот раз ни при чем. Просто в соседней церкви звонили в колокола, и этот назойливый звук вывел его из себя.

Однажды за столом, после отцовского нагоняя, и даже не очень сильного, Альберто схватил столовый нож и полоснул себя по тыльной стороне ладони. Хлынула кровь, помню испуг, крики, слезы матери, испуганного и орущего отца со стерильными салфетками и пузырьком йода в руках.

После ссор и драк

с Альберто Марио несколько дней ходил, по выражению отца, с «перекошенной мордой» и «дулся, как мышь на крупу». За столом он сидел бледный, сквозь набрякшие веки глаз было почти не видно: глаза у него вообще были маленькие, с узким и длинным, как у китайца, разрезом, но в дни «перекошенной морды» они и вовсе превращались в щелки. От него слова было не добиться, на всех он дулся, считая, что все вечно против него, на стороне Альберто, мало того – отец позволяет себе на него, такого взрослого, поднимать руку.

– Видала эту перекошенную морду? Гляди, надулся, как мышь на крупу! – говорил отец матери, едва Марио выходил из своей комнаты. – Ну, чего надулся? Слова из него не вытянешь! Вот осел-то!

Когда обида наконец проходила, Марио являлся в гостиную с какой-то задумчивой улыбкой, садился в кресло и, прикрыв глаза, поглаживая щеки, начинал повторять:

– Сало лежало немало.

Эту присказку он придумал сам и мог твердить ее без конца.

– Сало лежало немало. Сало вонючее стало. Сало воняло, как кало.

– Марио! – рявкал отец. – А ну прекрати свои гнусности!

– Сало лежало немало, – снова заводил Марио, как только отец закрывал за собой дверь кабинета.

А в гостиной мать рассказывала Терни, большому своему другу, про Марио.

– До чего ж он мил, когда ведет себя хорошо! Просто прелесть! Весь в Сильвио!

Сильвио – это брат матери, который покончил с собой. Его смерть была в нашем доме окружена ореолом таинственности, я и теперь знаю только, что он застрелился, а почему – не знаю. Думаю, этот ореол таинственности вокруг фигуры Сильвио создал главным образом

отец: он не хотел, чтобы мы знали, что в нашем роду был самоубийца, а быть может, существовали и другие, неведомые мне причины. Что касается матери, то она всегда с удовольствием рассказывала о Сильвио: по натуре мать была настолько жизнерадостна, что вбирала в себя и принимала все на свете; в любой вещи, в любом человеке находила радостное и хорошее, оставляя в тени грустное и недоброе, лишь изредка вспоминая его с легким вздохом.

Сильвио был поэтом и композитором. Он положил на музыку некоторые стихи Поля Верлена – «Опавшие листья» и другие. Играл он редко и плохо, свои сочинения напевал вполголоса, аккомпанируя себе на фортепьяно одним пальцем.

– Послушай, глупая, – говорил он моей матери, – послушай, до чего красиво.

Хотя играл он из рук вон плохо, а для пения ему не хватало голоса, слушать его, по словам матери, было одно удовольствие. Сильвио был очень элегантен, одевался с иголки: не дай бог, если стрелка на брюках была плохо отглажена; он ходил по Милану, опираясь на трость с набалдашником из слоновой кости, в соломенной шляпе, встречался с друзьями в кафе и разговаривал с ними о музыке. В рассказах матери Сильвио представлял всегда веселым человеком, и его гибель, когда я узнала подробности, показалась мне необъяснимой. У матери осталась выцветшая фотография, стоявшая на комод: Сильвио был снят в соломенной шляпе и с закрученными вверх усиками; рядом стояла другая фотография – мать с Анной Кулишовой под дождем, обе в шляпах с вуалью и перьями.

А еще у нас в шкафу хранилась незаконченная опера Сильвио «Пер Гюнт» – большие нотные тетради, перевязанные лентами.

– Как он был остроумен! – говорила мать. – Как обаятелен! А «Пер Гюнт» – просто выдающаяся вещь.

Мать не теряла надежды, что хотя бы кто-нибудь из нас станет музыкантом, как Сильвио; надежду эту мы не оправдали: ни у кого из нас не оказалось музыкального слуха, и если мы пытались петь, то страшно фальшивили, однако петь все мы очень любили; по утрам, прибирая в своей комнате, Паола заунывным голосом мурлыкала арии из опер и песни, услышанные от матери. Иногда они ходили с матерью на концерты, и Паола клялась, что музыку просто обожает, но братья говорили, что она притворяется и музыка ей до лампочки. Меня и братьев мать было попробовала повести на концерт, но мы там благополучно заснули; а в опере мы жаловались, что «из-за этой музыки совсем не слышно слов». Однажды мы с матерью отправились слушать «Мадам Баттерфляй». Я прихватила с собой «Коррьере дей пикколи»[2] и весь спектакль читала, стараясь разобрать слова при слабом свете, падавшем со сцены, и затыкая уши, чтобы не слышать грохота музыки.

Но когда пела мать, мы слушали ее с раскрытым ртом. Однажды Джино спросили, слышал ли он оперы Вагнера.

– Да, конечно, – ответил он, – я слышал, как мама поет «Лоэнгрин».

Отец музыку не просто не любил, а ненавидел: ненавидел все, что издавало музыку, будь то фортепьяно, губная гармошка или барабан. Однажды в Риме, после войны, мы были с ним в ресторане. К нам подошла нищенка. Официант хотел было прогнать ее. Отец на него прикрикнул:

– Не смейте прогонять эту бедную женщину! Оставьте ее в покое!

Он подал милостыню женщине, а разобиженный официант удалился в уголок, повесив на руку салфетку. И вдруг нищенка извлекла из-под своей широкой хламиды гитару и принялась играть. Отец сразу занервничал: стал двигать стаканы, тарелки, хлебницу, хлопал салфеткой

по коленям. Но женщина продолжала играть, то и дело благодарно кланяясь ему за оказанное покровительство и извлекая из гитары жалобное, протяжное дребезжание.

В конце концов отец не выдержал:

– Довольно! Уходите отсюда! Я не выношу этой музыки!

Но нищенка не унималась, а официант из своего угла кидал на нас злобные, торжествующие взгляды.

Помимо самоубийства Сильвио существовала в нашем доме еще одна таинственная история, правда, она имела отношение к людям, которые не сходили у родителей с уст: дело в том, что Турати и Кулишова хотя и не были женаты, но жили вместе. В этой таинственности тоже, по-моему, виноват был отец с его врожденной стыдливостью, мать вряд ли стала бы придавать этому значение. Наверное, проще было бы нам солгать, сказать, что Турати с Кулишовой – муж и жена. Но от нас или, во всяком случае, от меня, совсем еще девочки, скрывали, что они живут вместе, а я недоумевала, кто же они – супруги, брат с сестрой или еще кто, ведь эти имена всегда упоминались вместе. На мои вопросы все отвечали уклончиво. Я не понимала, откуда взялась Андреина, подруга детства моей матери и дочь Кулишовой, и почему ее фамилия была Коста, и при чем тут давно умерший Андреа Коста, которого часто упоминали в разговоре об этих людях.

Мать беспрестанно говорила о Турати и Кулишовой, и мне было известно, что оба живы, и живут в Милане (то ли вместе, то ли порознь), и до сих пор занимаются политикой, и борются против фашизма. В моем воображении они неизменно переплетались с другими персонажами материнских воспоминаний – ее родителями, Сильвио, Полоумным, Барбизоном. Все это были люди либо умершие, либо если и живые, то уж очень дряхлые участники событий далекого прошлого, когда моя мать была маленькой девочкой и слышала про «сестричку моей собачки» и про то, «чем воняет сернистая кислота»; люди эти были для меня чем-то нереальным, неосязаемым, ведь даже те из них, кто еще остались в живых и кого можно было встретить и потрогать пальцем, все равно были не такие, какими я их себе представляла; они в моем воображении соседствовали с умершими и потому обретали легкую, призрачную поступь.

– Ох, бедная Лидия! – то и дело вздыхала мать.

Таким образом она сама себе сочувствовала по поводу всех свалившихся на нее бед – нехватки денег, ругани отца, вечных драк Альберто и Марио, нежелания Альберто учиться и его увлечения футболом, наших надутых физиономий и надутой физиономии Наталины.

Я не отставала от всех и тоже частенько капризничала. Но я была мала, потому моя надутая физиономия в то время не очень беспокоила мать.

– Колется, колется!

– кричала я по утрам, когда мать натягивала на меня колючие шерстяные кофточки.

– Но ведь это такие хорошие кофты! – отвечала мать. – От «Нойберга»! Не выбрасывать же их!

Раз кофты куплены у «Нойберга», считала мать, значит, они непременно должны быть отменного качества и уж никак не могут колоться. Кофты покупались у «Нойберга», пальто шились у портного Маккерони, что же до зимней обуви, ее отец заказывал у сапожника, которого величал «синьор Кастаньери» и у которого была мастерская на виа Салуццо.

В столовую я входила еще надутая из-за кофточки от «Нойберга». При виде моей

физиономии мать восклицала:

– А вот и Мария Громовержица!

Мать ненавидела холод, потому и покупала у «Нойберга» все эти кофты. Она ненавидела постоянный, пронизывающий зимний холод, а вот ледяной душ принимать по утрам любила.

– Какой холод! – твердила она, натягивая на себя один свитер за другим и убирая даже пальцы в рукава. – Брр! Терпеть не могу холода!

И одергивала на мне кофту от «Нойберга», а я изо всех сил вырывалась.

– Чистая шерсть, Лидия! – передразнивала она одну старинную школьную подругу. – Подумать только, – добавляла она, – когда я вижу тебя в этой чудесной теплой кофте, у меня на душе становится теплее.

Ненавидела она и жару. В жару она начинала задыхаться, расстегивала воротник платья.

– Ну и жара! Терпеть не могу жару! – говорила она.

– Ну и неженка! – говорил отец. – Все вы такие неженки!

Когда мать с отцом куда-нибудь уезжали, она брала с собой целую кучу свитеров и платьев – от легких до шерстяных, а потом только и делала, что переодевалась при малейших изменениях погоды.

– Никогда не могу одеться по погоде, – говорила она.

– Как мне надоели твои жалобы на жару и на холод! – возмущался отец. – Тебе лишь бы ворчать.

По утрам у меня, как правило, не было аппетита. Молоко я ненавидела. «Медзорадо» – еще больше. Однако матери было известно, что у Фрэнсис я на полдник послушно выпивала молоко, и у Терни тоже. На самом деле я пила его с не меньшим отвращением, чем дома, просто у чужих неудобно было отказываться. А мать решила, что у Фрэнсис мне молоко нравится. Поэтому, когда дома я отодвигала от себя чашку молока, мать начинала меня уговаривать:

– Но его же принесли от Фрэнсис! Это от ее коровы!

Она внушала мне, что за этим молоком посылали к Фрэнсис, что у Фрэнсис своя корова и молоко они покупают не у молочника, а каждый день получают из имений в Нормандии, из деревни Груше.

– Это молоко из Груше! Лучо его тоже пьет!

Мать довольно долго меня обхаживала с этим молоком, но, поскольку я решительно отказывалась его пить, Наталине в конце концов приходилось варить мне овощной суп.

Хотя по возрасту мне уже было пора в школу, но меня туда не пускали: отец говорил, что школа – рассадник инфекции. По той же причине мои братья также прошли начальную школу на дому, с репетиторами. Мне же уроки давала мать. Арифметика мне не давалась: я никак не могла усвоить таблицу умножения. Мать выбивалась из сил. Приносила из сада камешки или доставала конфеты и раскладывала их на столе. В нашем доме не ели конфет: отец говорил, что от них портятся зубы, и мы никогда не держали ни шоколада, ни других сладостей, потому что есть «не за столом» было запрещено. Из сладкого ели только (и то всегда за столом) «хворост», который научила нас печь какая-то немка; из экономии этот

«хворост» делали так часто, что мы его уже видеть больше не могли. Было еще одно сладкое блюдо, его готовила Наталина, и называлось оно «пирожное Грессоне», может потому, что Наталина научилась его делать, когда мы были в Грессоне, в горах.

Конфеты мать покупала только для того, чтобы научить меня арифметике. Но во мне камешки и конфеты, связанные с арифметикой, вызывали одно отвращение. Для изучения современной методики мать подписалась на педагогический журнал под названием «Право и школа». Не знаю, что она почерпнула из этого журнала по части методики, скорее всего – ничего, однако отыскала там стихотворение, которое очень ей нравилось, она часто читала его моим братьям:

Друзья, восславим хором

Красавицу синьору,

Своей прелестной ручкой

Она творит добро.

Обучая меня географии, мать рассказывала о всех странах, где в юности побывал отец. Он был в Индии, где заболел холерой и вроде бы желтой лихорадкой, был также в Германии и Голландии. Затем отправился на Шпицберген, где забирался в череп кита в поисках спинномозговых сплетений, но не смог их отыскать. Зато весь перепачкался в китовой крови, одежда, которую он привез обратно, задубела от высохшей крови. В нашем доме было множество фотографий отца в компании китов; мать мне их показывала, но они меня разочаровали, потому что были нечеткими: отец, как бледная тень, маячил где-то на заднем плане, а у китов нельзя было рассмотреть ни морды, ни хвоста – только какие-то серые распиленные бугры, вот вам и весь кит.

Весной в нашем саду расцветало множество роз; как они росли – для меня загадка, потому что никому из нас и в голову не приходило их полить или подрезать; раз в год, и то слава богу, приходил садовник, видимо, этого было достаточно.

– Розы, Лидия! Фиалки, Лидия! – Это мать, гуляя по саду, передразнивала свою школьную подругу.

Весной к нам в сад приходили детишки Терни, а с ними нянька Ассунта в белом передничке и белых фильдекосовых чулках; она снимала туфли и ставила их рядом с собой на лужайке. Кукко и Луллина – дети Терни – тоже были в белом, и мать надевала на них мои фартуки, чтобы их костюмчики не запачкались.

– Тсс, тсс! Посмотрите, что делает Кукко! – восхищался Терни своими ребятами, игравшими в песке.

Он тоже снимал ботинки и куртку на лужайке и принимался играть в мяч, но, услышав шаги моего отца, тут же одевался.

В саду у нас росла вишня, и Альберто залезал на дерево поесть вишен с друзьями – Фринко, мрачным книгочеем в свитере и кепке, и братьями Лучо.

Сам Лучо в хорошую погоду дневал и ночевал у нас, потому что у них не было сада. Лучо был воспитанный, хрупкий мальчик и за столом почти ничего не ел: проглотит кусочек и со вздохом откладывает вилку.

– Я стгашно устаю жевать, – говорил он, картавя, как и все в его семье.

Лучо был фашистом, и мои братья доводили его, всячески понося Муссолини.

– Не будем говогить о политике, – умолял Лучо при виде моих братьев.

В детстве у него были длинные черные кудри, свисавшие на лоб тугими колбасками, затем его остригли, и он стал зализывать волосы назад, умащивая их брильянтином. Одет он был всегда как маленький мужчина: узенькие пиджаки и галстучки бабочкой. Читать он научился вместе со мной, но я прочитала кучу книг, а он – всего несколько, так как читал медленно и уставал. Тем не менее, бывая у нас в доме, он тоже читал, подражая мне: я, утомившись от игр, рано или поздно валилась с книгой на лужайку. Потом Лучо с гордостью говорил моим братьям, что прочел целую книгу – они то и дело поднимали его на смех за то, что он мало читает.

– Вчера я прочел на две лиры. Сегодня – на пять, – самодовольно говорил он, указывая на цену книжки.

По вечерам за ним приходила служанка, некая Мария Буонинсеньи, морщинистая старушка с вылезшей лисой на шее. Эта Мария Буонинсеньи была глубоко верующая женщина и водила нас с Лучо к мессе или на крестные ходы. Она была в дружбе со священником, отцом Семериа, и все время об этом говорила; однажды, во время уж не помню какого церковного праздника, она представила меня и Лучо отцу Семериа; погладив нас по головке, он спросил Марию, не ее ли мы дети.

– Нет, это дети моих друзей, – ответила она.

Лопесы и Терни гор не любили, и мой отец иногда совершал вылазки и восхождения со своим другом по фамилии Галеотти.

Галеотти жил в деревне Поццуоло с сестрой и племянником. Мать побывала однажды в этой деревне, очень весело провела время и часто вспоминала о днях, проведенных в Поццуоло: там были куры и индюшки, а еще потрясающие обеды. С Адель Разетти, сестрой Галеотти, они очень много гуляли; Адель сообщала матери названия трав, деревьев, насекомых: в их семье все были энтомологами и ботаниками. Потом она подарила матери свою картину, на которой было изображено альпийское озеро; мы повесили ее в столовой. Адель вставала очень рано, чтобы дать распоряжения фермеру, или заняться живописью, или пойти на луг «собрать гербарий». Она была маленькая, худенькая, остроносенькая, всегда в соломенной шляпе.

– Молодчина эта Адель! Рано встает, рисует! Собирает гербарий! – восхищалась мать; сама она не умела ни рисовать, ни отличить базилик от цикория.

Мать была ленива, а потому восхищалась деятельными людьми; всякий раз после того, как виделась с Адель Разетти, она усаживалась за научные книги, чтобы вычитать что-нибудь о насекомых и растениях, но ей это быстро надоедало, и она все бросала.

Галеотти навещал нас летом в горах; с ним приходил племянник, сын Адели и друг моего брата Джино. Бабушка по утрам места себе не находила, все думала, какое платье надеть.

– Надень серое с пуговками, – советовала мать.

– Нет, Галеотти его уже видел! – И бабушка в отчаянии заламывала руки.

Галеотти никогда не достаивал бабушку и взглядом: он был занят разговорами с отцом о подъемах и спусках. А бабушка, несмотря на свои волнения по поводу «вчерашнего платья», на самом деле Галеотти не очень-то жаловала – считала грубым, неотесанным и боялась,

что в горах он заведет отца в какое-нибудь опасное место.

Племянника Галеотти звали Франко Разетти. Он изучал физику, но тоже был помешан на сборе насекомых, минералов и заразил этим Джино. С гор они притаскивали образчики мха, завернутые в носовой платок, дохлых жуков и различные кристаллы – ими был набит весь рюкзак. Франко Разетти за столом не умолкая говорил о физике, геологии и насекомых и все время катал по скатерти хлебные шарики. У него были острые, как у матери, подбородок и нос, а под носом щеточка усов; кожа у него, словно у ящерицы, отливала зеленым.

– Очень умен, – говорил о нем мой отец. – Но такой сухарь! Ученый сухарь!

Однако этот «ученый сухарь» как-то раз написал стихотворение; это произошло, когда они с Джино, спускаясь с гор, укрылись в заброшенной хижине, чтобы переждать дождь.

Дождь сыплет, монотонный и упорный,

Из-за хребтов надвинулся стеною,

И зелень трав, и тьму ущелий черных

Покрыв однообразной пеленою.

Джино стихов не писал и не любил ни поэзию, ни прозу. Но это стихотворение ему почему-то очень нравилось, и он постоянно его декламировал. Оно было длинное, но я запомнила только одну строфу.

Мне эти стихи про «черные ущелья» тоже казались замечательными, даже завидно было: ну почему не я их написала? Ведь все так просто – «зелень трав», «черные ущелья»: сколько раз я смотрела на них, но ничего поэтического не увидела. Значит, смотрела не так. А может, со стихами всегда так: ничего особенного в них нет и сделаны они из ничего, из вещей, которые нас окружают. Я стала приглядываться ко всему вокруг в поисках чего-либо подобного «черным ущельям» и «зелени трав». Уж на этот раз никто их у меня не украдет.

– Джино и Разетти здорово ходят! – говорил отец. – Одолели Эгий-Нуар-де-Петере! Просто здорово! Жаль, что Разетти не интересуется политикой! Сухарь, одним словом!

– А вот Адель совсем не сухарь, – говорила мать. – Она молодчина – встает рано, рисует! Мне бы хотелось быть такой, как Адель!

Галеотти был низенький, толстый и всегда веселый человечек в мохнатом сером свитере. У него были седые усики, какие-то пегие волосы и загорелое лицо. Все мы его очень любили. Впрочем, я не очень хорошо его помню.

Однажды я увидела, что моя мать и Терни стоят в прихожей, а мать плачет. Мне сказали, что Галеотти умер.

Эти слова – «Галеотти умер» – так и остались во мне навсегда. С тех пор как я появилась на свет, из наших друзей и близких еще никто не умирал. Смерть у меня в голове переплелась неразрывно с веселым клубком серой шерсти, который летом часто прикатывал к нам в горы.

Галеотти умер скоропостижно, от воспаления легких.

Много лет спустя, после открытия пенициллина, отец говорил:



– Будь в то время пенициллин, Галеотти бы остался жив. Он ведь умер от стрептококковой пневмонии. Теперь ее лечат.

Мой отец, стоило кому-нибудь умереть, тут же добавлял к его имени эпитет «бедный» и очень сердился на мать, не имевшую такой привычки. А у отца это была семейная традиция: например, бабушка свою покойную сестру именовала исключительно «бедняжка Регина» – и не иначе.

Словом, не прошло и часа после его смерти, как Галеотти стал «бедным Галеотти». Бабушке эту новость сообщили с величайшей осторожностью, потому что она очень боялась смерти и, если умирали ее знакомые, считала, что это вокруг нее смерть бродит кругами.

Отец после смерти Галеотти говорил, что теперь и горы ему не в радость. Он ходил по-прежнему, но уже без того удовольствия. Они с матерью стали вспоминать дни, когда Галеотти был жив, как время беспредельного счастья, веселья, молодости, когда горы еще не потеряли для отца своего очарования и когда казалось, что фашизму скоро придет конец.

– Какой у нас Марио хорошенький! – говорила мать, глядя по головке Марио, который только что проснулся и не мог еще продрать свои щелки.

– Сало лежало немало, – говорил Марио, сонно улыбаясь и потирая щеки. Это значило, что он сегодня в настроении и готов даже поболтать с мамой, с Паолой и со мной.

– Ты мой милый, ты мой красавчик! – говорила мать. – Ну вылитый Сильвио! А еще он похож на Суэс Айя Каву!

Суэс Айя Кава был известным в то время киноактером. Когда мать видела на экране скуластое лицо и монгольские глаза Суэс Айя Кавы, она восклицала:

– Копия – Марио! Смотри, Беппино, правда, наш Марио красавчик? – спрашивала она отца.

– Не нахожу, – отвечал отец. – Джино гораздо красивее.

– И Джино тоже красавчик, – кивала мать. – Все они очень симпатичные. Таких детей ни у кого нет!

А уж если Джино или Марио облачались в новый костюмчик от портного Маккерони, восторгам матери не было конца.

– Ах, какие милые дети, в новых костюмчиках я их еще больше люблю!

По поводу красоты и уродства у нас в доме никогда не сходились во мнениях. Например, спорили, красива или нет некая синьора Джильда из Палермо, служившая у наших друзей гувернанткой. Братья уверяли, что она просто страшилище, но мать говорила, что она необыкновенная красotka.

– Да ты что! – орал отец, закатываясь тем громовым смехом, от которого все дрожало в доме.  
– Да ты что! Какая она красotka!

Так же долго обсуждалось, кто страшней – Коломбо или Козны – это наши летние знакомые.

– Козны страшней! – надрывался отец. – Да как можно их сравнивать с Коломбо? Это же небо и земля! Глаз у тебя нет, что ли! Все вы слепые!

О своих многочисленных двоюродных сестрах – Маргаритах или Регинах – отец всегда отзывался с восхищением:

– Регина в молодости такая была красавица!

– Ну что ты, Беппино! – возражала мать. – Какая же она красавица! – И мать вытягивала подбородок и нижнюю губу, чтобы показать уродство Регины.

– Да что ты понимаешь в женской красоте? – возмущался отец. – Ведь, по-твоему, Коломбо страшней Коэнов!

Джино был серьезный, прилежный и спокойный мальчик; он никогда не дрался с братьями, был заправским скалолазом и отцовским любимчиком. Отец ни разу на моей памяти не назвал его «ослом», правда говорил, что «язык у него плохо подвешен». «Плохо подвешенный язык» на нашем лексиконе означал, что из Джино слова не вытянешь. Джино в самом деле был неразговорчив: он все читал, а когда к нему обращались, отвечал односложно, не поднимая головы. Когда Альберто и Марио пускали в ход кулаки, он и ухом не вел – продолжал себе читать, и матери приходилось трясти его, чтобы он их разнял. Во время чтения он машинально ел хлеб, одну булку за другой: после обеда Джино мог съесть не меньше килограмма.

– Джино, – кричал отец. – Ты что, язык проглотил? Расскажи же что-нибудь! И не ешь столько хлеба, иначе будет несварение желудка!

У Джино действительно часто бывало несварение: тогда он наливался кровью, ходил мрачный, а его растопыренные уши пылали огнем. Отца недомогание Джино очень тревожило, и он, бывало, будил мать по ночам, спрашивая:

– Чего это Джино надулся, как мышь на крупу? Уж не натворил ли он бед?

Настоящего несварения отец никогда не умел распознать: если сын дулся на весь свет, он тут же определял несварение, а стоило тому и в самом деле заболеть животом, подозревал какую-нибудь темную историю с женщинами – «с кокотками», как он выражался.

Иногда по вечерам он водил Джино к Лопесам, поскольку был глубоко убежден, что Джино – самый серьезный, воспитанный и презентабельный из его сыновей. Правда, у Джино была одна слабость – поспать после обеда; засыпал он и у Лопесов, в кресле, сидя против Фрэнсис, которая ему что-то говорила, а у него глаза слипались, он начинал клевать носом и вскоре засыпал с блаженной улыбкой, сложив руки на животе.

– Джино! – рывкал отец. – Джино, не смей спать! Вот и води вас в приличный дом!

С одной стороны, были Джино и Разетти с их горами и «черными ущельями», кристаллами и насекомыми. С другой – Марио Паола и Терни, ненавидевшие горы и любившие теплые помещения, полутьму, кофе. Они обожали картины Казорати, театр Пиранделло, стихи Верлена, издания Галлимара, Пруста. Это были два несовместимых мира.

Я еще не знала, какому отдать предпочтение. Меня привлекали оба. Я еще не решила, чем буду заниматься в жизни: изучать жесткокрылых, химию, ботанику или рисовать картины, писать романы. В мире Разетти и Джино все происходило при свете солнца, все было ясно, логично, без каких-либо тайн и недомолвок; а вот в речах Терни, Паолы и Марио на диване в гостиной сквозило нечто таинственное, непостижимое, одновременно притягивающее и пугающее меня.

– О чем это они там шепчутся? – спрашивал отец у матери, кивая на Терни, Марио и Паолу. – Вечно шепчутся по углам! Что значат все эти финтифанты?

«Финтифантами» отец называл всякие секреты; он не терпел, когда от него что-либо скрывали.

– Должно быть, говорят о Прусте, – объясняла ему мать.

Мать, как и Терни с Паолой, очень любила Пруста. Она рассказывала о нем отцу: Пруст обожал мать и бабушку, страдал астмой и постоянной бессонницей, а так как он не терпел шума, то обил пробкой стены своей комнаты.

– Видно, порядочный был пентюх! – хмыкал отец. Для матери не существовало выбора между двумя мирами: она погружалась и в тот, и в другой с одинаковой радостью, потому что в своей любознательности никогда ничего не отвергала.

Отец, напротив, посматривал на все новое с недоверием. Он боялся, что книги, которые Терни таскал к нам в дом, для нас «не подходят».

– Разве это подходит для Паолы? – спрашивал он мать, листая Пруста и выхватывая наугад какую-нибудь фразу. – Тягомотина, должно быть, – говорил он, бросая книгу: то, что это «тягомотина», его немного успокаивало.

А на репродукции с картин Казорати, тоже попавшие к нам от Терни, отец спокойно смотреть не мог.

– Мазня! Свинство!

Живописью он и вовсе не интересовался. Мать, когда они ездили в другие города, водила его по музеям. Со стариками, как то Гойя или Тициан, он еще кое-как мирился, поскольку они были общепризнанны и всеми превозносились. Однако картинные галереи он осматривал молниеносно и не давал матери задерживаться перед полотнами.

– Лидия, пошли, пошли отсюда! – торопил он ее: во время путешествий он вечно куда-то спешил.

Впрочем, мать тоже не была большой любительницей живописи. Однако Казорати она знала лично и считала его обаятельным.

– У него очень милое лицо.

«Милое лицо» художника было для нее достаточным аргументом в пользу его картин.

– Я была в мастерской Казорати, – объявляла сестра, возвращаясь домой.

– Очень обаятельный человек! – откликнулась мать. – Такое милое лицо!

– Какого черта Паола шляется в мастерскую Казорати? – спрашивал отец, подозрительно хмуря брови. Он был одержим страхами, что мы, того и гляди, «попадем в беду», то есть любовную ловушку, и во всем видел угрозу нашему целомудрию.

– Просто так, она ходила туда с Терни по приглашению Неллы Маркезини, – объясняла моя мать.

Нелла Маркезини и моя сестра дружили с детства, отец хорошо знал и уважал ее: одного имени Неллы было довольно, чтоб он успокоился. Нелла Маркезини брала у Казорати уроки живописи, и ее присутствие в мастерской художника отец считал вполне законным. Вряд ли бы его успокоило, если бы мать упомянула одного Терни: его отец не считал надежным покровителем.

– Терни, видно, время девать некуда, – замечал он. – Лучше бы заканчивал работу по патологии тканей. Уж целый год об этом твердит.

– А знаешь, ведь Казорати антифашист, – говорила ему мать.

Со временем антифашистов становилось все меньше и меньше, и отец, когда слышал хотя бы об одном, очень радовался.

– Антифашист, говоришь? – заинтересованно переспрашивал он. – Но все равно картины у него – сплошная мазня! Как они могут нравиться людям!

Терни был большим другом Петролини. Когда Петролини приехал в Турин на гастроли, у Терни почти каждый вечер были контрамарки в партер, и он щедро делился ими с моими братьями и матерью.

– Как здорово! – радовалась она. – Сегодня вечером мы опять идем на Петролини! Я так люблю сидеть в партере! А Петролини, он такой обаятельный, такой остроумный! Наверняка он бы и Сильвио понравился.

– Значит, ты снова на весь вечер бросаешь меня одного, – говорил отец.

– Пойдем вместе, – предлагала мать.

– Еще чего! Чтоб я пошел посмотреть на этого паяца! Очень нужно!

– Мы с Терни ходили к Петролини за кулисы, – сообщала мать на следующий день. – И Мэри с нами. Они с Петролини большие друзья.

Присутствие Мэри, жены Терни, было для отца авторитетным и успокаивающим аргументом, ибо он глубоко уважал Мэри и восхищался ею. Присутствие Мэри придавало законность и приличие как вечерним посещениям театра, так в известной степени и фигуре самого Петролини, которого отец все-таки презирал, полагая, что тот, выходя на сцену, приклеивает нос и красит волосы.

– Не могу понять, – искренне изумлялся он, – что Мэри нашла в этом Петролини. Тоже мне удовольствие – смотреть на этого фигляра! Ну ладно вы и Терни, вы вечно восторгаетесь всякими недоумками. Но Мэри – что она в нем нашла? Ведь он, по всему виду, темная личность.

По мнению отца, актер, в особенности комик, кривляющийся на сцене для потехи публики, не может не быть «темной личностью». Мать в таких случаях всегда напоминала ему, что его брат Чезаре всю жизнь провел в актерской среде и женился на актрисе. Неужели же все те люди, с которыми общался его брат, были «темными личностями» только потому, что рядились и красили волосы.

– А Мольер? – говорила мать. – Ведь он тоже был актером. По-твоему, и он – темная личность?

Мольера отец очень почитал.

– Ну, Мольер! Мольер – другое дело! Бедный Чезаре безумно любил Мольера! Но нельзя же ставить Петролини на одну доску с Мольером! – И он громоподобно хохотал при одной мысли о таком сравнении.

В театр ходили обычно моя мать, Паола и Марио; ходили обычно с Терни, которые, когда не имели контрамарок, как на спектакли Петролини, абонировали ложу и приглашали их к себе. Поэтому отец не мог упрекнуть мать в том, что она бросает деньги на ветер; к тому же он всегда был рад, если мать проводила время с Мэри. И все-таки он не упускал случая попенять матери:

– У тебя только развлечения на уме, а я сижу тут один!

– Но ты же не выходишь из кабинета, – возражала мать. – Из тебя слова не вытянешь. Вот если бы ты проводил вечера со мной...

– Ну и ослица! – говорил отец. – Ты же знаешь, что у меня дела. Я ведь не такой бездельник, как вы все. К тому же я женился не для того, чтобы просиживать с тобой целые вечера.

По вечерам в кабинете отец работал – правил гранки своих книг, наклеивал иллюстрации. Однако иногда читал романы.

– Интересный роман, Беппино? – спрашивала мать.

– Да что ты! Скучища! Недоумок писал.

Но читал тем не менее очень увлеченно, курил трубку и смахивал пепел со страниц. Возвращаясь из поездок, он всегда привозил с собой детективные романы, которые покупал в привокзальных киосках, и заканчивал их чтение по вечерам у себя в кабинете. Обычно это были романы на английском или немецком языке: видимо, читать эти романы на иностранном языке казалось ему менее легкомысленным.

– Вот недоумок! – говорил он, пожимая плечами, но тем не менее дочитывал все до последней строчки.

Позднее, когда стали выходить романы Сименона, отец стал их приверженцем.

– А что, он не так уж плох, этот Сименон. Хорошо описывает французскую провинцию. Провинциальная среда ему удастся!

Но тогда, во времена виа Пастренго, романов Сименона еще не было, и отец привозил книжонки в блестящих обложках с изображением задуманных женщин.

– Поглядите, какую чепуху читает этот Беппино! – говорила мать, наткнувшись на них в карманах отцовского пальто.

Терни способствовал заключению негласного союза между Паолой и Марио, который сохранялся и в его отсутствие. Это было, насколько я могла понять, родство душ под знаком меланхолии. В сумерках Паола и Марио совершали меланхолические прогулки – либо вдвоем, либо каждый по отдельности – или же со страдальческими придыханиями читали друг другу печальные стихи.

Что касается Терни, то он, насколько я помню, вовсе не был таким уж меланхоликом: не стремился к уединению, не совершал прогулок под луной. Терни жил совершенно нормальной жизнью – в своем доме с женой Мэри, детьми Кукко и Луллиной, которых они вместе с женой и нянькой Ассунтой баловали, потому что души в них не чаяли. Но Паоле и Марио Терни привил вкус к меланхолии, точно так же как к чтению «Нувель ревю франсез» и репродукциям с картин Казорати. Этому влиянию поддались именно Паола и Марио, а не Джино – они с Терни друг друга недолюбливали – и уж никак не Альберто – этому было наплевать на поэзию и живопись, он после «Старой девы по имени Ева» не написал больше ни одного стиха, а бредил только футболом; я тоже осталась в стороне: Терни меня интересовал лишь как отец Кукко, мальчика, с которым я иногда играла.

Паоле и Марио, погруженным в свою меланхолию, был ненавистен деспотизм отца и довольно суровые, простые порядки нашего дома; они считали себя там изгоями и грезил о другом жилище с другими нравами. Их протест выражался в надутых физиономиях и гримасах, потухших взглядах, односложных ответах, яростном хлопанье дверьми, так что тряса весь дом, и решительном отказе идти в горы по субботам и воскресеньям. Стоило

отцу удалиться, они приходили в нормальное расположение духа, потому что их протест на мать не распространялся, а был направлен лишь против отца. Они с удовольствием слушали рассказы матери и хором декламировали стихи о наводнении.

Вот уже несколько дней, как вода поднималась все выше!

Марио хотелось изучать право, но отец заставил его поступить на торгово-экономический факультет: он, неизвестно почему, считал, что юридический факультет – это несерьезно и не дает надежных гарантий на будущее. Марио на годы затаил в душе обиду. Что же до Паолы, то она и подавно была недовольна своей жизнью: ей хотелось лучше одеваться, из ее платьев ни одно ей не нравилось, потому что все они, как она утверждала, недостаточно женственны и топорно скроены, ведь ее обшивал все тот же Маккерони, мужской мастер, который, по мнению отца, шил хорошо и недорого. У матери была своя портниха – Аличе, но мать была ею недовольна.

– Как хочется платье из чистого шелка! – говорила матери моя сестра, когда они болтали в гостиной.

– Мне тоже! – отвечала мать, и обе принимались листать модные журналы.

– Я хотела бы, – говорила мать, – сделать себе платье покроя «принцесс» из чистого шелка.

– Я тоже! – вздыхала сестра.

Но чистый шелк был нам не по карману: в доме вечно не было денег. К тому же портниха Аличе все равно бы загубила его.

Паоле хотелось коротко остричься, ходить на высоких каблуках, а не в грубых мужских башмаках, сработанных «синьором Кастаньери», хотелось ходить на вечеринки к подругам и играть в теннис. Ничего подобного ей не позволялось: по субботам и воскресеньям отец и Джино почти насильно тащили ее в горы. Паола считала Джино ужасным занудой под стать его другу Разетти и всем прочим друзьям; горы же она терпеть не могла. Тем не менее каталась на лыжах она хорошо, не как профессионал, конечно, однако усталости не знала и бесстрашна была, как львица, когда устремлялась по самым головокружительным спускам. Видя, с какой неистовой скоростью она летит вниз, я решила, что лыжный спорт ей доставляет удовольствие, но Паола продолжала упрямо твердить о своей неприязни к горам, к лыжным ботинкам, шерстяным гольфам и страшно расстраивалась из-за веснушек, появлявшихся от солнца на маленьком аккуратном носике; чтобы скрыть эти веснушки, она густо после вылазок в горы запудривала лицо белой пудрой. Ей хотелось выглядеть болезненной, хрупкой, бледной, как женщины с полотен Казорати, и она злилась, когда ей говорили, что она «свежа, как роза». При виде ее бледного лица отец, не подозревавший, что она пудрится, заставлял ее принимать железо от малокровия.

Отец по ночам будил мать и говорил ей о Марио и Паоле:

– Какая блоха их укусила? Мне кажется, этот недоумок Терни настраивает их против меня.

О чем шептались Терни, Паола и Марио на диване в гостиной, я не знала и до сих пор не знаю, но иногда они действительно говорили о Прусте. Тогда и мать вступала в их разговор.

– *La petite phrase!*[3] – восклицала мать. – Как прекрасно он говорит о *petite phrase!* Сильвио наверняка бы это оценил.

Терни вынимал леденец изо рта и обтирал его платочком на манер Свана.

– Тсс, тсс! – шептал он. – Прислушайтесь, как потрясающе это звучит!

Паола и мать потом весь день его передразнивали.

– Чушь! – говорил отец, поймав на лету какую-нибудь фразу. – Надоела эта ваша болтовня! – И уходил к себе в кабинет. – Терни! – кричал он оттуда. – Вы так и не кончили своей работы по патологии тканей! Слишком много времени убиваете на глупости! Вы ленивы и мало работаете. Вы большой лентяй!

Паола была влюблена в одного своего товарища по университету. Это был маленький, subtilный, вежливый юноша с вкрадчивым голосом. Вместе они гуляли по набережным По и садам Валентино и говорили о Прусте: молодой человек был его пылким поклонником, более того – первым в Италии опубликовал статью о Прусте. Юноша писал рассказы, занимался литературоведением. Паола, по-моему, влюбилась в него только потому, что он был прямой противоположностью отцу – маленький, вежливый, с таким мягким, вкрадчивым голосом; к тому же он ничего не смыслил в патологии тканей и ни разу не стоял на лыжах. Узнав об этих прогулках, отец пришел в бешенство: во-первых, его дочери не должны гулять с мужчинами, а во-вторых, по его мнению, литератор, критик, писатель мог быть только легкомысленной, недостойной и даже «темной личностью» – в общем, писательский мир вызывал у него отвращение. Однако же Паола продолжала свои прогулки, несмотря на запрет отца; иногда она со своим кавалером попадалась на глаза Лопесам или еще кому-нибудь из друзей наших родителей, которые, зная о запрете, прилежно доносили отцу. Только Терни помалкивал, потому что Паола во время разговоров на диване сделала его своим тайным поверенным.

– Не выпускай ее из дому! – кричал отец матери. – Я запрещаю!

Мать также была недовольна этими свиданиями и к юноше относилась настороженно: отец заразил ее своим необъяснимым, инстинктивным презрением к писательской братии, совершенно нам незнакомой, поскольку у нас бывали одни биологи, ученые или инженеры. Мать была очень привязана к Паоле, и до того, как у той возник роман с молодым литератором, они часто и подолгу бродили вместе по городу и разглядывали в витринах «платья из чистого шелка», которые не могли себе купить. Теперь у Паолы не было времени гулять с матерью, но, если они и выходили под ручку в город, разговор неизменно обращался у них на молодого человека Паолы, и обе возвращались домой злые друг на друга, ибо мать не оказывала юноше, почти ей незнакомому, той сердечности, которой требовала от нее Паола. Однако мать была совершенно не способна никому ничего запретить.

– Ты для них не авторитет! – орал отец, не давая ей спать по ночам.

Впрочем, как выяснилось, он тоже большим авторитетом не пользовался, потому что увлечение Паолы с годами прошло само собой, как догорает свеча, а вовсе не по воле отца и независимо от его криков и запретов.

Надо сказать, преследовал отец не только Паолу с ее subtilным кавалером, но и моего брата Альберто, который, вместо того чтобы делать уроки, гонял в футбол. Среди всех видов спорта отец признавал только горные. Остальные называл либо легкомысленными светскими развлечениями, как теннис, либо напрасной потерей времени, как плавание; море, пляжи, песок он ненавидел; что же касается футбола, то его отец к спорту даже не причислял, считая игрой уличных сорванцов. Джино учился хорошо, Марио тоже, Паола не училась, но отцу не было до этого дела – ведь она девушка, а девушке, по его мнению, учиться вовсе необязательно: все равно потом выйдет замуж; так, про меня отец даже не знал, что у меня не клеится с арифметикой, только мать переживала, ведь это ей приходилось со мной мучиться. Альберто же совсем забросил учебу, и отец, другими сыновьями к этому не приученный, раздражался страшным гневом, когда Альберто приносил домой плохие отметки или его временно исключали из школы за недисциплинированность. Отец переживал за будущее всех своих сыновей и, просыпаясь по ночам, говорил матери:

– Что будет с Джино? Что будет с Марио? – Но за Альберто, который был еще гимназистом, он не просто переживал, а находился в состоянии настоящей паники. – Каков негодяй! Каков мерзавец!

Он даже не называл Альберто «ослом», потому что это в применении к Альберто казалось ему недостаточным: вина Альберто была неслыханной, чудовищной. Альберто либо гонял мяч на футбольном поле, откуда возвращался весь грязный и нередко с разбитыми в кровь коленками и забинтованной головой, либо шлялся где-то с друзьями и всегда опаздывал к обеду. Сидя за столом, отец нервничал, двигал стаканы, крошил хлеб, и неизвестно было, на кого он в данный момент сердится – то ли на Муссолини, то ли на Альберто, до сих пор не вернувшегося домой.

– Негодяй! Мерзавец! – восклицал он, когда Наталина вносила суп.

Обед продолжался, и гнев отца все возрастал. К десерту появлялся наконец шалопай – свежий, розовый, сияющий. Вот кто никогда не дулся и был неизменно весел.

– Негодяй! – гремел отец. – Где ты пропадал?

– В школе, – отвечал Альберто своим звонким мальчишеским голосом. – А потом пошел проводить друга.

– Друга! Негодяй – вот ты кто! Уже удар пробил!

«Ударом» отец называл час дня и то, что Альберто вернулся после «удара», воспринимал как неслыханный проступок.

Мать тоже жаловалась на Альберто:

– Вечно он грязный! Мотается повсюду, как оборванец! Только и делает, что выпрашивает у меня деньги! А учиться не желает.

– Я сбегаю на минутку к Пайетте. Сбегаю на минутку к Пестелли! Мам, дай две лиры, а? – Это была обычная песенка Альберто, других от него не слыхивали. И не потому, что он был необщителен, напротив, его общительности, подвижности и веселости мы могли бы позавидовать, просто он очень редко бывал дома.

– Вечно он с этим Пайеттой! Все Пайетта да Пайетта! – Имя «Пайетта» мать произносила с каким-то особым раздражением, словно взваливая на него вину за частые отлучки Альберто.

Две лиры были даже тогда небольшой суммой, но Альберто просил по две лиры несколько раз в день. Вздыхая и гремя ключами, мать отпирала ящик своего бюро. Альберто вечно нужны были деньги. Он повадился сплавлять букинисту книги из нашей библиотеки, так что стеллажи постепенно пустели, и отец время от времени безуспешно искал нужную ему книгу. Во избежание скандала мать говорила, что дала ее почитать Фрэнсис, хотя прекрасно знала, куда деваются книги. Иногда Альберто относил в ломбард фамильное серебро, и мать, обнаружив пропажу какого-нибудь кофейника, плакалась Паоле:

– Ты себе не представляешь, что он опять натворил! Ну что он со мной делает! И отцу не пожалуешься: он ведь его убьет!

Она так боялась отцовского гнева, что разыскивала квитанции из ломбарда в ящиках Альберто и тайком посылала Рину выкупать свое серебро.

Альберто не дружил больше с Фринко, канувшим в неизвестность вместе со своими романами ужасов; раздружил он и с сыновьями Фрэнсис. У Альберто были теперь Пайетта и Пестелли, его школьные товарищи, которые учились, однако, весьма прилежно; мать то и



дело повторяла, что Альберто бы надо брать пример со своих друзей.

– Пестелли, – внушала она отцу, – очень хороший мальчик. Из уважаемой семьи. Его отец – тот самый Пестелли, который пишет в «Стампе». А мать знаешь кто? Карола Проспери, – говорила она с гордостью, пытаясь как-то возвысить Альберто в глазах отца.

Карола Проспери была писательницей, и ее книги нравились матери. Она явно выделяла Каролу из низменной среды литераторов, потому что та писала книги для детей, а ее взрослые романы были, по словам матери, «хорошей литературой». Отец, не прочитавший ни одной книги Каролы Проспери, лишь пожимал плечами.

Что касается Пайетты, то его в первый раз арестовали еще гимназистом за то, что он между партами разбрасывал антифашистские брошюры. Альберто, как одного из его ближайших друзей, вызывали на допрос в полицейский участок. Пайетту отправили в исправительный дом для малолетних, и мать говорила отцу все с той же гордостью:

– Ну, Беппино, что я тебе говорила? Альберто умеет выбирать друзей. Все они серьезные и хорошие ребята.

Отец пожимал плечами. Он тоже в душе был горд тем, что Альберто допрашивали в участке, и даже несколько дней не называл его негодяем.

– Оборванец! – говорила мать, когда Альберто возвращался с футбола взмокший, в разорванной одежде, с волосами, слипшимися от грязи. – Оборванец!

– Он курит и сбрасывает пепел на пол! – жаловалась она подругам. – Валяется на постели в ботинках и пачкает одеяло! Вечно клянит у меня деньги. А ведь какой был мальчик! Добрый, послушный, ну просто золото! Я его маленького водила в кружавчиках, и у него были такие чудные локоны! И вот во что превратился!

Друзья Альберто и Марио редко появлялись в нашем доме; Джино, напротив, всегда приводил по вечерам своих друзей.

Отец приглашал их с нами отужинать. Он всегда был рад угостить людей, хоть иногда еды на всех не хватало. А нам он запрещал «напрашиваться на обед» к чужим.

– Опять ты «напросился на обед» к Фрэнсис! Какая наглость!

Если кого-нибудь из нас приглашали на обед, а мы затем плохо отзывались об этих людях, отец возмущался:

– Зануды, говоришь? Однако пообедать у них ты не побрезговал!

На ужин Наталина обычно подавала нам похлебку Либига – слишком жидкую, но мать ее обожала – и яичницу. Таким образом, друзья Джино разделяли с нами эту однообразную трапезу, а после слушали за столом рассказы и песни моей матери. Среди этих друзей был один, по имени Адриано Оливетти: помню, он впервые пришел к нам в солдатской форме, поскольку отбывал в то время воинскую повинность; Джино тогда тоже служил в армии, и они с Адриано были в одной казарме. У Адриано была курчавая, вечно нечесаная рыжая борода и длинные светло-рыжие волосы, закручивавшиеся на затылке колечками. Сам он был какой-то одутловато-бледный. Военная куртка неуклюже топорщилась на грузном теле; трудно было себе представить более неподходящую фигуру для серо-зеленого мундира и пистолета на поясе. Вид у него был всегда печальный, может быть потому, что военная служба была ему вовсе не по душе; робкий, молчаливый, он когда открывал рот, то уж говорил долго и тихо о чем-то странном, непонятном и при этом глядел в пустоту своими маленькими голубыми глазками, одновременно холодными и мечтательными. Казалось,

Адриано – воплощение человека, которого отец определял словом «зануда», однако отец никогда не называл его «занудой», «тюфяком» или «дикарем», никогда не говорил ничего подобного в его адрес. Я спрашиваю себя почему и прихожу к выводу, что отец гораздо лучше разбирался в людях, чем мы предполагали: видимо, он сумел разглядеть под этим обликом человека, каким Адриано суждено было стать в будущем. Впрочем, может быть, я и ошибаюсь – отец не называл его «занудой» лишь потому, что знал от Джино о его пристрастии к горам и об антифашистских взглядах: Адриано был сыном социалиста, друга Турати.

Оливетти владели в Иврее фабрикой пишущих машинок. Среди наших знакомых промышленников не было; единственный промышленник, о котором когда-либо упоминалось у нас в доме, был один из братьев Лопеса по имени Мауро, очень богатый человек, живший в Аргентине; отец даже собирался послать Джино работать на его предприятии. Но Мауро был далеко, а вот промышленники Оливетти имели к нам какое-никакое отношение, и я всегда поражалась: неужели рекламные щиты на дорогах с пишущей машинкой, стремительно несущейся по рельсам, могут быть напрямую связаны с этим Адриано в серо-зеленом мундире, который по вечерам ест вместе с нами пустую похлебку.

Он и после службы продолжал приходить к нам. Он сделался еще печальней, застенчивей и молчаливей, потому что влюбился в мою сестру Паолу, в то время совсем его не замечавшую. У Адриано, единственного из наших знакомых, был автомобиль; даже Терни, человек весьма состоятельный, автомобиля не имел. Если отец куда-нибудь собирался, Адриано неизменно предлагал подвезти его на машине; это отца ужасно бесило: он терпеть не мог автомобилей и всяких, как он выражался, «подачек».

У Адриано было полно братьев и сестер – сплошь рыжих и веснушчатых; мой отец, тоже рыжий и веснушчатый, быть может, еще и поэтому питал к ним такую симпатию. Все знали, что они очень богаты, но нравы у них были простые: одевались скромно и в горах катались на старых лыжах, как у нас. Правда, автомобилей у них было – пропасть, они всякий раз при встрече предлагали нас подвезти; и вообще, стоило им заметить из окна машины какого-нибудь еле ноги передвигающего старика, Оливетти немедленно возле него останавливались; моя мать не уставала восхищаться их добротой.

В конце концов мы познакомились и с отцом семейства: это был маленький толстый человечек с непомерно большой белой бородой, сквозь которую проглядывали тонкие, благородные черты, и лучистыми голубыми глазами. Во время разговора он имел обыкновение теребить свою бороду и пуговицы жилета, а говорил тоненьким, писклявым фальцетом. Отец, видимо из-за этой белой бороды, всегда называл его «старик» Оливетти, хотя они с отцом были примерно одного возраста. Их сближали социализм, дружба с Турати и взаимное уважение. При встречах, однако, они начинали говорить разом, и каждый старался перекричать другого: один маленький, с пронзительным фальцетом, другой высоченный, с громовым басом. В речах «старика» Оливетти перемешивались Библия, психоанализ, слова пророков – то есть то, что было совершенно чуждо миру моего отца и в чем он разбирался очень слабо. Отец считал «старика» Оливетти большим умником и большим путаником.

Оливетти жили в Иврее, в доме, прозванном «монастырем», потому что в прошлом в нем располагался мужской монастырь; в их имении были леса и виноградники, коровник и конюшня. Каждый день у них подавали пирожные с домашними сливками, а мы на взбитые сливки облизывались еще с тех времен, когда отец запрещал нам останавливаться в горных шале. Между прочим, тогда он запрещал есть сливки, опасаясь мальтийской лихорадки. Но здесь коровы были свои, проверенные, так что о мальтийской лихорадке не могло быть речи. И мы наедались сливок до отвала. Однако отец нам строго наказывал:

– Смотрите не напрашивайтесь в гости к Оливетти! Нечего все время там торчать!

Он внушил нам, что мы там будем в тягость, поэтому однажды Джино и Паола, приглашенные как-то провести денек в Иврее, еще до ужина заторопились назад: как Оливетти их ни уговаривал остаться или хотя бы доехать до станции в автомобиле, они отказались и, голодные, в темноте, потащились к поезду пешком. В другой раз мне случилось ехать с Оливетти на машине; мы остановились в траттории, все заказали себе домашнюю лапшу и бифштексы, а я – только яйцо всмятку. Потом я рассказала сестре о своих опасениях, «как бы Оливетти не потратил на меня слишком много денег». Это каким-то образом дошло до промышленника, и он долго смеялся: так может смеяться только очень богатый человек, вдруг обнаруживший, что кто-то еще не знает о его богатстве.

Когда Джино окончил Политехнический институт, перед ним открылись две возможности. Либо поехать в Аргентину к Мауро, который имел предприятие и которого мы, подражая сыновьям Лопесов, фамильярно величали «дядюшкой Мауро», – отец долго и усердно с ним переписывался, обсуждая перспективы Джино. Либо поступить на фабрику Оливетти в Иврее. Джино выбрал последнее.

Итак, он оставил наш дом и переехал в Иврею; спустя несколько месяцев он сообщил отцу, что познакомился и обручился с одной девушкой. Отец пришел в бешенство. Он и впоследствии, стоило кому-нибудь из нас завести речь о браке, всегда бесился, на кого бы ни пал наш выбор. Повод для протеста он находил всегда. То ссылался на слабое здоровье избранника или избранницы, а то говорил, что они слишком бедны или слишком богаты. Так или иначе отец запрещал нам жениться и выходить замуж, но всякий раз безрезультатно – мы обзаводились семьями без его благословения.

Джинно в тот раз отправили в Германию, чтоб он выучил немецкий и позабыл невесту. Мать посоветовала ему навестить во Фрейбурге Грасси, ту самую подругу детства, которая говорила: «Чистая шерсть, Лидия!» и «Фиалки, Лидия!» Грасси познакомилась во Флоренции с книготорговцем из Фрейбурга и вышла за него замуж; он читал ей Гейне и заразил ее своей страстью к фиалкам и к «чистой шерсти»: в Германии, куда он привез ее после первой мировой войны, чистую шерсть найти было невозможно.

– Не узнаю свою Германию! – восклицал книготорговец, возвратившись в послевоенный Фрейбург.

Эта фраза стала крылатой в нашем доме: мать употребляла ее всякий раз, когда чему-нибудь удивлялась.

В то лето отец из нашей горной деревушки писал Джино в Германию, и Лопесам, и Терни, и Оливетти – все по поводу предстоящего брака; Лопесов, Терни и Оливетти он умолял отговорить Джино от этого шага, потому что это безумие – жениться в двадцать пять лет, ничего не добившись в жизни.

– Как ты думаешь, он виделся с Грасси? – то и дело обращалась мать к отцу при упоминании о Джино.

– Да при чем тут Грасси! – кипятился отец. – Можно подумать, в Германии только и есть что твоя Грасси! Важно, чтобы он выкинул из головы эту женитьбу.

По возвращении Джино осуществил свое намерение и женился; отец с матерью поехали к нему на свадьбу. И тем не менее, просыпаясь по ночам, отец еще долго сокрушался:

– Надо было послать его в Аргентину, к Мауро, а не в Иврею! Как знать, может, в Аргентине он бы и не женился!

Мы сменили квартиру, и мать, вечно бранившая дом на виа Пастренго, стала теперь жаловаться на новый дом, помещавшийся на виа Палламальо.

– Ну и название! – ворчала она. – Под стать самой улице! Надо же придумать такие дурацкие названия – виа Кампана, виа Салуццо! На Пастренго у нас был по крайней мере свой сад!

Новая квартира на последнем этаже дома выходила на площадь с большой неказистой церковью, фабрикой красок и общественными банями; ничто так не угнетало мать, как вид мужчин с полотенцами под мышкой, направляющихся в баню. Отец купил эту квартиру потому, что, как он говорил, она недорогая и пусть не слишком шикарная, зато в ней много преимуществ: большая, много комнат и от вокзала близко.

– А что нам до вокзала, – говорила мать, – ведь мы все равно никуда не ездим!

В нашем материальном положении, видимо, что-то изменилось: в доме стали реже говорить о деньгах, акции на недвижимость, если верить отцу, все еще падали и, по моему разумению, должны уж были под землю провалиться, однако мать и сестра, как ни странно, нашили себе платьев. У нас, как и у Лопесов, появился телефон. О дороговизне и ценах на хлеб не было больше и речи. Джино жил с женой в Иврее, Марио получил место в Генуе и приезжал домой лишь по субботам.

Альберто после долгих колебаний и споров поместили в пансион. Отец надеялся, что там ему придется туго, он задумается и возьмется за ум, а мать, напротив, внушала ему:

– Вот увидишь, как там хорошо, как весело! Ты не представляешь, какая у меня была счастливая жизнь, когда я училась в пансионе!

Альберто отправился в пансион, как всегда, в самом веселом настроении. Приезжая домой на каникулы, он рассказывал, что в пансионе, когда все сидели за столом и ели яичницу, внезапно раздавался звонок, входил директор и говорил:

– Запомните, что яичницу не режут ножом. Потом снова звонил звонок, и директор исчезал. Отец не катался больше на лыжах, ссылаясь на свой преклонный возраст.

– Эти чертовы горы! – говорила мать; она сама на лыжах кататься не умела, но теперь ей было жаль отца потому, что он больше не катается.

Умерла Анна Кулишова. Мать не видела ее много лет, но никогда не забывала. В Милан на похороны она поехала со своей подругой Паолой Каррарой, которая девочкой также часто бывала в доме Кулишовой. Из Милана мать привезла книгу в траурной окантовке – статьи в память о Кулишовой и ее фотографии.

Так, спустя много лет, мать снова увидела Милан, где у нее никого уже не осталось. Родные все умерли. А город она нашла изменившимся в худшую сторону.

– Не узнаю свою Германию! – сказала мать.

Семейству Терни пришлось переехать из Турина во Флоренцию. Сначала туда отправилась Мэри с детьми; Терни задержался еще на несколько месяцев.

– Какая жалость, что вы уезжаете! – говорила ему мать. – Неужели я не увижу больше Мэри и детей. Помните наш сад на виа Пастренго, где вы играли с Кукко в мяч? А еще с друзьями Джино в «волшебные шаги»? Как было хорошо, помните?

«Волшебными шагами» называлась игра, состоявшая в том, что один из играющих становился лицом к дереву и внезапно оборачивался, остальные могли делать шаги только тогда, когда он их не видел.

– Не нравится мне этот дом! – повторяла мать. – И улица не нравится! Я так скучаю по нашему саду!

Но долго печалиться мать не умела. По утрам, как всегда, вставала с песней, шла к Наталине распорядиться насчет обеда, потом садилась в седьмой трамвай. Доезжала до круга и, не выходя из вагона, возвращалась назад.

– Как здорово ездить в трамвае! – говорила она. – Гораздо приятней, чем на машине. Поедем со мной, – говорила она мне с утра. – Прокатимся до Поццо-Страды!

Поццо-Страда – это конечная остановка седьмого трамвая. Там была небольшая площадка с киоском мороженщика и последние дома окраины. Вдали виднелись поля пшеницы и маков.

После обеда мать читала газету, лежа на диване.

– Будешь вести себя хорошо, – говорила она мне, – свожу тебя в кино. Если, конечно, фильм «подходящий» для тебя.

Но ей и самой хотелось в кино: когда мне надо было заниматься, она все равно шла туда, одна или с подругами.

На обратном пути она всегда очень спешила: отец возвращался из лаборатории в половине восьмого и сердился, если не заставал ее дома. Выходил на балкон поджидать ее. Мать прибегала, запыхавшись, со шляпкой в руке.

– Где тебя черти носят? – орал отец. – Я же беспокоюсь! Держу пари, ты и сегодня таскалась в кино! всю жизнь проводишь в этом кино!

– Ты написала Мэри? – спрашивал он затем.

Теперь, когда Мэри переехала во Флоренцию, от нее приходили письма, а мать всегда забывала ответить ей. Она очень любила Мэри, но заставить себя писать письма не могла. Даже сыновьям не писала.

– Ты написала Джино? – кричал отец. – Опять не написала! Если сегодня не напишешь, я не знаю, что с тобой сделаю!

Я проболела всю зиму. У меня было воспаление среднего уха, перешедшее в мастоидит. Сначала отец сам меня лечил.

В его кабинете был шкафчик под названием «аптечка», где он держал лекарства и инструменты, необходимые для лечения своих детей, друзей или детей своих друзей: йод для ссадин, люголь для смазывания горла, резиновый бинт – для ногтеды. Этим бинтом так туго стягивали больное место, что палец синел.

Однако резиновый бинт имел обыкновение куда-то пропадать, как раз когда он был нужен.

– Куда же он запропастился? – орал отец на весь дом. – Куда вы подевали резиновый бинт? Ну и неряхи! Таких нерях еще свет не видывал!

Бинт в конце концов отыскивался в ящике его письменного стола.

Если кто-нибудь спрашивал у него совета по поводу своего здоровья, отец обычно раздражался:

– Что я вам, врач, что ли?

Он охотно лечил людей, но терпеть не мог, чтобы его просили об этом.

– Этот недоумок Терни утверждает, что у него грипп, – ворчал он за столом. – С постели не встает. А сам небось здоров как бык. А я должен теперь к нему тащиться.

Вечером, вернувшись от Терни, он объявил:

– Симулянт он, больше никто! Здоров как бык, а лежит в постели в шерстяной фуфайке. Чтобы я когда надел шерстяную фуфайку!

Но несколько дней спустя он сказал:

– Боюсь я за Терни. Температура не спадает. А вдруг это плеврит? Надо, чтобы его посмотрел Строппени.

Теперь, едва входя в дом по вечерам, он громко оповещал мать о здоровье Терни: у него плеврит, я же говорил. Лидия, ты слышишь: плохо дело, у него плеврит!

Он водил к Терни своего приятеля Строппени и всех знакомых врачей по очереди.

– Не курите! – кричал он на Терни, когда тот, поправляясь, начал выходить на веранду погреться на солнышке. – Вы не должны курить! Вы всегда злоупотребляли курением, вот и подорвали свое здоровье!

Сам отец дымил как паровоз, а другим запрещал.

С больными друзьями и детьми он был очень нежен и заботлив, но стоило им выздороветь, снова начинал драть с них три шкуры.

Моя болезнь оказалась серьезной, и отец вскоре перестал меня лечить и вызвал своих доверенных врачей. В конце концов меня положили в больницу.

Чтобы больница не подействовала на мою психику, мать внушала мне, что это дом, где живет врач, а больные в палатах – все его дети, двоюродные братья и племянники. Я послушно поверила в это, хотя и понимала, что больница – никакой не дом; вот так всегда – истина и выдумка смешивались у меня в голове.

– У тебя ножки стали тоньше, чем у Лучо, – говорила мне мать. – То-то Фрэнсис будет довольна!

Фрэнсис и правда все время сравнивала ноги Лучо с моими и расстраивалась, потому что ножки у него были как палочки, на них даже не держались белые гольфы, и приходилось надевать сверху черные бархатные подвязки.

Однажды вечером я услышала, как мать говорит с кем-то в прихожей. Скрипнула дверца бельевого шкафа. На фоне застекленных дверей мелькали тени.

Ночью я слышала, как кто-то кашляет за стеной в комнате Марио. Но это был не Марио: он приезжал только в субботу. Мне показалось, что кашель принадлежит пожилому, толстому человеку.

Утром ко мне зашла мать и сказала, что у нас остановился синьор Паоло Феррари, что он старый, усталый, больной человек, у него сильный кашель и потому не надо задавать лишних вопросов.

Синьор Паоло Феррари сидел в столовой и пил чай. Я сразу узнала Турати, который приходил как-то к нам на виа Пастренго. Но раз мне сказали, что его зовут Паоло Феррари, я послушно поверила и стала считать его Турати и Феррари в одном лице; и снова истина перемешалась у меня в голове с выдумкой.

Феррари был старый и большой, как медведь; у него была все та же седая окладистая борода. Широкий воротник рубашки перехватывал галстук, мотавшийся на шее, словно

веревка. Маленькими белыми руками Феррари-Турати листал сборник стихотворений Кардуччи в красном переплете.

Он сделал одну странную вещь. Взял книгу, изданную в память о Кулишовой, и написал длинное посвящение моей матери с надписью: «Анна и Филиппо». Я совсем запуталась: у меня в голове не укладывалось, как он может быть Анной и одновременно Филиппо, если все говорят, что он – Паоло Феррари.

Мать и отец, казалось, просто счастливы, что он живет у нас. Отец не устраивал никому разносов, и все говорили вполголоса.

Едва раздавался звонок в дверь, Паоло Феррари вскакивал и бежал по коридору в дальнюю комнату. Звонил или Лучо, или молочник: в те дни к нам не заходил никто из посторонних.

По коридору Феррари старался бежать на цыпочках: огромная медвежья тень вдоль стены.

– Это не Феррари, – сказала мне Паола. – Это Турати. Ему нужно уехать из Италии. Он скрывается. Не говори никому, даже Лучо.

Я поклялась никому ничего не говорить, даже Лучо. Но когда Лучо приходил, меня так и подмывало ему рассказать.

Лучо был не любопытен. Он мне говорил, что это я «всюду сую свой нос», когда я принималась расспрашивать о его домашних делах. Все Лопесы были очень скрытные: так, мы никогда не могли установить, богаты они или бедны, сколько лет Фрэнсис и даже что они едят на обед.

– У вас в доме, – сказал мне равнодушно Лучо, – живет какой-то бородач, который удирает из гостиной, как только я прихожу.

– Да, – сказала я, – это Паоло Феррари!

Мне хотелось, чтобы он еще что-нибудь спросил. Но Лучо ни о чем больше не спрашивал. Он забивал гвоздь в стену, чтобы повесить картинку, которую нарисовал для меня. На ней был изображен поезд. Лучо с детства увлекался поездами, вечно бегал по комнате, пыхтя и свистя, как паровоз. Дома у него была большая электрическая железная дорога – подарок дяди Мауро из Аргентины.

– Не стучи так, – сказала я ему. – Он старый, больной человек, от всех прячется. Не надо его тревожить.

– Кто?

– Паоло Феррари!

– Видишь тендер? – сказал Лучо. – Видишь, я нарисовал поезд с тендером?

Его интересовали одни тендеры. Я с ним скучала. Мы были одногодки, но мне казалось, он намного младше.

И все же я не хотела, чтобы он уходил. Когда за ним являлась Мария Буонинсенья, я ныла, чтоб его оставили еще хоть на чуть-чуть.

Мать теперь отправляла меня и Лучо с Наталиной на площадь дожидаться Марии Буонинсенья.

– Подышите немного воздухом, – говорила она.

Но я знала: это для того, чтобы Мария Буонинсеньи ненароком не столкнулась в коридоре с Паоло Феррари.

Посреди площади был засаженный травой пятючок с несколькими скамейками. Наталина усаживалась и начинала болтать своими короткими ножками с огромными ступнями, а Лучо с пыхтением и свистками носился по площади, изображая поезд.

Когда приходила Мария Буонинсеньи в своей облезлой лисе, Наталина рассыпалась в любезностях и улыбках. Она питала к Марии Буонинсеньи величайшее почтение. Мария едва достаивала ее взглядом и говорила с Лучо на своем изящном и звучном тосканском диалекте. Видя, что он вспотел, она тут же натягивала на него свитер.

Паоло Феррари прятался у нас дней восемь или десять. Эти дни прошли на удивление спокойно. Я то и дело слышала разговоры о катере. Однажды вечером мы поужинали необычайно рано, и я поняла: Паоло Феррари сегодня уезжает. Все дни, что провел у нас, он казался веселым и невозмутимым, но в тот вечер за ужином нервно теребил бороду и вообще был заметно встревожен.

Затем явились трое мужчин в плащах: я из них знала только Адриано. Адриано начал лысеть, теперь у него на макушке поблескивала квадратная плешь, окаймленная рыжеватыми завитками. В тот вечер его лицо и поредевшие волосы были словно исхлестаны ветром. А в глазах стоял испуг, но вместе с тем какой-то веселый азарт; такие глаза я видела у него два-три в жизни – когда надо было помочь кому-нибудь бежать, или кого-нибудь спрятать, или вообще когда грозила опасность.

В прихожей я помогла Паоло Феррари надеть пальто, он сказал:

– Никому не говори, что я здесь был.

Он вышел с Адриано и теми незнакомцами в плащах, и больше я его не видела – он умер в Париже несколько лет спустя.

– Сейчас он небось уже подплывает к Корсике на своей лодке, – сказала Наталина на следующий день матери.

Услыхав эти слова, отец раскричался:

– Ты все разболтала этой полоумной! Она же ничего не соображает! По ее милости мы все угодим за решетку!

– Да нет, Беппино! Наталина отлично понимает, что надо держать язык за зубами!

Потом с Корсики пришла открытка с приветом от Паоло Феррари.

Через несколько месяцев я узнала, что арестованы Росселли и Парри, помогавшие Турати бежать. Адриано, говорили, еще на свободе, но и ему грозит тюрьма: не исключено, что он тоже станет скрываться у нас в доме.

Адриано действительно долгое время жил у нас, в комнате Марио, где прежде прятался Паоло Феррари. Теперь, когда Феррари был в безопасности, в Париже, все отбросили конспирацию и стали называть его Турати.

– Какой милый человек! – говорила мать. – Как хорошо, что он жил у нас.

Адриано благополучно избежал ареста и уехал за границу; они с моей сестрой обручились и теперь писали друг другу письма. К родителям приходил «старик» Оливетти, просил отдать сестру за своего сына. Он приехал из Ивреи на мотоцикле в кепке и с напиханными за пазуху



газетами: когда едешь на мотоцикле, газеты спасают от ветра, объяснил он. Со сватовством он покончил в один момент, а потом еще долго сидел в гостиной, теребил бороду и рассказывал о себе: как почти без денег построил фабрику, как воспитывал детей, как у него вошло в привычку перед сном читать Библию.

Отец потом устроил матери сцену, потому что был против этого брака. Он говорил, что Адриано чересчур богат и чересчур помешан на своем психоанализе. Впрочем, у всех Оливетти это была идея-фикс. Отец к ним, в общем, хорошо относился, но говорил, что все они без царя в голове. А нас Оливетти считали безнадежными материалистами, особенно отца и Джино.

Вскоре мы поняли, что арест отцу не грозит. И Адриано – тоже; он вернулся из-за границы, и они с Паолой поженились. Едва выйдя замуж, сестра обрезала волосы, и отец промолчал: теперь он уже ничего ей не мог ни запретить, ни приказать.

Однако, чуть-чуть попривыкнув к ее новому положению, он снова принялся за старое, а заодно доставалось и Адриано. Отец считал, что они бросают деньги на ветер и слишком часто разъезжают на машине между Ивреей и Туринном.

Когда у них родился первый ребенок, отец стал ругать их за неправильное обращение с младенцем: ему надо было обязательно принимать солнечные ванны, иначе у него будет рахит.

– Они сделают из него рахитика! – кричал он матери. – Он у них совсем не бывает на солнце! Скажи им, что ребенку нужны солнечные ванны!

К тому же он боялся, что если ребенок заболит, то его понесут к знахарям. Адриано не доверял настоящим врачам и однажды, когда у него разыгрался ишиас, обратился к какому-то болгарину, который лечил воздушным массажем. Он спросил отца, что тот думает о воздушном массаже и знает ли этого болгарина. Отец слыхом не слыхал о болгарине, а разговор о воздушном массаже привел его в ярость.

– Шарлатан! Жулик!

Если у ребенка немного повышалась температура, отец ужасно беспокоился:

– Надеюсь, они не понесут его к знахарю? Малыша Роберта он очень полюбил: говорил, что красавчик и как две капли воды похож на «старика» Оливетти.

– Погляди, Лидия, ну вылитый старик Оливетти! – радостно смеясь, говорил он матери.  
– Одно лицо!

Приезжая к Паоле в Иврею, отец с порога требовал:

– Ну, рассказывай, что Роберто? Как там наш красавчик?

Паола родила еще девочку, но она отцу не нравилась. Когда ее подносили, он, почти не глядя, объявлял:

– Роберто красивее!

Паола обижалась, уходила, хлопнув дверью. А отец, кивая ей вслед, говорил матери:

– Видала эту ослицу?

В первое время после замужества Паолы мать часто плакала, скучая по ней. Мать с Паолой были очень близки и болтали без умолку, как подружки. Мне мать ничего не рассказывала: я,

дескать, еще маленькая и из меня «слова не вытянешь».

Теперь я ходила в гимназию, и мать не учила меня больше арифметике, в которой я по-прежнему ничего не понимала, но она уже не могла мне ничем помочь, потому что гимназический курс позабыла.

– Слова из нее не вытянешь! Молчит как рыба! – жаловалась на меня мать.

Единственное, что ей нравилось со мной делать, так это ходить в кино. Однако я не всегда поддавалась на ее уговоры.

– Не знаю, что скажет моя хозяйка! Сейчас у хозяйки спрошусь, – говорила мать по телефону подругам.

Она стала называть меня «моя хозяйка», поскольку от меня теперь зависело, что мы будем делать после обеда – пойдём в кино или нет.

– Мне все надоело! – плакалась мать. – В этом доме нечего, ну просто нечего делать! Все разъехались. Тоска зеленая!

– А все потому, – говорил отец, – что нет внутренней жизни. Вот у тебя и тоска.

– Мой Мариолино! – восклицала мать. – Слава богу, сегодня суббота и приедет мой Мариолино!

В самом деле Марио являлся почти каждую субботу. В комнате, где спал Феррари, он клал чемодан на кровать и любовно вынимал оттуда шелковую пижаму, мыло, сафьяновые домашние туфли; он был большой франт и покупал себе красивые костюмы из английской шерсти.

– Чистая шерсть, Лидия, – говорила мать, поглаживая материю. – Что ж, и тебе есть в чем на люди показаться! – добавляла она, повторяя присказку моей тетки по матери, Друзиллы.

Марио все еще твердил «сало лежало немало», подсаживаясь ко мне и матери в гостиной и поглаживая себя по щекам, но потом сразу же шел к телефону, вполголоса назначал какие-то таинственные свидания.

– Пока, мама! – доносилось из прихожей, и мы его уже не видели до ужина.

Своих друзей Марио редко приводил домой, а если и приводил, то запирался с ними у себя в комнате. Друзья его держались деловито и озабоченно, и Марио тоже всегда держался деловито и озабоченно: казалось, он думает только о карьере и больше ни о чем. Он позабыл о Терни и читал теперь не Пруста или Верлена, а лишь книги по экономике. Каникулы он проводил за границей, на море. С нами в горы ездить совсем перестал. Он сделался очень самостоятельным, и мы порой даже не знали толком, где он находится.

– Где Марио? – спрашивал отец, когда от Марио долго не было писем. – Где его черти носят, этого осла!

Правда, Паола нам докладывала, что Марио часто ездит в Швейцарию, но не для того, чтобы кататься на лыжах. Он ни разу не вставал на лыжи с тех пор, как уехал из дому. В Швейцарии у него была любовница, худющая как жердь, и весу в ней было не больше тридцати пяти килограммов: Марио признавал только очень худых и очень элегантных женщин. Нынешняя пассия, рассказывала Паола, принимает ванну два или три раза в день. Впрочем, и Марио только и делал, что мылся, брился и брызгал на себя лавандовой водой: больше всего на свете он боялся неопрятного вида и дурного запаха. Он был почти так же брезглив, как бабушка: беря из рук у Наталины кофе, он прежде всего оглядывал чашку со всех сторон –

хорошо ли она вымыта.

– Хорошо бы Марио попалась достойная жена! – мечтательно говорила мать.

Отец немедленно взрывался:

– Какая жена! Этого еще не хватало! Ни о какой женитьбе не может быть и речи!

Умерла бабушка, и мы поехали во Флоренцию на похороны. Ее похоронили в семейном склепе рядом с дедушкой Паренте, «бедняжкой Региной» и многочисленными другими Маргаритами и Регинами.

Отец теперь говорил о ней «бедная моя мама», и слова эти произносил с особой любовью и скорбью. При жизни он всегда глядел на бабушку свысока, считая, что она не большого ума. Впрочем, так же он обходился и со всеми нами. А теперь, когда она умерла, он прощал ей недостатки и слабости как невинные и заслуживающие снисхождения.

Бабушка оставила нам в наследство свою мебель. Мебель эта, по словам отца, была «очень ценная», но матери она не нравилась. Однако, когда Пьера, жена Джино, подтвердила, что мебель прекрасная, мать смущенно умолкла: она очень доверяла мнению Пьеры и ее вкусу. И все же, по мнению матери, мебель была слишком громоздкая и тяжеловесная: там были, например, кресла, которые дедушка Паренте вывез из Индии, – черного резного дерева, а вместо подлокотников – слоновьи головы; потом небольшие скамеечки, черные с позолотой, кажется китайские, множество фарфоровых статуэток, столовое серебро с фамильными гербами, оставшееся от Дормитцеров – боковой ветви нашего рода: в награду за денежную ссуду они получили от Франца Иосифа баронский титул.

Мать боялась, что Альберто, когда приедет из пансиона на каникулы, снесет что-нибудь в ломбард. Поэтому она заказала буфет, запиравшийся на ключ, и туда поставила весь фарфор. Она постоянно твердила, что бабушкина мебель не подходит для нашей квартиры – загромождает ее и совсем не смотрится.

– Эта мебель, – слышали мы каждый день, – не для улицы Палламальо!

Тогда отец решил сменить жилье, и мы переехали на проспект Короля Умберто, в небольшой старый дом, выходящий окнами на бульвар. Наша квартира находилась в нижнем этаже, и мать была очень довольна этим, поскольку до улицы рукой подать, не надо таскаться вверх и вниз по лестнице и можно даже выходить «без шляпы». У нее была мечта выходить «без шляпы», что отец ей строго-настрого запрещал.

– Но ведь в Палермо я всегда выходила без шляпы! – оправдывалась мать.

– В Палермо! Вспомнила, что было пятнадцать лет назад! Посмотри на Фрэнсис! Разве она когда-нибудь выходит без шляпы?

Альберто оставил пансион и приехал в Турин сдавать экзамены за лицейский курс. Экзамены он сдал на «отлично», чем нас просто поразил.

– Что я тебе говорила, Беппино? – торжествовала мать. – Когда он хочет, он может учиться.

– Ну а теперь? – спросил отец. – Что мы с ним теперь будем делать?

– Ну что ты будешь делать с этим Альберто! – в который раз вспоминала мать тетю Друзиллу.

У тети Друзиллы тоже был сын-лентяй, и она часто повторяла:

– Ну что ты будешь делать с этим Андреа!

Это ей, тете Друзилле, принадлежала еще одна знаменитая фраза:

– Что ж, и тебе есть в чем на люди показаться!

Иногда летом она выезжала с нами в горы, снимала дом неподалеку и, хвастаясь перед матерью одеждой своего сына, приговаривала:

– Что ж, и Андреа есть в чем на люди показаться! Сразу же по приезде в горы Друзилла шла на ферму, где продавали молоко, и говорила:

– Я даже готова чуток переплатить, но чтоб молоко мне приносили раньше, чем другим.

Дело кончалось тем, что молоко ей приносили в то же время, что и нам, а брали с нее дороже.

– Ну что ты будешь делать с этим Альберто! – все лето повторяла мать.

Друзиллы в тот год не было: она давно перестала выезжать с нами в горы, но в ушах у матери все еще стояли эти ее слова. Альберто на вопрос о его планах сказал, что собирается заняться медициной.

Сказал он это с равнодушно-смирненным видом, пожимая плечами. Альберто был высокий, худощавый блондин с длинным носом и пользовался успехом у девушек. Роясь в его ящиках в поисках квитанций из ломбарда, мать то и дело натыкалась на пачки писем с фотографиями девушек.

Он не виделся больше ни с Пестелли, который успел обзавестись семьей, ни с Пайеттой, которого по выходе из исправительного дома снова арестовали. Его судили и по приговору Особого трибунала отправили в заключение в Чивитавеккью. У Альберто теперь был новый друг – Витторио.

– Витторио, – говорила мать, – очень способный мальчик из вполне приличной семьи! Это Альберто у нас недотепа, но друзей он выбирать умеет.

Альберто так и остался на языке моей матери «оборванцем» и «недотепой», хотя теперь, после сдачи экзаменов за лицейский курс, трудно было понять, какой смысл она вкладывает в эти слова.

– Негодяй! Мерзавец! – орал поздно вечером отец, когда Альберто возвращался домой. Он так привык орать, что орал даже тогда, когда Альберто случайно возвращался рано. – Где тебя черти носят?

– Да вот, задержался, друга проводил, – по обыкновению отвечал Альберто своим звонким, чистым, веселым голосом.

Альберто ударял за белошвейками, но не оставлял без внимания и девушек из хороших семей. Он бегал за каждой юбкой, ему нравились все, а поскольку он был веселый и добрый парень, то ухаживал и за теми, которые не нравились. Он поступил на медицинский факультет и в анатомическом театре частенько попадался на глаза отцу, чем тот был ужасно недоволен. Однажды отец показывал студентам диапозитивы и вдруг разглядел в темноте зала зажженную сигарету.

– Кто курит? – завопил он. – Чей это собачий сын осмелился здесь курить?

– Это я, папа! – отозвался знакомый радостный голос, и все засмеялись.

Когда Альберто должен был сдавать экзамен, отец с самого утра места себе не находил.

– Он меня опозорит! Он же ничего не учил! – говорил он матери.

– Ну погоди, Беппино! – успокаивала его мать. – Погоди, ведь еще ничего не известно.

– Сдал на «отлично»! – сообщала вечером мать.

– На «отлично»! – вспыхивал отец. – Да ему поставили «отлично» только потому, что он мой сын! Не будь он моим сыном, обязательно бы провалился!

И мрачнел еще больше.

Впоследствии Альберто стал очень хорошим врачом. Но отец упорно отказывался в это верить. И когда мать или кто-нибудь из домашних, заболев, говорили, что надо бы показаться Альберто, закатывался своим громоподобным смехом.

– Еще чего выдумали! Много он знает, ваш Альберто!

Альберто и его друг Витторио гуляли по проспекту Короля Умберто.

У Витторио были черные волосы, квадратные плечи, выпирающий подбородок. У Альберто – светлые волосы, длинный нос и небольшой, мягкий подбородок. Друзья разговаривали о девушках. Иногда о политике, потому что Витторио входил в тайную политическую группу. Альберто, казалось, вовсе политикой не интересуется: он не читал газет, не давал оценок и никогда не вступал в дискуссии, до сих пор вспыхивавшие между Марио и отцом. Однако к заговорщикам его тянуло. Со времен своей гимназической дружбы с Пайеттой Альберто увлекался заговорами, хотя и не принимал в них участия. Ему нравилось быть другом и доверенным лицом заговорщиков.

Встречая Альберто и Витторио на улице, отец лишь сухо кивал им. Ему даже в голову не приходило, что один из них мог быть заговорщиком, а другой – его доверенным лицом. Парни, с которыми водил дружбу Альберто, всегда вызывали у него недоверие, смешанное с презрением. К тому же отец и не думал, что в Италии еще могут быть заговорщики. Он был глубоко убежден, что, кроме него, антифашистов в Италии осталось совсем немного. И все это люди, с которыми он привык встречаться в доме Паолы Каррары, подруги моей матери и Анны Кулишовой.

– Сегодня вечером, – объявлял отец матери, – мы идем к Карраре. Там будет Сальваторелли.

– Замечательно! – восклицала мать. – Мне до смерти любопытно послушать, что скажет Сальваторелли!

И, проведя вечер в обществе Сальваторелли в гостиной Паолы Каррары, заставленной куклами (хозяйка занималась благотворительностью и мастерила кукол), отец с матерью немного успокаивались. Ничего нового им, скорей всего, там не сообщали, но ведь многие из их друзей стали фашистами или по крайней мере не столь откровенно заявляли о своем антифашизме, как им хотелось. Поэтому с течением времени они все острее ощущали свою изоляцию.

Сальваторелли, Каррара, Оливетти были, по мнению отца, единственными антифашистами, оставшимися на свете. Они делились с ним воспоминаниями о Турати, о других временах и нравах, которые, казалось, окончательно стерты с лица земли. Потому общение с этими людьми было для моего отца равнозначно глотку чистого воздуха. Кроме этих людей он знал еще Винчигуэрру, Бауэра, Росси, годами томившихся в тюрьме за борьбу против фашизма в прежние времена. О них отец вспоминал с уважением и сожалением, полагая, что им никогда

уже не выбраться на свободу. Были, правда, коммунисты, но отец никого из них не знал, если не считать Пайетту, который у отца ассоциировался с безобразными выходками Альберто, а потому выглядел в его глазах маленьким, дерзким авантюристом. В то время у отца как-то не сложилось о коммунистах определенного мнения. Он не предполагал, что среди молодых поколений появились новые бунтари, а если бы и узнал, что таковые имеются, наверняка счел бы их безумцами. Он пришел к выводу, что с фашизмом ничего, абсолютно ничего нельзя поделать.

Мать, напротив, по натуре была оптимисткой и все время ждала какого-нибудь неожиданного переворота. Она надеялась, что в один прекрасный день кто-нибудь «возьмет да и спихнет» Муссолини.

– Пойду посмотрю, как там фашизм, еще не рухнул, – говорила она по утрам, собираясь на улицу. – А то, может, Муссолини уже спихнули.

Она слушала разговоры в магазинах и на их основании делала утешительные выводы.

– В городе растет недовольство, – говорила она отцу за обедом. – Люди не в силах больше терпеть.

– Кто тебе это сказал? – взрывался отец.

– Мой зеленщик, – отвечала мать.

Отец лишь презрительно фыркал.

Паола Каррара каждую неделю получала «Зурналь де Зенев» (так она выговаривала французское «ж»). В Женеве у нее была сестра Джина с мужем Гульельмо Ферреро, давним политическим эмигрантом. Паола Каррара часто ездила в Женеву. Время от времени ей отказывали в выездной визе, и она просто из себя выходила:

– Опять мне не дали визу! Ты представляешь, я не могу поехать к Джине!

Но затем визу давали, и Паола уезжала. Спустя несколько месяцев она возвращалась, воодушевленная обнадеживающими новостями.

– Слушай, слушай, что мне сказал Гульельмо! А Джина знаешь что сказала?..

Когда у матери иссякал оптимизм, она отправлялась к Паоле Карраре. Иногда, правда, войдя в полутемную гостиную, увешанную бусами, открытками и куклами, она заставляла Паолу мрачной и неразговорчивой. Опять не дали визу или не пришел очередной номер «Зурналь де Зенев» – наверняка не пропустили через границу.

Марио оставил работу в Генуе, договорился с Адриано, и Оливетти взял его к себе. В душе отец был доволен, но не преминул поворчать насчет того, что сына взяли не за какие-то его заслуги, а потому, что он шурин Адриано.

Паола теперь жила в Милане. Она научилась водить машину и разъезжала между Туринном, Миланом и Ивреей. Отец ругался, что ей вечно не сидится на месте. У Оливетти это была общая черта: они не любили засиживаться на одном месте и всю жизнь проводили на колесах, а отец этого не одобрял.

Итак, Марио переехал в Иврею, снял там комнату, а все вечера проводил у Джино, обсуждая производственные проблемы. Раньше они с Джино были в довольно прохладных отношениях, но теперь подружились. И все же Марио смертельно скучал в Иврее.

Летом он отправился в Париж, где навестил Росселли. Тот попросил связать его с туринским

отделением «Справедливости и свободы». Так внезапно Марио вступил в ряды заговорщиков.

В Турин он приезжал по субботам. Причем вид у него по-прежнему был таинственный и привычки ничуть не изменились: все так же тщательно он развешивал свои костюмы в шкафу, укладывал в ящики свои пижамы и шелковые сорочки. Дома почти не бывал: накинув плащ, он деловитым шагом выходил на улицу, и о нем никто ничего не знал.

Отец как-то встретил его на проспекте Короля Умберто в компании некоего Гинзбурга – отец знал его в лицо.

– Что общего у Марио с этим Гинзбургом? – спросил он мать.

С недавних пор мать, «чтобы развеять скуку», стала вместе с Фрэнсис брать уроки русского языка у сестры Гинзбурга.

– Это образованнейший, умнейший человек, – ответила мать. – Его переводы с русского просто блестящи.

– Но уж слишком страшон, – возразил отец. – Все евреи такие.

– А ты? – спросила мать. – Разве ты не еврей?

– Я тоже страшон, – ответил отец.

Отношения Альберто и Марио все никак не налаживались. Между ними не возникало больше диких неистовых потасовок, как прежде, однако они не разговаривали друг с другом и даже, встречаясь в коридоре, не здоровались. При упоминании об Альберто Марио презрительно кривил губы.

Правда, Марио познакомился с Витторио, другом Альберто, и однажды Марио столкнулся на улице нос к носу с Альберто, который гулял с Гинзбургом и Витторио; в общем, так случилось, что Марио пригласил их обоих к нам на чай.

Мать, увидев их, страшно обрадовалась: Альберто и Марио пришли вместе и у них были общие друзья; она сразу вспомнила счастливые времена на виа Пастренго, когда приходили друзья Джино и дом был всегда полон гостей.

Помимо русского языка, мать еще брала уроки игры на фортепьяно. Учителя ей порекомендовала некая синьора Донати: та тоже в зрелом возрасте решила учиться играть на фортепьяно. Синьора Донати была высокая, крупная, красивая женщина с белокурыми волосами. Кроме музыки она училась живописи в мастерской Казорати. Живопись ей нравилась даже больше, чем фортепьянная музыка. Она обожала Казорати, его мастерскую, его жену и детей и сам дом Казорати, куда ее иногда приглашали. Она пыталась уговорить мать тоже учиться живописи у Казорати. Но мать сопротивлялась. Синьора Донати звонила ей каждый день и рассказывала, какое это наслаждение – рисовать.

– У тебя есть чувство цвета? – спрашивала она у матери.

– По-моему, есть, – отвечала мать.

– А пространственное воображение? – не унималась синьора Донати.

– Нет, пространственного воображения нет.

– Неужели нет?

– Нет.

– А чувство цвета, значит, есть?

Теперь, когда в доме завелись деньги, мать стала заказывать себе платья. Это, кроме фортепьяно и русского языка, было еще одно постоянное занятие, по существу, еще один способ «разогнать тоску», ведь матери некуда было надевать эти новые платья: в гости она ходить не любила, разве что к Фрэнсис да к Паоле Карраре, но к ним можно было пойти и в домашнем платье. Мать шила платья либо у «синьора Белома» – старого портного, в молодости претендовавшего на руку моей бабушки в Пизе, когда та была на выданье, но не желала «объедков от Вирджинии», – либо приглашала на дом портниху по имени Терсилла. Рина канула в неизвестность, и отец, сталкиваясь теперь в коридоре с Терсиллой, бушевал так же, как в свое время при виде Рины. Терсилла, однако, была посмелей Рины: проходя мимо отца с ножницами за поясом, она вежливо здоровалась, улыбка освещала ее маленькое розовое личико уроженки Пьемонта. Отец в ответ холодно кивал.

– Опять эта Терсилла! – орал он на мать. – Долго это будет продолжаться?!

– Мне надо перелицевать старое пальто от синьора Белома, – оправдывалась мама.

При имени Белома отец сразу замолкал, потому что уважал бывшего претендента на руку своей матери. Правда, он не знал, что «синьор Белом» – один из самых дорогих портных в Турине.

Мать никак не могла выбрать между «синьором Беломом» и Терсиллой. Сшив платья у «синьора Белома», говорила, что оно плохо скроено и «тянет в плечах». И вызывала Терсиллу, чтобы та все переделала.

– Ноги моей больше не будет у этого синьора Белома! Буду шить только у Терсиллы! – заявляла она, примеряя перед зеркалом переделанное платье.

С некоторыми платьями, однако, так ничего и не удавалось сделать: они были «безнадежно испорчены», тогда мать дарила их Наталине. У Наталины теперь тоже появилось множество платьев. По воскресеньям она выходила в длинном черном наглухо застегнутом пальто от «синьора Белома», делавшем ее похожей на приходского священника.

Паола тоже нашла себе кучу платьев. По этой части у них с матерью были вечные споры. Паола утверждала, что мать все делает не то, что все ее платья сшиты на один манер, так как она заставляет Терсиллу по сто раз повторять один и тот же, до смерти надоевший фасон «синьора Белома». Но переубедить мать было невозможно. Она говорила, что, когда дети у нее были маленькие, она всех их водила в одинаковых передничках, вот и теперь она хочет, чтобы у нее было много «передничков» и на лето, и на зиму. Паолу эта аналогия с детскими передничками просто ошеломляла.

Когда она приезжала из Милана в новом туалете, мать, обнимая ее, говорила:

– Какие у меня милые дети! А в новых костюмчиках я люблю их еще больше.

После этого у нее тут же возникало желание и себе заказать новое платье, не такое, как у Паолы, потому что Паола, на ее взгляд, выбирала для себя слишком вычурные фасоны, опять же «в стиле передничков». Так же и со мной: стоило ей увидеть меня в новом платье, ей немедленно хотелось сшить и себе, правда, в этом она не признавалась ни мне, ни Паоле, потому что мы говорили ей, что она шьет себе слишком много; мать просто вынимала из комода сложенную материю, и вскоре мы видели, как над ней колдует Терсилла.

Мать очень любила Терсиллу и с удовольствием проводила с ней время.



– Лидия, Лидия! Где ты? – взывал отец, возвратившись домой.

А мать в это время болтала в гладильне с Наталиной и Терсиллой.

– Вечно ты якшаешься с прислугой! – орал отец. – И опять эта Терсилла вертится под ногами!

А еще он постоянно спрашивал, когда встречал Марио на улице с Гинзбургом:

– Что за дела у Марио с этим русским? Новая восходящая звезда!

После того как он однажды увидел Гинзбурга в гостиной Паолы Каррары вместе с Сальваторелли, отец стал отзываться о нем благосклоннее, без прежнего недоверия, но все-таки не мог понять, что у них общего с Марио.

– Что за дела у него с этим Гинзбургом? Какого черта Марио с ним якшается? Гинзбург – сефард, – объяснил он матери, – потому он такой страшный. А я ашкеназит – ашкеназиты все-таки менее уродливы.

Отец утверждал, что лучшие из евреев – ашкеназиты. А вот Адриано всегда высказывался в пользу полукровок: именно из них, по его словам, вышли самые достойные люди. Среди полукровок же наиболее одаренные – дети отца-еврея и матери-протестантки, то есть как он сам.

В нашем доме очень распространена была одна игра, которую придумала Паола и играла в нее главным образом с Марио; иногда в нее включалась и мать. Игра состояла в том, что всех людей причисляли к минералам, животным или растениям.

Адриано был минералом-растением. Паола – животным-растением. Джино – минералом-растением. Разетти – его, правда, мы не видели уже много лет – был чистым минералом, равно как и Фрэнсис.

Отец и мать были животными-растениями.

– Что за чушь! – сердился отец, услышав мимоходом какое-нибудь слово. – Вечно вы мелете всякую чушь!

Что до чистых, совершенно чистых растений, то такие особи встречались крайне редко. Может быть, только некоторые великие поэты. Как мы ни старались, нам не удалось найти среди наших знакомых ни одного растения в чистом виде.

Паола говорила, что сама выдумала эту игру, но кто-то впоследствии ей заметил, что подобная классификация уже была у Данте в его сочинении «De Vulgari Eloquentia». Верно это или нет – не знаю.

Альберто отправился в Кунео на воинскую службу, и теперь Витторио гулял по проспекту один, потому что уже отслужил в армии.

Возвращаясь домой, отец заставлял мать, читавшую по слогам по-русски.

– Ох, уж мне этот русский! – фыркал он.

Но мать даже за обедом произносила русские фразы и декламировала разученные русские стишки.

– Хватит, надоело! – гремел отец.

– Но мне русский очень нравится, Беппино! – возражала мать. – Такой красивый язык!

Фрэнсис тоже его учит.

Как-то в субботу Марио не приехал домой из Ивреи; не появился он и в воскресенье. Мать это не взволновало: такое с ним уже случалось. Она решила, что он поехал к своей тощей любовнице в Швейцарию.

В понедельник утром приехали Джино с Пьерой и сообщили, что Марио с одним другом задержан на швейцарской границе. Местечко, где его задержали, называлось Понте-Треза – больше нам ничего не было известно. Джино вообще узнал об этом совершенно случайно: ему сказал кто-то из филиала фабрики Оливетти в Лугано.

Отца в тот день не было в Турине; он приехал только на следующее утро. Мать едва успела рассказать ему о случившемся, как в дом вломились полицейские агенты, пришедшие с обыском.

Они ничего не нашли. Накануне мы с Джино тщательно просмотрели ящики Марио – нет ли там какой запрещенной литературы, чтобы заранее сжечь, но ничего не нашли, кроме его сорочек, «в чем на люди показаться», как выражалась тетя Друзилла.

Полицейские удалились и увели с собой отца: сказали «для опознания». Из участка отец не вернулся, и мы поняли, что он тоже арестован.

Джино забрали сразу же по возвращении в Иврею, а оттуда перевели в туринскую тюрьму.

Позднее Адриано рассказал нам, что Марио с другом на переезде через пограничный пункт Понте-Треза остановил таможенный контроль: искали контрабандные сигареты. В машине у них нашли антифашистские брошюры. Марио и его друга заставили выйти и повели на полицейский пост. Когда они проходили через мост, Марио неожиданно вырвался, прямо в одежде бросился в реку и поплыл в сторону швейцарской границы. Его вытащили швейцарские пограничники, подплывшие на лодке. Теперь Марио в Швейцарии в безопасности.

Лицо у Адриано было точно такое же, как в день бегства Турати, – радостное и испуганное, он оставил матери машину с шофером, но она не знала, что с ней делать, куда ехать.

Она только всплескивала руками и восклицала испуганно и восхищенно:

– В воду, в пальто!

Друга, который был с Марио в Понте-Трезе и вел машину – у Марио машины не было, и водить он не умел, – звали Сион Сегре. Иногда он к нам приходил с Альберто и Витторио. Это был сутуловатый блондин, добродушный и несколько вялый; он был другом Альберто и Витторио, но мы понятия не имели, что он знаком и с Марио. Паола, сразу же примчавшаяся из Милана, заявила, что она знала это: Марио все ей рассказывал. Оказывается, они с Сионом Сегре уже не раз провозили из Швейцарии антифашистские брошюры, и всегда все шло гладко; поэтому Марио совсем расхрабрился, стал прямо доверху нагружать машину брошюрами и газетами, позабыв о всяких мерах предосторожности. Когда он бросился в реку, один из таможенников вынул пистолет, но другой крикнул, чтобы он не стрелял. Этому таможеннику Марио, стало быть, обязан жизнью. Река была очень бурной, но Марио отлично плавал, и ледяная вода ему нипочем: мать вспомнила, как в одном из своих круизов по Северному морю они с корабельным коком прыгнули в воду; пассажиры смотрели на них с палубы и хлопали в ладоши, а когда узнали, что Марио итальянец, стали кричать:

– Да здравствует Муссолини!

И все же в этой Трезе он под конец стал выбиваться из сил: мешала одежда, а может,

волнение сказалось, – но тогда швейцарские пограничники выслали навстречу лодку.

– Кто знает, будет ли его кормить эта тощая девица в Швейцарии! – восклицала мать, стискивая руки.

Сион Сегре сидел теперь в туринской тюрьме, его брат тоже был взят под стражу. Арестовали Гинзбурга и многих, кто был связан с Марио в Турине.

Витторио оставили на свободе. Его, по словам матери, это очень удивило, потому что ведь он был с ними со всеми заодно; лицо у него совсем вытянулось, подбородок еще больше выступил вперед, и сам он ходил бледный, напряженный и растерянный. Вместе с Альберто, приехавшим на несколько дней домой в увольнение, они снова шатались взад-вперед по проспекту Короля Умберто.

Мать не знала, как передать отцу белье и еду в тюрьму, и очень за него волновалась. Она поручила мне разыскать в телефонном справочнике кого-нибудь из семьи Сегре, но тот оказался сиротой: у него никого не было, кроме брата, которого также посадили в тюрьму. Тогда она велела мне позвонить Питигрилли, двоюродному брату Сегре, чтобы узнать, удалось ли ему передать обоим Сегре белье и книги. Питигрилли сказал, что зайдет к нам домой.

Питигрилли был писателем. Альберто зачитывался его романами, а отец, если ему под руку попадалась книга Питигрилли, кричал так, будто увидел змею:

– Лидия! Убери сейчас же эту гадость!

Он ужасно боялся, что я, чего доброго, прочту книгу, ведь романы Питигрилли были совсем «не подходящим» для меня чтивом. Питигрилли еще издавал журнал под названием «Гранди фирме»; подшивки этого журнала хранились в шкафу Альберто вместе с книгами по медицине.

И вот Питигрилли явился к нам в дом. Высокий, полный, длинные черные с проседью усы; не снимая широкого светлого пальто, он тяжело опустился в кресло и завел с матерью разговор тоном сдержанного и сурового соболезнования. Много лет назад он сам сидел в тюрьме и поэтому знал тамошние порядки: в установленные дни недели заключенным разрешаются передачи; орехи необходимо колоть, яблоки и апельсины очищать от кожуры, а хлеб резать тонкими ломтиками, потому что в тюрьме не дают ножей. Он нам все растолковал, а потом еще некоторое время благосклонно поговорил с матерью: сидел в кресле нога на ногу, расстегнув пальто, и все время хмурил брови. Мать ему сообщила, что я пишу рассказы, и велела принести одну из моих тетрадок, куда я начисто переписала несколько своих сочинений. С загадочным, надменным и слегка опечаленным видом Питигрилли ее полистал.

Затем пришли Альберто и Витторио; мать представила их обоим Питигрилли. Они вызвались его проводить, и Питигрилли все с тем же надменным и печальным выражением лица распрощался с нами; мы из окна смотрели, как он тяжело шагает в своем длинном пальто по проспекту Короля Умберто.

Отец, если не ошибаюсь, просидел в тюрьме две или три недели; Джино – два месяца. По утрам в дни приема передач мать отправлялась в тюрьму с узлом белья и пакетами очищенных апельсинов и орехов.

Затем она шла в полицейское управление. Иногда ее принимал некий Финуччи, иногда – некий Лутри; обе эти персоны казались ей всемогущими: от них, по ее представлениям, зависела судьба нашей семьи.

– Сегодня была у Финуччи! – сияя, объявляла она; тот якобы заверил ее, что обвинения

против отца и Джино не подтвердились и скоро обоих выпустят на волю.

– Сегодня была у Лутри, – говорила она так же радостно, потому что Лутри хотя и поглубже, зато вполне искренен.

Эти держиморды, похоже, знали всю нашу подноготную и в разговорах всех нас называли по именам: Джино, Марио, Пьера, Паола, что как-то успокаивало мать. Отца они называли профессором, и, когда мать объясняла, что он никогда не занимался политикой и что его интересуют только «ткани» и «клетки», они соглашались и говорили, чтоб она не беспокоилась. Но постепенно мать впадала в панику: отец все не возвращался, и Джино тоже, а вскоре в газете появилась статья под крупным заголовком: «В Турине раскрыта группа антифашистов, сообщников парижской эмиграции».

– «Сообщников!» – с тревогой повторяла мать: в этом слове ей чудилась скрытая угроза.

Теперь временами она сидела в гостиной, заливаясь слезами, а вокруг толпились подруги – Паола Каррара, Фрэнсис, синьора Донати и другие, помоложе, которым обычно она покровительствовала и помогала, когда те были без денег или ссорились с мужьями; теперь же они ободряли и утешали ее. Паола Каррара говорила, что надо послать письмо в «Зурналь де Зенев».

– Я уже известила Джину! – говорила она. – Вот увидишь, в «Зурналь де Зенев» скоро будет напечатан протест.

– Дело Дрейфуса! – в отчаянии твердила мать. – Все как в деле Дрейфуса!

В доме постоянно были люди: Паола и Адриано, Терни, специально приехавший из Флоренции, Фрэнсис и Паола Каррара; Пьера, беременная и в трауре – у нее только что умер отец, перебралась к нам жить. Наталина только и сновала с кофе из кухни в гостиную; она была взбудоражена и счастлива, поскольку любила переполох в доме, гостей, шум, драматические события, беспрестанные звонки и с удовольствием стелила постели на всю ораву.

Вскоре мать уехала с Адриано в Рим: Адриано кто-то сказал, что в Риме есть некий доктор Вератти, личный врач Муссолини, но в душе антифашист, готовый помогать антифашистам. Добраться до него было, правда, нелегко, но Адриано откопал двух его знакомых – Амброзини и Сильвестри: с их помощью он надеялся пробиться к Вератти.

Мы остались в доме одни – Пьера, Наталина и я. Однажды ночью нас разбудил звонок, и мы, перепуганные, вскочили с постелей. Пришли какие-то военные, искали Альберто, который был в то время курсантом в Кунео: он, оказывается, не вернулся в казарму, и никто не знал, где он находится.

– Его могут отдать под трибунал, – сказала Пьера, – за дезертирство.

Всю ночь мы строили догадки, куда он мог подеваться: Пьера считала, что Альберто испугался и сбежал во Францию. Но Витторио на следующий день сообщил нам, что Альберто просто-напросто отправился к одной девушке в горы и преспокойно катался с ней на лыжах, позабыв о том, что надо возвращаться в казарму. Теперь он уже сидит в карцере в Кунео.

Мать вернулась из Рима совсем напуганная. Правда, она немножко развеялась в Риме: поездки всегда ее развлекали. Они с Адриано остановились у некой синьоры Бонди, двоюродной сестры моего отца, и пытались встретиться не только с доктором Вератти, но и с Маргаритой – одной из многих Маргарит и Регин, составлявших родню моего отца: эта Маргарита прославилась тем, что была дружна с Муссолини. Однако мать и отец не видели

ее много лет. Маргариту мать в Риме не застала, не удалось ей повидаться и с доктором Вератти, но Сильвестри и Амброзини вселили в них надежду. К тому же у Адриано нашелся еще один источник информации – «мой осведомитель», как он выражался, – и тот якобы ему сообщил, что отца и Джино скоро выпустят. По слухам, среди арестованных прямое отношение к делу имели Сион Сегре и Гинзбург – их-то и должны были судить.

– Все как в деле Дрейфуса! – повторяла мать.

Отец вернулся вечером. Был он без галстука и шнурков на ботинках – их ему так и не вернули. Под мышкой он держал завернутое в газету грязное белье, весь оброс и был страшно горд тем, что побывал в тюрьме.

А Джино продержали еще месяца полтора. Однажды, когда моя мать и мать Пьеры ехали на такси в тюрьму, чтобы передать ему белье и еду, они попали в аварию: столкнулись с другой машиной. Ни моя мать, ни мать Пьеры не пострадали: они так и остались сидеть в разбитой машине со свертками на коленях; таксист ругался на чем свет стоит; вокруг собралась толпа; подоспели полицейские. Все это произошло буквально в двух шагах от тюрьмы, и мать боялась только одного: как бы люди не поняли, что они едут в тюрьму со своими свертками и не приняли за родственниц какого-нибудь убийцы. Когда Адриано узнал об этом случае, он заявил, что наверняка в данный момент положение небесных светил неблагоприятно для матери и потому она все время попадает в опасные приключения. Наконец освободили и Джино.

– Ну вот, теперь снова начнется рутина! – сказала мать.

Отец пришел в ярость, узнав, что Альберто находится под стражей и ему грозит военный трибунал.

– Мерзавец! – воскликнул отец. – Его близкие томятся в тюрьме, а он катается с девицами на лыжах!

– Я волнуюсь за Альберто! – говорил отец, просыпаясь ночью. – Военный трибунал – это тебе не шутка.

– Я волнуюсь за Марио! – говорил он. – Я очень волнуюсь за Марио! Что он теперь будет делать?

Но отец тем не менее очень гордился, что сын у него заговорщик: он этого никак не ожидал, ему и в голову не приходило подумать о Марио как об антифашисте. Ведь Марио всегда спорил с ним, плохо отзывался о прежних социалистах, которых отец и мать просто боготворили; Марио утверждал, что Турати – наивный человек и наделал массу ошибок. А отец, сам не раз говоривший об этом, обижался до смерти, когда слышал те же слова от Марио.

– Он фашист! – заявлял он матери. – По сути, он фашист!

Теперь он уже не мог этого сказать. Теперь Марио был у всех на устах как политический эмигрант. Единственное, что огорчало отца, так это то, что бегство Марио может подвести Адриано и «старика» Оливетти, ведь Марио работал на его заводе.

– Говорил я, что ему не надо туда поступать! – кричал он матери. – Теперь он подвел Оливетти!

Отец чувствовал себя весьма обязанным Адриано.

– Какой благородный человек! Столько для меня сделал! Все Оливетти такие!

Паола опять же через какой-то филиал Оливетти получила записку, написанную знакомой рукой Марио – буквы были мелкие и почти неразборчивые. «Всем моим друзьям – растениям и минералам, – гласила записка. – Я чувствую себя хорошо и ни в чем не нуждаюсь».

Сиона Сегре и Гинзбурга судили Особым трибуналом и приговорили одного к двум, другого – к четырем годам заключения; правда, срок этот потом сократили наполовину по амнистии. Гинзбурга отправили в исправительную тюрьму в Чивитавеккью.

Дело Альберто так и не передали в военный трибунал; он после службы в армии вернулся домой и стал снова гулять по бульвару вместе с Витторио.

– Негодяй! Мерзавец! – по привычке кричал отец независимо от того, в котором часу Альберто возвращался.

Мать снова стала брать уроки игры на фортепьяно. Ее учитель, человек с черными усиками, трепетал перед отцом и на цыпочках проскальзывал по коридору с нотами под мышкой.

– Терпеть не могу этого твоего пианиста! – вопил отец. – Сразу видно, темная личность!

– Да нет, Беппино, он вполне приличный человек! Он так любит свою дочь! – говорила мать. – Очень любит свою дочь и обучает ее латыни. Он беден!

Занятия русским мать бросила: брать уроки у сестры Гинзбурга было «неблагодарно». В нашем обиходе появились новые слова.

– Пожалуй, не стоит приглашать Сальваторелли. Это неблагодарно, – говорили мы. – Нельзя держать дома эту книгу. Это неблагодарно! Чего доброго, придут с обыском!

Паола утверждала, что наш подъезд «под надзором»: там вечно торчит «филер» в плаще и во время прогулок она чувствует за собой «хвост».

«Рутинка» длилась недолго: через год пришли за Альберто, и мы узнали, что арестованы Витторио и многие другие.

К нам пришли рано – часов в шесть утра. Начался обыск; Альберто стоял в пижаме под конвоем двух полицейских, в то время как остальные рылись в его книгах по медицине, журналах «Гранди фирме» и детективных романах.

Я получила от полицейских разрешение идти в школу, и мать в прихожей сунула мне в портфель конверт со счетами: она боялась, что во время обыска они попадутся на глаза отцу и он станет ее ругать за неумеренную трату денег.

– Альберто! Господи, за что? Ведь он никогда не занимался политикой! – сокрушалась мать.

– Он тут ни при чем, – отвечал отец. – Его упрятали за то, что он брат Марио! И мой сын!

Мать снова ходила в тюрьму со свертками белья. Там она встречала родителей Витторио и других заключенных.

– Такие порядочные люди! – говорила она о родителях Витторио. – Такая славная семья! И, говорят, Витторио просто замечательный мальчик. Только что на «отлично» сдал экзамены на юридический. Альберто всегда умел выбирать друзей!

– Карло Леви тоже посадили! – говорила она со смешанным чувством страха, радости и гордости: ее хотя и пугало, что арестовали многих, а значит, готовится крупный процесс, но мысль, что сын не в одиночестве, что он в обществе взрослых, достойных и известных людей, льстила ей и утешала. – И профессора Джуа!

– Однако же картины Карло Леви мне не нравятся! – тут же откликнулся отец, который никогда не упускал случая заявить, что картины Карло Леви ему не нравятся.

– Да нет, Белпино, они очень хороши! Портрет матери просто великолепен! Ты его не видел!

– Мазня! Терпеть не могу современной живописи!.. Джуа-то им придется выпустить, – заявлял отец. – Он ни в чем не замешан!

Отец никогда не понимал, кто настоящие заговорщики, и действительно, несколько дней спустя мы узнали, что в доме Джуа нашли письма, написанные симпатическими чернилами, и что профессору как раз угрожает самая серьезная опасность.

– Хм, симпатическими чернилами! – говорил отец. – Конечно, ведь он химик и знает, как делаются симпатические чернила.

Отец был потрясен, может быть, даже немного завидовал Джуа, с которым он встречался в доме Паолы Каррары и всегда считал его человеком уравновешенным, спокойным, погруженным в себя. И вдруг Джуа оказался в центре политического события. Говорили, что Витторио тоже наверняка не поздоровится.

– Слухи! – сказал отец. – Все это слухи! Никто ничего не знает!

Были арестованы также Джулио Эйнаути и Павезе – этих людей отец знал плохо, а может, только понаслышке. Однако он, как и мать, чувствовал себя польщенным, оттого что Альберто оказался в их компании; было известно, что их группа выпускала журнал «Культура», и отцу подумалось, что Альберто может невольно стать членом более достойного общества.

– Его посадили вместе с издателями «Культуры»! Его, который ничего не читает, кроме «Гранди фирме»! – удивлялся отец. – У него на носу экзамен по сравнительной биологии! Теперь уж он его никогда не сдаст. И диплома не получит! – говорил он матери по ночам.

Вскоре Альберто, Витторио и остальные были переведены в Рим; их отправили поездом в наручниках и поместили в тюрьму «Реджина Чели».

Мать было снова наведальась в полицейское управление к Финуччи и Лутри. Но те говорили, что теперь дело ведется в Риме и они уже не в курсе.

От своего «осведомителя» Адриано узнал, что все без исключения телефонные разговоры Альберто и Витторио были записаны на пленку. В самом деле, Витторио и Альберто, если не гуляли вместе по проспекту, висели на телефоне.

– Эти глупые разговоры! – сказала мать. – Чего их записывать?

Мать не знала, о чем они говорили, потому что Альберто всегда переходил на шепот. Но она, как и отец, почему-то была убеждена, что речь шла о глупостях.

– Альберто, он же лоботряс! – говорил отец. – Для чего такого лоботряса сажать в тюрьму – не понимаю!

В доме снова начались разговоры о докторе Вератти и Маргарите. Но отец и слышать о Маргарите не хотел.

– И думать не смей, что я поеду к ней кланчить! Да я скорее сдохну!

Несколько лет назад Маргарита написала биографию Муссолини, и отец считал просто неслыханным, что среди его родственников оказался биограф Муссолини.

– Да она, поди, и видеть-то меня не пожелает! А я поеду милости просить! И думать не смей!

Отец поехал в Рим, в квестуру, навести справки, но так как дипломат из него был никудышный, а сотрясающий стены бас вряд ли мог вызвать расположение, то я не думаю, чтобы ему чего-нибудь удалось добиться – даже в смысле простой информации, не говоря уже о смягчении участи Альберто. Его принял чиновник, который представился как Де Стефани, а отец, вечно путавший имена, в разговоре с матерью называл его «Ди Стефано». И описал, как он выглядит.

– Но это не Де Стефани, Беппино! – сказала мать. – Это Анкизе! Я была у него в прошлом году!

– Какой еще Анкизе? Он сам представился как Ди Стефано! Что же, по-твоему, он станет называться вымышленным именем?

По поводу этих Ди Стефано и Анкизе мать с отцом всякий раз спорили: отец упорно продолжал называть его Ди Стефано, а мать утверждала, что это, вне всякого сомнения, Анкизе.

Альберто в письмах из тюрьмы сожалел, что не может посмотреть Рим. В Риме он был с родителями всего один раз, да и то когда ему было три года.

Однажды он написал, что вымыл голову молоком и теперь от его волос вонь идет на всю камеру. Начальник тюрьмы задержал это письмо и велел передать, чтоб он в своих письмах писал поменьше глупостей.

Альберто выслали в небольшую деревушку в Лукании под названием Феррандина. Что же касается Джуа и Витторио, то их судили и приговорили к пятнадцати годам каждого.

– Вот если бы Марио вернулся в Италию, – говорил отец, – то он получил бы все двадцать!

Марио писал из Парижа короткие, без подробностей письма; отец и мать с трудом разбирали его мелкий почерк.

Вскоре они поехали его навестить. Марио снимал в Париже мансарду. Одет он был все в тот же костюм, в котором бросился в воду у Понте-Трезы. Он порядком поизносился, мать посоветовала ему выбросить этот старый и купить себе новый костюм; он отказался наотрез. Первым делом Марио спросил о Сионе Сегре и о Гинзбурге, все еще отбывавших срок; о Гинзбурге он говорил с уважением, но как будто о ком-то очень далеко: чувствовалось, что мыслями и сердцем он еще с ним, но что образ его несколько потускнел; что же касается собственных приключений, он, казалось, и вовсе о них не думал.

Марио сам себе стирал. У него были всего две тоже изрядно сносившиеся рубахи, и он их стирал с такой же тщательностью, как когда-то укладывал в ящики свое шелковое белье.

Он сам подметал и прибирал: в мансарде царили порядок и чистота. И весь был чистый, свежесбритый, опрятный даже в своей поношенной одежде; мать сказала, что он более, чем когда-либо, напомнил ей китайца.

У него была кошка. В углу мансарды Марио поставил для нее ящик с опилками; очень чистоплотное существо, уверял он, никогда не гадит на пол. По словам отца, Марио просто помешался на этой кошке. Вставал рано утром и шел покупать ей молоко. Отец терпеть не мог кошек. Это он унаследовал от бабушки. Мать их недолюбливала – предпочитала собак.

– Почему бы тебе не завести собаку? – предложила она Марио.

– Какую еще собаку? – взревел отец. – Только собаки ему не хватало!



В Париже Марио порвал со «Справедливостью и свободой». Некоторое время он поддерживал связь с этой организацией, даже сотрудничал в их газете, но потом понял, что ему с ними не по пути.

Помню его детский стишок о мальчиках Този, которых он не переваривал:

Таких зануд, как Този,  
Не сыщешь и в навозе.

Точно так же он теперь относился к членам «Справедливости и свободы». Все, что они говорили, думали и писали, раздражало его. Он только и делал, что критиковал их, даже выдумал по этому поводу новую присказку:

...в кустах рябины  
Не вызреть сладкому инжиру.

«Сладким инжиром» был он сам, а рябиной – парни из «Справедливости и свободы».

– Да, – твердил он, – именно:

...в кустах рябины  
Не вызреть сладкому инжиру.

Он говорил это, посмеиваясь и поглаживая щеки, совсем как тогда, когда изводил всех нас своим «сало лежало немало».

Марио начал читать Данте и пришел к выводу, что Данте гениален. А еще читал Геродота и Гомера и учил древнегреческий.

А вот Пасколи и Кардуччи терпеть не мог. О Кардуччи он слышать спокойно не мог.

– Проклятый монархист! – говорил он. – Сначала был республиканцем, а потом стал монархистом, потому что влюбился в эту дуру королеву Маргариту!.. Подумать только, а ведь он современник Бодлера! Леопарди – вот это действительно великий поэт. Единственные современные поэты – это Леопарди и Бодлер! А в итальянских школах до сих пор изучают Кардуччи – смех, да и только!

Мать с отцом побывали в Лувре. Марио спросил, видели ли они Пуссена.

Пуссена они не успели посмотреть. Там ведь было столько всего...

– Как?! – возмутился Марио. – Вы не видели Пуссена? Тогда зачем было ходить в Лувр! Единственный, кого стоит смотреть в Лувре, так это Пуссен!

– Впервые слышу об этом Пуссене, – сказала мать.

Марио подружился в Париже с неким Кафи. И тот у него с языка не сходил.

– Еще одна восходящая звезда, – сказал отец.

Кафи был наполовину русский, наполовину итальянец. В Париж он эмигрировал давно, был болен и страшно беден.

Кафи исписал груды бумаги и давал читать свои сочинения друзьям, но ничего не предпринимал, чтобы их напечатать. По его мнению, достаточно написать и прочесть друзьям – печатать вовсе не обязательно. А до потомков, говорил он, никому дела нет.

Что он такое писал – Марио не мог толком объяснить.

– Все, – заявлял он, – все!

Кафи умел обходиться без еды. В день ему хватало одного мандарина, ходил он в тряпье и драных ботинках. Если у него заводились деньги, то он покупал деликатесы и шампанское.

– Ох и привереда этот Марио! – говорил отец матери. – Всех критикует, всех поносит! Один только Кафи!

– Кардуччи скучен! Подумаешь – Америку открыл! Да я это давно знаю, – замечала мать.

Отцу с матерью показалось обидным, что Марио, похоже, совсем не скучает по Италии. Он был влюблен во Францию, в Париж. В разговоре часто употреблял французские слова. А об Италии говорил, поджав губы, с глубоким презрением.

Мои родители никогда не были националистами. Более того – они ненавидели национализм во всех его проявлениях. Но это презрение к Италии они как бы восприняли на свой счет: он как бы презирал и всех нас, и наши устои, и всю нашу жизнь.

К тому же отец был очень недоволен, что Марио порвал со «Справедливостью и свободой». Ведь ее возглавлял Карло Росселли, и именно он, когда Марио приехал в Париж, дал ему денег и приютил у себя. Мать с отцом давно были знакомы с семейством Росселли и дружили с матерью Карло – синьорой Амелией, которая жила во Флоренции.

– Только посмей обидеть Росселли! – пригрозил отец.

У Марио, кроме Кафи, было еще два друга. Один из них – Ренцо, сын Джуа, сидевшего в тюрьме, – бледный юноша с горящими глазами и чубчиком на лбу; он сам сбежал из Италии, перебравшись через горы. Другой – Кьяромонте; с ним мать познакомилась как-то летом у Паолы в Форте-дей-Марми. Этот был крупный, приземистый, черноволосый. Оба они также порвали со «Справедливостью и свободой», оба дружили с Кафи и целыми днями слушали, как он читает свои листки, исписанные карандашом и не предназначенные для печати, потому что печатные книги Кафи презирал.

У Кьяромонте очень болела жена, и сам он очень нуждался. Однако он, как мог, помогал Кафи. И Марио ему помогал. Так они и жили, держась друг за друга, делясь тем немногим, что имели, не примыкая ни к каким группировкам, не строя планов на будущее, потому что какое уж тут будущее: вот-вот разразится война, и победят в ней дураки, ибо дураки, говорил Марио, всегда побеждают.

– Этот Кафи, – сказал отец матери, – наверняка анархист! Марио тоже анархист! В сущности, он всегда был анархистом!

Из Парижа отец с матерью поехали в Брюссель, где открывался конгресс по биологии. Там они встретили Терни и других друзей отца, его учеников и ассистентов, и отец сразу повеселел: общество Марио его утомляло.

– Он ни с чем не соглашается! – говорил он о Марио. – Стоит мне открыть рот, как он уже не согласен!

Отец очень любил эти научные конгрессы: любил встречаться с коллегами, спорить, почесывать голову и спину, торопить мать, не давая ей задерживаться в картинных галереях и музеях. Любил он и останавливаться в гостиницах. Только просыпался всегда очень рано, а проснувшись, сразу ощущал голод. До завтрака он, как хищник, метался по комнате, выглядывая в окно – не светает ли еще. Едва дождавшись пяти часов, он бросался к телефону и громовым голосом заказывал завтрак.

– Deux thes! Deux thes complets! Avec de l'eau chaude![4]

Обычно ему забывали принести «l'eau chaude» или джем: официанты в такой час еще спали на ходу. Он опять звонил и, получив наконец все, жадно набрасывался на булочки и джем. Затем принимался будить мать:

– Лидия, пойдем, уже поздно! Пойдем посмотреть город.

– Ну и осел этот Марио! – повторял он то и дело. – Ослом был, ослом и остался! Скажите пожалуйста, какой привереда! Неловко будет, если он обидит Росселли!

– И вечно он с этим Кафи! Кафи да Кафи! – говорила мать, когда они вернулись домой и стали рассказывать Паоле и мне о Марио.

Мать говорила «Кафи» с точно такой же интонацией, как в свое время говорила «Пайетта», жалуясь на Альберто.

– А что, Пуссен действительно хороший художник? – спрашивала она у Паолы.

Паола тоже поехала навестить Марио. Они рассорились, потому что уже не находили общего языка. Игра в минералы и растения была забыта. Теперь они ни в чем не соглашались друг с другом, у каждого было свое мнение. Паола в Париже купила себе платье. Марио всегда говорил, что она очень элегантна, хвалил ее платья, ее вкус, и вообще тон обычно задавала Паола, а Марио ее слушался. Платье, которое Паола купила в Париже, Марио не понравилось. Он сказал, что в этом платье она похожа на «жену префекта». Паола очень обиделась. Кьяромонте, с которым они прежде вместе отдыхали в Форте-дей-Марми и были очень дружны, ей тоже разонравился. Неужели этот нищий эмигрант с больной женой на руках и с Кафи в качестве кумира и есть весельчак Кьяромонте, что приезжал к ней когда-то на море, плавал, ходил на лодке, ухаживал за ее подругами, всех высмеивал, а по вечерам лихо отплясывал на ганцах? Марио сказал ей, что она мещанка.

– Да, я мещанка, – ответила Паола. – И никому до этого дела нет.

Она сходила на могилу к Прусту. Марио ни разу там не был.

– Ему теперь дела нет до Пруста! – рассказывала она потом матери. – Он о нем не вспоминает: Пруст, видите ли, ему больше не нравится. Ему нравится один Геродот!

Она купила Марио прекрасный плащ, чтобы было в чем выйти на улицу, а Марио тут же подарил его Кафи: у Кафи, мол, больное сердце и он не должен мокнуть под дождем.

– Кафи! Кафи! Кафи! – с отвращением восклицала Паола и поддерживала отца в том, что Марио поступил по-хамски, порвав с Росселли; по ее словам, они – Марио и Кьяромонте – в

Париже словно два отшельника, полностью потерявших чувство реального.

Альберто вернулся из ссылки, закончил университет и женился. Вопреки предсказаниям отца он стал врачом и очень неплохо лечил людей.

У него теперь был свой кабинет. Он сердился на Миранду, свою жену, если в кабинете был беспорядок и везде валялись газеты, сердился, если не было пепельниц, потому что он курил сигарету за сигаретой и не бросал больше окурков на землю.

Приходили больные; он их осматривал, а они тем временем рассказывали ему о своих делах. Он слушал внимательно, потому что любил, когда люди рассказывают о себе.

Затем в белом халате со стетоскопом на шее он выходил в соседнюю комнату. Там с грелкой, закутавшись в плед, сидела на диване Миранда: она вечно мерзла и была очень ленива. Альберто посылал ее варить кофе.

Он остался таким же непоседой, как в детстве: постоянно пил кофе и курил без передышки, но глубоко не затягивался, а словно отхлебывал дым маленькими глотками.

К нему заходили друзья; он всем мерил давление и давал лекарства.

У каждого он находил какую-нибудь болезнь. Только у жены ничего не находил.

– Дай мне чего-нибудь успокаивающего! – говорила она ему. – Я, видимо, больна. У меня голова раскалывается и все тело ломит!

– Ничем ты не больна. Только сделана из некачественного материала.

Миранда была маленькая худенькая блондинка с голубыми глазами. Она часами просиживала дома в халате Альберто, закутавшись в плед.

– Ей-богу, уеду в Оспедалетти к Елене! – говорила она.

Она все время мечтала уехать в Оспедалетти, где Елена, ее сестра, проводила зиму. Эта сестра, тоже блондинка, правда не такая анемичная, в то время лежала на топчане, в черных очках и с укутанными пледом ногами, или же играла в бридж.

Они обе – Миранда и сестра – превосходно играли в бридж. Даже побеждали на турнирах. У Миранды в доме было множество пепельниц, выигранных на этих турнирах.

За бриджем Миранда выходила из своего сонного оцепенения. Личико у нее оживлялось, курносый носик утыкался в карты, глаза лукаво блестели. Но в остальное время она почти не расставалась со своим креслом и пледом. Ближе к вечеру она поднималась, шла на кухню и заглядывала в кастрюлю, где варилась курица.

– Ну почему в этом доме всегда вареная курица? – спрашивал Альберто.

Альберто тоже играл в бридж. Только он всегда проигрывал.

А еще Миранда играла на бирже и очень хорошо в этом разбиралась: ее отец был маклером.

– Знаешь, – говорила она моей матери, – я, пожалуй, продам акции «Инчета»? А тебе надо срочно избавиться от твоих – на недвижимость! Не понимаю, чего ты ждешь?

– Надо продать акции на недвижимость! – говорила мать, подходя к отцу. – Миранда очень советует!

– Миранда! – возмущался отец. – Что Миранда в этом понимает?

Однако, встречаясь с Мирандой, неизменно спрашивал:

– Ты в самом деле думаешь, что лучше продать акции на недвижимость?

– Ну и зануда эта Миранда! – говорил он затем матери. – Вечно у нее болит голова! Но в биржевых делах она разбирается! Чует, откуда дует ветер!

Когда Альберто объявил, что женится, отец, как всегда, устроил грандиозный скандал. Но потом смирился.

– Как он будет жить, ведь у него нет ни гроша! – говорил он, просыпаясь ночью. – И с такой занудой женой!

В самом деле, денег у них было немного. Но затем Альберто стал зарабатывать. К нему на прием шли главным образом женщины, и каждая делилась с ним своими горестями. Он выслушивал с большим интересом. Потому что от природы был любопытен и терпелив. И любил людей со всеми их болезнями и горестями.

Теперь он читал одни медицинские журналы. В чтении романов Питигрилли наступил перерыв. Все прежние Альберто уже прочел, а новых Питигрилли еще не написал, поскольку исчез неизвестно куда.

И по проспекту Короля Умберто он больше не гулял. Его друг Витторио сидел в тюрьме, а известия о нем Альберто получал редко – лишь когда родители Витторио болели бронхитом и посылали за ним.

Альберто шил себе костюмы у портного по имени Витторио Фоа. Пока портной снимал с него мерку, Альберто говорил:

– Шить у мастера с таким именем – большая честь!

Польщенный портной рассыпался в благодарностях.

В самом деле, фамилия Витторио была, как у портного, – Фоа.

– Вечные бронхиты! – жаловался Альберто Миранде. – Вечно глупые болезни! Ну хоть бы раз попался какой-нибудь необыкновенный, сложный и странный случай! Все надоело! Тоска зеленая! Никаких развлечений!

Но втайне он очень любил свою профессию, только не хотел в этом признаться.

– Альберто – прирожденный врач! – говорила мать.

– Не показаться ли мне Альберто? – спрашивала она отца. – Что-то у меня сегодня живот побаливает.

– Еще чего! – кричал отец. – Что он понимает, этот тюфяк! У тебя болит живот, потому что ты вчера объелась! Прими таблетку! Сейчас найду.

Каждый день мать заходила к Альберто, жившему по соседству. Она всякий раз заставляла Миранду в кресле. Альберто на минутку показывался из кабинета в своем белом халате и со стетоскопом на груди и подходил к калориферу. Он от матери унаследовал эту привычку – греться у калорифера.

Миранда сидела, закутавшись в плед.

– Вставай! Вымой лицо холодной водой! – советовала ей мать. – Пойдем погуляем! Я свожу тебя в кино!

– Не могу! – отвечала Миранда. – Я должна сидеть дома. Жду кузину. К тому же у меня очень болит голова.

– Миранде не хватает жизненных сил, – говорил Альберто. – Она ленива и сделана из некачественного материала.

Миранда вечно ждала своих кузин, которых у нее было множество.

– Надоело мне лечить твоих двоюродных! – возмущался Альберто. – Ну и город! В Турине помрешь со скуки! Здесь никогда ничего не происходит! Раньше хоть сажали! А теперь и этого нет. Про нас забыли. У меня такое чувство, что я никому не нужен – сижу себе в тени!

Паола теперь тоже переехала в Турин. Она жила на холмах, в большом белом доме с круглой террасой, выходившей на По.

Паоле нравились река, улицы и холмы, проспект Валентино, где она когда-то гуляла со своим тщедушным поклонником. Она всегда тосковала по тем временам. Но теперь и ей Турин казался каким-то серым, унылым и печальным городом. Столько людей, столько друзей оказались далеко, в тюрьмах. Паола не узнавала улиц своей юности, когда она читала Пруста и не могла себе позволить шить платье из чистого шелка.

Теперь платьев у нее было полно. Она шила в мастерских, но иногда приглашала на дом и Терсиллу, оспаривая ее у матери. Паола говорила, что Терсилла нужна ей, чтобы почувствовать преимущество, уверенность в себе.

Иногда на обед она приглашала Альберто с Мирандой и Сиона Сегре, вышедшего из тюрьмы. У Сиона Сегре, оказывается, была еще сестра Ильда, которая жила с мужем и детьми в Палестине, но время от времени навещалась в Турин.

Паола подружилась с этой Ильдой. Ильда была высокая красивая блондинка. Вместе с Паолой они совершали долгие прогулки по городу.

Сыновей Ильды звали Бен и Ариэль; они ходили в школу в Иерусалиме. В Иерусалиме Ильда жила замкнуто и интересовалась только еврейским вопросом, но в Турине, когда она приезжала навестить брата, с удовольствием болтала о нарядах и гуляла по улицам.

Мать всегда ревновала Паолу к ее подругам: стоило появиться новой подруге, у матери портилось настроение, потому что она чувствовала себя отодвинутой на второй план.

По утрам она вставала мрачная, с набухшими веками.

– Я в мерехлюндии, – говорила она.

Сочетание одиночества с плохим настроением и с несварением желудка мать обычно называла «мерехлюндией». С этой своей «мерехлюндией» она не вылезала из гостиной, мерзла и куталась в шерстяные шали. Все переживала, что Паола ее бросила, не навещает – гуляет где-то со своими подругами.

– Все надоело! – говорила мать. – Ничто меня не радует! Тоска зеленая! Хоть бы заболеть, что ли!

Иногда она болела гриппом. И этим была довольна: грипп ей казался гораздо более благородным заболеванием, чем обычное несварение желудка. Она то и дело мерила температуру.

– Знаешь, я заболела, – говорила она отцу, – у меня тридцать семь и четыре.

– Тоже мне, температура! – отвечал отец. – Я с тридцатью девятью хожу в лабораторию.

– Вечером еще померю! – говорила мать. Но, не дожидаясь вечера, то и дело совала под мышку градусник. – Опять тридцать семь и четыре! А я так плохо себя чувствую!

Паола в свою очередь ревновала мать к ее подругам. Не к Фрэнсис или Паоле Карраре, а к этим молодым девушкам, которых мать опекала беспрестанно и вытаскивала на прогулки или в кино. Когда Паола приходила к матери, а ей говорили, что она гуляет со своими молодыми подружками, сестра жутко злилась:

– Вечно она гуляет! Никогда ее дома не застать!

А еще она злилась, если мать пристраивала одну из своих приятельниц к Терсилле.

– Зачем ты это делаешь? – набрасывалась она на мать. – Терсилла мне самой нужна, чтобы переделать пальтишки детям!

– Наша мама слишком молода! – то и дело жаловалась мне Паола. – Хорошо бы, она была старая, грузная, седая, чтобы всегда сидела дома и вышивала салфетки. Как, например, мать Адриано. Я бы чувствовала себя уверенной, если б мама у меня была тихой, спокойной старушкой. Не ревновала бы меня к моим подругам. Я бы ходила к ней в гости, а она, вся в черном, сидела бы тихо за вышиванием и давала бы мне дельные советы!

– Чтоб разогнать тоску, взяла бы да научилась вышивать, – говорила она матери. – Вон моя свекровь вышивает! Целыми днями только и сидит за пяльцами!

– Твоя свекровь глухая! – отвечала мать. – Я же не виновата, что не глухая, как твоя свекровь. Мне тоскливо сидеть в четырех стенах! Я люблю бывать на воздухе!

– Представляешь, я – и вдруг буду вышивать! – говорила она мне. – Да это же немыслимо! Я даже штопать не умею. Когда штопаю носки отцу, у меня выходит так неровно, что Наталине потом приходится распарывать!

Она снова стала учить русский – теперь самостоятельно: сидела на диване и читала по складам фразы из грамматики. За этим занятием ее и заставляла часто Паола.

– Ох, и надоела ты, мама, со своим русским! – вздыхала она.

Паола ревновала и к Миранде.

– Вечно ты торчишь у Миранды! А ко мне хоть бы раз зашла!

Миранда родила мальчика, его называли Витторио. А Паола примерно в то же время – вторую девочку.

О ребенке Миранды Паола отзывалась недоброжелательно:

– Такой некрасивый, лицо грубое. Похож на сына железнодорожника.

Теперь мать, когда отправлялась к Миранде, неизменно говорила:

– Пойду погляжу, как там наш железнодорожник!

Мать очень любила маленьких. И еще ей нравились их няньки.

Няньки напоминали ей то время, когда она сама была молодой мамой. У нее были няньки на любой вкус – сухопарые и кровь с молоком, – от них она научилась многим песням. Распевая дома какую-нибудь песню, она говорила:

– Вот этой меня выучила нянька Марио! А этой – нянька Джино!

Сына Джино, Артуро – родившегося в тот год, когда арестовали отца, – мы взяли летом в горы вместе с его нянькой. Мать все время болтала с нею.

– Опять якшаешься с прислугой! – выговаривал ей отец. – Под тем предлогом, что нянчишь детей, ты чешешь язык с прислугой!

– Но она такая милая, Беппино! И антифашистка! У нее те же взгляды, что и у нас с тобой.

– Я запрещаю тебе говорить о политике с прислугой!

Из всех своих внуков отец признавал одного Роберто. Покажут ему новорожденного внука, а он говорит:

– И все-таки Роберто лучше!

Возможно, потому, что Роберто был первый, отец получше к нему присмотрелся.

В сезон отец снимал все время один и тот же дом: годами не желал сменить место. Это был большой дом из серого камня, окнами на луг; расположен он был в Грессоне, возле Перлотоа.

С нами выезжали дети Паолы и сын Джино, а железнодорожника, сына Альберто, отправляли в Бардонеккью, потому что у Елены, Мирандиной сестры, там был дом. Отец с матерью почему-то презирали Бардонеккью. Говорили, что там ужасно и нет солнца. Послушать их, так Бардонеккья просто отхожее место.

– Все-таки дура эта Миранда! – говорил отец. – Могла бы приехать сюда с ребенком. Здесь ему наверняка было б лучше, чем в какой-то вонючей Бардонеккье.

– Бедный железнодорожник! – добавляла мать.

А ребенок возвращался из Бардонеккьи поздоровевший, веселый. И вообще он был очень красивый, цветущий белокурый мальчик. Совсем не похож был на железнодорожника.

– Гляди-ка, а он неплохо выглядит, – удивлялся отец. – Как ни странно, Бардонеккья пошла ему на пользу.

Иногда мы ездили в Форте-дей-Марми, потому что Роберто был нужен морской воздух. Отец с большой неохотой ездил на море. Одетый в костюм, он садился под зонт с книгой и ворчал: его раздражала публика в купальниках. Мать входила в воду, но только возле берега – плавать она не умела, а на волнах плескалась с удовольствием. Но стоило ей выйти и сестра рядом с отцом, лицо у нее тоже недовольно вытягивалось. Она обижалась на Паолу, потому что та подолгу каталась на водных лыжах далеко в море.

Вечером Паола шла в танцевальный зал.

– Каждый вечер проводит на танцуйках! – бурчал отец. – Надо же быть такой ослицей!

А вот в Грессоне отец чувствовал себе превосходно, и мать тоже. Паола и Пьера наезжали изредка, были только дети. Но матери вполне хватало общества детей, Наталины и няnek.

А я в этом окружении и в этих горах смертельно скучала. По соседству с нами снимали дом Фрэнсис с Лучо. Каждый день, одевшись во все белое, они спускались в деревню играть в теннис.

Тут же, в деревенской гостинице, отдыхала и Адель Разетти; она ничуть не изменилась:



маленькая, худенькая, вытянутое, зеленое, как у сына, личико и острые глазки, сверлившие, как буравчики. Она собирала насекомых в платочек и раскладывала их на замшелой деревяшке на подоконнике.

– Как мне нравится Адель! – говорила мать.

Сын ее стал известным физиком и работал в Риме с Ферми.

– Я всегда говорил, что Разетти очень умен, – замечал отец. – Но сухарь! Такой сухарь!

Фрэнсис приходила к матери на луг и усаживалась рядом на скамейку; в руках у нее была ракетка в чехле, на лбу эластичная повязка. Она рассказывала о своей невестке, жене дядюшки Мауро из Аргентины, передразнивая ее выговор:

– Ишчо бы!

– Помните, – говорил отец, – мы ходили в горы с Паолой Каррарой, и она трещины называла «дырками, куда нога проваливается»?

– А помнишь, – подхватывала мать, – когда Лучо был маленький и мы ему объясняли, что в походах никогда нельзя просить пить, он нам отвечал: «А я и не прошу, я просто хочу пить».

– Ишчо нет! – откликнулась Фрэнсис.

– Лидия, оставь ногти в покое! – гремел отец. – Веди себя прилично!

– Поболтаешь с Фрэнсис, потом с Адель Разетти, – говорила мать, – вот и день проходит!

Но когда Паола приезжала повидаться со своими детьми, мать сразу же становилась беспокойной и недовольной. Она ни на шаг не отходила от Паолы, наблюдала, как она вынимает свои баночки с кремом для кожи. У матери своих кремов было достаточно, причем тех же самых, но она всегда забывала ими мазаться.

– У тебя морщины, – говорила ей Паола, – займись собой немного. Каждый вечер кожу надо смазывать хорошим питательным кремом.

В горы мать брала с собой тяжелые мохнатые юбки.

– Ты одеваешься хуже швейцарок! – выговаривала ей Паола. – Ох, как же тоскливо в горах! Терпеть их не могу!

– Все они минералы! – говорила она мне, вспоминая игру, в которую они играли с Марио. – Адель Разетти – минерал чистой воды. У меня нет сил общаться с такими твердокаменными людьми.

Спустя несколько дней она уезжала, и отец ей говорил:

– Ну куда ты так скоро? Вот ослица!

Осенью мы поехали с матерью навестить Марио, который теперь жил в какой-то деревушке под Клермон-Ферраном и преподавал в коллеже.

Он очень подружился со своим директором и его женой. Он уверял, что это необыкновенно образованные и необыкновенно честные люди, каких можно встретить только во Франции.

При коллеже у него была маленькая комнатка с угольной печью. Из окна открывался вид на заснеженную равнину. Марио писал длинные письма в Париж Кьяромонте и Кафи. Переводил Геродота и воевал со своей печкой. Под пиджаком он теперь носил темный свитер с высоким

воротом, который связала ему жена директора. В знак благодарности Марио подарил ей корзиночку для рукоделья.

В деревне его все знали; со всеми он останавливался поговорить, все его приглашали в дом выпить «vin blanc»[5].

– Совсем французом стал! – говорила мать.

По вечерам он играл в карты с директором коллежа и его женой. Они вели долгие разговоры о методике преподавания. Или о супе, приготовленном на ужин, – достаточно ли там лука.

– Такой стал выдержанный! – говорила мать. – И как он выносит этих людей? На нас у него никогда терпения не хватало, с нами он скучал. А ведь они еще большие зануды! Я думаю, он их терпит только потому, что они французы!

В конце зимы Леоне Гинзбург отбыл свой срок в Чивитавеккье и вернулся в Турин. У него было чересчур короткое пальто и поношенная шляпа, сидевшая набекрень на его черной шевелюре. Ходил он неторопливо, руки в карманах; губы всегда были плотно сжаты, а из-под насупленных бровей глядели черные пронизательные глаза. Очки в темной черепаховой оправе то и дело съезжали на крупный нос.

С сестрой и матерью они сняли квартиру неподалеку от проспекта Франции. Гинзбург жил под надзором: обязан был дотемна возвращаться домой и каждый вечер к нему приходили полицейские для проверки.

Они с давних пор дружили с Павезе. Павезе тоже только что вернулся из ссылки и ходил грустный-грустный из-за несчастной любви. По вечерам он неизменно являлся к Леоне, вешал в передней свой лиловый шарфик, пальто с хлястиком и подсаживался к столу. Леоне обычно сидел на диване, опершись на локоть.

Павезе говорил, что ходит в дом к Гинзбургам не потому, что он такой уж храбрый – храбрости ему как раз недостает – и не из самопожертвования, а просто не знает, куда себя девать: хуже нет, чем проводить вечера в одиночестве, говорил он.

А еще он объяснял, что ходит сюда не для того, чтоб рассуждать о политике: ему, мол, на политику «начхать».

Иногда он мог просидеть целый вечер без единого слова, посасывая трубку. А иногда, накручивая волосы на пальцы, рассказывал о своих делах.

Никто не умел слушать людей так, как Леоне, ни в ком не было столько внимания к чужим делам, несмотря на то что у него своих забот было по горло.

Сестра Леоне подавала чай. Они с матерью выучили Павезе говорить по-русски: «Я люблю чай с сахаром и с лимоном».

В полночь Павезе хватал с вешалки свой шарф, быстро обматывал им шею и натягивал пальто. Высокий, бледный, с поднятым воротником, зажав крепкими белыми зубами потухшую трубку, он быстрым, широким шагом шел, слегка скособочившись, уходил по проспекту Франции.

Леоне потом брал из шкафа какую-нибудь книгу и стоя принимался читать ее наугад, сдвинув брови. Так он мог простоять часов до трех.

Леоне начал сотрудничать с одним издателем, своим другом. В редакции были только он, издатель, кладовщик и машинистка, которую звали синьорина Коппа. Издатель был молод, румян, застенчив, часто краснел.

Однако, когда надо было позвать машинистку, он дико вопил:

– Коппа-а-а!

Они пытались уговорить Павезе работать с ними. Но Павезе заупрямился.

– Начхать мне на все это! Я не нуждаюсь в жалованье. Содержать мне некого. А самому хватит миски с похлебкой и табаку.

У него были часы в одном лице. Платили мало, но ему больше и не требовалось.

К тому же он занимался переводами с английского. Перевел «Моби Дика». Объяснял, что делает это ради собственного удовольствия, ему заплатили, правда, но он бы и задаром перевел, даже сам бы приплатил, чтоб перевести эту вещь.

Писал он и стихи. Его поэзия отличалась медленным, тягучим ритмом – нечто вроде скорбной кантилены. В стихах представляли Турин, По, холмы, окутанные туманом, остерии на городских окраинах.

В конце концов он согласился и стал вместе с Леоне работать в этом небольшом издательстве.

В работе он был педантичен, аккуратен, то и дело ворчал на Леоне и другого коллегу, которые утром являлись поздно, а обедать шли аж в три часа. Павезе придерживался иного графика: начинал рано, но и на обед уходил ровно в час, потому что в это время его сестра дома ставила на стол суп.

Леоне с издателем постоянно ссорились. Целыми днями не разговаривали, потом писали друг другу длинные письма и таким образом заключали мир. Павезе на все это было «начхать».

Настоящим призванием Леоне была политика. Однако кроме политики он интересовался поэзией, филологией, историей.

Поскольку в Италию он приехал ребенком, то по-итальянски говорил так же хорошо, как и по-русски. Но дома, с матерью и сестрой, он говорил только по-русски. Они почти никуда не выходили и ни с кем особенно не виделись, поэтому он им рассказывал в мельчайших подробностях все, что он делал и с кем встречался.

До ареста он был завсегдатаем светских салонов. Таких блестящих собеседников трудно сыскать, хотя Леоне слегка заикался; его мысли и дела были постоянно сосредоточены на серьезных и важных вещах, и, несмотря на это, Леоне с готовностью выслушивал самые пустяковые сплетни; люди его очень занимали – у него была прекрасная память на лица и на самые пустяковые жизненные подробности.

Но когда Гинзбург вернулся из тюрьмы, его перестали приглашать: люди его даже избегали, поскольку теперь в Турине все знали, что он опасный заговорщик. Но он как будто ничуть не огорчился: про эти самые салоны совсем забыл.

Мы с Леоне поженились и переехали в дом на виа Палламальо.

Отец, когда мать ему сообщила о намерении Леоне жениться на мне, закатил обычный скандал, какой он всегда устраивал по случаю наших предстоящих браков. Правда, на этот раз насчет уродства Леоне он и словом не упомянул.

– У него такое шаткое положение! – возражал он.

В самом деле, положение у Леоне было шаткое и более чем неопределенное. Его со дня на день могли арестовать и посадить в тюрьму, могли под любым предлогом снова отправить в ссылку.

– Но когда придет конец фашизму, – говорила мать, – Леоне станет крупным политическим деятелем.

Кроме того, издательство, где он работал, несмотря на небольшие размеры и нехватку денег, работало с завидной энергией.

– Они печатают даже книги Сальваторелли, – говорила мать.

Имя Сальваторелли оказывало на моих родителей поистине магическое воздействие.

Как только я вышла замуж, отец в разговоре с посторонними стал называть меня «моя дочь Гинзбург». Он всегда очень чутко реагировал на изменение статуса и называл всех женщин, вышедших замуж, по фамилии мужа. Так, у него было два ассистента – мужчина и женщина по фамилии Оливо и Порта. Через какое-то время они поженились. Мы все продолжали звать ее Порта, а отец сердился:

– Она больше не Порта! Зовите ее Оливо!

В боях в Испании погиб сын Джуа – тот самый бледный юноша с горящими глазами, который в Париже был очень дружен с Марио. Его отцу в тюрьме Чивитавеккьи грозила слепота из-за трахомы.

Синьора Джуа часто приходила к матери: они познакомились и подружились в доме Паолы Каррары. Они перешли на «ты», но мать продолжала называть ее, как прежде, «синьора Джуа».

– Ты, синьора Джуа... – говорила она по привычке, от которой ей уже трудно было отказаться.

Синьора Джуа приходила со своей девочкой: ее звали Лизеттой и она была лет на семь моложе меня.

Лизетта как две капли воды походила на своего брата Ренцо: высокая, бледная, пряменькая, с горящими глазами, коротко стриженная и с челкой на лбу. Мы вместе катались на велосипеде, и Лизетта рассказывала мне про старого школьного товарища своего брата Ренцо: они вместе учились в лицее Д'Адзельо, а теперь он навещает ее и дает почитать книги Кроче; очень умный мальчик, говорила она.

Так я впервые услышала о Бальбо. Лизетта сообщила мне, что он граф. Однажды она мне показала его на улице, на проспекте Короля Умберто. Тогда я и не подозревала, что этому маленькому человечку с красным носом суждено стать моим лучшим другом, и без всякого интереса посмотрела на маленького графа, который давал Лизетте книги Кроче.

Частенько на проспекте Короля Умберто я встречала девушку, показавшуюся мне очень красивой и очень неприятной: лицо, словно вылитое в бронзе, маленький орлиный нос, будто разрезавший воздух, прищуренные глаза и медленная, надменная походка. Я спросила про нее Лизетту.

– Она тоже училась в лицее Д'Адзельо, – ответила Лизетта, – пользуется успехом, вот и задается.

– Очень красивая, – сказала я, – ненавижу таких.

Ненавистная мне девица жила на одной из улиц, выходящих на проспект, в нижнем этаже. Летом я видела, как она стоит у открытого окна, смотрит на меня прищуренными глазами и презрительно кривит губы; на бронзовом лице, окаймленном каштановыми волосами, подстриженными под пажа, выражение загадочности и скуки.

– Так бы и надавала ей по физиономии! – сказала я Лизетте.

В течение многих лет, уже уехав из Турина, я носила в себе эту физиономию, по которой хотелось надавать; позже я узнала, что «физиономия» поступила в издательство и работает вместе с Павезе и другим коллегой; я поразилась, как эта высокомерная, надутая девица могла снизойти до таких скромных и близких мне людей. Потом мне сказали, что она арестована с группой заговорщиков, что поразило меня еще больше. Прошло немало лет, прежде чем мы снова встретились, и эта «физиономия» стала самой близкой моей подругой.

Помимо книг Кроче Лизетта увлекалась романами Сальгари. Ей тогда не было и четырнадцати, иными словами, она была в том возрасте, когда человек, взрослея, то и дело возвращается в детство. Романы Сальгари я читала, но все перезабыла, и Лизетта мне их рассказывала, когда мы, выехав за город и положив велосипеды на траву, садились отдохнуть. В мечтах и речах Лизетты мешались индийские махараджи, отравленные стрелы, фашисты и тот маленький граф по имени Бальбо, навещавший ее по воскресеньям и приносящий ей книги Кроче. А я слушала с каким-то рассеянным любопытством. Я Кроче ничего не читала, кроме разве что «Литературы новой Италии», вернее, тех отрывков, где давалось изложение романов и приводились из них цитаты. Тем не менее в тринадцать лет я написала Кроче письмо и послала ему несколько своих стихотворений. Он ответил очень любезно и деликатно, объяснив мне, что моим стихам далеко до совершенства.

Я скрывала от Лизетты, что не прочла ни одной книги Кроче: она меня так уважала, что не хотелось ее разочаровывать; ну и пусть я его не читала, думала я, зато Леоне прочел всего Кроче – от начала до конца.

Как-то незаметно было, что фашизму скоро придет конец. Более того – казалось, он не придет никогда.

В Баньоль-де-л'Орне убили братьев Росселли.

Турин был наводнен евреями, беженцами из Германии. У отца в лаборатории тоже работали ассистентами несколько немецких евреев.

У них не было гражданства. Мы думали, что, возможно, скоро и у нас не будет гражданства и мы будем вынуждены скитаться из одной страны в другую, обивать пороги полицейских участков, не имея ни работы, ни жилья, ни корней.

– Ты после замужества богаче или беднее себя чувствуешь? – спросил Альберто, когда мы с Леоне поженились.

– Богаче, – ответила я.

– Я тоже! А ведь на самом деле у нас нет ни гроша!

Покупая продукты, я удивлялась их дешевизне. Было странно, потому что со всех сторон только и слышалось, как высоки цены. Лишь иногда под конец месяца я оставалась на мели, истратив все до последнего.

И тогда я радовалась, если кто-нибудь приглашал нас на обед. Даже люди, которые мне были неприятны. Радовалась, что бесплатно поем чего-нибудь новенького, чего не покупала сама и не видела, как это готовится.

У меня была служанка, Мартина. Я к ней очень хорошо относилась, но порой думала: а вдруг она плохо убирает, не тщательно вытирает пыль?

Я была так неопытна, что даже не могла понять, чисто у меня в квартире или нет.

У Паолы и у матери я видела в гладильне платья и костюмы, повешенные для выведения пятен бензином. И я тут же спрашивала себя: а вдруг Мартина никогда не чистит костюмы и не выводит с них пятна? В кухне у нас, правда, висела щетка и стоял пузырек с бензином, заткнутый тряпкой, но он всегда был полон, и я не видела, чтоб Мартина когда-нибудь им пользовалась.

Порой мне хотелось распорядиться насчет генеральной уборки, как это делалось у матери, когда Наталина с тюрбаном на голове, похожая на пирата, переворачивала вверх дном мебель и выбивала пыль палкой. Но я никак не могла выбрать подходящего момента, чтобы отдать Мартине такое распоряжение. Я ее стеснялась, а она в свою очередь робела и терялась передо мной.

Сталкиваясь с ней в коридоре, я начинала мило улыбаться, но так и откладывала со дня на день вопрос о генеральной уборке. Я не могла, не осмеливалась давать ей приказания, хотя у матери в доме с прислугой не церемонилась и всегда добивалась своего. Помню, когда мы выезжали в горы, я каждое утро приказывала приносить ко мне в комнату большие ведра и кувшины с горячей водой: ванной в том доме не было, и я мылась у себя в комнате, в тазу. Отец проповедовал обливания холодной водой, но никто из нас, кроме матери, к этому не приучился, наоборот, все мы как будто из духа противоречия с детства ненавидели холодную воду. А теперь я недоумевала, как это у меня хватало дерзости заставлять Наталину греть воду на дровяной печке и таскать огромные ведра вверх по лестнице. Мартине я не осмелилась бы приказать принести мне даже стакан воды. Выйдя замуж, я вдруг открыла для себя, что такое физический труд; на меня словно напала лень, парализовавшая мою волю и распространявшаяся в моем сознании на окружающих: я только и думала, как бы избавиться их от лишней работы; поэтому Мартине я старалась заказывать на обед блюда попроще и чтоб поменьше пачкать посуды. Открыла я то, как достаются деньги, – нет, не то чтобы я стала скупой, у меня, как у матери, руки всегда были дырявые, просто вдруг осознала, что за всем как мучительное осложнение стоят деньги и самая ничтожная трата может привести к совершенно непредсказуемым последствиям; все это усугубляло мою лень и пассивность. Однако же, как только в руках у меня оказывались деньги, я не ленилась немедленно их потратить, чтобы потом горько раскаиваться в содеянном.

В школьные годы у меня были три подруги. У нас в семье их называли «ломаками». На языке матери «ломака» – жеманная и расфуфыренная девица. Мои подруги, как мне казалось, ничуть не жеманились и одевались не то чтобы как-то особенно, но матери, видно, врезалось в память, как я в детстве играла с нарядными и капризными девочками, вот она и окрестила «ломаками» всех моих подруг.

– Где Наталия?

– Да со своими ломаками! – отвечали обычно в нашей семье.

С этими девочками я дружила со времен лица и до замужества почти с ними не расставалась. Они были из бедных семей. Возможно, меня так привлекала к ним именно бедность, которой я не знала, но всегда мечтала узнать. И, выйдя замуж, я продолжала встречаться с этими тремя подругами, правда уже реже; теперь мы могли не видеться неделями, и они обижались, хотя понимали, что это неизбежно. Я же всегда радовалась этим встречам, потому что они напоминали мне о детстве, все дальше уходящем в прошлое.

Мои подруги по разным причинам вели довольно замкнутый образ жизни. Они не принимали беззаботного, обывательского существования, сводившегося, на их взгляд, к комфорту,

точному распорядку дня, уходу за телом и лицом и систематическим занятиям под надзором старших. У меня до замужества была именно такая жизнь со всеми ее привилегиями, но я тоже ее презирала и стремилась поскорее с нею покончить. Мы с подругами будто нарочно выбирали для встреч самые убогие места: замусоренные парки, полупустые грязные кафе, обшарпанные киношки – и в этой унылой полутьме, на холодных скамейках чувствовали себя словно на корабле, снявшемся с якоря и дрейфующем в открытом море.

Две «ломаки» были сестрами и жили со старым отцом, некогда очень богатым, но разорившимся человеком, который вел какую-то тяжбу и без конца общался с адвокатами. Он вечно составлял длинные памятки и мотался из Турина в Сасси, где у него сохранилось небольшое имение; дочерей он потчевал немыслимыми еврейскими блюдами, от которых их тошнило, и пребывал в полном неведении относительно того, чем занимаются его дочери; а те ничем особенным и не занимались, но поставили себе за правило игнорировать отцовское присутствие, проявлявшееся в случайных окриках или недовольном ворчании. Это были высокие, красивые и цветущие брюнетки; первая, страшно ленивая, все время валялась в постели и отца благодушно не замечала, вторая, энергичная и решительная, его третировала жгучим презрением.

У ленивой были арабские удлиненные глаза, черные мягкие локоны, склонность к полноте и страсть к серьгам и побрякушкам; хотя она клялась, что ненавидит свою полноту, но ничего не делала, чтобы похудеть, и распрекрасно себя чувствовала.

– *Nigra sum, sed formosa*[6], – обычно говорила она о себе с улыбкой, обнажавшей белые крупные, чуть выдающиеся наружу зубы.

Энергичная была худа и стремилась похудеть еще больше; особенно ее заботили мощные, как колонны, ноги: она то и дело огорченно разглядывала их в зеркале; несмотря на то что усилием воли ей удалось не располнеть, у нее были пышные, крутые бедра и широкая кость. Перед свиданиями с молодыми людьми, которые были ей хоть чуть-чуть небезразличны, она постилась целый день, съедала в лучшем случае одно яблоко, иначе собственноручно сшитые платья в обтяжку могли лопнуть. Наморщив лоб и зажав во рту булавки, она сосредоточенно мастерила себе эти платья и добивалась, чтобы они были как можно скромнее: сестре она ставила в укор не только полноту, но и стремление одеваться в яркие шелка.

Их отец, уходя из дому, имел обыкновение оставлять на кухонном столе длинные кляузы, написанные острым и наклонным чиновничьим почерком: то на прислугу, которая «принимала кавалера и скормила ему полдины, что было мною обнаружено сегодня вечером», то на крестьянку из Сасси, уморившую по недосмотру «прелестных маленьких» кроликов, то на соседку по дому, обругавшую его за прожженное покрывало, взятое у нее взаймы, – «она поносила меня всеми словами, а я в своей беззащитности ничего и ответить не мог».

Девушки водили дружбу с еврейскими беженцами из Германии, иногда подкармливали их той немыслимой бурдой, которую отец, приготовив, оставлял на кухне в больших черных сковородках. У них в доме я встречалась со студентами, жившими одним днем и не знавшими, что будет с ними через месяц, – то ли уедут в Палестину, то ли разыщут в Америке какого-нибудь дальнего, неведомого родственника. Я никогда не забуду тот открытый для всех дом с узким темным коридором, где входящие непременно спотыкались об отцовский велосипед, с маленькой гостиной, заставленной мебелью, в которой еще виделись следы былой роскоши, с еврейскими светильниками и мелкими красными яблочками из имения в Сасси, рассыпанными по обшарпанным коврам. Иногда на лестнице или в коридоре я сталкивалась со старым отцом: он был по обыкновению сосредоточен на своих адвокатах, гербовых бумагах или же кошелках с яблоками и перцем, но тем не менее всегда останавливался и заводил разговор на пьемонтском наречии о своей тяжбе, поглаживая серую нечесаную бороду и вытирая шляпой благородный, пророческий лоб; а

дочерей это раздражало, и они поскорее отсылали его к нему в комнату.

Служанки в этом доме тупо, как сомнамбулы, слонялись с места на место и занимались непонятно чем: в кухню вход им был заказан, потому что отец к продуктам никого не подпускал, а прибраться в гостиной им тоже не разрешалось, поскольку они могли разбить еврейский светильник или своровать яблочко. Впрочем, задерживались они недолго: раз в две-три недели очередную увольняли и нанимали новую, такую же тупую лунатичку.

Сестры жили на виа Говерноло. Во время войны дом был разрушен; вернувшись после войны в Турин, я пошла взглянуть на него, но нашла лишь груды руин в старом дворе: от развороченной лестницы, по которой отец поднимался и спускался с велосипедом и кошелками, остались одни перила. Он умер во время войны, еще до немецкой оккупации. Он заболел и лег в еврейскую больницу, куда прихватил с собой курицу в надежде, что ему разрешат самому сварить ее. Умер один: дочери разъехались – одна в Африку с мужем, другая, решительная, в Рим, изучать право.

Третью мою подругу звали Маризой. Она жила на проспекте Короля Умберто, но в самом конце, где мостовая переходила в лужайку и где был трамвайный круг. Мариза была маленькая, изящная, много курила и вязала на спицах чудные беретки, которые так ловко сидели на ее рыжих кудрях. Еще она вязала пуловеры.

– Свяжу себе ховошенький пуловев, – говорила она, произнося «в» вместо «р».

Таких «ховошеньких пуловевов» с высоким воротником у нее было множество; она их надевала под пальто из верблюжьей шерсти. Она была родом из очень богатой семьи, в детстве отдыхала на морских курортах, в шикарном отеле и совсем еще девочкой ходила на танцы в курзалах. Но потом семья обеднела, и Мариза сохраняла о той близкой и далекой жизни приятные, слегка насмешливые воспоминания, начисто лишённые горечи или сожалений. По натуре она была ленива, доверчива и невозмутима.

Во время немецкой оккупации Мариза стала партизанкой: такого мужества едва ли кто-либо ожидал от этой вялой и хрупкой девочки. Потом она стала коммунисткой и посвятила всю жизнь партийной работе; правда, всегда оставалась в тени, потому что была не тщеславна, а, напротив, скромна и уступчива. Она рассуждала только на партийные темы, произнося «павтия» так же спокойно и искренне, как некогда: «Свяжу себе ховошенький пуловев». Замуж она так и не вышла, потому что ни один мужчина не соответствовал выношенному ею идеалу; этот идеал она даже не могла описать, но, видимо, представляла себе очень четко.

Все три подруги были еврейками. В Италии началась расовая кампания, и они, общаясь с евреями-беженцами, невольно рисковали своей репутацией. Впрочем, они, да и я тоже, ко всему относились довольно беззаботно. Мы учились в университете, но, за исключением нашей решительной и энергичной подруги, не были особенно прилежны в занятиях.

Отец моих подруг с виа Говерноло в начале расовой кампании получил анкету, где среди прочего требовалось указать «награды» и «особые заслуги».

«В 1911 году, – написал он, – я был членом клуба „Rari nantes“ [7] и зимой купался в По. По случаю ремонтных работ в моем доме инженер Казелла назначил меня старшим мастером».

Меня в отличие от Паолы мать не ревновала к подругам. А когда я вышла замуж, не терзалась и не плакала, как перед ее свадьбой. Мать не считала меня ровней, она опекала, защищала меня по-матерински, как своего птенца. Мой уход из дому не был для нее ударом, отчасти потому, что я не была ей нужна как собеседница (из меня «слова не вытянуть»), а отчасти из-за того, что с годами она смирилась с тем, что рано или поздно дети покидают родное гнездо, и потому старалась оградить себя от неприятных эмоций, чтобы боль разлуки не ощущалась чересчур остро.



Казалось, на всем свете оптимистами остались лишь Адриано и моя мать. Паола Каррара, мрачная и настороженная, безвылазно сидела в своей гостиной, однако по вечерам все еще приглашала Сальваторелли, напрасно дожидаясь от него слов ободрения. Сальваторелли являлся еще мрачнее, его настроение сразу передавалось остальным, и ждать надежды было уже не от кого: всех охватывал смутный страх.

Но у Адриано опять нашелся «осведомитель», сообщивший, что фашизм протянет недолго. Мать радовалась и хлопала в ладоши, правда, порой и у нее закрадывалось сомнение: уж не обычная ли гадалка этот «осведомитель»? У Адриано в каждом городе была гадалка, он говорил, что некоторые «просто потрясающе угадывают прошлое и читают мысли». Причем Адриано утверждал, что «читать мысли» может всякий: так, у его отца, бывает, спрашивают, откуда тот что-то знает, а старик говорит: «Читаю мысли». Мать все охотнее общалась с Адриано, потому что любила его как родного и к тому же ожидала от него ободряющих вестей; Адриано всем нам предсказывал самое что ни на есть счастливое и блестящее будущее.

– Леоне, – говорил он, – станет государственным мужем.

– Как здорово! – радовалась мать и хлопала в ладоши, как будто это уже произошло.

– Он будет премьер-министром!

– А Марио? – спрашивала мать. – Его что ждет?

У Марио, по мнению Адриано, были более скромные перспективы. Он Марио недолго любил, считая его слишком большим критиканом, и тоже не одобрял его отход от группы Росселли. Может, он даже раскаивался в том, что когда-то устроил Марио на фабрику, а тот сразу кинулся в заговоры, потом был арестован и бежал.

– А Джино? А Альберто? – все приставала мать, и Адриано терпеливо предсказывал.

В хиромантию мать не верила, зато каждое утро, сидя в халате за чашкой кофе, она раскладывала пасьянс и приговаривала:

– А ну-ка, поглядим, станет ли и впрямь Леоне государственным мужем. А ну-ка, поглядим, станет ли Альберто знаменитым врачом. А ну-ка, поглядим, подарит ли мне кто-нибудь хорошенький домик.

Кто мог ей подарить «хорошенький домик», было уж совсем неясно – во всяком случае, не отец, которому опять стало казаться, что у него не хватает на жизнь, особенно теперь, при этих расовых законах.

– А ну-ка, поглядим, долго ли протянет фашизм, – говорила мать, тасуя карты, встряхивая седыми волосами в капельках воды после холодного душа и подливая себе кофе.

В самом начале расовой кампании Лопесы уехали в Аргентину. Все наши знакомые евреи или уже уехали, или готовились к отъезду. Никола, брат Леоне, эмигрировал с женой в Америку. Там у них был какой-то старый дядюшка Кан – его никто в глаза не видел, потому что из России он уехал совсем мальчиком. Время от времени мы с Леоне тоже поговаривали о том, что надо ехать «в Америку, к дяде Кану». Однако визы нам не дали. Вскоре Леоне лишили гражданства.

– Хорошо бы нам получить паспорт Нансена! – все время твердила я.

Это был специальный паспорт, который в исключительных случаях выдавали лицам, лишенным гражданства. Я услышала об этом от Леоне, и паспорт Нансена стал пределом мечтаний; однако же всерьез ни я, ни он не собирались выезжать из Италии. Был момент,

когда еще можно было уехать: Леоне предложили работу в Париже, в организации Росселли. Но Леоне отказался. Не хотел становиться изгнанником, отщепенцем.

И в то же время парижские эмигранты представлялись нам замечательными, необыкновенными людьми: даже не верилось, что где-то их можно встретить на улице, пожать им руку. Я уже давно не видела Марио и не знала, увижу ли когда-нибудь. Он для меня тоже стал теперь необыкновенным, как все они, как Гароши, Луссу, Кьяромонте, Кафи. Кроме Кьяромонте, который бывал у Паолы на взморье, я из них больше никого не видела.

– А как выглядит Гароши? – спрашивала я у Леоне. «Вон он, Париж, – думала я, шагая по проспекту Франции, – совсем близко, за теми горами, окутанными голубоватой дымкой. Так близко, и вместе с тем между нами пропасть».

Столь же недостижимыми и необыкновенными казались те, кто сидели в тюрьме: Бауэр и Росси, Винчигуэрра и Витторио. Они все больше отдалялись от нас, погружаясь во мрак потусторонности. Неужто совсем недавно Витторио ходил по проспекту Короля Умберто, выставив вперед свой подбородок? Неужто с ним и с Марио мы играли в растения и минералы?

У отца отобрали кафедру. Но вскоре он получил приглашение от какого-то института в Льеже. Они с матерью уехали.

Мать прожила в Бельгии несколько месяцев. Она ужасно тосковала там, и письма ее были полны отчаяния. В Льеже все время шли дожди.

– Будь он проклят, этот Льеж! – ругалась мать. – Будь она проклята, эта Бельгия!

Марио написал ей из Парижа, что Бодлер тоже терпеть не мог Бельгию. Мать не очень жаловала Бодлера, ее любимым поэтом был Поль Верлен, но тут она сразу же преисполнилась симпатии к Бодлеру. Отцу в Льеже работалось хорошо, у него даже появился ученик – юноша по фамилии Шевремон.

– В Бельгии только двое милых людей – Шевремон и квартирная хозяйка, больше не с кем словом перемолвиться, – говорила мать, вернувшись в Италию.

Она зажила как прежде. Навещала меня, Миранду, Паолу Каррару, ходила в кино.

Моя сестра Паола сняла на зиму квартиру в Париже.

– Теперь, когда Беппино нет со мной, я начну экономить, – то и дело заявляла мать, чувствуя себя при этом такой бедной. – Буду ограничивать себя в еде. Бульон, отбивная, одно яблочко.

Каждый день она составляла себе это меню. По-моему, с особенным удовольствием она произносила «одно яблочко» как самый яркий пример своей воздержанности. Мать всегда покупала яблоки, которые в Турине называют «карпандю».

– Это же карпандю! – восклицала она тем же тоном, каким говорила о трикотаже «от Нойберга» или пальто «от синьора Белома». Отец терпеть не мог эти яблоки, чем очень ее удивлял.

– Как невкусные? Это же карпандю!

– Охо-хо, и почему я так люблю тратить? – вздыхала мать.

Мать и впрямь не умела придерживаться режима экономии, который сама для себя выработывала. По утрам после пасьянса она усаживалась с Наталиной в столовой и

принималась подсчитывать расходы; обычно это кончалось перебранкой, потому что у Наталины деньги тоже не задерживались, текли сквозь пальцы. Мать говорила, что если уж Наталина наготовит, то всех нищих на паперти можно накормить.

– Твоим вчерашним мясом всех нищих на паперти можно накормить! – твердила мать.

– Мало сготовишь – он ругается, много – опять не угодишь, а вчера он сама сказала, что придет Терсилла, – огрызалась Наталина, надувая и без того толстые губы и возбужденно размахивая руками.

– Да хватит тебе руками махать! Почему никогда грязный фартук не сменишь, ведь сколько фартуков я тебе накупила – всем нищим на паперти хватит!

– Ох, бедная Лидия! – вздыхала мать, тасуя карты и подливая себе кофе. – Это же бурда, а не кофе, неужели нельзя варить покрепче?

– Кофемолка плохая. Пускай он купит другую кофемолку, сколько уж раз говорено, у этой слишком дырки большие, сразу все проваливается, а кофе – она продукт нежный, к ней подход нужен.

– Как бы я хотела быть маленьким принцем! – говорила мать, вздыхая и улыбаясь.

Больше всего на свете ее привлекали могущество и детскость, причем ей хотелось, чтобы оба эти качества сочетались: в могуществе была бы детская непосредственность, а в детскости – авторитет и независимость.

– Боже, какая же я стала страшная, старая! – восклицала она, примеряя шляпку перед зеркалом.

Шляпы мать носила только потому, что они куплены и стоят денег: на улице ей всегда хотелось снять шляпу на первом же углу.

– Как хорошо быть молодой! – с порога говорила она Наталине. – А сейчас я выгляжу на все сорок!

– Какие сорок, ему уж под шестьдесят, ведь он на шесть лет меня старше, – возражала Наталина, грозно размахивая шваброй.

Голос у Наталины был хриплый, и в нем всегда слышалась угроза.

– В этом платке ты похожа уже не на Людовика Одиннадцатого, а на Марата, – говорила ей мать и уходила из дому.

Она шла к Миранде. Миранда слонялась по дому с усталым и безнадежным видом; распущенные белокурые волосы уныло свисали по плечам, словно она потерпела кораблекрушение.

– Да пойдя же умойся холодной водой! И пошли на улицу! – увещевала ее мать.

Холодная вода была для матери испытанным средством от лени, тоски и плохого настроения. Поэтому она сама по нескольку раз в день умывалась холодной водой.

– Теперь я трачу мало. Мы с Наталиной остались вдвоем и живем экономно. На обед бульон, отбивная и одно яблочко, – твердила мать как заклинание.

– Это ты мало тратишь? Ни за что не поверю, – говорила Миранда. – Ты такая транжирка! Вот я сегодня купила курицу. Дешево и вкусно. – Миранда произносила слово «курица» протяжно

и в нос, таким образом она как бы противопоставляла свою практичность нашей безалаберности. – Вдобавок я ведь не одна, вдобавок Альберто так много ест! – Это «вдобавок» было еще одним аргументом в ее пользу.

Отец прожил в Бельгии два года. За эти два года произошло много событий.

Вначале мать все время к нему ездила, но Бельгия нагоняла на нее тоску, и к тому же мать очень боялась, что в мире вдруг что-нибудь случится и она окажется отрезанной от Италии и от меня. В отличие от других детей меня матери все время хотелось взять под крылышко, должно быть потому, что я была младшая; то же чувство она перенесла на моих детей. И конечно, ей казалось, что я в постоянной опасности, потому что Леоне часто сидел в тюрьме. На всякий случай его сажали, как только в Турин приезжал король или еще кто-нибудь из властей. За решеткой он проводил дня три-четыре, потом, когда высокий гость отбывал, Леоне выпускали, и он приходил, весь заросший черной щетиной, со свертком грязного белья под мышкой.

– Будь он проклят, этот король! Дома ему не сидится! – говорила мать.

Обычно при упоминании о короле она улыбалась: кривоногий и вспыльчивый монарх даже забавлял ее; единственное, что она ставила ему в вину, – это что «из-за такого недоумка все время сажают Леоне». А вот королеву Елену мать просто не выносила.

– Ишь, красотка! – говорила она, и это слово звучало в ее устах хуже всякого ругательства. – Безмозглая курица!

Дети мои были погодками и родились, как раз когда мой отец был в Бельгии. Мать и Наталина переехали жить к нам.

– Опять я на виа Палламальо! – говорила мать. – Но теперь она как будто получше стала, это, должно быть, потому, что я ее сравниваю с Бельгией. Куда там Льежу до виа Палламальо!

Внуки ей очень нравились.

– Оба такие прелестные, даже не знаю, кого выбрать, – говорила она, точно ее заставляли выбирать. – Какой он сегодня хорошенький!

– Кто? – спрашивала я.

– Как кто? Мой внук!

Я уже перестала понимать, о ком речь, потому что она попеременно отдавала предпочтение то одному, то другому. Что до Наталины, то она о мальчиках, как всегда, говорила в женском роде, и у нее выходило примерно следующее:

– Пусть она поспит, а то его не успокоишь, а после я поведу его гулять часика на два, чтоб она не капризничала.

Я с двумя маленькими детьми совсем замучилась, и мать решила, что надо взять няньку, потому что Наталина слишком рассеянна и неуравновешенна. Мать сама написала в Тоскану бывшим нянькам, с которыми у нее сохранились хорошие отношения; наконец одна приехала, но как раз в те дни, когда немцы оккупировали Бельгию, и, естественно, всем нам стало не до няньки, а она требовала то вышитый передник, то юбку колоколом. И все же мать, несмотря на страшную тревогу за отца, от которого не было никаких известий, ухитрилась закупить няньке передников и даже забавлялась, глядя, как эта толстая тосканка шуршит по дому своей необъятной юбкой. Я же перед этой нянькой вечно робела и тайно вздыхала по своей Мартине: она не поладила с Наталиной и вернулась к себе в Лигурию. Я боялась, что новая

нянька уйдет или станет презирать меня за мои скромные запросы. К тому же толстая нянька в буфах и вышитых передниках была как бы живым укором моей нищете, ведь без помощи матери я бы не смогла держать няньку; мне представлялось, будто я – Нэнси из «Обжор», которая смотрит из окна на свою дочку, идущую по бульвару с благообразной нянькой, и знает, что все их деньги проиграны в казино.

Когда немцы заняли Бельгию, мы, конечно, испугались, хотя все еще верили, что их наступление будет остановлено, и по вечерам мы ловили французское радио, надеясь услышать утешительные новости. Но с продвижением немцев росла и наша тревога. Вечером заходили Павезе и Роньетта, еще один наш хороший знакомый. Роньетта был высокий, румяный и грассировал, как французы. Не знаю, чем он занимался, только помню, что все время ездил в Румынию; а мы при своем сидячем образе жизни смотрели на него с восхищением, поскольку у него всегда был такой вид, будто он торопится уезжать или, наоборот, только что приехал; он, видимо, догадывался о наших чувствах и изо всех сил строил из себя делового человека и заядлого путешественника. Роньетта в своих разъездах вечно собирал слухи. До оккупации Бельгии он привозил только радостные вести, а после они окрасились в черные тона. Роньетта пророчил, что Германия скоро оккупирует не только Францию, не говоря уж об Италии, но и весь мир, что на земле не останется ни одного уголка, где бы укрыться. Прощаясь, он спрашивал меня, как дети, и я неизменно отвечала, что хорошо; однажды мать не выдержала и сказала:

– Да не все ли равно, как дети, если скоро придет Гитлер и всех нас прикончит!

Роньетта был очень галантен и, уходя, целовал матери руку. В тот вечер, целуя ей руку, он сказал, что в крайнем случае можно будет уехать на Мадагаскар.

– Почему на Мадагаскар? – спросила мать.

Роньетта обещал в следующий раз объяснить: сейчас он торопится на поезд. Мать очень ему верила и хваталась за все, что могло сулить хоть какую-то надежду: весь вечер и следующий день она только и повторяла:

– Господи, ну почему именно на Мадагаскар!

Роньетта так и не объяснил почему. Я увидела его уже через много лет, а Леоне, кажется, вообще больше его не видел. Муссолини, как мы и ожидали, объявил войну. В тот же вечер нянька уехала, и я с громадным облегчением смотрела в лестничный пролет на ее необъятную фигуру, одетую уже не в юбку колоколом, а в черное перкалевое платье. Потом пришел Павезе. Мы прощались с ним, полагая, что теперь долго не увидимся. Павезе ненавидел прощаться и, уходя, по обыкновению небрежно протянул два пальца.

Той весной Павезе часто приносил нам черешни. Он любил первые черешни, маленькие и водянистые, говорил, что у них «такой божественный аромат». В окно мы видели, как он стремительно шагает по улице, на ходу кладет в рот черешни и потом палит косточками по стенам домов, отчего раздается сухой пулеметный треск. У меня в памяти поражение Франции навсегда связано с теми черешнями, которыми он нас угощал, вытаскивая их из кармана щедрым и небрежным жестом.

Мы думали, что война мгновенно перевернет всю нашу жизнь. Но как ни странно, люди еще несколько лет жили относительно спокойно, продолжая заниматься своим делом. А когда мы уже привыкли и стали думать, что, может, все и обойдется и не будет сломанных судеб, разрушенных домов, беженцев и облав, тут-то и прогремели взрывы мин и бомб, стали рушиться дома, улицы заполнились развалинами, солдатами и беженцами. И тогда не осталось ни одного человека, кто бы мог делать вид, будто ничего не случилось, закрыть глаза, заткнуть уши, спрятать голову под подушку, – никого не осталось! Такой была война в Италии.

Марио вернулся в Италию в сорок пятом. Может, он и был взволнован и растроган, но виду не показывал; с насмешливой улыбкой подставил матери загорелую щеку и лоб, изрезанный морщинами. Он совершенно облысел – голый блестящий череп казался бронзовым – и был одет в поношенную, но чистую куртку из серого шелка, совсем как подкладочный: в таких куртках обычно показывают в кино китайских торговцев. Он взял себе привычку хмурить брови и принимать серьезный вид, отзываясь о людях или о новой литературе: это был его знак одобрения.

– Недурен! Совсем, совсем недурен! – говорил он, и казалось, он переводит с французского.

Марио забросил Геродота и греческую классику, во всяком случае, больше о них не поминал. Ему теперь нравились французские романы о Соппротивлении. В оценках он стал строже, и его увлечения не носили больше стихийного характера. Однако в критике и приговорах он по-прежнему себя не сдерживал: они остались такими же неистовыми.

Италия Марио не понравилась. Все в Италии казалось ему смешным, нелепым, плохо устроенным.

– Школа в Италии – жалкое зрелище! С Францией никакого сравнения! Франция отнюдь не совершенство, но намного лучше! Еще бы, ведь здесь всем заправляет церковь!

– Сколько же у вас попов! – говорил он каждый раз, возвращаясь домой. – У нас во Франции можно проехать сто километров и не встретить ни одного попа!

Мать рассказала ему одну историю про сына своей подруги; это случилось давно, еще до войны и до начала расовой кампании. Мальчик был еврей, родители его отдали в государственную школу, но попросили учительницу от всех религиозных занятий освободить. Однажды учительницы не было; прислали другую на замену, а про этого мальчика не предупредили, и вот перед катехизисом ребенок взял свой портфель, собираясь уходить.

– Ты куда? – спросила удивленная учительница.

– Я с катехизиса всегда ухожу, – объяснил мальчик.

– А почему? – спросила учительница.

– Потому что я не люблю мадонну!

– Как это не любишь мадонну! – возмутилась учительница. – Дети, вы слышали? Он не любит мадонну!

– Он не любит мадонну! Не любит мадонну! – подхватил весь класс.

В общем, родителям пришлось забрать мальчика из школы.

Марио пришел в восторг от этой истории и все спрашивал, правда ли это.

– Неслыханно! – говорил он, хлопая себя по колену. – Просто неслыханно!

Мать сперва была довольна, что история ему понравилась, но потом ей надоело слушать, что во Франции все не так, что таких учителей там нет и быть не может. Надоело его бесконечное «у нас во Франции» и его проповеди против попов.

– Любые попы все же лучше, чем фашизм, – заявила она.

– Да это одно и то же! Как ты не понимаешь? Одно и то же!

За время нашей долгой разлуки Марио женился. Родители узнали об этом незадолго до

конца войны; говорили, он женился на дочери художника Амедео Модильяни. Кстати, отец, услышав эту новость, впервые за всю историю наших женитьб и замужеств не раскричался, что для нас с матерью навсегда осталось загадкой. Скорее всего, отец так переживал за Марио, не раз представлял его в немецком плену или погибшим, что по сравнению с этим весть о его женитьбе показалась ему пустяком. Мать была очень довольна и строила всякие догадки по поводу этого брака; кто-то сказал ей, что Жанна будто сошла с портрета Модильяни, и прическа у нее такая же. Отец ограничился обычным комментарием по поводу картин Модильяни:

– Мазня! Свинство!

Мне почему-то показалось, что в глубине души он одобряет этот брак.

Когда кончилась война, от Марио пришло письмо – несколько строк. Он писал, что женился только затем, чтобы получить вид на жительство во Франции, и уже развелся.

– Какая жалость! – сказала мать.

Отец ничего не сказал.

Когда мы встретились, Марио был не расположен говорить ни о своем браке, ни о разводе. Лишь дал нам понять, что с этим было все ясно с самого начала и что браки и разводы – самая простая и естественная вещь на свете. Вообще Марио не особенно распространялся о том, как он жил все эти годы. Мы не знали, испытал ли он страхи и потери, разочарования и унижения. Но на его непроницаемом лице порой появлялись горькие морщинки, особенно когда он забывался, сидя в своей любимой позе: руки зажаты между коленями, бронзовый череп покоится на спинке кресла, губы застыли в мягкой и грустной улыбке.

– Ты не пойдешь к Сиону Сегре? – спросил его отец.

Он был уверен, что Марио тут же помчится к товарищу по своим давним авантюрам.

– Нет, не пойду, – ответил Марио. – О чем нам теперь говорить?

Он даже не захотел навестить братьев, разъехавшихся по разным городам, хотя не видел их много лет. Он сказал ту же самую фразу:

– О чем нам теперь говорить?

Однако он обрадовался встрече с Альберто, когда тот после войны вернулся в Турин. Марио его больше не презирал.

– Он, должно быть, неплохой врач! – сказал он. – Да, недурен, как медик совсем недурен!

Даже проконсультировался с Альберто по поводу болезни Кафи, рассказал ему о симптомах, о том, что говорят врачи. Кафи жил теперь в Бордо и не вставал с постели из-за полного истощения, даже говорить больше не мог.

О том, как жил Марио все эти годы, мы узнавали постепенно, урывками, из коротких и нетерпеливых фраз, которые время от времени он бросал нам, фыркая, пожимая плечами, как будто наши расспросы его крайне раздражали. Оккупация застала его в Париже, куда он вернулся из того деревенского коллежа, снова поселившись вместе с кошкой в мансарде. Немцы с каждым днем были все ближе, и Марио говорил Кафи, что надо бежать, но Кафи с больной ногой не мог и не хотел трогаться с места. Кьяромонте, у которого как раз в те дни в больнице умерла жена, решил уехать в Америку. Он успел сесть в Марселе на последний пассажирский пароход, снимавшийся с якоря.

Наконец Марио убедил Кафи в том, что надо уходить. Они ушли пешком, немцы были всего в километре от Парижа, и транспорт достать было уже невозможно. Кафи хромал, опираясь на Марио, и двигались они отчаянно медленно. То и дело Кафи садился передохнуть на обочину, а Марио делал ему перевязку. Потом они опять шли, и Кафи волочил по пыльной дороге больную ногу в тапочке и заштопанном красными нитками носке.

В конце концов они очутились в какой-то деревне неподалеку от Бордо. Марио посадили в лагерь для интернированных. Потом освободили, и он ушел в маки. Окончание войны он встретил в Марселе, где входил в состав Совета по освобождению. Кьяромонте вернулся из Америки в Париж и все так же дружил с Марио и Кафи. У Марио и в мыслях не было вернуться в Италию. Наоборот, он написал прошение о французском гражданстве.

Работал он теперь консультантом по экономике у какого-то французского промышленника, и в Италию они приехали на машине вдвоем с французом, которого Марио возил по музеям и предприятиям, – правда, за рулем сидел француз, потому что Марио водить так и не научился. Мать и отец беспокоились и все время спрашивали друг друга, надолго ли это у Марио и когда же он наконец остепенится.

– Боюсь, он всегда будет таким неприкаянным! – говорила мать. – А жаль! Ведь он такой способный!

– Не знаю, не знаю, – говорил отец. – По-моему, этот француз – темная личность!

Марио пробыл в Италии не больше недели; потом они с французом уехали, и мы его опять долго не видели.

Маленькое издательство превратилось в большую, известную фирму. Теперь там работало много народу. Поскольку старое здание было разрушено бомбежкой, они переехали в новое на проспекте Короля Умберто. У Павезе был теперь свой кабинет с табличкой «Редакционная коллегия». Павезе сидел за столом, курил трубку и с немислимой быстротой правил корректуры. В перерывах он громко, с грустными завываниями читал «Илиаду» по-гречески. Или писал свои романы, стремительно и яростно черкая в рукописи. Он стал известным писателем.

В соседнем кабинете разместился издатель, все такой же красивый, румяный, с длинной шеей и чуть посеребренными висками цвета голубиноного крыла. На столе у него было полно кнопок и телефонов, и он больше не орал: «Коппа-а-а!» Синьорина Коппа больше не работала. Как и старый курьер. Теперь издатель, вызывая кого-нибудь, нажимал кнопку и говорил по селектору с нижним этажом, где было много машинисток и курьеров. Время от времени издатель принимался расхаживать по коридору, заложив руки за спину и склонив голову набок; он то и дело заглядывал в комнаты и что-то говорил сотрудникам гнусавым голосом. От робости его не осталось и следа, разве что в разговорах с незнакомыми людьми – впрочем, это была уже не робость, а какое-то холодное и загадочное немногословие. Такая манера обескураживала пришельцев: их словно обволакивал этот ледяной взгляд ясных голубых глаз, вопрошающий, оценивающий, удерживающий их на дистанции по эту сторону большого письменного стола. Робость была его орудием, тем препятствием, о которое пришельцы бились, как бабочки о стекло светильника; войдя в кабинет уверенными в своих силах и полными идей и планов, они к концу беседы чувствовали себя выбитыми из колеи, сомневались в своем уме и опыте; им казалось, что они представили совершенно беспочвенные идеи на суд холодного и строгого аналитика, который их молча рассмотрел и вынес приговор.

Павезе редко принимал посторонних. Обычно говорил:

– Я занят! Не мешайте! Пусть убираются к черту! Начхать мне на них!



А вот молодые сотрудники очень любили такие разговоры: от посторонних они могли поднабраться идей.

– Мне не нужны новые идеи! – говорил Павезе. – У нас их и так выше головы!

Часто на его столе звонил телефон, и в трубке слышался знакомый гнусавый голос:

– Там внизу этот пришел. Прими его. У него какое-то предложение.

– На кой нам его предложение? – отзывался Павезе. – У нас своих выше головы! Начхать мне на их предложения!

– Тогда отправь его к Бальбо, – говорил голос.

Бальбо выслушивал всех. Он всегда был рад новой встрече. От идей и планов не открещивался. Абсолютно каждая новая идея его захватывала, воодушевляла, волновала, и он тут же шел к Павезе ее излагать. Он входил в кабинет, маленький, с красным носом и невероятно серьезный, каким становился всякий раз, когда что-нибудь новое появлялось на его горизонте – человек или идея, а новое было во всем, на чем останавливались его маленькие голубые глазки, пронизательные и наивные, простодушные и глубокие. Бальбо говорил, говорил, а Павезе дымил трубкой и накручивал волосы на палец.

Наконец Павезе изрекал:

– По-моему, полный бред. Когда же ты перестанешь слушать всяких идиотов!

Бальбо соглашался, что в какой-то мере это действительно бред, но, с другой стороны, в нем есть рациональное зерно, которое со временем прорастет, и опять говорил, говорил, потому что молчать он просто не умел. После разговоров с Павезе он отправлялся в кабинет издателя и там тоже говорил, маленький, серьезный, с красным носом, а издатель покачивался в кресле, глядя на Бальбо холодными ясными глазами, чертил на листке геометрические фигуры, зажав губами потухшую сигарету и скрестив ноги.

Бальбо никогда не правил корректуры. Он говорил:

– Я не умею править! У меня получается слишком медленно. Я не виноват!

И никогда не читал книгу целиком. Он выхватывал наугад какие-то куски и сразу же вскакивал и бежал с кем-нибудь поделиться; довольно было пустяка, чтобы вдохновить его, и мысль уже работала без остановки, пока он ходил от одного стола к другому и говорил, говорил; так продолжалось до девяти вечера, потому что для Бальбо не существовало расписаний, он даже забывал пообедать. Когда столы пустели и в комнатах становилось тихо, он смотрел на часы, вздрагивал, надевал пальто и нахлобучивал на лоб зеленую шляпу. А потом шел по проспекту Короля Умберто, маленький, прямой, с портфелем под мышкой, останавливаясь иногда, чтобы полюбоваться на мотоциклы: все, что с мотором, очень его интересовало, а к мотоциклам он питал особую нежность.

Павезе говорил:

– И почему он всегда треплет языком, когда другие работают?

– Оставь его в покое! – отвечал издатель.

На стене в кабинете издателя висела маленькая фотография Леоне: он стоит, наклонив голову, очки сползли на нос, волосы густые и черные, на щеке глубокая складка, а руки изящные, женственные. Леоне умер в Риме, в немецком блоке тюрьмы «Реджина Чели», в один из холодных февральских дней оккупации.

С той весны, когда немцы захватили Францию, я только один раз видела их втроем – Леоне, издателя и Павезе; мы с Леоне вернулись ненадолго из ссылки, куда нас отправили сразу после вступления Италии в войну. У нас было разрешение приехать всего на несколько дней, и мы каждый вечер ужинали вместе; кроме Леоне, меня, Павезе и издателя, за столом непременно был кто-нибудь из новых сотрудников издательства, а также люди, приезжавшие из Рима и Милана с новыми идеями. Бальбо тогда не было: он воевал на албанском фронте.

Павезе почти никогда не вспоминал о Леоне. Он не любил вспоминать далеких или умерших. Так прямо и говорил:

– Когда кто-нибудь уезжает или умирает, я стараюсь о нем не думать, потому что не люблю страдать.

Думаю, потеря Леоне была для него очень мучительна. Леоне был его лучшим другом. А это была одна из тех потерь, которые терзали его всю жизнь. Точно так же, как не мог он уберечься от страданий, самых жестоких и мучительных в жизни, – страданий любви.

Любовь он переживал, как приступ лихорадки. Приступ длился год или два, а потом Павезе выздоравливал, но еще долго ходил отрешенный, очумелый, как после долгой и тяжелой болезни.

Та весна, последняя весна, когда Леоне еще работал в издательстве, немцы подступали к Франции, а в Италии все ждали войны, – та весна кажется такой далекой. И война тоже уходит все дальше. В издательстве, когда в войну отопление не работало, сложили кирпичные печи; потом опять починили калориферы, но печки простояли еще долго, пока наконец издатель не велел их разобрать. В кабинетах были навалены рукописи, поскольку шкафов не хватало; потом поставили шведские стеллажи с выдвигаемыми полками. В конце коридора была стена, выкрашенная в черный цвет, и на нее прикалывали кнопками гравюры и репродукции. Потом и кнопки, и репродукции выбросили и на их место повесили настоящие картины в металлических рамах.

Отец всю оккупацию провел в Бельгии. Он оставался в Льеже до последнего, работал в своем институте и не верил, что немцы войдут так скоро, потому что помнил прошлую войну, когда они простояли под Льежем целых две недели. Однако тут немцы не заставили себя ждать, и отец решил наконец закрыть опустевший институт и добрался до Остенде – то пешком, в толпе беженцев, то на попутных машинах. В Остенде его взял к себе в машину какой-то знакомый из Красного Креста. На отца надели халат и довели до Булони. Тут они попали в руки к немцам. Отец и не подумал скрывать свое настоящее имя. Но немцы почему-то не обратили внимание на типично еврейскую фамилию и спросили его, что он намерен делать. Отец высказал пожелание вернуться в Льеж. Туда его и отправили.

В Льеже он прожил еще год. Совершенно один, поскольку в институте никого не осталось, даже его ученик и друг Шевремон эвакуировался. Потом кто-то посоветовал ему вернуться в Италию, и он вернулся в Турин, к матери.

Отец и мать не покинули Турина до тех пор, пока дом не разбомбило. Во время бомбежек отец ни за что не хотел спускаться в подвал. Мать каждый раз умоляла его, говоря, что, если он не пойдет, она тоже останется.

– Какая чепуха! – недоумевал отец, уже спускаясь по лестнице. – Ведь если рухнет дом, рухнет и подвал. Так какое же это убежище? Чепуха, и все!

Потом они переехали в Иврею. Во время перемирия мать оказалась во Флоренции, и отец написал ей, чтобы она никуда оттуда не трогалась. Сам он жил в Иврее, в доме одной из теток Пьеры, которая куда-то эвакуировалась. Друзья уговорили его скрыться, потому что немцы устраивали облавы на евреев. Нашли ему заброшенный дом в деревне и убедили

взять фальшивые документы на имя Джузеппе Ловизатто. Однако, когда отец приходил в гости к знакомым и горничная спрашивала, как доложить, он говорил:

– Леви. То есть нет, Ловизатто.

Вскоре ему сообщили, что его ищут, и он уехал во Флоренцию.

Так они жили с матерью во Флоренции, пока не освободили Север. Есть было нечего, и мать после обеда, давая моим детям по яблоку, неизменно говорила:

– Маленьким по яблочку, а большим по заднице.

Она рассказывала, как еще в ту войну ее подруга Грасси каждый вечер брала грецкий орех и делила его на четыре части.

– Орешек, Лидия! – И потом давала по кусочку каждому из своих четверых детей – Эрике, Дине, Кларе и Францу.

Мать часто приезжала к нам, когда мы с Леоне жили в ссылке, в Абруцци. Ездила она и к Альберто, который жил неподалеку, в Рокка-ди-Меццо; оба эти местечка вызывали у нее в памяти «Дочь Иорио», и она громко ее декламировала.

У нас в доме было тесно, поэтому мать ночевала в гостинице – единственной на весь городок: всего несколько комнат, кухня под навесом, веранда и огород; а за гостиницей поля и холмы, невысокие, голые, обдуваемые ветрами. Владели гостиницей мать и дочь; мы с ними подружились и привыкли заглядывать к ним даже в отсутствие моей матери. Зимой на кухне, летом на веранде мы судачили о местных жителях и ссыльных, которые, как мы, приехали сюда в войну, сжились с этим захолустьем и делили все его радости и печали. Мать, как и мы, помнила всех местных и ссыльных по именам и прозвищам. Ссыльных было много, и народ самый разный – от очень богатых до нищих; богатые питались лучше, покупая муку и хлеб на черном рынке, но, если не считать еды, вели такую же жизнь, что и бедные: сидели на кухне или на веранде гостиницы, а то заглядывали в галантерейную лавку Чанкальини.

Среди богачей был Амодай с семьей, чулочный торговец из Белграда, потом обувщик из Фьюме, священник из Зары, зубной врач; а еще два немецких еврея: Бернард и Вилли – один учитель танцев, другой филателист – и полоумная старуха из Голландии, которую в городке прозвали Суха Нога за ее страшно худые лодыжки, и еще много, много других.

Суха Нога перед войной напечатала в газете хвалебные стихи в честь Муссолини.

– Я писала стихи о Муссолини, как я ошиблась! – говорила она матери, встретив ее на улице, при этом она воздевала к небу длинные руки в белых, как у мушкетера, перчатках: их она получила от какого-то благотворительного общества для еврейских беженцев.

Целыми днями Суха Нога бегала взад-вперед по улице с очумелым видом и рассказывала всем встречным о своих несчастьях, воздевая к небу руки в белых перчатках. Впрочем, остальные ссыльные тоже ходили взад-вперед по одной и той же улице: выходить за пределы городка запрещалось.

– Помнишь Суху Ногу? Что с ней случилось? – спрашивала меня мать много лет спустя.

Мать, приезжая к нам в Абруцци, всякий раз везла с собой таз; она очень волновалась, что по утрам ей негде будет помыться, ведь ванн там не было. Один из этих тазов так и остался у нас, и в нем мы по несколько раз в день купали детей, следуя совету отца, который в каждом письме писал, что мыть их надо чаще, поскольку мы живем в антисанитарных условиях; наша тогдашняя прислуга при виде этого мытья недовольно бурчала:

– И так уж блестят, как золото. Куда ж их еще мыть-то!

У прислуги – толстой, всегда одетой в черное женщины лет пятидесяти – были еще живы отец и мать, она их называла «энтот старик» и «энта старуха». Вечером, уходя домой, она сворачивала кулечки с сахаром и кофе и прихватывала бутылку вина.

– Отнесу энтой старухе, а? Да вина энтому старику, он его страсть как любит!

Альберто перевели на Север. Это считалось добрым знаком: тех, кого переводили на Север, как правило, скоро освобождали. Мы тоже несколько раз подавали прошение о переводе на Север, хотя в душе вовсе не хотели уезжать из Аbruцци; Миранда с Альберто тоже уехали неохотно: новое место ссылки в Канавезе им не нравилось. Наши прошения остались без ответа.

Временами навещал нас и отец. Аbruцци он находил крайне грязным местом, напоминавшим ему Индию.

– Как в Индии! – повторял он. – Грязь в Индии – это что-то невысказанное! А в Калькутте что творится! А Бомбей!..

Он рассказывал об Индии с видимым удовольствием. Лицо его при одном упоминании о Калькутте так и светилось.

Когда родилась моя дочь Алессандра, мать осталась с нами надолго. Ей не хотелось уезжать. Было лето сорок третьего. Все надеялись на скорый конец войны. В этот спокойный период мы с Леоне доживали наши последние месяцы. Когда мать наконец собралась уезжать, я решила проводить ее до Л'Аквилы; мы ждали автобус на площади, и вдруг у меня появилось странное чувство, будто мы расстаемся надолго. Я даже почему-то вообразила себе, что больше никогда ее не увижу.

Потом, двадцать пятого июля, Леоне уехал в Рим. Я осталась. Неподалеку от дома был луг, который мать называла «луг мертвой лошади», потому что как-то утром мы нашли там мертвую лошадь. Каждый день, взяв детей, я отправлялась на этот луг. Я скучала по матери и Леоне, и этот луг, где я так часто гуляла с ними вместе, нагонял на меня тоску. Меня все время одолевали страшные предчувствия. По пыльной дороге, на фоне выжженных солнцем холмов, быстро и как-то кособоко семенила Суха Нога в соломенной шляпе, проходили братья Бернард и Вилли в длинных пальто с хлястиком, полученных от того же благотворительного общества; эти пальто они не снимали даже летом, потому что вся их одежда изорвалась. Кроме Леоне все ссылки сидели на месте, не зная, куда ехать.

Потом было заключено перемирие – краткий миг ликования, – а через два дня вошли немцы. Дорога заполнилась немецкими грузовиками и солдатами. На веранде и на кухне гостиницы теперь тоже сидели солдаты. Городок оцепенел от страха. Я все так же водила детей на «луг мертвой лошади» и, когда пролетали самолеты, велела им прятаться в траве. На дороге при встречах со ссылными мы молча обменивались взглядами, как бы спрашивая друг друга, куда идти и что делать.

Я получила от матери письмо, полное страха. Она не знала, чем мне помочь. Тогда я впервые в жизни поняла, что больше никому взять меня под крылышко и я должна сама выпутываться. Только теперь я поняла: моя привязанность к матери всегда была сопряжена с уверенностью в том, что она не оставит меня в беде, защитит и поддержит. Отныне же во мне осталась только привязанность, а надежда на защиту испарилась; да, думала я, вот и пришел мой черед опекать и поддерживать мою старую, слабую и незащищенную мать.

Первого ноября я уехала из Аbruцци. Леоне с одним человеком передал из Рима письмо, где велел нам уезжать немедленно, потому что в таком маленьком городке немцы нас, конечно,

обнаружат и схватят. Все интернированные уже разъехались и попрятались кто куда!

Жители городка помогли мне. Разом сговорились и пришли на помощь. Хозяйка гостиницы, у которой солдаты разместились во всех комнатах и даже у печки на кухне, где мы так часто коротали время, врала немцам, что я ее родственница, эвакуированная из Неаполя, что документы потеряла под бомбежкой и что мне надо попасть в Рим. Немецкие грузовики отправлялись в Рим ежедневно. И вот как-то утром меня посадили в один из них, и все жители пришли, чтобы проститься и расцеловать моих детей, которые росли у них на глазах.

Оказавшись в Риме, я облегченно вздохнула, веря, что все невзгоды позади. Особых причин для такой уверенности не было, но я верила. Мы сняли квартиру в районе площади Болоньи. Леоне выпускал подпольную газету и дома почти не бывал. Через три недели после нашего приезда Леоне арестовали, и больше я его не видела уже никогда.

Я очутилась у матери во Флоренции. В тяжелые времена она всегда начинала мерзнуть и кутаться в шаль. О смерти Леоне мы почти не говорили. Мать очень его любила, но говорить о мертвых избегала, ее постоянной заботой было мыть, причесывать детей и следить, чтобы они не замерзли.

– Помнишь Суху Ногу? А Вилли? – спрашивала она. – Что с ними случилось?

Суша Нога, как я узнала позже, умерла от воспаления легких в каком-то крестьянском доме. Амодай, Бернард и Вилли бежали в Л'Акуилу. Остальных ссыльных поймали, надели на них наручники и увезли на грузовиках по пыльной дороге.

К концу войны мать и отец сильно постарели. Страх и страдания состарили мать как-то внезапно, в один день. Она все время мерзла и куталась в лиловую шаль из ангорской шерсти, купленную у Паризини. От страха и страданий она осунулась, побледнела, щеки впали, под глазами появились большие темные круги. Бремя страданий придавило ее к земле: куда только девалась ее стремительная походка!

Родители вернулись в Турин, в дом на виа Палламальо, переименованную в виа Моргари. Фабрика красок на площади сгорела при бомбежке, как и городские бани. А вот церковь почти не пострадала – высилась, как прежде, только к ней подставили железные подпорки.

– Ну надо же! – говорила мать. – Уж эта-то могла бы и рухнуть! Такое чудовище! Нет – стоит себе!

Дом отремонтировали, привели в порядок. Окна с вылетевшими стеклами забили фанерой, а отец распорядился поставить в комнатах печки, потому что калориферы не работали. Мать сразу же пригласила Терсиллу, и, когда Терсилла снова появилась в нашей гладильной, села за швейную машинку, мать облегченно вздохнула: наконец-то жизнь входит в свое русло. Обивка на креслах потерлась и заплесневела, и мать заменила ее на новую, цветастую. В столовой над диваном снова красовалось лицо тети Регины, с двойным подбородком; круглые светлые глаза снова глядели на нас с портрета, а руки в перчатках сжимали все тот же веер.

– Маленьким по яблочку, а большим по заднице! – говорила мать в конце обеда.

Потом она, правда, забыла эту поговорку, потому что яблок стало хватать на всех.

– Что за безвкусные яблоки! – возмущался отец.

– Ну что ты, Беппино, ведь это же карпандю!

Отец написал Шевремону, что хочет подарить университету свою оставшуюся в Льеже библиотеку в знак благодарности за то, что его приютили в разгул расовой кампании.

С Шевремоном он постоянно переписывался. Тот посылал отцу все свои статьи.

В памяти моей матери города и люди, с которыми она там познакомилась, всегда завязывались в единый узел. Так, во всей Бельгии для нее существовал один Шевремон. Случись в Бельгии что-нибудь вроде наводнения или смены правительства, мать непременно вздохнет:

– Что-то там с Шевремоном?!

Во Франции, до того еще, как там поселился Марио, для нее существовал только некий мсье Поликар, с которым они встречались на конгрессах. Мать то и дело говорила:

– Что-то там с Поликаром?!

В Испании у них был знакомый по фамилии Ди Кастро. И, читая в газете о бурях и наводнениях, разразившихся на Пиренеях, мать сокрушалась:

– Что-то там с Ди Кастро?!

Этот самый Ди Кастро однажды, приехав в Турин, заболел чем-то непонятным. Отец устроил его в клинику и созвал огромный консилиум. Кто-то предположил, что это, скорее всего, сердечное.

У Ди Кастро была высокая температура, он бредил и никого не узнавал. Его жена, приехавшая из Мадрида, твердила:

– Это не corazón! Это cabeza![8]

Выздоровев, Ди Кастро уехал в Испанию, начался франкистский переворот, потом мировая война, и мы больше никогда о нем не слышали. Но стоило в разговоре упомянуть Испанию, мать тут же повторяла слова жены Ди Кастро:

– Это не corazón! Это cabeza!

Война унесла и мсье Поликара. О Грасси, которая жила в Германии, во Фрейбурге, мы также ничего больше не узнали. Мать часто ее вспоминала.

– Что-то сейчас поделявает Грасси? Неужто умерла? – вздыхала она иногда. – Да нет, не может быть, не может Грасси умереть!

После войны вся география для матери перепуталась. Она уже не могла, как прежде, вспомнить Грасси или мсье Поликара. Ведь некогда благодаря этим людям она способна была превратить чужие далекие страны во что-то домашнее, привычное и уютное, поэтому мир в глазах матери становился чем-то вроде предместья или улицы, по которой можно мысленно пробежаться, следуя за знакомыми и родными именами.

Но после войны мир стал огромен, неузнаваем, безграничен. Однако она принялась, как умела, его обживать. И делала это легко и радостно – такой уж у нее был характер. Ее душа не умела стареть, то есть отойти от жизни и оплакивать прошлое, которого не вернешь. Мать смотрела в прошлое без слез и не носила по нему траура. Она вообще никогда траура не носила. Когда мы еще жили в Палермо, она получила из Флоренции известие о смерти своей матери; та умерла совершенно неожиданно, в полном одиночестве. Для матери это был тяжкий удар. Она поехала во Флоренцию и там пошла в магазин купить себе черное платье. Но вместо этого купила красное и в чемодане привезла его в Палермо. Паоле она сказала:

– Мама терпеть не могла черный цвет. Она бы только обрадовалась, если бы увидела меня в таком нарядном платье!

Как Марии дальше жить?

Ногу надо ей лечить.

Происходит нагноение,

Где взять денег на лечение?

Молодые поэты в то время писали и приносили в издательство такие стихи. Это было четверостишие из длинной поэмы о крестьянках, работающих на рисовых полях. В послевоенные годы все мнили себя поэтами или политиками и были уверены, что буквально из всего можно и нужно делать стихи, ведь мир на столько лет оглох и онемел, как будто находился под стеклянным колпаком, не пропускавшим звуков, сковывавшим движения. При фашизме литературу словно посадили на хлеб и воду: многим вообще запрещали писать, а те, кому это было дозволено, боясь всего, подвергали себя жесткой самоцензуре. Поэты надолго замкнулись в убогом и недоверчивом мире снов. И вот мир снова ожил, обрел дар речи, изголодавшиеся люди жадно бросились собирать урожай, один для всех, никто не хотел остаться в стороне; в результате язык политики часто путали с языком поэзии. А потом выяснилось, что жизнь гораздо сложнее, что она порой не менее трудна для понимания, чем сны, и радость оттого, что непроницаемый, стеклянный колпак разбит, обернулась иллюзией. У многих тогда опустились руки: поэты вновь садились на хлеб и воду, замыкались в молчании. Короткий и счастливый миг сбора урожая довольно быстро сменился годами тоски и уныния. Одни вернулись в мир снов или углубились в работу – неважно какую, какая подвернется, лишь бы как-то прожить; конечно, после такого общего апофеоза любая работа казалась серой и ничтожной, и мало-помалу все забыли об иллюзии всеобщей сопричастности. Много лет никто не занимался своим делом, ибо каждый был уверен, что может и должен делать одновременно кучу самых разных дел; лишь спустя какое-то время мы взялись за свои дела, каждый стал тянуть свою лямку и вновь приспособился к бремену своего одиночества, осознав, что только на этом пути можно как-то помочь ближнему, задавленному точно таким же одиночеством.

А стихи про Марию и ее больную ногу – что ж, они и тогда никому не казались хорошими, все понимали, что стихи ужасные, но нынче мы все же находим в них нечто трогательное, потому что как бы слышим голос той эпохи. Тогда писали, либо просто перечисляя факты, идя по стопам серой, скудной реальности на фоне унылого и гнетущего пейзажа, либо активно вмешиваясь в эту реальность, исходя рыданиями и судорогами. И в первом, и во втором случае о словах не думали, потому что они либо вязли в сером болоте повествования, либо захлебывались в стогах и всхлипах. Общим заблуждением была наивная вера в то, что абсолютно все можно положить на язык поэзии, литературы. Отсюда возникло отвращение к слову, отвращение столь сильное, что оно захватило и настоящую поэзию, подлинную литературу; в конце концов все замолчали, всем стало скучно и тошно. Надо было возвращаться на круги своя, опять искать слова, пробовать их на зуб, чтобы почувствовать, подлинные они или фальшивые, способны ли они пустить в душах корни или опять ведут к заблуждениям, к иллюзиям. Поэтому писателям необходимо было вновь обрести ремесло, забытое в пылу всеобщего опьянения. За ним, как водится, наступило похмелье с его тошнотой, вялостью и тоской, когда все почувствовали, что их обманули, предали, и те, кто жили этой жизнью, и те, кто могли – или думали, что могут, – рассказать о ней. Вот так каждый из нас, в одиночку, угрюмо пошел опять своей дорогой.

Бывало, заходил в издательство и Адриано. Ему нравилось издательское дело, он даже подумывал основать свое собственное издательство. Но он не собирался печатать стихи и

романы. В молодости он любил только один роман: «Мечтатели из гетто» Израэля Цангвилля. После этого романа ни один его больше не тронул. Он уверял, что очень ценит писателей и поэтов, но не читал их; его привлекали только урбанизм, психоанализ, философия и религия.

Адриано стал крупным промышленником. Но в его облике сохранилось что-то бродяжье, как в те времена, когда он проходил военную службу; даже ходил он, шаркая ногами, вразвалочку, точь-в-точь как бродяга. И был он все так же робок, но в отличие от издателя пользоваться этой робостью не умел, наоборот, пытался скрыть ее; когда он впервые видел кого-нибудь, будь то представитель власти или безработный, пришедший просить место на его фабрике, он расправлял плечи, вскидывал голову, и глаза его зажигались холодным, чистым, немигающим светом.

Однажды в Риме, во время немецкой оккупации, я встретила его на улице. Он был один и шел своей бродяжьей походкой; взгляд извечно отрешенный, подернутый голубым туманом. Он был одет так же, как и все вокруг, но среди толпы показался мне нищим – и в то же время принцем. Принцем в изгнании.

Леоне взяли в подпольной типографии. Мы жили все в той же квартире возле площади Болоньи; я была дома с детьми и ждала день, ночь, а он все не возвращался, и я поняла, что его арестовали. На следующее утро пришел Адриано и сказал, что надо уходить, потому что Леоне в самом деле арестован и с минуты на минуту сюда может нагрянуть полиция. Он помог мне собрать вещи, одеть детей и привел меня к друзьям, которые нас приютили.

Я никогда, никогда в жизни не забуду, что испытала в то утро, увидев перед собой близкого, знакомого с детства человека, как много это значило для меня после стольких часов одиночества и страха и мыслей о родителях, которые далеко на Севере и не известно, увидимся ли мы еще; я навсегда запомню, как он, нагнувшись, собирал по комнатам нашу разбросанную одежду, детские башмаки – так просто, терпеливо, сочувственно. У него было точно такое же лицо, как при бегстве Турати за границу: взволнованное, испуганное и счастливое – такое лицо было у него всегда, когда ему приходилось кого-нибудь спасать.

В издательстве Адриано обычно разговаривал с Бальбо, потому что Бальбо был философ, а философов он очень ценил; а Бальбо со своей стороны ценил промышленников, и инженеров, и фабрики с их машинами и моторами; этим увлечением он всегда хвастался перед нами, передо мной и Павезе, заявляя, что мы в отличие от него – гуманитарии, потому что ничего не смыслим в фабриках и моторах. Однако вся его осведомленность в технике сводилась к долгому созерцанию мотоциклов, когда он возвращался вечером домой.

После войны Адриано и Паола разошлись. Она осталась во Флоренции, жила на Фьезоланских холмах, а он – в Иврее. Он сохранил хорошие отношения с Джино, они часто виделись, хотя Джино после войны с фабрики ушел и поступил на работу в Милане. Думаю, настоящих друзей у него, кроме Джино, было немного, потому что он остался верен дружбе и всему, что было знакомо ему с юношеских лет, к примеру, из писателей признавал в глубине души только Израэля Цангвилля. Но это ограничивалось только сферой чувств; во всем же, что касалось дела, он всегда был готов пересмотреть свои взгляды, испытывал новое, более совершенное оборудование; ему казалось, что все его новшества устаревают уже в процессе внедрения; это роднило Адриано с издателем, который тоже постоянно был готов отправить на свалку то, что вчера сам нашел и создал; пребывая в вечном нетерпении, недовольстве собой, он превыше всего ставил поиск, и ничто не могло остановить его на этом пути: ни сознание былых побед, ни сомнения окружающих, которые привыкли к старому и не понимали, почему они должны с ним расставаться.

Я теперь тоже работала в издательстве. Отец всячески одобрял и само издательство, и мою работу, мать же, напротив, относилась к этому с недоверием. Она считала, что обстановка в



издательстве слишком левая: после войны она стала бояться коммунистических идей, о чем раньше даже не задумывалась. Социализму Ненни она тоже не доверяла, потому что он, по ее мнению, был близок к коммунизму; она предпочитала идеи Сарагата, но и то не без оговорок, потому что, как она утверждала, у «Сарагата уж слишком непроницаемое лицо».

– Турати! Биссолати! Кулишова! Вот это были люди! А нынешняя политика мне совсем не нравится!

Мать по-прежнему навещала Паолу Каррару; та все так же сидела в своей маленькой гостиной в окружении игрушечных птичек, открыток и кукол и была все так же мрачна, ибо, как и мать, не любила коммунистов и боялась, что они захватят Италию. Ее сестра с мужем умерли, и ездить в Женеву ей стало не к кому; она больше не читала «Зурналь де Зенев» и не ждала конца фашизма и смерти Муссолини, так как и фашизм, и Муссолини канули в прошлое; поэтому все, что ей оставалось, – это сводить старые счета с коммунистами и негодовать на то, что труды ее деверя Гульельмо Ферреро после свержения фашизма не были оценены в Италии по заслугам. Она больше никого не приглашала по вечерам в свой маленький салон: ее бывшие друзья-антифашисты все переехали в Рим и занимались там политикой; остались только мои родители да еще несколько человек, но и с ними она встречалась без прежней радости – считала «слишком левыми» всех, кроме матери; к концу вечера Паола обычно задремывала, угрюмо забившись в кресло в своем сером шелковом платье и вцепившись пальцами в серую шаль, связанную крючком.

– Это Каррара тебя настраивает против коммунистов! – бушевал отец.

– Нет, я сама их не люблю, – отвечала мать. – Паола здесь ни при чем. Я за свободу! А в России свободы нет!

Отец допускал, что в России, наверно, свободы как таковой нет. Но левые все же были ему по душе. Оливо, его бывший ассистент, который теперь руководил кафедрой в Модене, принадлежал к левым.

– Оливо тоже левый! – говорил отец матери.

– Вот видишь, – отзывалась мать, – значит, Оливо настраивает тебя.

Как я уже говорила, отец и мать после войны снова жили на виа Палламальо, переименованной в виа Моргари. Я с детьми поселилась у них. Наталина больше у нас не служила: она сразу после войны переехала в мансарду, поставив туда кое-какую мебель, полученную в подарок от матери, и работала теперь приходящей прислугой.

– Не желаю больше быть рабой, – заявила она. – Хочу свободы!

– Дурочка! – сказала мать. – Это у меня-то ты была рабой! Да ты была свободней меня!

– Нет, я была рабой. Рабой! – громко повторяла Наталина и угрожающе взмахивала шваброй.

– Видеть тебя не могу! Ты стала просто невыносима! – восклицала мать и хлопала дверью.

Она изливала душу хозяевам в овощной и мясной лавке.

– Ну чего ей не хватает? – жаловалась она. – Дурочка, и все тут!

А после заходила к Альберто и Миранде, которые жили неподалеку, на проспекте Валентино, и им тоже изливала душу.

– Это она-то раба! Это я ее поработаю! – И добавляла: – Ну что я буду делать без

Наталины?

Несмотря на все увещевания, Наталина переселилась в мансарду. Почти каждый день она приходила к матери, и та вначале надеялась, что она раскается и вернется к ней. Но потом примирилась и наняла новую прислугу.

– Прощай, Людовик Одиннадцатый, – говорила она, когда Наталина уходила к себе в мансарду, которую называла «хоромами», куда приглашала по вечерам Терсиллу с мужем на чашечку кофе. – Прощай, Людовик Одиннадцатый! Прощай, Марат!

Отец и мать потеряли многих друзей. Еще до войны умер Каррара, муж Паолы, высокий, худой, с белоснежной щеточкой усов; он ездил на велосипеде в черном развевающимся плаще; мать и при жизни и после смерти его всегда говорила, что он на редкость достойный человек.

– Он достойный человек, как Каррара. – Это было у матери высшей похвалой.

В какой-то деревне недалеко от Ивреи умерли родители Адриано, сперва «старик» Оливетти, за ним сразу его жена. Это случилось после перемирия, когда они скрывались от немцев. Умер Лопес, уже в конце войны, едва вернулся из Аргентины; во Флоренции умер Терни. Отец все время переписывался с Мэри, но они не виделись уже много лет.

– Ты написала Мэри? – спрашивал он мать. – Надо ей написать! Не забудь написать Мэри!

– Ты заходила к Фрэнсис? Сегодня же зайди!

– Напиши Марио! – приказывал он. – Если сегодня не напишешь, я не знаю, что с тобой сделаю!

Марио больше не работал у того француза; теперь он устроился на радио. Он принял французское гражданство и вторично женился.

На этот раз отец раскричался, узнав о его женитьбе. И все же не очень сильно. Они с матерью поехали в Париж – познакомиться с новой невесткой. Марио жил в доме почти на самом берегу Сены. В квартире было очень темно, и отец плохо разглядел жену Марио; заметил только, что она очень маленького роста и с челкой, падающей на глаза. Когда она вышла из комнаты, он заметил:

– Ничего себе, она же гораздо старше тебя!

На самом деле жене Марио не было и двадцати, а Марио уже сорок.

У них родилась девочка. Отец и мать опять поехали в Париж, чтобы посмотреть на внучку. Марио не мог надышаться на свою дочку, то и дело бегал с ней на руках по комнатам.

– Elle pleure, il faut lui donner sa tete![9] – взволнованно говорил он жене.

– Господи, совсем французом стал! – вздыхала мать.

Отец, когда в этот раз гостил у Марио, был страшно разгневан, обнаружив однажды в квартире, где были его жена и дочь, первую жену Марио, ту самую Жанну, с которой он развелся, но сохранил хорошие отношения.

Дом на Сене отцу не нравился. Он говорил, что там темно и, должно быть, сыро. Жена Марио, по его мнению, была слишком маленькая.

– Уж очень мала! – без конца твердил он.

– Мала, зато изящна! – возражала мать. – Правда, ножки, ножки бы ей побольше. Не люблю маленькие ножки.

Тут отец не мог согласиться. У его матери были очень маленькие ножки.

– Ты не права! Маленькая ножка у женщины – это прекрасно. Моя бедная мама так гордилась своими маленькими ножками!

– Все разговоры у них о еде! – ворчал отец. – И квартира слишком сырая! Скажи им, чтоб поменяли!

– Ты с ума сошел, Беппино. Они обожают свою квартиру!

– Что это за работа – на радио! – говорила мать. – Когда же он перестанет заниматься всякой ерундой?

– Не знаю, не знаю, – отвечал отец. – С его способностями мог бы сделать блестящую карьеру!

Кафи умер в Бордо. Марио и Кьяромонте собрали все его разрозненные записки, сделанные карандашом, и пытались расшифровать.

Кьяромонте в Америке женился второй раз. Они с женой уехали из Парижа и обосновались в Италии.

Марио считал, что более глупого шага представить себе невозможно. Но тем не менее они продолжали дружить и каждое лето встречались в Бокка-ди-Магра. Часто играли в шахматы. У Марио уже было двое детей, и он работал в ЮНЕСКО. Отец в письме спросил у Кьяромонте, что у Марио за работа и какие там перспективы.

– Может, это уже не ерунда? Может, настоящая работа? – говорила мать.

Но отец, несмотря на утешительный ответ Кьяромонте, разочарованно качал головой; отец был очень упрям и никогда не мог отказаться от первого впечатления, поэтому так и продолжал считать, что Марио упустил блестящую карьеру.

Или, к примеру, он всегда гордился тем, что Марио, его сын, был заговорщиком и не раз пересекал границу с подпольной литературой, за что был арестован и бежал, но отец тем не менее упорно продолжал считать, что своими действиями Марио сильно подвел Оливетти. Потому, когда через несколько лет умер Адриано и Марио из Парижа прислал отцу телеграмму: «Телеграфируй уместно мое присутствие похоронах Адриано», отец ответил ему очень резко: «Твое присутствие похоронах неуместно».

Отец всегда очень переживал за своих детей. Он просыпался по ночам от мыслей о Джино. Уйдя с фабрики Оливетти, Джино перебрался в Милан и работал директором и консультантом крупных промышленных объединений.

– В последний приезд мне показалось, что он какой-то мрачный, – говорил отец. – Боюсь, у него неприятности! Еще бы, когда на нем такая ответственность!

Из всех нас Джино был самым верным последователем старых семейных традиций. По воскресеньям он и зимой и летом ездил в горы. Иногда с Франко Разетти, который жил теперь в Америке, но часто наезжал в Италию.

– Джино – отличный скалолаз! – говорил отец. – Просто отличный! И горнолыжник тоже!

– Нет, – возражал Джино, – горнолыжник из меня не вышел. Я съезжаю по старинке. Вот

сейчас молодежь действительно здорово катается!

– Как всегда скромничаешь! – говорил отец и после его ухода часто повторял: – До чего ж он скромный, этот Джино!

– Ну и привереда этот Марио, – заявлял он всякий раз, когда Марио приезжал из Парижа. – Вечно всех критикует! Всех, кроме Кьяромонте! А что, если его выгонят из ЮНЕСКО! – беспокоился отец. – Политическая обстановка во Франции очень нестабильна! Я волнуюсь! И надо же было принять французское гражданство! Кьяромонте небось не принял! Все-таки дурак этот Марио!

Мать очень умилялась на детей Марио, когда он их привозил.

– Какой любящий отец! – говорила она. – *Sa tete. Il faut lui donner sa tete!* А они-то совсем французы!

– Девочка прехорошенькая, – говорила она, – но такая неуправляемая! Сущий чертенок!

– Они плохо их воспитывают, – ворчал отец. – Совсем избаловали.

– А для чего же тогда дети, если их не баловать? – возражала мать.

– Он меня назвал мещанкой! – говорила мать после отъезда Марио. – Только потому, что у меня в шкафах порядок. Конечно, ведь у них в доме полный бедлам! А Марио, он же был всегда такой аккуратный, такой педантичный! Совсем как Сильвио! Теперь это другой человек. Правда, сам он доволен жизнью!

– Он мне сказал, что я слишком правая! Вот дурак! Он говорит со мной, как будто я из христианской демократии!

– Но ты и в самом деле правая! – говорил отец. – Ты же боишься коммунистов. Это Паола Каррара тебя против них настраивает!

– Да, я не люблю коммунистов, – говорила мать. – Социалисты мне нравились, те, что были прежде. Турати! Биссолати! Биссолати, как он был обаятелен! Мы с моим отцом ходили к нему в гости по воскресеньям... Может быть, этот Сарагат не так уж плох. Если б не его непроницаемое лицо!

– Хватит чушь пороть! – гремел отец. – Ты что же думаешь, Сарагат – социалист? Да он самый что ни на есть правый! Настоящий социализм – это социализм Ненни, а не Сарагата!

– Не люблю Ненни. Ненни все равно что коммунист! Его послушать, так Тольятти всегда прав! А я этого Тольятти не выношу!

– Потому что ты правая!

– Я не правая и не левая. Я за мир!

И она уходила молодой, стремительной, гордой походкой; волосы совсем седые, развеваются по ветру, шляпа в руке.

Каждое утро, отправляясь за покупками, и после обеда, когда шла в кино, она обязательно заходила ненадолго к Миранде.

– Ты так ненавидишь коммунистов, – говорила ей Миранда, – потому что боишься: они отберут у тебя прислугу.

– Конечно, если явится Сталин, чтобы отобрать у меня прислугу, я его убью, – отвечала мать.

– Как я останусь без прислуги, если сама ничего не умею?

Миранда все так же сидела в кресле, накрывшись пледом, и с грелкой; светлые волосы струились по плечам, и она по-прежнему капризно растягивала слова.

Ее родителей забрали немцы. Забрали, как многих чересчур наивных евреев, не веривших в преследования. В начале войны они жили в Турине, а потом уехали в Бордигеру, чтобы спастись от холодов. Бордигера – городок маленький, все на виду; вот кто-то и донес немцам, и их забрали.

Миранда, как только узнала про их отъезд в Бордигеру, написала, чтобы они срочно бежали оттуда, ведь там их знают все. В больших городах было безопасней. Но они в ответ написали, что все это глупости.

– Мы люди мирные! Таких, как мы, никто не тронет!

Они и слышать не хотели о чужих именах и поддельных документах. Им это казалось неприличным. Они говорили:

– Мы-то здесь при чем? Мы люди мирные.

Так немцы и взяли их – ее, маленькую седовласую приветливую старушку, у которой было большое сердце, и его, грустного, медлительного и спокойного.

Миранде сообщили, что родители в миланской тюрьме. Они с Альберто поехали туда и пытались передать письмо, вещи, продукты, но ничего не добились и узнали потом, что всех евреев из тюрьмы Сан-Витторе увезли в неизвестном направлении.

Миранда и Альберто с ребенком уехали под чужой фамилией во Флоренцию. Сняли две комнаты возле площади Кампо-ди-Марте. Ребенок заболел тифом, у него был сильный жар; во время бомбежек они заворачивали его в одеяло и носили в убежище.

Кончилась война; они вернулись в Турин. Альберто снова практиковал. Перед его кабинетом по-прежнему толпились больные, а он в белом халате, со стетоскопом на груди забегал в гостиную погреться у калорифера и выпить кофе.

Альберто раздался в ширину и почти облысел, только на макушке все так же торчал белобрысый редкий пушок. Временами он садился на диету и пробовал на себе всякие новые лекарства, полученные в подарок. Но по ночам его мучил голод: просыпаясь, Альберто шел на кухню и смотрел в холодильник, не осталось ли чего от обеда.

Холодильник у них был большой и очень красивый – его подарил Адриано в благодарность за то, что Альберто как-то вылечил его; вечно всем недовольная, Миранда жаловалась:

– Зачем мне такой большой? Что туда класть? Сто грамм масла – ведь я больше не покупаю!

Оба часто и с сожалением вспоминали годы ссылки.

– Как здорово было там, в Рокка-ди-Меццо! – говорил Альберто.

– Очень здорово! – вторила Миранда. – Я как-то взбодрилась, каталась на лыжах и мальчика учила кататься. По утрам вставала рано и топила печку. И голова у меня никогда не болела. А сейчас опять так устаю!

– Положим, рано ты не вставала никогда, – говорил Альберто, – не будем идеализировать! И печку не топила. К нам приходила прислуга.

– Какая прислуга? Никакой прислуги у нас не было.

Железнодорожник теперь подросток. Вместе с моими детьми он играл в футбол на поле поблизости от проспекта Валентино.

Он был крупный, светловолосый, с зычным голосом, а слова растягивал, как мать.

– Мама, – спрашивал он, – можно мы с братиками пойдем на Валентино?

– Смотрите осторожней! – предупреждала моя мать.

– Не бойся! – говорила Миранда. – Они осторожны, как змеи!

– Как ни странно, он мальчик воспитанный, – в один голос говорили Альберто и Миранда про своего сына. – И кто его воспитывал? Не мы же! Скорей всего, он сам.

– В воскресенье, возможно, поеду в горы, – объявлял иногда Альберто, потирая руки.

Альберто в горах вел себя совсем не так, как Джино или отец. Джино ездил один, изредка со своим другом Разетти; в горах он себя изматывал, любил, чтоб было холодно, ветрено, не допускал никакого комфорта, спал плохо и мало, ел что придется. Альберто же отправлялся в компании друзей; вставал он поздно, подолгу сидел в холлах, разговаривал, курил, затем плотно обедал в теплом ресторане, после обеда отдыхал в кресле, вытянув ноги в домашних туфлях, и только потом шел кататься на лыжах. Правда, он катался тоже как одержимый, до изнеможения – так учили его в детстве, – никогда не умел рассчитывать свои силы и возвращался домой страшно усталый, взбудораженный, с запавшими глазами.

Миранда теперь о горах и слышать не хотела: она ненавидела холод и снег, если не считать снега в Рокка-ди-Меццо, где она тоже, по ее словам, каталась на лыжах, всякий раз вспоминая об этом с сожалением.

– Альберто такой глупый! – говорила она. – Едет в горы, чтобы развлечься, а на самом деле вовсе не развлекается, только устает! Ну кому нужен такой отдых? И потом, в его возрасте так уже не развлекаются! В молодости можно и на лыжах покататься, и все прочее! А в нашем возрасте другие развлечения. Вдобавок надо о здоровье думать, вдобавок годы уже не те!

– Как она меня угнетает! – говорил Альберто. – Ты меня угнетаешь! Подрезаешь мне крылья!

Иногда по вечерам к ним заходил Витторио, когда бывал проездом в Турине. При Бадольо он вышел из тюрьмы. Потом он возглавлял Сопротивление в Пьемонте. Вступил в Партию действия. Женился на Лизетте, дочке Джуа. Когда Партию действия распустили, он стал социалистом. Его выбрали депутатом. Жил он в Риме.

Лизетта почти не изменилась с тех пор, как мы с ней ездили на велосипедах и она рассказывала мне романы Сальгари. Все такая же худая, пряменькая и бледная, с горящими глазами и падающей на них челкой. В четырнадцать лет она мечтала о необыкновенных приключениях, и кое-что в годы Сопротивления сбылось. В Милане ее арестовали и содержали под надзором на Вилла-Тристе. Ее допрашивала сама Фериди. Друзья, переодетые санитарями, помогли ей бежать. Она высветлила волосы для маскировки. Между побегими и переодеваниями родила дочь. После войны в ее коротких каштановых волосах еще долго проглядывали обесцвеченные прядки.

Отца ее тоже избрали в парламент, и он разъезжал между Римом и Туринем, а мать, синьора Джуа, до сих пор приходила, но с моей матерью они ссорились, потому что мать считала ее слишком левой; они все время обсуждали азиатские границы, и синьора Джуа приносила с собой атлас-календарь Де Агостини, чтобы документально доказать матери, что она не права. Синьора Джуа воспитывала девочку Лизетты: Лизетта была слишком молода для роли

матери; она и родила-то как-то незаметно для себя, словно ее слишком внезапно перебросили из детских мечтаний во взрослую жизнь, не дав времени на размышления.

Лизетта была коммунисткой и во всем видела опасные пережитки Партии действия. Партия действия или пе-де-а, как она ее называла, уже прекратила свое существование, но ее зловещая тень мерещилась Лизетте на каждом углу.

– Вы все из пе-де-а! Вы мыслите порочно, как все из пе-де-а! – говорила она Альберто и Миранде.

Витторио, ее муж, смотрел на нее как на котенка, играющего с клубком, и так смеялся, что тряслись его большой, выступающий вперед подбородок и широкие плечи.

– Какой скучный город! – говорила Лизетта. – В Турине жить невозможно! Это город пе-де-а! Я бы здесь жить не смогла.

– Ты совершенно права! – говорил Альберто. – Сдохнуть со скуки можно! Одни и те же физиономии!

– Ну и дурочка! – говорила про Лизетту Миранда. – Скучно ей! Как будто где-нибудь в другом месте весело! Теперь уж какое веселье!

– Пошли есть улиток! – говорил время от времени Альберто, потирая руки.

Они выходили из дому, пересекали площадь Карло Феличе с ее слабо освещенными портиками, почти безлюдными в десять вечера.

Входили в полупустую тратторию. Улиток не было. Альберто заказывал себе спагетти.

– Как, разве ты не на диете? – говорила Миранда.

– Заткнись! – отвечал Альберто. – Ты мне подрезаешь крылья!

– Я так устаю от Альберто! – по утрам жаловалась Миранда матери. – Вечно ему не сидится на месте, не знает, чем себя занять! То ему есть хочется, то пить, то бежать куда-то! Все ищет развлечений!

– Он весь в меня, – говорила мать. – Я тоже не прочь поразвлечься! Например, куда-нибудь поехать!

– Да ну! – говорила Миранда. – Дома все равно лучше. А может, мне на рождество поехать в Сан-Ремо к Елене? – добавляла она. – Но с другой стороны, что там делать? Дома лучше!

– Знаешь, я играла там в казино! – рассказывала она матери, вернувшись из Сан-Ремо. – И продулась! Этот болван Альберто тоже. Мы вместе просадили десять тысяч лир!

– В Сан-Ремо, – сообщала мать отцу, – Миранда играла в казино. Они с Альберто проиграли десять тысяч лир!

– Десять тысяч! – бушевал отец. – Идиоты! Скажи им, чтоб больше не смели играть! Скажи, я категорически запрещаю!

И писал Джино: «Этот идиот Альберто проиграл крупную сумму в казино в Сан-Ремо».

После войны понятия отца о деньгах стали еще более расплывчатыми. Как-то во время войны он попросил Альберто купить ему десять банок сгущенки. Альберто достал их на черном рынке, заплатив более сотни лир за банку. Отец спросил, сколько он ему должен.

– Да бросьте, – ответил Альберто, – ничего.

Отец вложил ему в руку сорок лир и сказал:

– Сдачу оставь себе.

– Знаешь, мои акции Инчета опять упали! – говорила Миранда матери. – Продать, что ли, их?  
– И улыбалась беззаботно и лукаво, как всегда, когда говорила о своих проигрышах или выигрышах.

– Знаешь, Миранда продает свои акции, – говорила мать отцу. – И нам советует продать наши на недвижимость.

– Да что она понимает, эта курица! – кричал отец.

И все же задумывался. А потом спрашивал у Джино:

– Ты тоже считаешь, что мне лучше продать акции на недвижимость? Миранда советует. Уж она-то понимает в биржевых делах. У нее нюх. Ее отец, бедняга, был маклером.

– Я в этом ничего не смыслю, – отвечал Джино.

– Что правда, то правда, ты действительно ничего не смыслишь! Все мы такие – нет у нас нюха на деньги!

– Зато мы умеем их тратить, – замечала мать.

– Ну уж ты-то, конечно! – говорил отец. – А про меня этого не скажешь. Вот этот костюм я ношу уже семь лет!

– Да, Беппино, это очень заметно. Он весь потертый, поношенный! Пора бы тебе новый купить!

– Еще чего! И не подумаю! И этот вполне сойдет. Только заикнись еще о новом костюме!.. Вот и Джино тоже, – добавлял он, – совсем не мот. Он такой скромный! И запросы у него скромные! А Паола, эта тратит направо. У вас у всех деньги так и текут сквозь пальцы, у всех, кроме Джино. Все вы транжиры.

– Джино, – говорил он, – к другим такой щедрый, а для себя ничего ему не надо! Он лучше всех, Джино!

Иногда из Флоренции приезжала Паола – одна, на машине.

– Опять одна? Опять на машине? – ругал ее отец. – Прекрати эти штуки! Это же опасно. А если у тебя в дороге шина спустит? Надо было взять с собой Роберто! Роберто в машинах разбирается. С детства имел страсть. Как сейчас помню, только о машинах и говорил. Ну давай, – прибавлял он, – рассказывай, как там Роберто! Роберто был уже совсем взрослым, учился в университете.

– Очень хорош сын у тебя! Такой покладистый парень, – говорил отец. – Только вот за юбками уж слишком бегают. Смотри, как бы не женился!

У Роберто была моторная лодка, и летом со своим другом Пьером Марио они на ней ходили в море. Один раз у них сломался мотор, а море штормило, они еле-еле выбрались.

– Не смей отпускать его в море с этим Пьером Марио! Это опасно! – говорил отец Паоле. – Будь с ним построже! А то он тебя совсем не слушает!



– Паола плохо воспитывает детей, – говорил он, просыпаясь по ночам, матери. – Слишком их избаловала – делают, что хотят! Кучу денег тратят! Вот ненасытные!

– Ой, Терсилла! – восклицала Паола, входя в гладильную. – Как я рада тебя видеть!

Терсилла вставала, улыбалась, обнажая десны, расспрашивала Паолу о ее детях – о Лидии, Анне, Робер-то.

Терсилла шила штаны моим сыновьям. Мать все время боялась, что они останутся без штанов.

– Если б не я, ходили бы с голой задницей! – говорила она.

Из боязни, что они будут ходить «с голой задницей», она заставляла Терсиллу шить по пять или шесть пар зараз.

– Зачем столько? – недоумевала я.

– Ну да, – язвила она. – Ты ведь у нас советская! Ты за суровую жизнь! А я хочу, чтобы дети были одеты! И не допущу, чтобы они ходили с голой задницей!

Когда приезжала Паола, мать уходила с ней под ручку болтать и рассматривать витрины под портиками. Она жаловалась Паоле на меня.

– Все молчит, слова из нее не вытянешь! И к тому же коммунистка! Совсем советская стала!

– К счастью, у меня есть мои дети, – говорила она, имея в виду моих детей. – До чего ж они милы! Я их просто обожаю! Все трое мне нравятся, даже не знаю, кого выбрать! Да, к счастью, у меня есть дети, и скучать мне некогда. У Наталии они бы ходили по улице с голой задницей, если б не я – у меня они одеты! Если что, зову Терсиллу!

Старый портной Белом умер. Теперь мать заказывала платья в каком-то магазине под портиками, который назывался «Мария Кристина». А свитера и кофточки покупались у Паризини.

– Это же от Паризини! – говорила она, показывая Паоле только что купленную кофточку, точь-в-точь так же, как о яблоках, которые подавали к столу: – Это же карпандю!

– Послушай, – говорила она Паоле, – пойдем к «Марии Кристине»! Хочу заказать себе шикарный костюм!

– Зачем тебе костюм, – возражала Паола, – у тебя их полным-полно! Ты одеваешься, как швейцарка! Закажи себе лучше элегантно черное пальто и какую-нибудь этакую шляпу, чтобы надевать вечером, когда ты ходишь к Фрэнсис!

Мать заказывала черное пальто. Но потом говорила, что оно тянет в плечах, заставляла Терсиллу его переделывать и все равно не носила.

– Поглядите на эту мадам! – говорила она. – Подарю-ка я его Наталине!

И, как только уезжала Паола, заказывала себе новый костюм, в котором спустя некоторое время появлялась у Миранды.

– Ты что, – говорила Миранда, – сшила себе новый костюм?

И мать отвечала:

– По одежке встречают!

У Паолы в Турине остались подруги; приезжая, она иногда встречалась с ними. И мать ее всегда ревновала.

– Почему ты без Паолы? – спрашивала ее Миранда.

– Да она пошла к Ильде. А я эту Ильду плохо переношу. Длинная, как жердь, совсем не красивая. Не люблю таких высоких. К тому же она всем плешь проела со своей Палестиной.

Ильда насовсем уехала из Палестины, но говорила о ней часто. Ее брат, Сион Сегре, стал владельцем фармацевтической фабрики. С Альберто они по-прежнему дружили.

Альберто говорил Паоле:

– Пошли сегодня вечером с Ильдой и Сионом есть улиток?

– Я улиток не люблю, – говорила мать.

И оставалась дома смотреть телевизор. Отец презирал телевизор, считал, что он для недоумков. Но матери не запрещал его смотреть – как-никак подарок Джино. Более того, если она вечером его не включала и садилась в кресло с книгой, отец говорил:

– Что ж ты телевизор не включаешь? Включи! Иначе зачем он нужен? Джино его тебе подарил, а ты его не смотришь! Он на тебя столько денег потратил, так ты хотя бы смотри!

Отец по вечерам читал у себя в своем кабинете. Мать с прислугой смотрели телевизор.

После ухода Наталины у матери всегда были прислуги из Венето. Она находила их в деревне, которая называлась Мотта-ди-Ливенца.

У одной из них как-то вечером горлом пошла кровь; срочно вызвали Альберто, и он сказал, что завтра надо сделать рентген. Женщина плакала от страха; Альберто сказал, что это не похоже на кровохарканье, скорее всего, в горле просто ранка.

Действительно, рентген ничего не показал. В горле была всего лишь царапина. Женщина все плакала, и отец сказал:

– Ох уж эти пролетарии, как они боятся смерти!

Мать всякий раз, когда уезжала Паола, обнимала ее со слезами на глазах.

– Ну не уезжай! Я так к тебе привыкла!

– Приезжай ко мне во Флоренцию! – говорила Паола.

– Не могу, – отвечала мать, – папа не пустит. И потом, Наталия уходит на работу, кто же присмотрит за моими детьми?

Паола, слыша это, обижалась и немного ревновала.

– Они не твои дети! Это твои внуки! Мои дети – тоже твои внуки! Могла бы побыть немного с моими детьми!

Мать иногда ездила.

– Сходи к Мэри! – напутствовал отец. – Сразу же, как приедешь, навести Мэри!

– Конечно, навещу! – отвечала мать. – Я так по ней соскучилась!

– До чего ж она мила, эта Мэри! – говорила она, вернувшись. – Очень достойная женщина. Таких людей не часто встретишь! А как я отдохнула во Флоренции! Люблю Флоренцию. И у Паолы такой прекрасный дом!

– А я Флоренцию терпеть не могу. Не выношу Тоскану, – говорил отец.

Во время войны, когда не было масла, Паола присылала его родителям: у нее в саду на Фьезоланских холмах росли оливы.

– Зачем мне это масло! – сердился отец. – Терпеть не могу Тоскану! Терпеть не могу одолжений.

– Ну что Паола? Все такая же ослица? – спрашивал он мать.

– Нет, что ты! По утрам мне приносили завтрак в постель. Так приятно завтракать в постели, в тепле! Я прекрасно себя чувствовала!

– Ну слава богу! А то ведь Паола такая ослица!

– А кто тебе мешает завтракать в постели здесь? – спрашивала Миранда у матери.

– О нет, здесь я встаю! Принимаю холодный душ. А потом укутываюсь, раскладываю пасьянс, и мне становится тепло.

Свой пасьянс она раскладывала в столовой. Входила Алессандра, моя дочь, надутая, мрачная: ей совсем не хотелось вставать и идти в школу. И мать говорила:

– Вот она, Мария Громовержица!

– Ну-ка поглядим, поеду ли я куда-нибудь. Поглядим, подарит ли мне кто-нибудь хорошенький домик. Поглядим, станет ли Джино знаменитым. Поглядим, дадут ли Марио, после этой ЮНЕСКО, что-нибудь попрестижнее.

– Чушь! – говорил мой отец, проходя мимо. – Вечно вы мелете чушь!

Он надевал плащ, чтобы идти в лабораторию; теперь он уже не ходил туда на рассвете. Теперь он ходил к восьми утра. На пороге он пожимал плечами и говорил:

– Ну кто тебе подарит домик? Вот курица!

Я все вечера проводила в доме Бальбо. Иногда встречала там Лизетту, а Витторио – нет: он редко приезжал в Турин, а если и приезжал, то вечерами сидел у Альберто, своего старого друга.

Лизетта и жена Бальбо Лола очень подружились. Лола была та самая неприятная красавица, которую я когда-то видела на подоконнике ее дома или на проспекте Короля Умберто; она шла своей неторопливой, надменной походкой.

Лола и Лизетта подружились, когда я была в ссылке. Не помню, как это случилось, что я перестала ненавидеть Лолу. Уже потом, когда мы с ней подружились, Лола рассказала мне, что тогда, в те годы, прекрасно понимала, насколько она мне неприятна; она даже стремилась показаться еще более неприятной, потому что не знала, как избавиться от робости, неуверенности и тоски. Впоследствии, став ее подругой, я часто и с глубоким недоумением вызывала в памяти тот образ, такой надменный и неприятный, что под ее взглядом я съеживалась, как червяк, ненавидя и ее, и себя. Вызывая в памяти тот образ, я до сих пор сравниваю его с близким и дорогим мне обликом моей подруги, каких не так много у меня в этом мире.

Пока я была в ссылке, Лола какое-то время работала секретаршей в издательстве. Секретарша из нее была никудышная: она вечно все забывала. Потом ее арестовали фашисты, и два месяца она просидела в тюрьме. При немцах, скрываясь и маскируясь, они с Бальбо поженились. Лола была все так же красива, но волосы уже не стригла под пажа, и они больше не стояли на голове, как стальной шлем, а в живописном беспорядке ниспадали на плечи, как у индейцев – не у индейских женщин, а именно у мужчин, не прятавшихся от дождя и солнца, прежний строгий чеканный профиль стал нервным и выразительным; это лицо теперь было тоже открыто непогоде, дождю и солнцу. Но иногда, может на какой-то миг, проглядывала прежняя высокомерная мина, и походка вновь становилась пружинистой, надменной.

Отец при каждом упоминании о Лоле считал своим долгом выразить восхищение:

– Как же хороша эта Лола Бальбо! Ах, как хороша! – И добавлял: – Я слышал, они ходят в горы. И дружат с Моттурой.

Биолога Моттуру отец очень уважал. Дружба между Бальбо и Моттурой несколько примирила его с тем, что я каждый вечер ухожу из дома.

– Куда это она? – спрашивал он у матери. – К Бальбо? Бальбо дружат с Моттурой! Как это они подружились с Моттурой! Где познакомились?

Отца всегда интересовало, как люди становятся друзьями.

– Как они подружились? Где познакомились? – беспокойно спрашивал он. – А-а, в горах, должно быть! Ну конечно, в горах!

Установив таким образом происхождение дружбы, он успокаивался; если он питал уважение к одному из друзей, то был готов перенести его и на другого.

– Лизетта тоже заходит к Бальбо? А где они познакомились?

Бальбо жили на проспекте Короля Умберто. У них была квартира на первом этаже, и дверь никогда не закрывалась. Входили и выходили друзья Бальбо, провожали его до издательства, шли с ним перекусить и выпить капучино<sup>[10]</sup> в кафе Платти, потом возвращались к ним домой и говорили, говорили до поздней ночи. Если они его вдруг не заставали дома, то все равно усаживались в гостиной и говорили меж собой, слонялись по коридорам, располагались на его письменном столе: он всех их приучил жить без всякого расписания, забывать даже про ужин и говорить, говорить без передышки.

Лоле до смерти надоели эти паломничества к ним в дом. Но она тем не менее делала свое дело – занималась ребенком, который вызывал у нее смешанное чувство тревоги и скуки, потому что Лола, как и Лизетта, не очень умела быть матерью, перейдя вот так вдруг, без размышлений, из туманной юности к тяготам зрелости.

Время от времени она оставляла ребенка матери или свекрови, а сама наряжалась, надевала жемчуг и другие украшения и выходила, как прежде, пройтись по проспекту Короля Умберто ленивой походкой, прикрыв глаза и словно разрезая воздух орлиным носом. Возвращаясь с таких прогулок, она заставляла в доме все ту же публику; все сидели на сундуке в передней или располагались табором на столах, и тогда у Лолы вырывался протяжный и отчаянный гортанный стон, на который никто не обращал внимания.

Когда мужа не было дома, она называла его ласкательными именами и скучала, время от времени испуская все тот же протяжный гортанный стон, только не отчаянный, а нежный, как любовный призыв голубки, но, стоило ему появиться на пороге, она тут же напускалась на него – из-за того, что он, как всегда, опоздал к обеду или оставил ее без денег, а в доме

шаром покати, и она скоро с ума сойдет от этой никогда не закрывающейся двери и от этого проходного двора; завязывалась перепалка: он пускал в ход свой ядовитый сарказм, она – только накопившееся раздражение, и в конце концов взаимные обвинения и оправдания запутывались в один неразрывный клубок. При этом они никогда не бывали одни, даже когда ссорились, таким образом, иногда доставалось и торчавшим в доме друзьям: Лола кричала им, чтоб убирались вон, но они и не думали трогаться с места, а спокойно и даже забавляясь ждали, когда утихнет буря.

На обед Бальбо ел всегда одно и то же, а именно: рис с маслом, бифштекс с картошкой и яблоко. Это была диета, которой он должен был придерживаться, поскольку в войну перенес амebную дизентерию.

– Бифштекс есть? – с беспокойством спрашивал он, садясь за стол.

Получив утвердительный ответ, рассеянно принимался жевать, продолжая говорить с друзьями, не оставлявшими его и во время обеда, и время от времени ловко подпускать шпильки жене.

– Вот зануда! – обращалась Лола к друзьям. – Надоел, право! Да есть твой бифштекс! Неужели мне до смерти возиться с этими бифштексами! Съел бы хоть раз яичницу!

Она вспоминала времена Сопротивления, когда они жили в Риме в подполье, очень нуждались, но она все-таки бегала по городу, чтобы отыскать на черном рынке масло, бифштексы и рис. Бальбо объяснял, что не может есть яичницу, что ему это вредно, и продолжал жевать, серьезный, рассеянный, равнодушный к тому, что жует, лишь бы это был бифштекс, и хорошо прожаренный.

– Надоели мне твои друзья! – жаловалась Лола. – У них нет личной жизни, нет жен и детей, а если и есть, они на них плюют и вечно толкуются здесь!

По субботам и воскресеньям дом пустел. Лола оставляла ребенка свекрови и уезжала с мужем кататься на лыжах.

– Вчера он был просто очарователен! – говорила в понедельник утром вновь появившимся друзьям. – Если б вы видели, как он был очарователен! Он катается как бог! Как танцор! И с ним так хорошо, так весело! А сейчас опять зануда!

Иногда они с мужем отправлялись в ночной клуб потанцевать. И танцевали до поздней ночи.

– Ах, как было весело! – говорила потом Лола. – Он божественно танцует вальс! Будто летает на крыльях!

Она вешала в шкаф вечернее платье, и при воспоминании о муже, ушедшем на работу, у нее снова вырывалось нежное голубиное воркование.

Бальбо время от времени говорил жене:

– Купи себе новое вечернее платье. Мне будет приятно.

Лола, чтобы доставить ему удовольствие, покупала платье, а потом досадовала, говоря, что платье нелепое и она никогда его не наденет.

– Болван! – говорила она. – В угоду ему я должна покупать ненужные платья!

Если не считать своей недолгой секретарской службы в издательстве, Лола никогда и нигде не работала. В том, что секретарша из нее была никудышная, она вполне соглашалась со своим мужем. Но оба были уверены, что какая-то работа должна найтись и для нее, только

надо подумать какая; Бальбо просил и меня подумать, чем бы таким Лола могла заняться среди бесчисленного количества существующих ремесел.

Лола всегда с тоской вспоминала время, проведенное в тюрьме.

– Вот когда я сидела в тюрьме! – Это была ее коронная фраза.

В тюрьме, по ее словам, она чувствовала себя превосходно, сразу освоилась и освободилась наконец от извечной скованности. Там она подружилась с югославскими политзаключенными и с обычными уголовницами; с ними она легко нашла общий язык, завоевала их доверие, всем помогала, советовала – одним словом, была душой общества. Все разговоры с мужем насчет будущей работы неизменно сводились к тюрьме; оба приходили к выводу, что нужно искать такую работу, где она могла бы чувствовать себя «как в тюрьме», свободно и раскованно, могла бы проявить себя. Но такую работу найти было нелегко. Впоследствии она заболела и какое-то время пролежала в больнице; и там, среди других больных женщин, в ней опять возродился талант быть лидером: видимо, он проявлялся только в драматических, чрезвычайных обстоятельствах, на грани риска или перед лицом человеческих страданий.

Лизетта нашла себе работу в Риме – поступила в общество «Италия – СССР». Она выучила русский; мы начали учить его втроем – она, я и Лола – сразу же после войны, только Лизетта выучила, а мы остановились на полпути. Лизетта каждый день ходила на работу и тем не менее умудрялась вести дом; теперь она сама занималась детьми, хотя и делала вид, что дети ее не интересуют и растут совершенно самостоятельными, несмотря на еще нежный возраст. Отпуск она по-прежнему проводила в Турине и привозила детей с собой. Когда ее спрашивали, где дети, она рассеянно отмахивалась: мол, даже не помнит, где их оставила, должно быть, бегают где-нибудь по улицам. А дети в это время гуляли в парке под присмотром бабушки и няньки, и, как только темнело, Лизетта мчалась за ними, прихватив шарфики и беретки; как-то незаметно, не признаваясь в этом ни себе, ни другим, она превратилась в нежную, любящую, заботливую мать.

А еще Лизетта все время притворялась, что у нее с мужем серьезные политические разногласия. На самом деле при муже она вела себя тихо, как овечка, и даже в мыслях не позволяла себе хоть в чем-то с ним не согласиться. Да и какие могли между ними быть разногласия? Партия действия, пе-де-а, канула в прошлое, не оставив по себе даже памяти, а Лизетта заявляла, что ее зловещая тень маячит повсюду, особенно в стенах ее собственного дома. Едва ее дети стали хоть сколько-нибудь способны мыслить, она кинулась с ними в полемику, главным образом со старшей; та своим остроумием и независимостью частенько ставила ее в тупик, и, бывало, мать и дочь долго спорили перед каким-нибудь мясным блюдом о богатых и бедных, левых и правых, о Сталине, церкви и Христе.

– Не строй из себя графиню! – говорила Лизетта своей подруге Лоле, видя, как та надевает драгоценности и красится перед зеркалом.

Однако сама в конце концов тоже чуть-чуть подводила глаза, и они шли по проспекту Короля Умберто, по бульварам: Лизетта в расстегнутом плаще, в сандалиях на босу ногу, весьма, кстати сказать, маленькую, Лола в прилегающем черном пальто с огромными пуговицами, с брошкой на воротнике; высоко поднятый орлиный нос как бы разрезает воздух, а походка делается упругой и надменной.

По дороге заходили в издательство. Натыкались на Бальбо, который стоял в коридоре и говорил либо со священником, либо с Моттурой, либо с каким-нибудь другом, сопровождавшим его от самого дома.

– Слишком часто он якшается с попами! – говорила Лизетта о Бальбо. – Слишком часто!

Про него, правда, она не говорила, что «он в душе настоящий пе-де-а», Бальбо как раз был

один из немногих, о ком она этого никогда не говорила, наоборот, Бальбо, случалось, обвинял ее в том, что она немного пе-де-а, что она – последняя из пе-де-а, своего рода реликт. Она же обвиняла его в том, что он уж чересчур католик; этого она не простила бы никому на свете, а ему прощала, потому что навсегда сохранила память о том, как благоговела в детстве перед маленьким оратором, приносившим ей по воскресеньям книги Кроче.

– Он граф! В глубине души он неисправимый граф! Оба они – граф и графиня! – говорила она, вспоминая о Бальбо и Лоле в Риме, вдали от них.

К своим римским друзьям она была привязана гораздо меньше: с ними у нее не было разногласий, но не было и общих воспоминаний, с ними она, в сущности, скучала. Но в этом не призналась бы и самой себе. На расстоянии одного того, что Бальбо из знатной семьи и к тому же католик, казалось достаточно, чтобы опровергнуть все его доводы. Но стоило ей приехать в Турин, ее тянуло в дом Бальбо как магнитом, хотя она ни за что бы не решилась сказать себе: «Они мои друзья, я их люблю, и мне плевать, каковы их идеи, мне плевать, что они обожают попов!» В ее нежной, наивной душе сплеталось такое множество чувств, и своих, и чужих, они прорастали, как лес, не давая ей заглянуть в себя.

Моттура и Бальбо были так неразлучны, что в издательстве даже изобрели глагол «моттурить».

– Что делает Бальбо?

– Моттурит, что же еще! – говорили мы.

Бальбо после разговоров с Моттурой шел к издателю, чтобы сообщить ему соображения Моттуры по поводу научной серии, к которой сам в общем-то не имел никакого отношения, но привык повсюду совать свой нос, и по каждой серии ему было что сказать. Бальбо в точных и естественных науках ничего не смыслил, хотя перед тем, как поступить на юридический, он в своих юношеских метаниях два года проучился на медицинском, однако абсолютно ничего из этого не вынес. Моттура был единственным ученым из его знакомых, если не считать моего отца, которому в те далекие годы он сдавал экзамен по анатомии; разговоры с Моттурой пробуждали его интерес к научной литературе, правда, ни одной книги он не прочел, а лишь сунул туда наугад свой красный нос. И все же, беседуя с Моттурой, он на лету схватывал новые идеи. Беседовал он, конечно, не для этого, а для собственного удовольствия; впрочем, беседуя с людьми, он никогда не ставил себе конкретной цели, а если и ставил, то в процессе разговора начисто о ней забывал. Его беседы были сродни исследованиям чистой, не нацеленной на какие-то определенные результаты науки. Но кое-что из своих бесед он ухитрялся все же выудить для издательства: так, человек, присаживаясь под кустик по большой нужде, не может не сознавать, что одновременно удобряет землю. Подобное отношение к работе никто и нигде, кроме этого издательства, терпеть бы не стал. Позже Бальбо научился работать по-другому, но уже не здесь. А тогда он работал именно так, и вплоть до вечера не замечал усталости, и, только ложась спать, вдруг ощущал себя совершенно разбитым. Он тогда еще писал книгу; откуда он брал на это время – абсолютно неясно, и все же писал, потому что в один прекрасный день сдал ее в набор и попросил друзей прочитать корректуру, потому что сам этому так и не научился: мог бы просидеть над ней месяцы, не найдя ни одной опечатки.

В доме Бальбо я засиживалась до поздней ночи. Бессменными гостями этого дома были трое друзей: один маленький, с усиками, второй лицом немного напоминал Грамши, третий – розовый, кудрявый, улыбчивый. Тот, что все время улыбался, потом пришел работать в издательство: ему доверили научную серию, что само по себе было весьма странно, поскольку наукой даже отдаленно он не занимался; однако работал, как видно, неплохо, потому что годами сидел на этой литературе, а потом даже возглавил серию, но при этом

сохранил свою тихую, грустную, обезоруживающую улыбку, когда разводил руками и говорил, что ничего не смыслит в науке; в конце концов он ушел, основав собственное издательство по выпуску научной литературы.

Бальбо, когда ненадолго прекращал дискуссии со своими друзьями, начинал излагать мне и Павезе свое мнение о наших книгах. Павезе слушал его, сидя в кресле под лампой, курил трубку, криво усмехался и на все речи Бальбо отвечал, что это давным-давно ему известно.

И все же слушал с живым интересом. В отношениях с друзьями он всегда был ироничен и о нас, своих друзьях, отзывался с иронией; эта ирония, пожалуй, одна из самых замечательных его черт, но, к сожалению, он никогда не приносил ее в то, что поистине задевало его за живое, – в отношении с женщинами и в свои книги; иронию Павезе оставлял для друзей, потому что дружбу воспринимал как естественное состояние, как нечто такое, чему не придавал слишком большого значения. В любовь, как и в творчество, он бросался очертя голову и потому ни посмеиваться, ни быть самим собой уже не мог; каждый раз, когда я думаю о нем, мне прежде всего вспоминается его ирония, и я оплакиваю ее, потому что она больше не существует: ее нет в его книгах, она промелькнула молнией лишь в этой его кривой усмешке.

Что касается меня, то я с замиранием сердца ждала отзывов о моих книгах. И зачастую в оценках Бальбо видела образец блистательного проникновения. В то же время я прекрасно знала, что в каждой книге он читает максимум несколько строчек. Жизнь не оставляла ему ни времени, ни пространства для чтения. Но эту нехватку он с лихвой восполнял редкостной интуицией, которая помогала ему вывести свое суждение из простого сочетания двух фраз. Порой, когда Бальбо не было рядом, меня глубоко возмущал этот способ выносить приговоры, и я обвиняла его в поверхностности. Однако тут крылась моя ошибка: Бальбо можно было обвинить в чем угодно, только не в поверхностности. Даже если бы он прочел мои книги от корки до корки, то все равно не смог бы ничего добавить к своим оценкам. Общими и поверхностными фразами о книгах и людях он отделялся, когда от него требовался практический совет: советовать он не умел ни другим, ни себе. Так, он частенько давал мне один совет, когда говорил о моих книгах или видел меня в меланхолии: почаще бывать на собраниях коммунистической ячейки, в которую я тогда входила. Ему казалось, что именно таким образом я смогу приблизиться к реальной жизни, преодолеть свою отчужденность; в послевоенные годы бытовала такая точка зрения: считалось, что участие в левых партиях поможет писателям разорвать замкнутый круг теней и слиться с действительностью. Я тогда не решалась признать этот совет неправильным, но, следуя ему, чувствовала себя еще более несчастной и потерянной, однако покорно ходила на собрания, которые в глубине души, не решаясь признаться себе самой, считала скучными и бессмысленными.

Позднее я поняла, что к его практическим советам ни в коем случае не следует прислушиваться. Надо было снять с его слов весь налет практицизма. И тогда они стали бы указующими и благодатными. Но мне казалось, что я должна следовать за ним по пятам, поэтому неизбежно впадала в его ошибки. А вот Павезе отстаивал право на собственные ошибки, одиноко шел своим путем, спотыкаясь, скрывая за упрямством и высокомерием ранимую, мятущуюся душу.

Ошибки Павезе были тяжелее наших. Наши проистекали из неосторожности, глупости, минутных настроений и наивности; ошибки Павезе были плодом мудрствования, хитрости и расчета. Нет ничего опаснее ошибок такого рода. Они могут, как с ним и случилось, привести к трагическому исходу, потому что на пути, избранном после долгих расчетов и размышлений, трудно повернуть вспять. Ошибки, идущие от разума, опутывают, связывают по рукам и ногам; рационализм пускает в душе более крепкие корни, нежели легкомыслие и неосторожность, а как избавиться от таких стойких, таких страшных пут? Осторожность, расчет, хитрость надевают маску разума, говорят его голосом, убеждающим железной



логикой, которой нечего противопоставить, ей можно только подчиниться.

Павезе покончил с собой летом, когда в Турине никого из нас не было. Он обдумал и взвесил все подробности своей смерти, как будто речь шла о простой вечерней прогулке. Ведь он и в прогулках своих не любил случайностей, импровизации. Когда мы – он, я, Бальбо, издатель – ходили гулять по холмам, он ужасно досадовал, если что-то вдруг заставляло нас изменить маршрут, или кто-нибудь опаздывал, или менялись наши планы, или подходил к нам случайный человек, или мы шли ужинать не в выбранную им трактирню, а домой к знакомому, встреченному по дороге. Всякие отклонения от намеченного выводили его из себя. Он не любил, когда его заставляли врасплох.

Годами он говорил нам, что рано или поздно убьет себя. Никто ему не верил. Еще в то время, когда он заходил ко мне и Леоне с черешнями, а немцы подступали к Франции, еще тогда собирался. Не из-за Франции, не из-за немцев, не из-за войны, которая угрожала Италии. Войны он боялся, но не настолько, чтобы из-за этого покончить с собой. Страх перед войной остался в нем надолго, как, впрочем, и во всех нас. Как только закончилась война, мы сразу стали бояться новой и уже не могли не думать о ней. Он острее, чем мы, ощущал этот страх, ибо для него страх был как будто омутом непредвиденного и непредсказуемого, от чего он всегда шарахался со своим светлым, рациональным умом; темный, жуткий, отравленный омут, бурлящий возле беззащитного берега его жизни.

Не было у него никакого реального повода, чтобы покончить с собой. Но он сложил вместе несколько поводов и с молниеносной точностью вычислил сумму, потом проверил и убедился, криво усмехнувшись, что результат тот же самый, значит, он не ошибся. Он заглянул за пределы своей жизни, в будущее, и увидел, как отнесутся люди к его книгам и его памяти. Он заглянул за пределы своей смерти, как человек, который любит жизнь и не может от нее оторваться, который, даже думая о смерти, видит жизнь. А Павезе жизнь не любил, и этот взгляд за пределы собственной смерти был не свидетельством любви к жизни, но четким расчетом всех подробностей, с тем чтобы ничто, хотя бы после смерти, не могло застать его врасплох.

Бальбо ушел из издательства и уехал в Рим. Годами переходил от одного безумного заблуждения к другому. Наконец нашел работу. Научился работать, как все, но по-прежнему забывал о еде, не замечал, что рабочий день кончился. Он работал больше других, но не сознавал этого и вечером с удивлением обнаруживал, что валится с ног.

У них теперь было трое детей; оба тщетно пытались стать хорошими родителями, но не имели к этому никаких данных, и дети превратились для них в настоящую обузу. Они то и дело обвиняли друг друга в пренебрежении к детям. Ни Бальбо, ни Лола не утверждали, что умеют воспитывать детей, однако каждый этого требовал от другого, а другой был на это неспособен. Бальбо пытался научить своих детей единственному предмету, который знал хорошо, то есть географии: из всей школьной программы он ничего больше не помнил, хотя и ходил, по его словам, в первых учениках.

Истории, напротив, он не касался, отчасти потому, что не знал ее, отчасти из опасений, как бы дети не потребовали от него политических оценок, а он не хотел навязывать им прописные истины, считая, что дети должны учиться мыслить и делать выводы самостоятельно. Это было более чем странно, ведь он в свое время вел себя как настоящий агрессор, не только навязывая всем свою точку зрения, но и присваивая чужую: иными словами, смешивал, переплавлял в мозгу чужие мысли, чтобы потом поставить на них свое клеймо. С детьми же был предельно осторожен, никогда не предлагая им собственных воззрений.

Короче, Лола с мужем избегали говорить о политике в присутствии детей: она – потому что терпеть не могла политического сектанства, он – потому что остерегался затрагивать

слишком сложные темы. И поскольку оба боялись запутать детей или внушить им недоверие к властям, то при детях никогда не упоминали о знаменитой истории с тюрьмой.

Лола придумала себе идеал ребенка, не имеющий ничего общего с ее собственными детьми, и во что бы то ни стало стремилась подогнать своих ленивых и рассеянных отпрысков под этот идеал. Она поминутно бранила их грубо и беспричинно, никого этим не пугая, а лишь накаляя обстановку в доме, где всегда царили шум, беспорядок, неуют. Вдобавок она придумала идеал мужа и отца, абсолютно недостижимый для Бальбо; поэтому на всю квартиру то и дело разносился ее отчаянный гортанный стон, совсем как в Турине, когда у них дома Бальбо устраивал проходной двор.

В римской квартире народ уже так не толпился, как там, на проспекте Короля Умберто. Напротив, друзей у них теперь было немного, и приходили они, соблюдая правила приличия; порой Бальбо совсем нечего было им сказать, потому он либо молчал, либо брал шутливый тон. Он успокоился, обуздал свое словесное недержание. Теперь его мысль работала лишь на определенные цели, для определенных людей и в обусловленное время, а потом выключалась, как лампочка, ненужная при дневном свете.

И все же бывали моменты, когда супруги Бальбо отправляли детей на каникулы или устраивали каникулы себе; тогда они, как прежде, наслаждались жизнью, отдыхали, бродили по улицам, он заставлял ее покупать платья и туфли для собственного удовольствия, а потом шли танцевать в ночной клуб.

В конце концов Лола тоже нашла работу. Вернее, она ничего не искала: работа свалилась на нее, когда она об этом и думать забыла. Это был не тот род деятельности, который она бы выбрала, будь у нее возможность выбирать: ничего общего ни с тюрьмой, ни с больницей – наивысшими точками ее жизни. Но она хорошо выполняла эту работу, вкладывая в нее не только свой ум, но и свою безалаберность, нетерпимость, беспокойный и вспыльчивый нрав. Этот нрав находил разрядку перед окошечками почты, где она отправляла посылки и бандероли – это было одной из ее обязанностей.

Она служила в какой-то конторе. Правда, работа была больше на дому, так что Лола могла целыми днями орать на прислугу и детей, звонить свекрови и подругам, примерять платья перед зеркалом. От такой работы беспорядка в доме стало еще больше. Время от времени ей надо было упаковывать посылки, и тогда ей приходило в голову, что с этим вполне справятся дети, поскольку тут же она вспоминала об идеале послушного и проворного ребенка.

– Лу-у-ка-а! – кричала она.

Появлялся Лука, толстый, перемазанный чернилами, витающий в облаках, ко всему равнодушный, неповоротливый и надменный, как принц; Лола приказывала немедленно упаковать два десятка посылок и совала ему рулон бумаги и веревку. Лука никогда в жизни ничего не паковал. Он отправлялся бесцельно бродить по дому, сонный, вялый и ленивый, с веревкой в руках, пока мать не налетала на него с криком и не вырывала из рук веревку; тогда он поднимал свои зеленые глаза, непроницаемые и спокойные, и смотрел на нее с высоты своего поистине королевского достоинства.

Бальбо все так же ездили зимой в горы кататься на лыжах; детей они брали теперь с собой. Но ездили непременно на Север: они презирали невысокие, обдуваемые ветрами и кишацие туристами горы близ Рима. Иногда ездили в Сестрьер, иногда – в Швейцарию, и там, в заснеженных долинах, Лола опять была свободна, забывала о своей конторе, об учебе своих детей, о прислуге, которая расходует масло почем зря, о своем раздражении и вечных обидах. Но чтобы вырваться на свободу, дома, в Риме, надо было пройти через дни полного, всепоглощающего хаоса, когда то укладывались, то вытряхивались чемоданы, исчезали

свитера, стоял дикий крик, без конца трезвонил телефон, Лола улаживала какие-то дела в конторе, сломя голову носилась по магазинам, каждую минуту давала и отменяла распоряжения, прислуга уже ничего не сообщала, а невозмутимый, перемазанный чернилами Лука величественно шествовал среди всеобщего бедлама.

Летом Лола ездила на пляж в Остию. Ездила одна, потому что муж не очень любил море, а дети обычно в это время года уезжали из Рима в кемпинги бойскаутов. В попутчики она брала людей случайных, нужных ей только для того, чтоб подвезли ее туда и обратно на машине. С этими случайными людьми она вела разговоры, которые ни к чему ее не обязывали и даже забавляли, потому что была в ней этакая светскость, чуждая удовольствию или неудовольствию, а подчиненная чисто практическим интересам – скажем, эти могли подвезти на машине или дать адрес какого-нибудь обойщика. Она всегда усложняла свой быт, отыскивая обойщиков, которые жили далеко, столяров, которые брали недорого, но зато у них не было телефона, магазины на краю света, где благодаря этим случайным знакомствам ей продавали ткани с небольшой скидкой. Но в Остии она чувствовала себя прекрасно: далеко заплывала, валялась на пляже и загорала дочерна, хотя врачи не советовали ей злоупотреблять солнцем из опасения перед рецидивом той болезни, которой она очень боялась, но не до такой степени, чтоб отказаться от моря, солнца и пляжа. К обеду она возвращалась часа в четыре и при виде мужа испускала свой гортанный нежный стон; ее приводили в умиротворение день, проведенный на воле, летняя жара, отсутствие детей и удовольствие побродить по дому в одном купальнике и босиком.

Я тогда еще жила в Турине, но часто приезжала в Рим. Я второй раз вышла замуж, мой муж преподавал в Риме, и мы подыскивали квартиру, чтобы можно было перевезти детей и поселиться в Риме навсегда.

Я навещала Бальбо. Мы по-прежнему дружили и при встречах вспоминали прошлое.

– Помнишь, как мы занимались самокритикой? – говорила я.

Самокритика была у нас после войны в большом ходу: наделав ошибок, мы во всеуслышание анализировали их. И громоздили ошибки на ошибки: самокритика переплеталась и сливалась с ними, точь-в-точь как торжественный вихрь оперной музыки заглушает и уносит слова.

Я говорила:

– Помнишь наши митинги?

Лола при воспоминании о митингах, на которых выступал ее муж, до сих пор стонала от жалости, вновь представляя себе эту маленькую фигурку на деревянной трибуне, окруженную развевающимися знаменами, высоко над многолюдной площадью; стоя там, он слабым голосом нанизывал какие-то фразы, периодически почесывая макушку указательным пальцем. Темнело, становилось холодно, а он все нанизывал свои фразы, бродя по извилистым закоулкам своих мыслей и будучи уверен, что народ следует за ним теми же каменистыми и непролазными тропками. Напрасно люди ждали от него призывных и звонких лозунгов, которым привыкли аплодировать. Правда, в конце концов ему тоже аплодировали: то ли из сочувствия и неколебимой веры в племя ораторов, то ли из благодарности, что он наконец замолчал.

Отец в те годы тоже один раз выступал на митинге. Его выдвинули кандидатом на выборах от Народного фронта; Народный фронт представлял собой союз коммунистов и социалистов. Отец согласился. Ему сказали, что надо хотя бы раз выступить на митинге. Говорить можно о чем угодно – это не так важно. Его привезли в какой-то театр, где он поднялся на трибуну и открыл митинг следующими словами:

– Наука – это стремление познать истину.

И минут двадцать говорил только о развитии науки; изумленная публика молчала. В какой-то момент он сказал, что в Америке наука достигла большего прогресса, чем в России. Люди молчали, окончательно сбитые с толку. И вдруг он совершенно случайно упомянул о Муссолини, которого всегда называл ослом из Предаппьо. Раздался взрыв аплодисментов, и отец, в свою очередь растерянный, стал удивленно крутить головой по сторонам. Так закончилось выступление моего отца.

Бальбо, присутствовавший на митинге, начинал хохотать при одном упоминании о нем. Отца он очень почитал: из тех двух лет своей учебы на медицинском ему запомнился только мой отец. Перед началом учебного года у входа в институт всегда толпились студенты, шумели, дрались зачетными книжками, и отец – рассказывал Бальбо, – опустив голову, как буйвол, бросался в это стадо и пробивал себе дорогу к дверям.

Вот точно так же, опустив голову, как буйвол, бежал на моей памяти отец в войну, когда на улице его заставала бомбежка. Он не желал спускаться в бомбоубежище и, когда ревела сирена воздушной тревоги, пускался бежать, но не в убежище, а к дому. Он бежал, задевая стены, опустив голову, под грохот и гул самолетов и чувствовал себя счастливым, потому что опасность всегда любил.

– Какая чушь! – говорил он потом. – Зачем мне нужно это бомбоубежище? А и убьют – невелика беда.

Когда я сказала матери, что переезжаю в Рим, мать была очень недовольна.

– Ты увозишь моих детей! – сказала она. – Ну и поганка же ты!

– Она станет водить их в лохмотьях, – жаловалась она Миранде. – Мои дети будут ходить без пуговиц! С голой задницей!

Она вспоминала, что у меня в ссылке вечно стояла на кухне корзинка с нештопаным бельем. Если я когда и бралась за штопку, тут же ее откладывала.

– Все, не могу больше. Иголка куда-то подевалась.

Много лет у меня не было своего дома, своего шкафа, корзинки с бельем, которое никогда не будет заштопано. Много лет я жила с родителями и обо всем заботилась мать.

Они, отец и мать, заботились о том, чтобы летом вывезти детей в горы; обычно ездили в Перлотоа, где снимали все тот же дом окнами на луг. Я оставалась одна в городе и выезжала всего на несколько дней, когда закрывали издательство.

– Пошли пройдемся! – говорил мне отец, появляясь ранним утром в своей старой куртке цвета ржавчины, в гетрах и горных ботинках. – Вставай, пошли пройдемся! Совсем обленились! Только бы вам на этом лугу торчать!

Возвращались они в сентябре, и мать звала Терсиллу шить штаны, школьные фартуки, пижамы и пальто.

– Я хочу, чтоб дети были одеты! Я люблю, когда и у них есть в чем на люди показаться! Если им тепло, и у меня на душе спокойней!

По вечерам мать читала детям «Без семьи».

– Замечательная книга! – часто говорила она. – Одна из лучших книг на свете! Маркиза Коломби также писала замечательные книги, – добавляла она. – Как жаль, что их больше не издают. Ты бы сказала своему издателю, чтоб напечатал книги маркизы Коломби. Они были замечательные!

Я подарила детям «Непризнанного». Когда я была маленькой, мне читала эту книгу Паола: ей тогда очень нравились трогательные истории с грустным концом, над которыми можно было поплакать. А матери не нравился «Непризнанный». На ее взгляд, он был слишком грустным.

– «Без семьи» лучше, – говорила она, – никакого сравнения. «Непризнанный» – чересчур сентиментальная книга. Я такие не люблю. Вот «Без семьи» – это да! Капи! Витали! «Ложь за прекрасными лицами», «Слава отцу и матери», «Правда за прекрасными лицами!» – Она перечисляла персонажей и названия глав, которые знала наизусть, потому что много раз читала книгу своим детям и сейчас перечитывала ее моим – по главе за вечер – и каждый раз очаровывалась сюжетом, драматическими коллизиями, которые, однако, всегда разрешались к лучшему; ей очень нравилась собака Капи, она вообще очень любила собак.

– Вот бы мне такую собаку! Но папа, разве он позволит?!

– Ах, хорошо бы завести льва! Очень люблю львов! И вообще всех хищников! – говорила она и при первой же возможности отправлялась в цирк под тем предлогом, что ведет туда детей.

– Как обидно, что в Турине нет зоопарка. Я бы ходила туда каждый день. Знаешь, у меня постоянная потребность видеть перед собой морду какого-нибудь хищника!

– Нет, этот «Непризнанный» мне определенно не нравится, – говорила она. – Паола была от него в восторге потому, что они с Марио обожали все тоскливое. Теперь, к счастью, у них это прошло.

– Марио и Паола очень дружили, когда были детьми, – вспоминал отец. – Помнишь, как они все время шептались с беднягой Терни? И были помешаны на Прусте, ни о чем другом говорить не могли? А теперь видеть друг друга не могут. Он считает, что она мещанка. Вот ослы!

– Когда выйдет твой перевод Пруста? – спрашивала меня мать. – Я так давно его не перечитывала. Однако хорошо помню – замечательный роман! Мадам Вердурен! Одетта! Сван! Мадам Вердурен, по-моему, похожа на нашу Друзиллу.

Мать страшно обиделась на мое замужество и переезд в Рим. Но самая горькая обида никогда не пускала в ее душе глубоких корней. Какое-то время я моталась между Римом и Туринском, но готовилась оставить Турин навсегда.

Я сердечно прощалась с издательством, с городом. Мне предлагали работу в том же издательстве, в римском отделении, но мне казалось, что это совсем не то. Я любила свое издательство, выходившее на проспект Короля Умберто, в двух шагах от кафе Платти, в двух шагах от дома, где жили Бальбо, в двух шагах от портиков гостиницы, где покончил с собой Павезе.

Я любила своих товарищей по работе, именно этих, а не коллег вообще. Я боялась, что с другими людьми не сработаюсь. И, действительно, переехав в Рим, я ушла из издательства, потому что у меня ничего не получалось без издателя и моих старых друзей.

Габриэле, мой муж, писал мне из Рима, чтобы я поскорее привозила детей. Он подружился с Бальбо и теперь ходил к ним по вечерам, когда я уезжала в Турин.

– В Риме ты должна наконец научиться штопать! – говорила мне мать. – Или найти себе прислугу, чтобы умела штопать! Найди себе портниху, чтоб приходила на дом, как Терсилла. Узнай у Лолы. У нее наверняка есть такая. Или спроси у Адели Разетти. Ты обязательно к ней сходи, она такая милая! Как же я люблю Адель!

– Запиши адрес Адели Разетти, – говорил отец. – Нет, лучше я сам тебе запишу! Только не

потеряй! А вот адрес моего племянника, сына бедняги Этторе! Он очень хороший врач! В случае чего можешь к нему обратиться! Сразу же навести Адель, – твердил отец. – Если сразу не наведишь, я не знаю, что с тобой сделаю! И смотри не выкинь чего-нибудь! Знаю я вас, все вы ослы! Кроме Джино, все не умеете вести себя с людьми. Марио – первый осел. Бьюсь об заклад, что он нахамил Фрэнсис, когда она зашла к нему в Париже! Наверняка слова из него нельзя было вытянуть. К тому же она дала мне понять, что у него дома, как всегда, бедлам!

– Подумать только, ведь Марио был такой аккуратный! – сокрушалась мать. – Такой педантичный, до занудства. Вылитый Сильвио!

– А теперь вот переменялся, – говорил отец. – Фрэнсис дала мне понять, что дома у него бедлам. Все вы неряхи!

– Я – нет, я очень аккуратная, – говорила мать. – Взгляни на мои шкафы!

– Ты аккуратная? Да ты первая все теряешь! Мой зимний костюм потеряла!

– Ничего я не потеряла! Я прекрасно знаю, где он! Только нарочно его убрала, чтобы подарить кому-нибудь, его нельзя больше носить, Беппино! Давай его выбросим.

– Еще чего! И не подумаю! Все равно скоро помирать, зачем же тратить деньги на новый костюм?

– Но ведь ты сшил его еще до Льежа! И проносил всю войну! Скоро десять лет, как ты его не снимаешь!

– Какая разница, сколько лет я его ношу? Он еще очень хороший. А я не такой мот, как вы! Только и знаете швырять деньги на ветер!

– Моя бедная мама, – помолчав, произносил он, – тоже заставляла меня шить себе новые костюмы. Боялась ударить в грязь лицом перед Вандеей. Бедняга Этторино, ведь он был такой франт, и мама не хотела, чтоб я опозорился рядом с ним.

– У Вандеи, – продолжал он, – давали обеды на пятьдесят-шестьдесят человек. Сколько карет, целый кортеж! А прислуживал за столом Беппо по прозвищу Грузчик. Как-то раз он свалился с лестницы и ужас сколько посуды перебил! Мой брат, бедняга Чезаре, после этих обедов всегда прибавлял в весе на пять-шесть килограммов!

– Бедняга Чезаре был очень толстый. Слишком много ел. Вот и Альберто столько же ест, чего доброго, станет таким же толстым, как бедняга Чезаре!

– Тогда все ели очень много. Так было принято. А бабушка Дольчетта – бог мой, сколько же она съедала!

– А вот моя бедная мама ела как птичка. Худенькая такая была. Моя бедная мама в молодости была очень хороша. Такая точеная головка. Все говорили, что у нее просто точеная головка. Она тоже давала обеды на пятьдесят-шестьдесят персон. И горячее мороженое, и холодное! Да, в наше время в еде знали толк!

– Моя двоюродная сестра Регина всегда блистала на этих обедах. Она ведь очень была красива, Регина!

– Да нет, Беппино, – возражала мать, – ты ошибаешься, просто она всегда была очень размалевана!

– Много ты понимаешь! Она была красавица! Она мне очень нравилась! И бедняге Чезаре

тоже. Вот только в молодости она была несколько легкомысленна. Даже слишком, пожалуй! Моя бедная мама тоже всегда говорила, что Регина была очень легкомысленна.

– На обеды к твоей матери иногда приглашали и моего дядю Полоумного, – говорила мать.

– Да, иногда. Но не часто. Полоумный немного зазнавался, считал, что все они буржуи и реакционеры. Да, он немного зазнавался, твой дядя.

– Он был такой милый! – говорила мать. – Полоумный был очень мил, а как остроумен! Точь-в-точь как Сильвио! Сильвио в него пошел!

– «Многоуважаемый синьор Липман», – вспоминала мать, – ты помнишь, как он это произносил? А еще он всегда говорил: «Блаженны сироты!» Он считал, что люди сходят с ума по вине своих родителей, от неправильного воспитания. «Блаженны сироты!» – так он говорил. Он предвидел психоанализ, когда его еще не изобрели!

– «Многоуважаемый синьор Липман», как сейчас его слышу, – говорила мать.

– У моей бедной мамы была карета, – вспоминал отец. – Каждый день она выезжала на прогулку в карете.

– Она сажала с собой в карету Джино и Марио, – подхватывала мать. – А их сразу начинало тошнить, потому что они не выносили запаха кожи, они пачкали ей всю карету, как же она сердилась!

– Бедная моя мама, – говорил отец. – Как она переживала, когда пришлось расстаться с каретой!

– Бедняжка! – вздыхал он. – Когда я вернулся со Шпицбергена, после того, как залез в черепкиту, чтобы найти там спинномозговые сплетения, я привез с собой целый рюкзак одежды, выпачканной в китовой крови, а ей так противно было до нее дотрагиваться. Я отнес ее на чердак, потому что воняло от нее страшно!

– Так я и не нашел спинномозговые сплетения, – говорил отец. – Моя бедная мама переживала: «Только зазря хорошую одежду испортил!»

– Может, ты плохо искал, Беппино? – предполагала мать. – Может, надо было поискать получше?

– Много ты понимаешь! Курица! Думаешь, это так просто? Тебе бы только обвинить меня!

– Когда я была в пансионе, мы тоже проходили китов. Нам очень хорошо преподавали естествознание, я эти уроки очень любила. Правда, в пансионе слишком уж часто нас водили в церковь. И каждый раз надо было исповедоваться. Мы даже иногда и не знали, в чем признаваться, и говорили: «Я украла снег!»

– «Я украла снег!» Ах, как хорошо было в пансионе! Как весело!

– По воскресеньям, – говорила она, – я ходила в гости к Барбизону. Сестер Барбизона прозвали Блаженными, уж очень большие были ханжи. Настоящее имя Барбизона было Перего. Друзья сочинили про него такой стишок:

Ну право, нет приятней ничего,

Чем видеть дом и погреб Перего.

– Опять этот Барбизон! – сердился отец. – Да сколько можно повторять одно и то же!

Lessico familiare

Torino, 1963

Перевод Г. Смирнова

Дорогой Микеле!

1

Женщина, которую звали Адрианой, проснулась утром в своем новом доме. Шел снег. Это был день рождения Адрианы. Ей исполнилось сорок три года. Дом стоял в открытом поле. Вдали на холме виднелась деревня. До нее было два километра. А до города – пятнадцать. Адриана переехала в этот дом десять дней назад.

Она надела креповый халат табачного цвета. Сунула длинные худые ноги в разношенные шлепанцы тоже табачного цвета с порядком потертой и грязной белой опушкой. Спустилась в кухню, сварила себе чашку ячменного кофе, размочила в нем печенье. На столе валялись очистки яблок, и Адриана собрала их в газету – для кроликов; пока у нее кроликов не было, но один крестьянин обещал их принести.

Затем она прошла в гостиную и распахнула ставни. Кивнула себе в зеркало над диваном и осмотрела всю свою высокую фигуру, короткие вьющиеся волосы цвета меди, маленькую головку на длинной крепкой шее, заглянула в большие зеленые и печальные глаза. Потом присела к письменному столу и написала письмо сыну.

Дорогой Микеле! – написала она.

Пишу тебе прежде всего, чтобы сообщить, что твой отец болен. Проведай его. Он говорит, что уже много дней тебя не видел. Вчера я заходила к нему. В первый четверг месяца я, как обычно, ждала его в ресторане «Канова», но мне туда позвонил его слуга и сказал, что ему плохо. Тогда я пошла к нему на квартиру. Он лежал в постели. По-моему, очень плохо выглядит. Нездоровый цвет лица и мешки под глазами. У него боли в желудке, и он совсем перестал есть. Разумеется, продолжает курить.

Когда пойдешь к нему, не носи своей обычной порции в двадцать пять пар грязных носков. Этот слуга – не то Энрико не то Федерико, не помню точно, как его зовут, – не в состоянии сейчас нести бремя твоего грязного белья. Он совсем ошалел и растерялся. Не спит ночами, так как твой отец то и дело его зовет. Кроме того, он впервые служит в доме, а до этого работал в автоэлектромастерской. Да и вообще полный кретин.

Если у тебя накопилось много грязного белья, принеси его ко мне. У меня есть служанка по имени Клотти. Я наняла ее пять дней назад. Несимпатичная. Все время ходит надутая и наверняка долго не продержится, так что можешь привозить хоть чемодан грязного белья – мне теперь все равно. Но все-таки хочу напомнить тебе, что совсем близко от подвальчика,



где ты живешь, есть хорошие прачечные. Ты уже не маленький, мог бы и сам о себе позаботиться. Ведь тебе скоро двадцать два. Кстати, сегодня день моего рождения. Близняшки подарили мне домашние туфли, но я слишком привыкла к своим старым шлепанцам. Так вот, по-моему, гораздо лучше каждый вечер стирать носовой платок и пару носков, чем неделями копить под кроватью грязное белье, правда, мне никогда не удавалось тебе это внушить.

Я дождалась доктора. Какой-то Пово или Ково – толком не разобрала. Он живет выше этажом. Ничего вразумительного о болезни твоего отца я от него не добила. Говорит, что у отца язва, но это мы и раньше знали. Говорит, что надо бы положить его в больницу, но твой отец об этом и слышать не хочет.

Ты, может быть, считаешь, что я должна переехать туда и ухаживать за ним. Иногда я тоже так думаю, но, скорее всего, этого не сделаю. Я боюсь болезней. Чужих болезней – не моих, впрочем, я никогда серьезно не болела. Когда у моего отца сделалось воспаление стенок желудка, я уехала в Голландию. Я прекрасно понимала, что никакое это не воспаление. Это был рак. Больше я его так и не увидела. Мне, конечно, совестно, но все мы рано или поздно размачиваем нашу совесть в утреннем кофе, как печенье.

К тому же не знаю, как воспримет это твой отец, если завтра явлюсь к нему с чемоданом. Он уже много лет меня стесняется. Да и мне с ним как-то неловко. Хуже нет неловкости между людьми, которые когда-то ненавидели друг друга. У них не получается разговора. Они благодарны за то, что теперь не наносят друг другу ран и обид, но благодарность такого рода не выразишь словами. После того как мы с твоим отцом расстались, у нас вошло в привычку встречаться в первый четверг каждого месяца и пить чай у «Кановы». Какая нудная вежливость! Это было не по нутру. Нам обоим. Но так посоветовал кузен твоего отца Лиллино – адвокат из Мантуи, а твой отец всегда слушается его советов. Лиллино считал, что мы должны быть корректны по отношению друг к другу и время от времени встречаться, чтобы обсуждать наши общие проблемы. Но те часы, что мы проводили у «Кановы», были пыткой и для отца, и для меня. Поскольку твой отец очень методичен в своей безалаберности, он решил, что мы должны сидеть за столиком с пяти до половины восьмого вечера. Он то и дело вздыхал, поглядывал на часы, а это было для меня унижительно. Сидел, откинувшись на спинку стула, и теребил свою черную растрепанную шевелюру. Словно старая, усталая пантера. Мы говорили о вас, детях. Но твои сестры ему совершенно безразличны. Ты для него свет в окошке. Когда ты родился, он вбил себе в голову, что его сын – единственное существо в мире, достойное нежности и обожания. Мы говорили о тебе. Он уверял, что я никогда тебя не понимала, что это было дано ему одному. После чего мы оба умолкали, ибо так боялись противоречить друг другу, что любая тема казалась нам опасной, потому мы поспешно обрывали ее. Вы знали, что мы регулярно встречались, но не знали, что это идея проклятого кузена. Я замечаю, что неволью пишу в прошедшем времени, но, думаю, твоему отцу в самом деле очень плохо и нам больше не придется встречаться у «Кановы» каждый первый четверг месяца.

Не будь ты таким сумасбродом, я бы посоветовала тебе бросить свой подвальчик и вернуться на виа Сан-Себастьянелло. Ты мог бы вставать к отцу по ночам вместо этого слуги. Ведь у тебя же нет определенных занятий. У Виолы хозяйство, а у Анджелики – работа и дочка. Близняшки ходят в школу, да к тому же они еще малы. Впрочем, твой отец не выносит близняшек. Он и Виолу с Анджеликой не выносит. А что касается его собственных сестер, то Чечилия стара, а с Матильдой они друг друга терпеть не могут. Матильда сейчас у меня и пробудет всю зиму. Единственный человек на свете, которого твой отец любит и с кем может общаться, – это ты. Но поскольку ты – это ты, я понимаю, что тебе лучше оставаться в своем подвале. Если ты переберешься к отцу, то только увеличишь беспорядок и доведешь слугу до полного обалдения.

Вот еще о чем я хотела сказать тебе: я получила письмо от некой особы, которая называет

себя Марой Касторелли и говорит, что познакомилась со мной в прошлом году на вечеринке у тебя в подвальчике. Вечеринку я помню, но там было столько народу, что все лица стерлись в памяти. Письмо пришло на мой старый адрес на виа дей Виллини. Эта особа спрашивает, не помогу ли я подыскать ей работу. Она пишет из пансионата, где не может дольше оставаться, потому что он слишком дорог. Она говорит, что у нее родился ребенок и она хотела бы приехать ко мне и показать этого чудесного ребенка. Я ей еще не ответила. Когда-то я любила детей, но теперь у меня нет никакой охоты восхищаться чьим-то ребенком. Я слишком устала. Я бы хотела узнать от тебя, кто она такая и какая ей нужна работа, поскольку сама она этого толком не объясняет. Сначала я этому письму не придавала значения, но потом у меня возникло подозрение, не твой ли это ребенок. Иначе с чего бы вдруг эта особа стала мне писать. У нее очень странный почерк. Я спросила твоего отца, не знает ли он некую Марторелли, твою подружку, но он сказал, что нет, а потом завел речь о сыре «Пасторелла», который брал с собой, когда ходил на яхте, – с твоим отцом уже нельзя вести осмысленного разговора. И я постепенно вбила себе в голову, что это твой ребенок. Вчера вечером после ужина я вывела из гаража машину, что мне всегда дается с таким трудом, и поехала в деревню, чтобы позвонить тебе, но тебя никогда нет дома. На обратном пути я поплакала. Думала и о твоём отце, которому так плохо, и о тебе. Если вдруг ребенок у этой Марторелли – твой, что ты будешь делать, ведь ты же ничего не умеешь. Даже школу так и не закончил. А твои картины с этими домами, которые рушатся, и с этими летающими совами, по-моему, не очень хороши. Отец говорит, что они хороши и что я ничего не понимаю в живописи. А мне кажется, они похожи на те, что он сам писал в юности, только еще хуже. Не знаю я. Прошу тебя, сообщи мне, что я должна ответить этой Марторелли, не послать ли ей денег. Она не просит, но наверняка они ей нужны.

Я все еще сижу без телефона. Сколько уж раз я им напоминала, но никто так и не появился. Пожалуйста, зайди сам в телефонную компанию. Это не займет много времени, она недалеко от тебя. А может, там кого-нибудь знает твой друг Освальдо, который предоставил тебе этот подвальчик? Близняшки говорят, что какой-то его кузен там работает. Узнай, пожалуйста. Со стороны Освальдо было очень мило отдать тебе этот подвальчик бесплатно, но там слишком темно для твоих художеств. Может быть, ты и пишешь всех этих сов, потому что сидишь все время с зажженным светом и думаешь, что на дворе ночь. Должно быть, там к тому же и сыро, хорошо, что я привезла тебе ту немецкую печку.

Конечно, ты вряд ли приедешь поздравить меня с днем рождения, ты, наверно, о нем и забыл. Виола и Анджелика тоже не приедут. Я вчера звонила им обеим, но они не смогут. Дом этот мне нравится, правда, неудобно жить так далеко от всех. Я думала, что девочкам будет хорошо на воздухе, но они на целый день удирают из дома. Ездят в школу на своих мотороллерах и завтракают в пиццерии в центре. Потом готовят уроки у подружки и возвращаются уже затемно. Пока их нет, я сижу и беспокоюсь, мне не нравится, что они гоняют в темноте по дороге. Тетя Матильда приехала три дня назад. Она хотела навестить твоего отца, но он сказал, что видеть ее не желает. Они уже много лет не общаются. Матильду я сама пригласила, потому что у нее нет денег и нервы совсем сдали. Она ввязалась в неудачную спекуляцию с какими-то швейцарскими акциями. Я попросила ее позаниматься с близняшками. Но они постоянно удирают. Придется мне терпеть ее, но пока не знаю, как вытерплю.

Может быть, я сделала ошибку, купив этот дом. Иногда я думаю, что это была ошибка. Мне должны принести кроликов. Когда принесут, я бы хотела, чтоб ты приехал склотить клетки. Пока я думаю устроить их в сарае. А близняшки хотят завести лошадку.

Скажу тебе: я переехала сюда главным образом потому, что не желаю все время сталкиваться с Филиппо. Он живет в двух шагах от виа дей Виллини, и я постоянно с ним сталкивалась. Мне было тяжело его видеть. У него все хорошо. Весной жена его должна родить. Господи, ну почему вечно рождаются эти дети, как они надоели.

Кончаю писать и отдаю письмо Матильде, которая отправляется за покупками. А я буду смотреть, как идет снег и читать «Мысли» Паскаля.

Твоя мать

Вложив письмо в конверт, Адриана снова спустилась в кухню. Поцеловала своих четырнадцатилетних близняшек Бебетту и Нанетту, и они умчались в школу на одинаковых мотороллерах, в одинаковых синих курточках с нашивками и шотландских гольфах, с одинаковыми белокурыми косичками. Потом поздоровалась и поцеловала свою золовку Матильду, толстую мужеподобную старую деву с гладко зачесанными седыми волосами: одна прядь вечно выбивалась и падала ей на глаз, а она резким движением отбрасывала ее назад. Служанка Клоти не показывалась, и Матильда хотела ее позвать, заметив, что та каждое утро встает на четверть часа позже и каждое утро на чем свет ругает свой матрац, который, по ее словам, весь в комьях. Наконец Клоти появилась и проскользнула по коридору в небесно-голубом халате, очень коротком и пышном, с распущенными по плечам длинными пепельными волосами. Вскоре она вышла из ванной в новеньком коричневом накрахмаленном фартуке. Волосы Клоти подколола двумя гребешками. Она с крайне меланхоличным видом принялась застилать постели, в каждом ее жесте сквозило желание поскорее уволиться. Матильда надела тирольскую пелерину и объявила низким мужским голосом, что пойдет за покупками пешком, ибо нет ничего здоровее снега и морозного воздуха. Перед уходом Матильда распорядилась сварить несколько луковиц, висевших на стене в кухне: она знает чудесный рецепт лукового супа. Клоти уныло заметила, что они все гнилые, эти луковицы.

Тем временем Адриана надела брюки табачного цвета и свитер песочного цвета. Затем села в гостиной у зажженного камина, но читать «Мысли» Паскаля не стала. И на снег она не смотрела; ей вдруг показалось, что она ненавидит этот заснеженный холмистый пейзаж за окном; склонив голову, она стала массировать себе икры и щиколотки в табачного цвета гольфах и так провела все утро.

2

В пансион на пьядца Аннибальяно вошел мужчина, которого звали Освальдо Вентура, коренастый, широкоплечий, в плаще. У него были светлые с проседью волосы, здоровый цвет лица, карие глаза. А на губах вечно неопределенная улыбка.

Знакомая девушка позвонила ему, чтоб он заехал за нею. Она хотела покинуть этот пансион. Кто-то уступил ей квартиру на виа дей Префетти.

Девушка сидела в холле. На ней была бирюзовая трикотажная кофточка, брюки баклажанного цвета и черная жакетка с вышитыми серебряными драконами. У ног ее стояли кошелки, сетки и в желтой пластиковой сумке – ребенок.

– Я тебя тут целый час жду как идиотка, – сказала она.

Освальдо собрал кошелки и сетки и отнес все это к дверям.

– Видишь ту кудрявую у лифта? – сказала девушка. – У нас комнаты были рядом. Она очень милая. Я ей многим обязана. И деньги тоже должна. Улыбнись-ка ей.

Освальдо послал кудрявой свою неопределенную улыбку.

– За мной брат приехал. Я еду домой. Завтра верну вам термос и все остальное, – сказала

Мара.

Они с кудрявой крепко расцеловались в обе щеки. Освальдо подхватил сумку, кошелки и сетки, и они вышли на улицу.

– Значит, я твой брат? – спросил он.

– Она очень любезна со мной. Вот я и сказала ей, что ты – мой брат. Такие люди любят знакомиться с родственниками.

– Много денег ты ей должна?

– Самые пустяки. А ты что, хочешь ей вернуть?

– Нет, – сказал Освальдо.

– Я обещала, что принесу их завтра. Но это неправда. Только меня тут и видели. Я ей пошлю перевод телеграфом.

– Когда?

– Когда найду работу.

– А термос?

– Термос, может, вообще не верну. Да у нее еще один есть.

Малолитражка Освальдо стояла на противоположной стороне площади. Шел снег, и было ветрено. Мара шагала, придерживая на голове большую черную фетровую шляпу. Это была бледная черноволосая девушка, очень маленькая и щуплая, но широкобедрая. Ее жакетка с драконами развевалась, сандалии проваливались в снег.

– У тебя нет ничего потеплее из одежды? – спросил Освальдо.

– Нету. Все мои вещи – в одном бауле. В квартире моих друзей, на виа Кассиа.

– В машине сидит Элизабетта, – сказал Освальдо.

– Элизабетта? А это еще кто?

– Моя дочь.

Элизабетта притулилась в уголке заднего сиденья. Ей было девять лет. Волосы морковного цвета, клетчатая блузка и свитер. На коленях девочка держала рыжую собачку с длинными ушами. Желтую пластиковую сумку поставили рядом.

– Чего это ты потащил с собой девочку с этой псиной?

– Элизабетта была у бабушки, и я ездил ее забирать, – пояснил Освальдо.

– Вечно ты на побегушках. Вечно всем услуги оказываешь. Когда ж у тебя своя-то жизнь будет?

– Почему ты решила, что у меня нет своей жизни?

– Держи покрепче свою собаку, чтоб не лизала моего ребенка, понятно, Элизабетта? – сказала Мара.

– А сколько теперь ребенку? – спросил Освальдо.

– Двадцать два дня. Ты что, не помнишь, что ему двадцать два дня? Я две недели назад вышла из больницы. Этот пансион мне старшая медсестра присоветовала. Но тут я не могла остаться. Грязища. Мне было противно становиться босиком на коврик у умывальника. Знаешь, какие отвратные эти зеленые резиновые коврики в пансионах?

– Знаю, – сказал Освальдо.

– И дорого очень. К тому же все грубияны. А мне нужно деликатное обращение. Всегда было нужно, а особенно с тех пор, как у меня ребенок.

– Понимаю.

– Тебе тоже нужна деликатность?

– Еще как.

– Они жаловались, что я их донимаю звонками. А я звонила, потому что мне нужны были разные вещи. Кипяченая вода. И всякое другое. У меня смешанное кормление. Это очень сложно. Нужно сначала взвесить ребенка. Потом покормить грудью, снова взвесить и дать молочную смесь. Я звонила по десять раз, а они все не шли. В конце концов приносили воду, но я вечно боялась, что они ее так и не вскипятят.

– Ты могла взять в комнату кипятильник.

– Нет, это запрещается. И они все время что-нибудь забывали. Например, вилку.

– Какую вилку?

– Чтобы размешать молочную смесь. Я им сказала, чтоб они каждый раз приносили мисочку, чашку, вилку и ложку. Они все это приносили в салфетке. Но вилки никогда не было. Я просила вилку обязательно прокипяченную, а они мне грубили. Надо бы, конечно, просить их кипятить и салфетку. Но я боялась, что они вообще взбесятся.

– Наверняка бы взбесились.

– Чтобы взвесить ребенка, я ходила к той кудрявой, которую ты видел. У нее тоже ребенок и есть весы для грудных детей. Но она очень деликатно мне сказала, чтоб я не заявлялась к ней в комнату в два часа ночи. Поэтому ночью мне приходилось кормить на глазок. Может, у твоей жены есть такие весы?

– Элизабетта, нет ли у нас дома детских весов? – спросил Освальдо.

– Не знаю. Кажется, нет, – сказала Элизабетта.

– Почти у всех в кладовке валяются такие весы, – сказала Мара.

– У нас, по-моему, нет, – сказала Элизабетта.

– Но ведь мне нужны весы.

– Ты можешь их взять напрокат в аптеке, – сказал Освальдо.

– Как возьмешь, если у меня нет ни сольдо?

– А какую ты собираешься искать работу?

– Не знаю. Может, буду продавать старые книги в твоей лавочке.

– Нет. Вот это – нет.

– Почему?

– Да это же мышиная нора. Повернуться негде. И у меня уже есть там помощница.

– Видала я ее. Настоящая корова.

– Синьора Перони. Она раньше была гувернанткой в доме у Ады. Моей жены.

– Зови меня Перони[11] – буду у тебя заместо пива. Вернее, заместо коровы.

Они остановились в Трестевере на небольшой площади с фонтаном. Элизабетта с собакой вышли.

– Пока, Элизабетта, – сказал Освальдо.

Элизабетта скрылась в подъезде красного дома.

– Хоть бы словечко проронила, – заметила Мара.

– Она стесняется.

– Невоспитанная. Даже не взглянула на ребенка. Будто его и нет. Не нравится мне цвет твоего дома.

– Это не мой дом. Здесь живет моя жена с Элизабеттой. А я живу отдельно.

– Я знаю. Просто забыла. Ты вечно говоришь о своей жене, так что у меня и из головы вон, что ты живешь один. Кстати, дай мне свой номер телефона. У меня есть только телефон лавочки. Может, мне что-нибудь понадобится ночью.

– Умоляю, не звони мне по ночам. Я с таким трудом засыпаю.

– Ты никогда не приглашаешь меня к себе. Летом, помнишь, мы встретились на улице, у меня был такой огромный живот, и я тебе сказала, что хочу принять душ. А ты сказал, что в вашем квартале нет воды.

– Так оно и было.

– Я тогда жила в монастырском пансионе, а там позволялось мыться только по воскресеньям.

– А как ты попала к монашкам?

– Они дешево брали. Сперва я жила на виа Кассиа. А потом поссорилась с этими своими друзьями. Они обозлились, что я испортила ихнюю кинокамеру. Сказали, чтоб я убиралась в Нови-Лигуре к своим двоюродным. И денег дали на дорогу. Они, вообще-то, люди ничего. Но что мне делать в Нови-Лигуре? Эти двоюродные про меня уже давно ничего не знают. Если б увидели меня с таким пузом, замертво бы попадали. А потом, у них дома куча народу, а денег нет. Он-то, конечно, лучше, чем она.

– Кто это «он»?

– Он. Тот, что живет на виа Кассиа. А жена у него жадная до денег. Он подбрей. Работает на телевидении. Обещал, как только я рожу, устроить меня на работу. Может, я ему позвоню.

– А почему «может»?

– Он меня спросил, хорошо ли я знаю английский, и я сказала, что да, а это неправда, я по-английски ни бум-бум.

Квартира на виа дей Префетти состояла из трех смежных комнат. В последней комнате была балконная дверь с пыльными занавесками. Окна выходили во двор. На балконе стояла сушилка для белья, и на ней болталась фланелевая ночная рубашка бледно-сиреневого цвета.

– Сушилка мне очень пригодится, – сказала Мара.

– А чья это рубашка? – спросил Освальдо.

– Не моя. Я здесь никогда не была. Это квартира одной знакомой девушки, но она ей не пользуется. А рубашка не знаю чья. Но не ее, точно. Она вообще не надевает ночных рубашек, тем более фланелевых. Спит голышом. Я прочла где-то, что финны спят голыми и от этого очень здоровеют.

– Так ты сюда приехала, даже не посмотрев квартиру?

– Ну конечно. Это же бесплатно. Моя дорогая подружка пустила меня сюда задаром.

В комнате стоял круглый стол, покрытый клеенкой в белую и красную клетку, и двуспальная кровать, застеленная покрывалом с бахромой из бледно-сиреневой синельки. В средней комнате были электроплитка, умывальник, метла, календарь на стене, тарелки и кастрюли на полу. А в первой ничего не было.

– Поставь вскипятить воду, – сказала Мара. – Здесь все есть. Подруга говорит, что здесь все есть. Миска. Чашка. Вилка. И ложка.

– Я не вижу вилок, – сказал Освальдо.

– Господи! Не везет мне с вилками. Ладно, взобью МОЛОКО ЛОЖКОЙ.

– Да и ложек не вижу. Одни ножи.

– Господи! Правда, у меня есть пластмассовая ложки. Мне ее кудрявая подарила. Только ее кипятить нельзя – расплавится. Вот чем плоха пластмасса.

Она вынула ребенка из сумки и положила на кровать. У него были длинные черные волосики. Пеленкой ему служило цветастое полотенце. Он потянулся. Из полотенца высунулись ножки в огромных голубых шерстяных носках.

– Тебе и со стульями не везет. – С этими словами Освальдо вышел на балкон, принес оттуда шезлонг с продраным полотном и уселся.

– Я вообще невезучая, – сказала Мара. Она сидела на кровати, расстегнув кофточку, и кормила ребенка.

– Ты же его не взвесила, – сказал Освальдо.

– А как я его взвешу, если нет весов? Придется на глазок.

– Хочешь, я схожу в аптеку и возьму тебе весы напрокат?

– Что, и заплатишь за прокат?

– Да, заплачу.

- А я думала, ты скряга. Сам всегда говорил, что ты скряга и нищий. Что у тебя ничего нет и даже кровать, на которой ты спишь, принадлежит твоей жене.
- Я действительно скряга и нищий. Но за прокат весов заплачу.
- После. После сходишь. А пока сиди тут. Мне надо, чтобы кто-то был рядом, когда я взбиваю порошковое молоко. Я боюсь сделать что-нибудь не так. Вдруг оно сгустками пойдет. В пансионе была кудрявая. Я звала ее, и она сразу приходила. Вот только ночью – нет, не приходила.
- Я не могу все время сидеть здесь, – сказал Освальдо. – Мне надо зайти к жене.
- Вы же разошлись. Что тебе делать у жены?
- Побуду немного с девочкой. Да и с Адой тоже. Я бываю у них почти каждый день.
- Почему же вы разошлись?
- Мы слишком разные, чтобы жить вместе.
- В чем разные?
- Разные. Она богатая. Я бедный. Она очень энергичная. Я лентяй. У нее страсть обставлять квартиру.
- А у тебя нет такой страсти?
- Нет.
- Значит, когда женился, ты надеялся стать богатым и неленивым?
- Да. Или чтоб она стала поленивее и победнее.
- Не вышло?
- Нет. Она старалась лениться, но мучилась. Даже лежа в постели, продолжала строить всякие планы. Мне казалось, что я нахожусь рядом с кипящей кастрюлей.
- А какие планы?
- Да всякие. У нее вечно планы. Сделать ремонт. Обставить квартиру старым теткам. Покрыть лаком мебель. Перестроить гаражи в картинные галереи. Случить одних собак с другими. Покрасить подкладку то у одной, то у другой вещи.
- А как ты старался разбогатеть и поменьше лениться?
- Вначале я прилагал какие-то усилия, чтобы стать побогаче. Правда, очень вялые и неумелые. Но для нее было не так уж важно, чтоб я зарабатывал деньги. Ей хотелось, чтоб я писал книги. Она этого жаждала. Требовала. Совсем меня замучила.
- А ты сказал бы ей, что не умеешь писать, – и баста.
- Я не был окончательно уверен, что не смогу писать. Иногда думаю, что, может, даже и написал бы, если б она этого не ждала. Но все время чувствовал, как меня обволакивает это ее ожидание – упорное, бескорыстное, огромное, подавляющее. Я чувствовал это даже во сне. Это меня просто убивало.
- И тогда ты ушел от нее.



– Все случилось как-то очень спокойно. Однажды я сказал ей, что хочу снова жить один. Она как будто не удивилась. С некоторых пор это ее ожидание стало сходиться на нет. Она оставалась такой, как всегда, только по углам рта появились две морщинки.

– А книжная лавка? Она тоже принадлежит твоей жене?

– Нет, лавка моего дяди, он живет в Варезе. Но я сижу в ней уже столько лет, что кажется, будто она моя.

– Но книг ты так и не написал, хотя теперь один. Видно, ты умеешь только продавать книги, которые написали другие.

– Да, так и не написал. Это верно. Откуда ты знаешь?

– От Микеле. Он сказал, что ты лентяй и ничего не пишешь.

– Это правда.

– Вот бы твоя жена пришла сюда и обставила эту квартиру.

– Моя жена?

– Да, твоя жена. Если она из гаражей делает музеи, то могла бы и здесь все обставить.

– Моя жена? Да, она явилась бы немедленно. Привела бы штукатуров. Электриков. Но она бы и всю твою жизнь поменяла. Устроила бы ребенка в ясли. Тебя – на курсы английского языка. От нее покоя не жди. Все твои одежды – и вот эта жакетка с драконами – полетели бы в помойку.

– Почему? Ведь жакетка такая миленькая, – сказала Мара.

– Это не в ее стиле – жакетка с драконами. Нет-нет, это не в стиле Ады.

– Кудрявая сказала, что, может быть, я смогу поехать с ними в Трапани. Ее муж из тех мест. Он там открывает столовую. Если дела пойдут хорошо, они мне дадут работу. Им нужен кто-то, кто вел бы счета.

– А ты умеешь вести счета?

– Почти все умеют вести счета.

– Но ты, вероятно, нет.

– А кудрявая считает, что могу. Они дадут мне комнату в своей квартире над столовой. Кроме счетов я буду прибираться в доме и присматривать за их ребенком вместе с моим. Эта столовая близко от вокзала. Иногда на таких заведениях зарабатывают миллионы.

– Ты была когда-нибудь в Трапани?

– Никогда. Кудрявая немного опасается. Она не знает, как там будет, в Трапани. И как пойдет дело со столовой. Ее муж уже два раза прогорел с ресторанами. Деньги-то ее. Она даже ходила с мужем к гадалке. Он сказал, что им нужно держаться подальше от южных городов.

– Ну и что дальше?

– Ничего. У нее начались сердечные перебои. Она говорит, что ей было бы гораздо спокойней, если бы я была рядом. Если ничего не подвернется, поеду туда.

- Я тебе не советую.
- А что советуешь?
- Ничего. Я вообще советов не даю.
- Ты сегодня увидишь Микеле?
- Не знаю. От Микеле советов не жди.
- Я и не жду. Но мне хотелось бы, чтоб он зашел сюда. Уж сколько времени я его не видела. Я заходила к нему в подвальчик. Тогда я еще была с пузом. На сносях, что называется. Хотела принять душ, Микеле сказал, нет горячей воды. А холодный душ, говорит, тебе вреден.
- Не везет тебе с душем.
- Да я уж и не знаю, с чем мне везет. Когда ребенок родился, я ему позвонила. Он обещал зайти, но не зашел. Я написала на днях его матери.
- Матери написала? С чего это ты?
- Да так. Я с ней знакома. Видела один раз. Я дала ей адрес пансиона. Собиралась остаться там, а потом перерешила. А кудрявой сказала, что, если придет письмо, пусть перешлет его в твою лавочку. Этот мой адрес я ей давать не хотела. А то еще явится сюда. Я ведь этой кудрявой наврала кое-что. Сказала, что буду жить в прекрасной квартире, где в одних комнатах пол кафельный, а в других – шерстяные паласы. А еще сказала, что буду жить со своим братом – антикваром. Произвела тебя в антиквары. А на самом деле ты торгуешь только подержанными книгами.
- И в брата своего тоже произвела.
- Да. У меня взаправду есть брат. Только маленький. Ему одиннадцать лет. Зовут Паоло. Он живет у моих двоюродных. А ребенка я назвала Паоло Микеле. Знаешь, ведь я могла бы подать в суд на Микеле. Я же несовершеннолетняя. Если б я подала в суд, ему пришлось бы на мне жениться.
- Ты хотела бы выйти замуж за Микеле?
- Нет. Это все равно что выйти за младшего брата.
- Так зачем же подавать на него в суд?
- Да не буду я подавать. И в мыслях не держу. Я только говорю, что могла бы, если б захотела. Пойди взгляни, не кипит ли там в кастрюле.
- Уж давно кипит.
- Так выключи.
- К тому же ты совершеннолетняя, – сказал он. – Тебе двадцать два года. Я видел твое удостоверение.
- Да, это правда. В марте мне будет двадцать два. А когда ж ты видел мое удостоверение?
- Ты сама мне давала. Хотела показать, какая там скверная фотография.
- Верно. Теперь вспоминаю. Я частенько вру.

– Мне кажется, ты врешь попусту.

– Не всегда. Иной раз с умыслом. Когда я сказала кудрявой, что здесь паласы, мне хотелось, чтоб она мне позавидовала. Надоело, что она все время меня жалеет. Когда тебя вечно жалеют, становится неважно. Иной раз до того скиснешь, что можно в себя прийти, только наврав с три короба.

– Ты как будто говорила, что не знаешь, от Микеле ребенок или нет.

– Я и вправду не знаю. На сто процентов не уверена. Мне кажется, что от него. Но в то время я с многими переспала. Не знаю, что на меня тогда нашло. А как забеременела – решила, что хочу ребенка. Я была уверена, что хочу его. Никогда и ни в чем не была так уверена. Ну, написала сестре в Геную, и она прислала мне денег на аборт. Я ей ответила, что деньги получила, но аборта делать не хочу. Она мне пишет, ты, мол, спятила.

– А не может твоя сестра приехать сюда? Или еще кто-нибудь, из родственников?

– Нет. Сестра замужем за агротехником. Я ей написала после родов. Но мне ответил этот самый агротехник, которого я в глаза не видала. Они, дескать, переезжают в Германию. И чтоб я катилась к черту. Не прямо так, но почти.

– Ясно.

– Когда женщина родит ребенка, ей хочется всем его показать. Потому мне хотелось бы, чтоб Микеле его увидел. У нас с ним были такие хорошие денечки. Он иногда бывает такой веселый. Я гуляла и с другими мужчинами, но с ним мне было весело. Не думай, что я хочу выйти за него. И в мыслях не держу. Я в него даже не влюблена. Я влюбилась только один раз в жизни – в Нови-Лигуре, в мужа двоюродной сестры, но с ним у нас ничего не было. Ведь там все время была сестра.

– Микеле говорит, что достанет для тебя денег. Попросит у родных. Он придет. Обязательно как-нибудь заглянет. Но он говорил, что новорожденные на него плохо действуют.

– Да, деньги мне бы пригодились. Я знаю: он просил тебя обо мне позаботиться. Но ты бы и так позаботился, даже если б он не просил. Ты по натуре заботливый. Странно, мы с тобой никогда не занимались любовью. Мне даже это никогда в голову не приходило. Да, видно, и тебе тоже. Я иногда думаю – может, ты педик. И все-таки, по-моему, нет.

– Нет, – сказал он.

– Но ведь тебе не приходит в голову переспать со мной?

– Нет, не приходит.

– Разве я уродина?

– Нет.

– Я хорошенькая, правда?

– Хорошенькая.

– И все-таки я тебе безразлична? Не возбуждаю?

– По правде говоря, нет.

– Катись ты! – сказала она. – Не очень-то приятно это слышать.

- Ребенок заснул. Не сосет больше, – сказал Освальдо.
- Ага. Потрясающий ребенок.
- Ничего в нем нет потрясающего. Он все время спит.
- Даже когда спит, он потрясающий. Я знаю, что попала в беду. Не думай, что я этого не понимаю.
- Да что с тобой? Ты плачешь?
- Пойди взбей молоко.
- Никогда в жизни не взбивал молоко, – сказал Освальдо.
- Ну и что? Прочти инструкцию на коробке. Боже, помоги мне!

3

2 декабря 70

Дорогой Микеле!

Вчера вечером пришел Освальдо и сказал, что ты уехал в Лондон. Я огорчилась и растерялась. Освальдо сказал, что ты забежал на минутку к отцу – проститься, но он спал. Что значит «забежал», вероятно, ты не отдаешь себе отчета, как ему плохо. Этот Пово или Ково сказал, что его сегодня кладут в больницу.

Тебе нужны рубашки и шерстяные вещи. Освальдо говорит, что ты собираешься остаться там на всю зиму. Ты мог хотя бы позвонить мне. Вызвал бы на переговорный в деревне, как раньше делал. Если мне не поставят телефон, я, безусловно, сойду с ума. Я бы приехала в аэропорт и привезла бы тебе одежду. Освальдо говорит, что ты улетел во фланелевых брюках и красном свитере и почти ничего не взял на смену. Все твоё бельё, говорит Освальдо, и чистое и грязное, осталось в подвальчике. Он не мог припомнить, было ли у тебя с собой пальто. Потом все-таки решил, что было, и я немного успокоилась.

Освальдо говорит, что ты явился к нему домой рано утром. По его словам, у тебя давно уже была идея поехать в Лондон учиться в какой-то скульптурной студии. Потому что тебе надоели твои совы. Это мне понятно. Пишу тебе по адресу, который дал Освальдо, но он говорит, что адрес временный. Освальдо немного знает ту пожилую даму, которая сдает тебе комнату, меня это утешило, но не слишком. Думаешь, я не понимаю, что твой отъезд – это бегство? Я не идиотка. Прошу тебя, напиши мне сразу же и объясни, от чего или от кого ты сбежал. Освальдо чего-то не договаривал. То ли не хотел мне сказать, то ли сам не знает.

Так или иначе, ты уехал. Я вернула Освальдо триста тысяч, которые ты у него занял. Верней, не у него, а у его жены. Выписала чек на ее имя. Освальдо говорит, что у его жены всегда есть при себе наличные, а то бы ты не смог улететь, поскольку была суббота. Освальдо приехал ко мне вчера в десять вечера. Он до смерти устал, потому что выбивал для тебя в квестуре твой давно просроченный паспорт, потом отвез тебя в аэропорт, а после ему еще пришлось поехать за город, чтобы забрать какую-то машину его жены, которую ты одолжил не знаю кому. Он не ужинал, а у меня в доме не было никакой еды, кроме разного сыра: Матильда утром купила в супермаркете несколько сортов. Я ему выставила все эти сыры, и он так на них набросился – чуть не все съел. Матильда завела с ним беседу о французских

импрессионистах. Размахивала своей прядью, дымила из своего мундштука и прохаживалась туда-сюда, засунув руки в карманы. Так бы и убила ее! Мне хотелось, чтобы она ушла и я могла бы расспросить Освальдо о тебе. Но тут были еще близняшки – играли в пинг-понг. В конце концов все они отправились спать.

Я спросила его, не уехал ли ты из-за этой Мары Касторелли, которая написала мне и у которой ребенок. Освальдо сказал, что ребенок не твой. По его словам, эта девушка к твоему отъезду не имеет никакого отношения. Она якобы просто одинокая и бестолковая девчонка без денег, без теплого одеяла, без стульев, и он собирается отнести ей стулья и одеяло из твоего подвальчика, поскольку они теперь там не нужны. Он спросил меня, нельзя ли взять для нее и ту зеленую немецкую печку. Я сказала, что там надо вынимать трубы из стены и, наверное, это сложно. Я хорошо помню тот день, когда ходила покупать для тебя эту печку, и потому она мне дорога. Тебе, конечно, покажется глупостью, что я привязана к какой-то печке. Освальдо сказал, что ты эту печку никогда не топил, потому что всегда забывал купить дрова, а пользовался электрокамином. В конце концов я ему разрешила делать все, что ему вздумается, и со стульями, и с печкой. Потом спросила его, не сошелся ли ты случайно с опасными политическими группировками. Я все время ужасно боюсь, что ты можешь связаться с террористами. Он сказал, что не знает, с кем ты общался в последнее время. Сказал, что ты, возможно, чего-то опасаясь. В общем, все очень туманно.

Не пойму, как к нему относиться. Он вежлив. До такой степени вежлив, что становится тошно, как бывает, когда съешь слишком много джема. У него такая цветущая физиономия с вечной улыбкой. Но мне почему-то невесело. Глядя на него, я иной раз подозреваю, что он гомосексуалист. Мне непонятно, что у вас может быть общего, ведь ты еще мальчик, а он – мужчина уже под сорок. Но ты всегда смеялся над моими бесконечными страхами за тебя.

У Освальдо нет никакого родственника в телефонной компании, но ему кажется, что у его жены Ады есть там знакомство. Обещал спросить. Просто не знаю, что бы мы делали без этой Ады. Тебе она дала денег на дорогу. Позвонила кому-то в квестуру, иначе с паспортом ничего бы не вышло. Ты бы написал, поблагодарил ее. Освальдо говорит, что в семь утра, когда он пришел к ней домой, она была уже на ногах. Мыла керосином свои кафельные полы. У нас здесь тоже полы кафельные, но мы их никогда не моем керосином. Оттого-то они такие тусклые. Думаю, Клоти их вообще не моет.

Позавчера мы с Матильдой навещали твоего отца. Когда мы пришли, он сидел в постели, курил и разговаривал по телефону, поэтому в первый момент Матильда не поняла, как ему плохо. Он звонил тому архитектору. Не знаю, известно ли тебе, что за неделю до своей болезни твой отец купил башню на острове Джильо[12]. Заплатил за нее всего один миллион, по крайней мере он так говорит. Насколько я поняла, эта башня того и гляди рухнет и там полно змей и крапивы. Твой отец вбил себе в голову поставить там уж не знаю сколько ванн и уборных. Он продолжал что-то каркать в телефон и только помахал Матильде рукой. Та напустила на себя чопорность и принялась листать журнал. Повесив трубку, отец сказал Матильде, что она очень растолстела. Потом вдруг припомнил историю трехлетней давности, когда Матильда дала ему рукопись своего романа под названием «Полента и отравы», а он забыл ее в привокзальном баре во Флоренции. Это был единственный выправленный и перепечатанный экземпляр, он лежал в голубой папке, и Матильда писала в тот бар, но голубую папку так и не нашли. В результате твоя тетка так расстроилась, что потеряла всякую охоту снова перепечатывать и править свой роман. Она решила, что со стороны твоего отца забыть в баре эту голубую папку было знаком полного презрения. А потом они еще поссорились из-за общего виноградника близ Сполето. Она хотела продать его, а твой отец не хотел. Позавчера он извинился перед Матильдой за утерю голубой папки, но тут же добавил, что «Полента и отравы» – это полная чушь и то, что рукопись потерялась, даже к лучшему. Потом ему стало плохо – тошнота и боли. А тут еще явился архитектор, который занимается башней; но отцу не захотелось смотреть образцы кафельной плитки и решать, какие ему больше нравятся – с голубыми или коричневыми цветочками. Этот архитектор

такой высоченный – под два метра. По-моему, он дурак. Вид у него был совершенно растерянный. Мы сказали ему, чтоб зашел попозже. Он засунул в портфель свои плитки, натянул плащ и убрался прочь.

Напиши сразу же, потому что мне нужно знать твой постоянный, а не временный адрес. Я хочу послать тебе одежду и деньги с кем-нибудь, кто едет в Лондон. Кого-нибудь да найду. А пока буду писать тебе по этому адресу и сообщать о здоровье отца. Наверно, надо сказать ему, что тебе пришлось выехать так срочно, потому что заканчивался набор в эту скульптурную студию. Ведь он считает тебя таким предусмотрительным человеком. Все, что ты делаешь, всегда кажется ему единственно правильным.

Мне принесли кроликов. Четырех. Я позвала плотника сколотить для них клетки, так как знала, что мне не дожидаться от тебя этой маленькой услуги. Вероятно, ты в этом не виноват. Но дело всегда оборачивается так, что мне приходится обходиться без каких бы то ни было услуг с твоей стороны.

Твоя мать

4

Лондон, 3 декабря 70

Дорогая Анджелика!

Мне пришлось срочно уехать, так как ночью мне сообщили, что арестован Ансельмо. Я звонил тебе из аэропорта, но не застал дома.

Посылаю это письмо с парнем, который передаст тебе его из рук в руки. Его зовут Рей, я познакомился с ним здесь. Он из Остенде. Ему можно доверять. Устрой его у себя, если можешь, ему негде ночевать. Он пробудет в Риме несколько дней.

Тебе нужно немедленно пойти ко мне домой. Под каким-нибудь предлогом попроси у Освальдо ключ. Скажи, что тебе нужно найти книгу. Скажи что хочешь. Да, обязательно захвати с собой сумку или мешок. Там в печке лежит автомат, разобранный и завернутый в полотенце. Я совершенно о нем забыл. Тебе покажется странным, но это так. Один мой друг, которого зовут Оливьеро, несколько недель назад притащил его ко мне, так как боялся, что к нему нагрянет полиция. Я ему сказал, чтоб он сунул его в печку. Эту печку я никогда не топил. Она дровяная. У меня никогда не было дров. Потом я совершенно забыл об этом автомате в печке. Вспомнил, только когда мой самолет уже поднялся в воздух. Меня бросило в горячий пот. Говорят, от страха бросает в холодный пот, это неверно. Бывает, что и в горячий. Пришлось снять свитер. Так вот: забери ты этот автомат и засунь в мешок или в сумку – что принесешь. Отдай его кому-нибудь, кто вне подозрений. Например, женщине, которая ходит к тебе прибираться. Или можешь вернуть его этому Оливьеро. Его зовут Оливьеро Мардзулло. Адреса его я не знаю, но ты разузнай у кого-нибудь. А впрочем, этот автомат такой старый и заржавленный, что ты, пожалуй, можешь бросить его в Тибр. Это поручение я даю не Освальдо, а тебе. Освальдо лучше вообще ничего об этом не говорить. Не хочу, чтоб он считал меня полным идиотом. Впрочем, если тебе захочется рассказать ему, то расскажи. Пускай называет меня идиотом – мне наплевать.

Конечно, паспорт у меня был просрочен. И конечно, Освальдо помог мне продлить его. Все за несколько часов. В аэропорту был также Джанни, и мы поссорились: Джанни уверен, что в нашей группе есть фашистский шпион. Быть может, и не один. А по-моему, это его фантазии.

Джанни остается в Риме, только ночевать будет каждый раз на новом месте.

Перед отъездом я забежал к отцу. Освальдо ждал меня в машине. Отец крепко спал. Он выглядит очень постаревшим и больным.

Мне здесь хорошо. У меня узкая и длинная комната с рваными обоями. Вся квартира узкая и длинная. Двери спален выходят в коридор. Нас здесь пятеро пансионеров. За комнату хозяйка берет четыре фунта в неделю. Она румынская еврейка, торгует косметическими кремами.

Когда сможешь, повидай мою знакомую девушку, которая живет на виа дей Префетти. Номер дома я не помню – Освальдо знает. Девушку зовут Мара Касторелли. У нее ребенок. Я дал ей денег на аборт, но она его делать не стала. Ребенок этот, может быть, мой, потому что я несколько раз спал с ней. Но у нее было много мужчин. Если можешь, снеси ей немного денег.

Микеле

Анджелика прочла это письмо, полулежа в кресле в своей малюсенькой и очень темной столовой. Почти всю комнату занимал стол, заваленный бумагами и книгами, на которых громоздились пишущая машинка и настольная лампа. Это был рабочий стол ее мужа Оресте: сейчас муж спал в соседней комнате, потому что, проводя ночи в редакции газеты, обычно спал до четырех часов дня. В открытую кухонную дверь Анджелика видела свою дочку Флору, свою подругу Соню и парня, принесшего письмо. Девочка жевала хлеб, макая его в ячменный кофе. Это была пятилетняя худенькая егоза в голубой безрукавке и красных шерстяных колготках. Соня, высокая, сутулая и добродушная девушка в очках, с длинным конским хвостом черных волос, перемывала вчерашнюю грязную посуду. Парень, принесший письмо, ел макароны в томатном соусе, оставшиеся от ужина Оресте и теперь разогретые. Он очень озяб в дороге и потому не снял голубую выцветшую ветровку. У него была короткая и реденькая пушистая борода.

Прочтя письмо, Анджелика встала и отыскала на ковре свои туфли. На ней тоже были шерстяные колготки грязно-зеленого цвета и голубая безрукавка, вся мятая и жеваная, потому что после ночи, проведенной в клинике, она так и не переделалась. Отца оперировали накануне, и ночью он умер.

Анджелика подобрала вверх свои длинные светлые волосы и заколола их на макушке несколькими шпильками. Ей было двадцать три года: высокая, бледная, с несколько удлинненным овалом лица и зелеными, как у матери, глазами, но другой формы – узкими, немного раскосыми. Она вытащила из шкафа черную цветастую сумку. Ей не понадобилось просить у Освальдо ключи от подвальчика: он их уже ей отдал, так как Анджелике надо было забрать оттуда грязное белье и отнести в стирку. Ключи лежали у нее в кармане шубки. Анджелика накинула черную нейлоновую шубку, купленную на Порта-Портезе[13], объявила в кухне, что идет за покупками, и вышла.

Ее малолитражка стояла около церкви Кьеза Нуова. В машине она несколько минут просидела неподвижно. Потом поехала к пьядца Фарнезе. Ей вспомнилось, как однажды в октябре она увидела отца на виа дей Джуббонари. Он шел ей навстречу большими шагами, заложив руки в карманы; длинные черные пряди волос разметались, галстук выбился, черный пиджак, как всегда, смят, смуглое большое лицо с большим ртом застыло в извечной гримасе горечи, отвращения. Анджелика была с девочкой, они вышли из кино. Отец протянул ей руку, мягкую, влажную, вялую. Они не целовались уже многие годы. Им нечего было сказать друг другу, так как они виделись крайне редко. Выпили кофе, стоя в баре. Он купил девочке большое пирожное с кремом. Анджелика высказала подозрение, что пирожное очень залежалое. Он обиделся и сказал, что часто заходит в этот бар и здесь никогда не бывает

залежалых пирожных. Он пояснил, что над этим баром живет его приятельница – ирландка, которая играет на виолончели. Пока они пили кофе, явилась и ирландка, довольно толстая и некрасивая девушка – нос баклушей. Ирландке надо было купить пальто, и они вместе отправились его выбирать. Зашли в магазин одежды на пьяцца дель Парадизо. Ирландка стала примерять одно пальто за другим. Отец купил девочке маленькое пончо с вытканными косулями. Ирландка выбрала длинное черное замшевое пальто, подбитое белым мехом, и осталась очень довольна. Отец заплатил, вытащив из кармана пригоршню скомканных денег. Из кармана остался торчать уголок носового платка. У него всегда платок свешивался из кармана. Потом все пошли в галерею «Медуза», где отец готовил свою выставку, которая должна была открыться через несколько дней. Двое юношей в кожаных куртках – владельцы галереи – сидели и писали приглашения на вернисаж. Картины были уже почти все развешаны, и среди них был большой портрет матери, написанный много лет назад, когда отец и мать еще жили вместе. Мать сидела у окна, подперев руками подбородок. На ней была вязаная кофточка в желтую и белую полоску. Волосы – огненно-красное облако. А лицо – сухой треугольник, насмешливый, наморщенный. Глаза тяжелые, презрительные и томные. Анджелика вспомнила, что, когда отец писал этот портрет, они еще жили в своем доме в Пьеве-ди-Кадоре. Она узнала окно и зеленый тент на террасе. Потом дом этот продали. Отец, засунув руки в карманы, остановился перед портретом и долго расхваливал цвета, назвав их острыми и жесткими. Потом принялся хвалить все картины подряд. В последнее время он стал писать огромные полотна, где нагромождал самые разные предметы. Он изобрел технику нагромождения. На зеленоватом фоне маячили корабли, автомобили, велосипеды, автоцистерны, куклы, солдаты, кладбища, нагие женщины и мертвые животные. Своим унылым каркающим голосом отец говорил, что теперь никто не может достичь в живописи такой объемности и точности. В его мастерстве, утверждал он, чувствуются трагизм и торжественность, гигантский размах и невероятная детализация. Он говорил «мое мастерство», раскатывая «р», словно барабанную дробь – гневную, одинокую, скорбную. Анджелика подумала, что ни она, ни ирландка, ни владельцы галереи, ни, наверно, сам отец ни на грош не верят этому карканью. Оно звучало душераздирающе и отчаянно, словно разбитая пластинка. Внезапно Анджелика вспомнила песню, которую отец обычно напевал за мольбертом. Это было воспоминание детства, потому что она уже много лет не видела, как он работает. «Non avemo ni canones – ni tanks ni avionnes – oi Carmela!» Она спросила, поет ли он и теперь «Oi Carmela!»[14], когда пишет картины. Он неожиданно растрогался. Сказал, что нет, больше не поет, его новые картины отнимают столько сил, приходится писать, стоя на лестнице, и каждые два часа менять рубашку, потому что пот с него льет градом. Внезапно ему захотелось отделаться от ирландки. Он сказал, что начинает темнеть и ей лучше вернуться домой. А проводить ее он не может, так как приглашен на ужин. Ирландка погрузилась в такси. Отец стал поносить эту ирландку, которая вечно берет такси, а ведь выросла в заброшенной ирландской деревушке, где, разумеется, нет никаких такси, а только туман, торф да овцы. Он взял Анджелику под руку и пошел с ней и девочкой в сторону виа дей Банки Векки, к их дому. По дороге жаловался на все и вся. Он совсем один. У него никого на свете, кроме слуги-идиота, которого он недавно подобрал в автоэлектромастерской. Никто его не навещает. Он почти не видит близняшек, которые, кстати говоря, слишком растолстели в последнее время, весят по пятьдесят восемь кило каждая в свои четырнадцать лет. Сто шестнадцать кило на двоих, сказал он, это чересчур. И Виолу он почти не видит, впрочем, ее он терпеть не может, потому что у нее нет чувства юмора. Подумать только – человек совершенно лишен чувства юмора! Поселилась с мужем в доме его родителей. А там кого только нет: свекор со свекровью, дяди, племянники – целое племя. И народец-то все мелкий. Аптекари. Разумеется, он лично ничего не имеет против аптек, сказал отец, входя в аптеку, где купил сельтерскую воду, потому что у него всегда тупая боль «вот здесь», тут он ткнул пальцем в середину живота, может быть, это старая язва, верная спутница его жизни. В последнее время он редко видит Микеле, и это его беспокоит. Когда Микеле ушел и поселился отдельно, он не возражал, хотя ему и было грустно. Стоило отцу заговорить о Микеле, голос стал уже не каркающим, а тихим, смиренным. Но теперь Микеле все время проводит с этим Освальдо. Что он за тип, Освальдо, трудно понять. Безусловно, очень



вежлив. Воспитан. Неназойлив. Микеле всякий раз приводил его с собой, когда являлся на виа Сан-Себастьянелло со своей ношей грязного белья. Может быть, Освальдо просто подвозил его на машине. У Микеле больше нет машины. У него отобрали права, когда он сбил ту старуху монахиню. Она умерла, но Микеле был не виноват. Абсолютно не виноват. Он совсем недавно научился водить, а ехал быстро, потому что его вызвала мать, у которой была депрессия. Мать часто в депрессии. Она, сказал отец, понизив голос до хриплого шепота, не выносит одиночества, а по своей невероятной глупости не могла понять, что этот Кавальери давно собирался ее бросить. Потрясающая наивность! В сорок четыре года иметь ум шестнадцатилетней девчонки. Сорок два, поправила Анджелика. Скоро ей исполнится сорок три. Отец быстро подсчитал по пальцам. По наивности своей она хуже близняшек, сказал он. Впрочем, близняшки отнюдь не наивны. Они холодные и хитрые, как лисички. А этот Кавальери полное ничтожество. Он всегда был ему неприятен. Эти покатые плечи, эти длинные белые пальцы, эти кудри. Профиль у него как у стервятника. Отец стервятников всегда распознавал, с первого взгляда; у подъезда Анджелики отец сказал, что ему не хочется заходить, потому что он недолюбливает Оресте. Считает его педантом. Моралистом. Ни Анджелику, ни девочку он не поцеловал. Только легонько шлепнул девочку по затылку. Анджелике пожал обе руки. Пригласил ее завтра на вернисаж. Эта выставка, сказал он, будет «огромным событием». И ушел. На следующий день Анджелика на вернисаж не попала, потому что поехала с мужем в Неаполь, где он проводил митинг. После этого она видела отца два или три раза. Он лежал больной в постели, и рядом была мать. Анджелике он не сказал больше ни слова. Один раз разговаривал по телефону. А второй раз чувствовал себя очень плохо и лишь рассеянно и устало повел рукой в ее сторону.

Анджелика спустилась на шесть ступенек, ведущих в подвальчик, вошла, зажгла свет. Посреди комнаты стояла кровать со скомканными простынями и одеялами. Анджелика узнала красивые одеяла, которые обычно покупала мать, – мягкие, окаймленные бархатом, теплые и легкие, приятных цветов. Мать очень любила покупать красивые одеяла. На полу громоздились пустые бутылки, газеты и картины. Она поглядела на картины: ястребы, совы, разрушенные дома. Под окном валялось грязное белье, свернутые джинсы, чайник, пепельница, полная окурков, блюдо с апельсинами. Печка стояла в самом центре комнаты. Она была большая, пузатая, облицованная зелеными изящными, будто вышитыми, изразцами. Анджелика засунула руку внутрь и нашарила в глубине что-то завернутое в старое мохнатое полотенце с бахромой. Она швырнула сверток в сумку. Запихнула туда же грязное белье и апельсины. Потом выбралась из подвала и немного прошла пешком в утреннем сыром тумане, кутая лицо в воротник шубки. Отнесла белье в прачечную «Рапид», через два дома, и подождала, пока на прилавке пересчитают белье поштучно. Потом села в машину. Медленно в густом потоке машин доехала до набережной Рипа. Спустилась по лестнице, ведущей к воде. Бросила сверток в реку. Какой-то мальчик спросил ее, что она выкинула. Она ответила – гнилые апельсины. «Non avemo ni canones – ni tanks ni aviones», – напевала она, ведя машину к дому. Внезапно она почувствовала, что лицо ее залито слезами. Она засмеялась, всхлипнула и отерла слезы рукавом шубки. Поблизости от дома она купила свиной огузок, решив приготовить его под соусом с картофелем. Еще купила две бутылки пива и коробку сахара. Потом купила черную косынку и пару черных чулок, чтобы надеть их на похороны отца.

5

Лондон, 8 декабря 70

Дорогая мама!

По соображениям, которые мне трудно было бы объяснить в письме, я после некоторого колебания решил не возвращаться в Рим. Когда Освальдо позвонил мне, что папа умер, я пошел узнать расписание самолетов, но так и не улетел. Я знаю, вы сказали всей родне, что у меня воспаление легких. Пусть так.

Спасибо тебе за одежду и деньги. Человек, который все это привез, племянник синьоры Перони, ничего мне о вас не рассказал, потому что он вас не знает, зато сообщил некоторые новости об Освальдо, а также вернул мои часы, которые я оставил в кармане у Освальдо в тот день в аэропорту, когда побежал наспех принять душ. Поблагодарите Освальдо от меня. Я ему не пишу за недостатком времени.

Скоро переезжаю из Лондона в Сассекс. Поселюсь в доме одного профессора глоттологии. Буду мыть посуду, включать отопление и выводить собак. Пока я решил не поступать в эту скульптурную школу. Предпочитаю собак и посуду.

Прости, что не успел сколотить клетки для кроликов, я это сделаю, когда вернусь. Целую тебя и моих сестер.

Микеле

6

8 декабря 70

Дорогой Микеле!

Я выполнила твое поручение относительно небольшого предмета, забытого в твоей печке. Этот предмет я выбросила в Тибр, потому что он, как ты и говорил, весь был в ржавчине.

Но к девушке на виа дей Префетти я не ходила. Не было времени. Простудилась дочка. Кроме того, ты сказал мне, что этой девушке нужно отнести деньги, а у меня в настоящий момент денег нет.

Отца похоронили три дня назад. Я тебе напишу подробнее, как только смогу.

Анджелика

7

12 декабря 70

Дорогой Микеле!

Получила сейчас твое коротенькое письмо. Я не знаю, что помешало тебе приехать на похороны отца. Никак не могу вообразить себе, что может помешать человеку вернуться, когда случается несчастье. Я не понимаю. Спрашиваю себя, приедешь ли ты, когда умру я. Да, многим родственникам мы сказали, что ты в Лондоне и болен воспалением легких.

То, что ты едешь в Сассекс, меня радует. Там, должно быть, хороший воздух, и я всегда довольна, когда вы живете за городом. Когда вы были маленькие, я месяцами умирала со

скуки в деревне, полагая, что каждый лишний день на свежем воздухе для вас благо. Потом, когда ты стал жить со своим отцом, я просто с ума сходила от мысли, что он столько раз оставлял тебя на целое лето в Риме. Он не любил деревни, признавал только море. А тебя отправлял с утра в Остию со служанкой: был уверен, что и так сойдет.

Ты не сообщаешь, придется ли тебе еще кухарничать для этого профессора глоттологии. Если нужно – напиши, я тебе пришлю всякие рецепты. У Матильды есть толстая тетрадка, куда она клеивает уйму рецептов из газет и календарей.

Ты мне сообщил твой номер телефона в Сассексе, но ведь мне придется опять звонить из общественного места, потому что мне все еще не поставили телефон. Общественное место – это остерия. Там всегда полно народу. А я боюсь расплакаться, когда буду говорить с тобой. Остерия – совсем не подходящее место для того, чтобы плакать в телефон.

Смерть твоего отца тяжело на меня подействовала. Сейчас я еще больше чувствую свое одиночество. Правда, он меня никак не поддерживал, потому что я его не интересовала. Твои сестры его тоже не интересовали. Ему нужен был только ты. Но эта отцовская привязанность, казалось, была обращена не на тебя, а на другого человека, которого он сам себе выдумал и который совершенно на тебя не похож. Не могу объяснить, почему с тех пор, как он умер, мне еще более одиноко. Может быть, потому, что у нас были общие воспоминания. Правда, мы при встречах их не касались. Но теперь я понимаю, что в этом не было нужды. Они и так витали над нами в кафе «Канова» в те часы, которые мы там проводили и которые тогда казались мне томительными, бесконечными. Это не были счастливые воспоминания, потому что мы с твоим отцом никогда не были особенно счастливы вместе. А даже если бывали в редкие, короткие мгновения, то потом все это было сметено и затоптано в грязь. Но ведь человек привязан не только к счастливым воспоминаниям. Рано или поздно обнаруживается, что ты вообще привязан к воспоминаниям.

Тебе это покажется странным, но я не смогу больше переступить порог кафе «Канова»: если я туда войду, то разрыдаюсь как идиотка, а если я в чем и уверена, так это в том, что не хочу плакать на людях.

Этого слугу твоего отца, Энрико или Федерико – никак не упомяну, – мы уволили, и его взяла к себе жена Освальдо, Ада. Матильда считает, что его должна была взять к себе я, но мне не захотелось, потому что он, по-моему, кретин. Освальдо говорит, что эта Ада всему его обучит, у нее как будто особый дар дрессировать слуг, так что они становятся безупречными и невозмутимыми. Не знаю, как она может сделать безупречным этого очумелого дурака, который похож на кабана, но Освальдо говорит, что искусство Ады в выучке слуг не знает пределов.

Мы с Матильдой каждый день ходим на виа Сан-Себастьянелло, приводим в порядок бумаги твоего отца и составляем каталог его картин, которые потом отправим на хранение. Не знаем, что делать с обстановкой, потому что ни у Виолы, ни у Анджелики нет места в доме для этой тяжелой, громоздкой мебели. Поэтому мы хотим продать ее. Вчера туда смотреть картины приходили Освальдо и этот кузен Лиллино. Сегодня Лиллино уехал в Мантую, и я очень довольна, потому что терпеть его не могу. Лиллино советует не продавать картин сейчас, потому что живопись твоего отца в настоящий момент котируется очень низко. Последние его картины просто громадны, и я, откровенно сказать, нахожу их чудовищными. Я поняла, что и Освальдо они не нравятся. Я поняла это, хотя он и слова не сказал, когда смотрел на них. А Лиллино говорит, что они великолепны, что в скором будущем у публики откроются глаза, и тогда они будут стоить целое состояние. Матильда, как обычно, откидывала свою прядь и прищелкивала языком, выражая восхищение. А я не могу даже смотреть на эти картины, у меня от них голова кружится. И чего ему вдруг понадобилось писать эти монументальные полотна. Я взяла себе мой портрет, тот, давнишний, у окна. Отец написал его в Пьеведи-Кадоре, а несколько месяцев спустя продал тот дом. Я повесила

портрет в гостиной и сейчас, сидя за письмом, смотрю на него. Из всех картин твоего отца эта мне всего дороже. Вскоре после этого, в конце лета, мы вернулись в Рим и расстались. Тогда мы жили на корсо Триесте. Ты, Виола и Анджелика были в Кьянчано у тети Чечилии. Для твоих сестер то, что случилось, должно быть, не было неожиданностью, а ты был маленький, всего семь лет. Однажды утром я ушла из дома на корсо Триесте и оставила его навсегда. Я поехала с близняшками к моим родителям, которые в то время отдыхали в Роккадимедзо. Добралась я туда после такого путешествия, о котором лучше не рассказывать; близняшек всю дорогу рвало в автобусе. Мои родители без забот жили в хорошем отеле, отлично питались и гуляли по полям. Они меня не ждали – я свалилась им как снег на голову. Когда родители увидели меня поздно вечером в гостинице с тремя чемоданами и с близняшками, перепачканными рвотой, они были просто потрясены. Я вся истерзалась, измучилась, целую неделю не спала, и, наверно, лицо у меня было страшное. Через два месяца у матери случился первый инфаркт. Я всегда считала, что это произошло оттого, что она в тот вечер увидела меня в таком состоянии. Весной мать умерла от второго инфаркта.

Твой отец решил, что ты должен жить с ним. Ты – с ним, а девочки со мной. Он купил дом на Сан-Себастьянелло и поселился там с тобой. У него осталась старая кухарка, но и та ушла через несколько месяцев. Не помню, как ее звали. Может быть, ты помнишь. Долгое время я не могла появляться в том доме, потому что он не хотел меня видеть. Я звонила тебе, а ты плакал в трубку. Это одно из самых ужасных моих воспоминаний. Я с близняшками поджидала тебя в парке Вилла Боргезе, и ты приходил туда с этой старой кухаркой, у нее еще была шуба из обезьяны. В первое время, когда кухарка говорила тебе, что пора домой, ты кричал и валялся по земле, а потом стал молча забирать свой самокат и уходить с таким суровым и спокойным лицом; я и сейчас вижу, как ты шагаешь в своем пальтишке, пряменький и быстрый. Я тогда накопила против твоего отца такую ненависть, что даже подумывала отправиться на виа Сан-Себастьянелло с пистолетом и застрелить его. Может быть, мать не должна говорить такие вещи сыну, это непедагогично, но ведь теперь никто не знает, что такое воспитание и существует ли оно на самом деле. Я тебя не воспитывала. Ты рос без меня, как же я могла тебя воспитывать? Мы виделись с тобой лишь изредка, после полудня на Вилла Боргезе. А твой отец тоже тебя не воспитывал, поскольку вбил себе в голову, что ты от природы воспитан как нельзя лучше. Так тебя никто и не воспитал. Из тебя вышел сумасброд, но я не уверена, что ты был бы меньшим сумасбродом, если бы получил от нас надлежащее воспитание. Твои сестры, пожалуй, не такие сумасбродки. Но они тоже довольно шальные и странные, каждая в своем роде. Я их тоже не воспитывала и не воспитываю, потому что слишком часто чувствовала и чувствую, что сама себе неприятна. Чтобы воспитывать других, надо испытывать к самому себе хоть немного доверия и симпатии.

Я не помню, когда именно и каким образом мы с твоим отцом перестали ненавидеть друг друга. Однажды он дал мне пощечину в кабинете у адвоката. Такую пощечину, что у меня пошла кровь из носа. Там был также его кузен Лиллино: они с адвокатом уложили меня на диван, и Лиллино сбегал в аптеку за кровоостанавливающими салфетками. Твой отец заперся в ванной комнате и никак не хотел выходить. Он не выносит вида крови, и ему стало плохо. Видишь, я опять написала в настоящем времени – все забываю, что твой отец умер. Лиллино с адвокатом ломались в дверь ванной. Он вышел бледный, с волос у него текла вода, потому что он сунул голову под кран. Когда я вспоминаю эту сцену, мне становится смешно. Сколько раз мне хотелось напомнить о ней твоему отцу и посмеяться вместе с ним. Но наши отношения словно застыли. Мы были уже не способны вместе посмеяться. Мне кажется, именно после этой пощечины он перестал меня ненавидеть. Он все еще не позволял мне приходиться на виа Сан-Себастьянелло, но несколько раз вместо кухарки провожал тебя на Вилла Боргезе. Однажды мы втроем играли в жмурки на лужайке и я упала, а он своим платком вытирал мне грязь с платья. Когда он наклонился, чтобы вытереть грязь, я смотрела на его голову с длинными черными вихрами и вдруг поняла, что между нами нет больше и тени ненависти. Это был счастливый миг. Счастье родилось из ничего, потому что я

хорошо знала, что и без ненависти наши отношения с твоим отцом будут скверными, жалкими. И все-таки я помню, что тогда заходило солнце, и над городом плыли красивые алые облака, и я впервые за долгое время была почти спокойной и почти счастливой.

О смерти твоего отца мне рассказать нечего. Накануне мы с Матильдой были у него в больнице. Он снова болтал, ссорился с Матильдой, позвонил архитектору насчет башни. Он сказал, что купил эту башню прежде всего для тебя, потому что при твоей страсти к морю ты сможешь проводить там целое лето. Сможешь приглашать туда своих друзей, так как там будет масса комнат. Я знаю, что моря ты не любишь и способен сидеть в августе на морском берегу, не раздеваясь и обливаясь потом. Но я не хотела ему противоречить и промолчала. И он продолжал разглагольствовать про свою башню. По его словам, эта выгодная покупка была гениальной идеей; ему, мол, часто приходят такие гениальные идеи, жаль, что у меня их не бывает, ведь дом, который купила я, наверняка дрянной, уродливый и очень дорогой. Я снова промолчала. Потом навестить его явилась компания друзей: они позвонили снизу по внутреннему телефону, но он не захотел их принять, сославшись на усталость. Там были Бьяджони, Казалис, Маскера и какая-то девушка-ирландка, по-моему его любовница. Я выслала к ним Матильду, и мы с твоим отцом остались одни. Меня он тоже пригласил провести лето у него в башне. Но только без близняшек: они, дескать, притащат свои транзисторы и не дадут ему отдохнуть после обеда. Я заметила, что он несправедлив к девочкам, к тому же вряд ли вообще имеет смысл говорить о послеобеденном отдыхе, если в башню нагрнешь ты с оравой своих друзей. Тогда он сказал, что, может быть, иногда будет приглашать близняшек. Но Виолу и Анджелику – нет. У Виолы есть деревня, где живут родители мужа, где гадко и полно мух, – пусть там и развлекается. А у Анджелики этот зануда муж. Она его любит? Ну и пускай любит. Но он, во всяком случае, этого Оресте в башне не потерпит из-за того, что тот однажды плохо отозвался о Сезанне. Дурак! Эта лягушка еще смеет выразить свое мнение о Сезанне! Отец сказал, что каждое лето будет подбирать гостей очень тщательно и осмотрительно. Каждое лето? Нет, не только летом, ведь он собирается жить в башне круглый год. Матильды, например, чтоб ноги не было. Он с малых лет ее не переваривал и не понимает, как я могла притащить ее к себе в дом. Я сказала ему, что мне очень одиноко и нужно, чтобы кто-нибудь был рядом. Уж лучше Матильду, чем никого. И потом, мне жаль Матильду, потому что у нее теперь совсем нет денег. Так пусть продаст тот виноградник, сказал отец. Я ему напомнила, что виноградник уже давно продан, причем за бесценок, и на том месте теперь мотель. Ему, сказал он, невыносима даже мысль о том, что вместо такого чудного виноградника построили мотель. И добавил, что я, должно быть, нарочно хотела его уколоть, напомнив об этом. Повернулся на другой бок и не захотел больше разговаривать. И с Матильдой больше не говорил. Матильда мне потом сказала, что эта ирландская девица была вся в слезах, и Бьяджони с Казалисом под руки уволокли ее из клиники.

Твоего отца оперировали в восемь часов утра. Мы все сидели в приемном покое – я, Матильда, Виола, Анджелика, Элио и Оресте. Только близняшек не было, они остались у подруги. Операция длилась недолго. Потом я узнала, что они только разрежали и зашили, потому что уже ничего нельзя было сделать. В палату вошли только мы с Матильдой, а Виола и Анджелика так и сидели в приемном покое. Он больше ничего не сказал. Умер в два часа ночи.

На похоронах было много народу. Говорил сначала Бьяджони, потом Маскера. В последнее время отец видеть не мог их обоих. Уверял, что они не понимают его новой живописи. Что эти стервятники ему завидуют. Он говорил, что всегда умел распознать стервятников.

Я вижу, что ты моих писем не читаешь вовсе, а если и читаешь – сразу же забываешь прочитанное. Тебе уже не нужно сколачивать клетки для моих кроликов, потому что это уже сделал плотник. Кроликов четверо. Их четверо, но я не уверена, что долго проживу здесь, в этой сельской местности. Похоже, я ее ненавижу.

На похоронах твоего отца был Филиппо. Обнимаю тебя.

Твоя мать

Написав и запечатав это письмо, Адриана надела верблюжье пальто и обмотала голову черным шерстяным шарфом. Было пять часов дня. Потом спустилась в кухню и открыла холодильник. С отвращением посмотрела на бычий язык, который Матильда залила уксусом в салатнице, чтобы потом отварить и замариновать с приправами. Адриана подумала, что теперь их месяцами будет изводить этот маринованный, наверняка омерзительный на вкус язык. Ни Матильды, ни девочек не было дома. Клоти заболела гриппом и не вставала с постели. Адриана вошла к ней в комнату. Клоти лежала под одеялом в халате, на голове полотенце. На тумбочке стоял транзистор близняшек. Адриана велела Клоти поставить градусник. Подождала. По радио пел Бобби Соло. Клоти говорила, что ей страшно нравится Бобби Соло. Адриана впервые услышала от горничной искреннее, бескорыстное суждение. Обычно все высказывания Клоти, сопровождавшиеся вздохами, касались ее утомительной работы, комьев в ее матрасе и сквозняков из окон. Адриана посетовала, что не может перенести ей в комнату телевизор, так как он слишком тяжелый. Клоти сказала, что дневные передачи ее не интересуют. Иное дело – вечером. Впрочем, и на прежней службе телевизора у нее в комнате не было, хоть там она и располагала большими Удобствами. Клоти стала перечислять всевозможные Удобства того дома. Просторная, красивая комната. Чудесная белая с позолотой мебель и ковер, такой роскошный, что ей было даже как-то неловко по нему ходить. Нежнейший матрас. Отопление с кондиционером, обеспечивавшее одинаковую температуру во всей квартире. Адвокат вечно в разъездах, так что всего и делов было присматривать за котом. Адриана вынула у нее из-под мышки термометр. Он показывал тридцать шесть и девять. Клоти сказала, что температура определенно поднимается, потому что ее то знобит, то в жар бросает, а в голове какая-то странная боль. Адриана спросила, не хочет ли она чаю. Клоти от чая отказалась. Но кое-что у адвоката ей все же не нравилось. Когда адвокат бывал дома, он хотел, чтобы она вечерами непременно сидела с ним в гостиной и беседовала. А она не умела беседовать. Не знала о чем. И не то чтобы адвокат к ней приставал. Он сразу понял, что она девушка серьезная, и уважал ее за это. Нет, ему надо было только с ней беседовать. Потому она и ушла. Потому что не умела беседовать. И еще потому, что начались придирки. Явилась погостить сестра адвоката и сделала ей замечание по поводу телячьих ножек в соусе. Другой раз она велела Клоти принять ванну, а то, мол, от нее потом пахнет. Да она каждое утро мыла ноги и подмышки, так что от нее не могло пахнуть потом. А ванну принимала только раз в месяц, потому что у ней от ванны слабость делалась. В общем, мелкие придирки, которые можно было пережить. Теперь она понимает, что ее уход был ошибкой. Огромной ошибкой.

Адриана вышла из дому и вывела машину из гаража. Распахнула ворота. С ненавистью поглядела на две карликовые сосны, которые Матильда посадила у ворот. Они торчали в этом голом садике, являя собой некое фальшивое альпийское подобие. Единственная надежда, что они зачахнут. Дорога узкими извилинами тянулась среди полей. Машину подбрасывало. День был солнечный, и снег почти весь сошел. Солнце еще освещало деревню и склоны холмов, но сумерки уже заливали равнину холодным серым туманцем. Адриана с ненавистью думала о близняшках, которые до сих пор не вернулись. О Матильде, которая ушла покупать маслины и каперсы для маринованного языка. Довольно долго вдоль дороги не было никаких строений, потом показался домишко: из трубы, вделанной в окно, струился дымок. Здесь живет фотограф с женой. В тот момент муж стоял на крыльце и мыл посуду в голубом пластиковом ведре. Жена в красном пальто и драных чулках развешивала на веревке белье. Неизвестно почему при виде этой пары Адриана испытала острое отчаяние. Как будто они – единственные существа, уготованные ей во Вселенной. Потом еще долго тянулась грязь, сухие изгороди, голые поля. Наконец она выехала на оживленное шоссе. На обочине люди в спецовках сгрудились вокруг канистры со смазочным маслом.

Адриане вспомнилась жена Филиппо на похоронах. Беременная. Желтое пальто с крупными

черепаховыми пуговицами едва сходилось на животе. Лицо юное, скуластое и суровое; гладкие волосы туго стянуты в крохотный пучок. Она семенила рядом с Филиппо, розовощекая, суровая, серьезная, сжав в руках сумочку. Филиппо был такой, как всегда. Снимал и надевал очки. Запускал длинные пальцы в непокорные седые кудри. Оглядывался вокруг с притворно решительным и притворно самоуверенным видом. Чтобы добраться до деревни, надо было перевалить через гребень; дорога за ним освещалась неоновыми фонарями, а в эти дни была еще украшена бумажными гирляндами к предстоящей процессии. В деревне Адриана опустила письмо в почтовый ящик. Купила яиц у женщины, сидевшей перед церковью с корзинкой и жаровней. Поговорила с ней о внезапно поднявшемся ветре, который нагонял над крышами черные тучи и развеивал гирлянды. Вошла в остерию и позвонила Анджелике, заткнув второе ухо от шума. Пригласила ее приехать в воскресенье к обеду. Будет маринованный язык. Линия работала плохо, и Анджелика с трудом разбирала слова. Поговорили они очень коротко. Адриана опять села в машину. В тот день, когда Филиппо пришел сказать ей, что женится, он взял с собой Анджелику. Это на случай, если у Адрианы будет истерика. Глупый! Она вовсе не истеричка. Все приняла спокойно. Была тверда, как дуб. К тому же этого она давно ожидала. Только вот с того дня дом на виа дей Виллини стал ей ненавистен, потому что там, в спальне со сводчатым потолком, она все же поплакала немного, после того как Филиппо ушел, и Анджелика держала ее за руку.

8

– По-моему, она полная идиотка, – сказала Ада.

– Ну, не полная, – сказал Освальдо.

– Полная, – сказала Ада.

– Она не идиотка, она только бестолковая, – сказал Освальдо.

– Не вижу разницы, – сказала Ада.

– Как бы там ни было, яичницу она поджарить может, – сказал Освальдо. – Я знаю матушку синьоры Перони. Она простая женщина.

– Да, но яичницей тут не обойдешься, – сказала Ада. – Старую синьору Перони я знаю лучше, чем ты. Ей не так просто угодить. Она любит, чтобы в доме был порядок. Чтоб полы были натерты. Я что-то не представляю, как эта особа будет натирать полы. К тому же этот ребенок, который все время орет...

– Но все-таки жаль ее – одна с ребенком, – сказал Освальдо. – Я не знал, как ей помочь.

– И ты решил посадить ее на шею Перони, – сказала Ада.

– Они любят детей.

– Да, любят. Детей, тех, которых провозят мимо в колясочках на Вилла Боргезе. А не тех, которые по ночам орут у них в доме.

Освальдо пообедал у Ады, теперь они сидели в гостиной и он наклеивал марки в альбом Элизабетты. Ада вязала. Элизабетта с подружкой сидели на полу на веранде и играли в карты, молча и очень серьезно.

– Незачем наклеивать эти марки, – сказала Ада. – Она сама сумеет их наклеить, ей будет даже интереснее.

Освальдо закрыл альбом, перетянув его резинкой, подошел к окну и выглянул наружу. На застекленной во всю длину веранде стояли большие кадки с цветами. Он постучал по стеклу, но Элизабетта, поглощенная игрой, не подняла головы.

– Эта азалия чудесно расцвела, – сказал Освальдо.

– Да, ты ведь знаешь, у меня на цветы легкая рука. А растение далеко не молодое! Мне ее принесли совсем чахлой. Она стояла в доме у отца Микеле. Слуга его принес. Они собирались ее выбросить. А он додумался притащить ко мне.

– Вот видишь, и он иногда способен думать.

– Иногда. Хотя и не слишком часто. Но он неплохой малый. Я его научила подавать на стол. Видел, как он хорошо прислуживает за столом?

Освальдо собирался сказать: «Видно, у тебя и на слуг легкая рука», но потом решил, что в этих словах можно усмотреть неприличную двусмысленность, и ничего не сказал, но тем не менее покраснел.

– А вот эта твоя девчонка никогда ничему не научится, – сказала Ада.

– Но ей не надо подавать на стол у Перони. Они все втроем едят на кухне.

– А что она сделала с той квартирой на виа дей Префетти, где жила?

– Ничего. Она ходит туда по воскресеньям. Оставляет ребенка у Перони, а сама идет на виа дей Префетти. Там ее навещает подруга.

– Ну да, подруга! Небось спит там с кем-нибудь.

– Может, и так. Не знаю. Она говорит, что ей надоело спать с мужчинами. Сейчас ее интересуется только ребенок. Она уже отняла его от груди и кормит из бутылочки.

– То есть из бутылочки его кормит старая синьора Перони.

– Скорей всего.

– Этот ребенок очень похож на Микеле. Я уверена, что он от него, – сказала Ада.

– Думаешь?

– Да. Вылитый Микеле.

– У ребенка темные волосы. А у Микеле рыжеватые.

– Волосы не в счет. Важно выражение лица. Рот. Я считаю, что Микеле должен вернуться и дать ребенку имя. Должен был бы это сделать, если б был честным человеком. Но, разумеется, это не так. И ведь ему даже не нужно жениться на этой девушке, потому что на таких не женятся. Только бы имя дал ребенку. А что ты думаешь делать с подвальчиком?

– Не знаю. Придумай ты что-нибудь. Сейчас я туда пустил ночевать одного парня, друга Микеле. Его зовут Рей. Он из Лондона. Но я думаю, он через несколько дней уедет.

– Я только-только вздохнула, после того как Микеле убрался. А ты уже туда другого пристроил.



– Ему некуда было деваться. Он устроился было у Анджелики, но муж Анджелики выгнал его из дома. Они поссорились из-за политики. У мужа Анджелики идеи железные. И он не допускает, чтобы их оспаривали.

– Если б они и в самом деле были железные, он бы наплевал, что их оспаривают. А раз он бесится, значит, они не из железа, а из творога. Знаю я его, этого мужа Анджелики. По-моему, он посредственность. Чинуша. Один из тех партийных чинуш, которые смахивают на счетоводов.

– Ты, как всегда, права.

– Мне кажется, что брак Анджелики долго не продержится. Впрочем, теперь все браки недолговечны. Вот и наш долго не продержался.

– Наш продержался ровно четыре года, – сказал Освальдо.

– Четыре года – это, по-твоему, много?

– Нет. Я просто уточняю, сколько лет он продержался. Ровно четыре года.

– По правде сказать, не нравятся мне теперешние парни. Бродяги. И опасные. Я, пожалуй, предпочитаю счетоводов. До самого-то подвала мне дела нет. Но будет неприятно, если его кто-нибудь взорвет.

– Ну еще бы, тогда я тоже взлечу на воздух, ведь я живу выше этажом, а со мной взлетит портниха, что занимает верхний. Хотя этот Рей, по-моему, ничего взорвать не способен. Во всяком случае, пороха он не выдумал.

– Только сюда его, пожалуйста, не приводи, этого Рея. А то Микеле ты вечно сюда таскал. А мне он был неприятен. Ничего интересного я в нем не находила. Садился тут и паялил на меня свои зеленые глазки. Наверно, считал меня дурой. Но и я его умником не считала. И не думай, что я из сочувствия потратилась, чтобы помочь ему уехать.

– Из великодушия, – уточнил Освальдо.

– Да. И еще затем, чтоб больше его не видеть. И все-таки, по-моему, это чудовищно – не вернуться даже на похороны отца. Чудовищно.

– Он боялся, что его арестуют, – сказал Освальдо. – Из его группы арестовали двоих или троих.

– Все равно чудовищно. И ты так считаешь. Ты же был потрясен. Потому что другой человек пойдет даже на арест, лишь бы проводить на кладбище прах своего отца.

– Прах? – сказал Освальдо.

– Да, прах. А что я такого странного сказала?

– Ничего. Просто для тебя необычное выражение.

– Самое обычное. Так или иначе, я повторяю, что не находила в Микеле ничего интересного. Иногда он даже, пожалуй, бывал мил. Играл с Элизабеттой в «монопольку». Помогал мне полировать мебель. И все-таки про себя считал меня дурой, а я это замечала и бесилась.

– Почему ты говоришь о Микеле в прошедшем времени? – сказал Освальдо.

– Потому что он уже не вернется, я уверена, – сказала Ада. – Мы его больше никогда не увидим. Отправится в Америку. Или еще бог знает куда. Невесть чем будет заниматься.

Сейчас полно таких юнцов, которые без толку шатаются по свету. Трудно себе представить, что с ними будет в старости. Словно они и не состарятся никогда. Словно навсегда останутся такими – без семьи, без постоянной работы, без всего. Напялил на себя какие-то лохмотья, и все тут. Они никогда не были молоды – как же им состариться? Взять хоть эту девицу с ребенком. Как ей состариться? Она уже и сейчас старая. Увядшее растение. Так и родилась увядшей. Не физически – морально. Никак не могу понять, зачем такому человеку, как ты, тратить время и силы на эти увядшие растения. Может быть, я ошибаюсь, но я о тебе высокого мнения.

– Ошибаешься, – сказал Освальдо. – Ты меня переоцениваешь.

– А я вообще оптимистка, от природы. Но я не могу быть оптимисткой по отношению ко всем побродяжкам. Я их просто не выношу. От них один беспорядок. Внешне такие симпатяги, а про себя только и думают, как бы всех нас взорвать.

– И взорвут – невелика беда, – сказал Освальдо. Он надел плащ и приглаживал свои редкие светлые волосы.

– Значит, пусть и Элизабетту взорвут?

– Элизабетту – нет, – сказал Освальдо.

– Ты бы отдал этот плащ перекрасить, – сказала Ада.

– Иной раз ты говоришь так, будто ты все еще моя жена, – сказал Освальдо. – Так только жены говорят.

– А тебе неприятно?

– Нет. А что?

– Ведь это ты меня бросил. Не я от тебя ушла. Но оставим это. Не будем ворошить прошлого, – сказала Ада. – К тому же ты, вероятно, был прав. Принял мудрое решение. Тебе лучше одному. Да и я прекрасно одна справляюсь. Мы не созданы друг для друга. Слишком разные.

– Слишком разные, – повторил Освальдо.

– Не повторяй моих слов, как Кот из «Пиноккио». Это меня раздражает, – сказала Ада. – Сейчас мне надо в школу Элизабетты. Я обещала учителям позаботиться о костюмах для кукольного театра к рождественскому представлению. Отнесу им старые материи из сундука.

– Ты всегда найдешь себе занятие, – сказал Освальдо. – Посидела бы хоть вечер спокойно. Погода скверная. Не холодно, но ветрено.

– Если я под вечер сижу без дела, мне приходят грустные мысли, – сказала Ада.

– Чао, – сказал Освальдо.

– Чао, – сказала Ада. – Знаешь что?

– Что?

– А Микеле в глубине души и тебя считал дурачком. Не только меня. Пил твою кровь, а сам считал тебя кретином.

– Микеле никогда не пил мою кровь, – сказал Освальдо и вышел.

Он был без машины и двинулся пешком через мост. Немного постоял, поглядел на

мутно-желтую воду в реке, на платаны, меж которыми мчались автомобили. Ветер был теплый, но порывистый, небо затянуто набухшими черными тучами. Освальдо подумал об автомате, который Анджелика, по ее словам, бросила в воду неподалеку от этого моста. Подумал, что ни разу в жизни сам он не дотрагивался до оружия. Даже подводного ружья в руки не брал. Впрочем, насколько ему известно, Микеле тоже никогда с оружием не имел дела. От военной службы его освободили по здоровью – слабые легкие. А еще потому, что отец заплатил. Сам Освальдо не проходил военной службы, как единственный сын у матери-вдовы. Во времена Соппротивления он был еще мальчишкой. Они с матерью жили в эвакуации под Варезе.

Он свернул в узкий переулок, где гомонили дети, и вошел в букинистическую лавку. Синьора Перони, волоча опухшие ноги, переносила с места на место стопки книг. Она улыбнулась ему.

– Как дела? – спросил он.

– Она вернулась на виа дей Префетти, – сказала синьора Перони. – Дальше так жить было невозможно. Помощи по дому от нее никакой. Мало того, что моей матери приходилось на всех готовить, так надо было еще постоянно следить, как бы она чего не натворила. Когда она принимала душ, то всегда забывала подтереть за собой пол, и по всему дому оставались мокрые следы. Как-то раз нас с матерью не было дома, а она ушла и забыла ключи, а ребенок остался один и плакал, бедняжка. Слесаря никак не могли найти, и привратница вызвала пожарных. Чтобы войти, пожарным пришлось выбить стекло. Моя мать очень привязалась к этому ребенку. Но та часто уходила, а ребенка оставляла дома, и матери приходилось менять пеленки и давать ему бутылочку.

– Мне очень жаль, – сказал Освальдо. – Я заплачу за стекло.

– Да неважно. Мы бы охотно держали ее у себя. Ведь надо быть милосердными. Но она полностью лишена здравого смысла. Она будила нас по ночам, чтобы мы помогали ей перепеленать ребенка. Говорила, что ей очень тоскливо делать это одной. Будила нас обеих – и меня, и мать, – чем больше народа, говорит, тем у нее спокойнее на душе. Жаль ее, конечно. Только непонятно, зачем же было рожать этого ребенка, если ей так тяжело с ним возиться.

– Да, непонятно, – сказал Освальдо. – Хотя нет, в сущности, очень даже понятно.

– Вот она и ушла сегодня. Мы уложили ребенка в ту желтую сумку. Так он не озябнет. Вызвали для нее такси. Моей матери пришлось одолжить ей свой свитер, ведь у нее не было ничего теплого. Эту свою жакетку с драконами она сожгла, когда гладила.

– Какая жалость, – сказал Освальдо.

– Да, жаль. Хорошая была жакетка. Очень изящная. Но она оставила на ней горячий утюг, а сама пошла к телефону. И долго с кем-то болтала. Потом сказала, что это звонила Анджелика. А жакетку, как раз на спине, где были драконы, прожгло. Чуть гладильная доска не занялась. Мать так перепугалась. А я за нее боюсь. Она ведь старая. Она уставала и нервничала. Будь я одна, я бы, может, и смирилась.

– Понимаю. Мне очень жаль, – сказал Освальдо.

18 декабря 70

Дорогой Микеле!

Я видела девушку с виа дей Префетти. Эту Мару. Что за имя, прямо из комиксов. Лучше бы Мария. Будь у нее в имени буква «и», все могло бы сложиться иначе.

Отнесла ей немного денег. Мне их дала мама. Но Освальдо говорит, что, чем давать деньги, лучше было бы найти для нее работу. Это не так просто, потому что она ничего не умеет делать. Освальдо устроил было ее к синьоре Перони. Оказывается, у синьоры Перони есть старая мать, ей восемьдесят лет, но она еще бодрая. Они живут в Монтесакро[15]. Мара должна была помогать по дому, а они держали ее с ребенком у себя и немного платили помесечно. Но в результате она чуть не спалила квартиру, и пришлось вызывать пожарных. По крайней мере так я поняла из длинной, запутанной истории, которую она сама мне рассказала. Но, по ее словам, в доме нечего было есть, кусочек трески на обед и другой кусочек, разогретый с луком, на ужин. От этой трески у нее сделалось несварение желудка – нужно было все время пить сельтерскую воду. Ночью она просыпалась от зверского голода и бродила по дому в поисках кусочка сыра. В результате у нее пропало молоко. Однако Освальдо говорит, что эта девушка любит приврать. Ребенок хорошенький, но он не от тебя. У него большой рот и длинные черные космы. Правда, эти космы он мог унаследовать от нашего отца. Сейчас она с ребенком снова живет на виа дей Префетти.

Рей, тот парень, которого ты ко мне прислал, прожил у нас неделю. Но он ссорился с Оресте. Однажды обозвал его «ревизионистом». Оресте так взбесился, что дал ему в челюсть. Пошла кровь. Я боялась, что он ему зубы вышиб. Но оказалось, только немного рассек губу. Мы с Соней отвели Рея в аптеку. Оресте остался дома. Он жутко разволновался. А Рей – ничуть. Но губа сильно кровоточила, вся ветровка была в крови. В аптеке сказали, что это пустяки, и налепили ему пластырь. На следующий день я позвонила Освальдо, и теперь Рей живет в твоём подвальчике. Соня носит ему еду и комиксы – он хочет научиться рисовать комиксы. У него есть приятель, который их рисует, и он обещал Рею свести его с редактором одной из таких газет. Вот Рей теперь и пробует рисовать женщин с огромными грудями и глазами. А когда увидел твоих сов, тоже нарисовал сов, парящих вокруг этих грудей.

Мама вбила себе в голову, что Оресте стукнул этого Рея из ревности. Но у Оресте не было никакого повода ревновать, потому что мы с этим Реем абсолютно безразличны друг другу. У меня он не вызывает ни симпатии, ни антипатии. Как амеба. А Оресте говорит, что у него фашистские взгляды. Но Оресте повсюду чудятся фашисты и шпионы. В общем, повторяю: между мной и Реем ничего нет, а он спит с Соней в твоём подвальчике, на твоей постели, под маминими красивыми одеялами. Я сказала это маме, и она велела мне забрать те одеяла и заменить их другими, похуже. Но я не стану делать этого, по-моему, это неловко. Мама любит ставить людей в неловкое положение. Но, как правило, это относится к тем людям, которых она никогда не видела. Если б она встретилась с этим Реем, то уже не стала бы настаивать, чтоб он спал под скверным одеялом. Я выстирала ветровку Рея, решив, что это можно сделать дома, но ошиблась, потому что она высохла, сделалась жесткой и задубелой, как вяленая треска.

В воскресенье я обедала у мамы. Оресте не пошел: у него было профсоюзное собрание. Я поехала с девочкой. Там был Освальдо со своей дочкой. У мамы кролики. Девочки играли с этими кроликами. Я не знаю, как они смогли с ними играть, потому что эти кролики совсем не забавные и очень сонливые. Близняшки вытащили их за уши из клеток, так те улеглись на траве и даже не подумали разбежаться. Кроме того, с них лезет шерсть, и девочки часами обируют ворсинки со своих курток. День был чудесный, солнечный. Но мама выглядит очень подавленно.

Мне кажется, на нее так подействовала смерть отца. Должно быть, она постоянно вспоминает

годы, когда они жили вместе. То и дело у нее слезы на глазах, она встает и уходит в другую комнату. Она повесила в гостиной ту папину картину, где она сидит у окна в доме в Пьеве-ди-Кадоре. Ты был маленький, не помнишь, а я все помню. Это было ужасное лето. Они больше не ссорились, но в доме царило ощущение, что должно что-то произойти. Иногда по ночам я слышала, как мама плачет.

Я не знала, кто из них прав, кто виноват. Даже не задавалась таким вопросом. Я только чувствовала, что из их спальни исходит волнами тревога, растекаясь по всему дому, забираясь во все уголки. Тревога была повсюду. Многие годы мы так весело проводили лето в этом доме. Он был такой чудесный, столько места для игр. Там был дровяной сарай, масса чуланчиков, где можно спрятаться, а во дворе – индюки. Ты не помнишь. Потом приехала тетя Чечилия и увезла нас в Кьянчано. Через несколько недель туда приехал отец и сказал нам, что они с мамой разошлись. Сказал, что ты останешься с ним, а мы, девочки, с мамой. Просто сказал, без всяких объяснений. Они так решили. Он пробыл в Кьянчано два или три дня. Сидел в холле гостиницы. Курил. Заказывал мартини. Когда тетя Чечилия обращалась к нему, он просил ее замолчать.

Может быть, мама до сих пор влюблена в Филиппо. Не знаю. Ее связь с Филиппо тянулась столько лет, и она все надеялась, что он соединится с ней. А он взял и женился на девушке моложе меня. У него духу не хватило сказать маме с глазу на глаз, что он женится, и он заставил меня присутствовать при этом разговоре. Филиппо всегда недоставало мужества. Во всяком случае, для меня это было ужасное утро. Майское утро прошлого года. Я помню, что был май, потому что розовые кусты под нашими окнами на виа дей Виллини стояли в полном цвету.

Практически мама сейчас очень одинока. Близняшки ее не слушаются. Тебя нет. У нас с Виолой своя жизнь. А мама сидит там одна с Матильдой. Матильда действует ей на нервы. Но все-таки хоть кто-то есть в доме – голос, шаги в пустых комнатах. Кто его знает, зачем мама купила этот огромный дом? Теперь она, должно быть, раскаивается. Наверно, раскаивается и в том, что пригласила Матильду, хотя знает, что полное одиночество было бы еще хуже. Но Матильда действует ей на нервы. Матильда называет ее «моя курочка» и каждую минуту спрашивает: «Ну как ты?», берет ее за подбородок, заглядывает в глаза. Утром она в купальном костюме является к ней в комнату заниматься йогой, уверяя, что это единственная теплая комната в доме. Мама не решается попросить ее уехать. Сейчас у мамы очень смягчился характер. Ей теперь даже приходится слушать роман «Полента и отравы», который Матильда выудила из своего баула и намерена доработать, поскольку Освальдо имел неосторожность сказать ей, что у Ады есть знакомый издатель. Это некий Колароза, мелкий, никому не известный книгоиздатель. Думается мне, что он Адин любовник. Матильда как услышала об издателе, так и уцепилась за эту возможность. Каждый вечер она читает вслух «Поленту и отраву» маме и Освальдо. Теперь Освальдо приезжает к ним почти каждый вечер. Они с мамой прямо-таки подружились. Но разумеется, дружба чисто платоническая. Я думаю, что Освальдо женщины вообще не интересуют. По-моему, он тайный гомик. Мне кажется, он втихомолку и бессознательно влюблен в тебя. Не знаю, что ты об этом думаешь, но мне так кажется.

Мне хотелось бы повидать тебя. У меня все хорошо. Флора ходит в детский сад. Она там обедает и возвращается домой в четыре. Ее забирает Соня, потому что я сижу на работе до семи. Моя работа становится все занудней и бессмысленней. Сейчас мне нужно переводить длинную статью о тяжелой воде. А вечером я должна еще купить продукты, приготовить ужин и погладить рубашки Оресте, потому что он не хочет носить немнущихся рубашек. Потом он уходит в редакцию, а я дремлю у телевизора.

Целую тебя.

Анджелика

– По-моему, она безнадежная дура, – сказала Мара.

– Ты ошибаешься, – сказал Освальдо.

– Безнадежная, – сказала Мара.

– Напротив, временами она обнаруживает редкую остроту ума и проницательность. Она ограниченная, это верно. Но так или иначе, Ада – моя жена и я прошу тебя не называть ее дурой. Я тут сижу уже четверть часа, а ты только это и твердишь.

– Вы же разошлись. Она тебе больше не жена.

– Все равно, мне неприятно, когда люди при мне плохо о ней отзываются.

– А часто это случается?

– Тебе-то что до этого?

– Она некрасивая и не умеет одеваться.

– Нет, красивая и иногда бывает очень хорошо одета.

– Вчера она была одета ужасно. И в прошлый раз тоже. Все время на ней эта шуба из канадского волка. От этих канадских волков на улице прямо в глазах рябит. Какая у нее фигура, я не разглядела, потому что она все время в этой шубе. Ноги у нее тонкие, а колени как у слона. И эти здоровенные очки в черепаховой оправе. Отчего она не носит легкие очки с незаметной оправой? А еще у нее усики. Она их обесцвечивает, но они таки есть. Расхаживала тут, заложив руки в карманы. С таким видом, словно она нас изучает – меня, ребенка, квартиру. Вчера я у нее спросила, как, на ее взгляд, вырос ребенок, а она сказала, что он миленький, так, будто о какой-нибудь люстре говорила. Нет в ней деликатности.

– В сущности, она очень застенчива, – сказал Освальдо.

– Да у тебя все застенчивые. Ты же мне сказал, что если она придет сюда, то сейчас же пришлет электриков и штукатуров. Никого она не прислала. Пальцем не шевельнула. Единственное, на что ее хватило, – сказать, что здесь сортиром пахнет. Как будто я без нее не знаю.

– Она сказала не «сортиром пахнет», а «пахнет, как во дворе» или что-то в этом роде.

– Я с этим запахом ничего не могу поделать. Есть такие дома, где воняет, вот и здесь воняет. Я на хлорку и соляную кислоту кучу денег истратила. И ничем она мне не помогла, только посоветовала купить сушилку для посуды в УПИМе[16]. Тоже мне, совет!

– А ты купила?

– Нет. Времени не было. Больше недели я пробыла у этих проклятых Перони. Они, в общем, неплохие, добрые даже, но из-за их тресковых обедов у меня молоко пропало. Вернулась сюда, а здесь крыша течет. Я вызвала мастера. Сама, между прочим, вызвала, а не твоя жена. А потом пошли всякие напасти. Боюсь, мне придется съехать с этой квартиры. Моя подруга – та, что меня сюдапустила, – явилась однажды со своим дружкой-японцем и сказала, что хочет устроить здесь «boutique»[17] в восточном стиле. Я сказала, что, по-моему,

эта квартира не годится – последний этаж, без лифта, да еще сортиром воняет. Японец оказался довольно обходительный, говорит, я смогу стать «vendeuse»[18] в этой «boutique». А подруга сказала, что «boutique» или не «boutique», но квартиру мне все равно придется освободить, потому что ей нужны деньги. Мы повздорили и расстались холодно. Только японец, такой обходительный, пообещал подарить мне кимоно, потому что я рассказала ему о сгоревшей жакетке. Так что, если она меня отсюда выставит, мне деваться некуда. Правда, я могу пристроиться в том знаменитом подвальчике. Ведь Микеле возвращаться вроде не собирается.

– Подвальчик принадлежит Аде. И я не знаю, какие у нее планы. Может, она хочет сдать его.

– Господи, как вы все жадны до денег. Я не смогу платить за квартиру. Может, потом. Этот подвальчик темный и наверняка сырой, но для меня сойдет. Было бы удобно – ведь ты живешь этажом выше, и я могла бы позвать тебя ночью в случае чего.

– Сплю и вижу, чтоб меня ночью будили! – сказал Освальдо.

11

29 декабря 70

Дорогой Микеле!

Ко мне приходила твоя сестра Анджелика. Я ее раньше никогда не видела. Симпатичная и очень красивая. Дала мне денег. Шестьдесят тысяч лир. Конечно, на шестьдесят тысяч не больно-то разгуляешься, но все-таки это очень мило с ее стороны. Я знаю, это ты попросил ее дать мне денег. Спасибо. Я сказала твоей сестре, что как-нибудь хотела бы повидаться и с вашей матерью. Анджелика говорит, что мать последнее время в депрессии, но потом, когда она немного придет в себя, я, конечно, смогу ее навестить.

Анджелика дала мне твой адрес, так что я могу выразить тебе соболезнование по случаю смерти твоего отца. Посылаю также наилучшие пожелания к рождеству и Новому году. Правда, рождество уже прошло. Я на рождество была одна и грустила, у ребенка заложил нос, и он плакал, но потом к вечеру зашел один японец, мой знакомый, и принес мне кимоно. Оно черное с двумя большими подсолнухами, один спереди, другой сзади.

Сообщаю тебе хорошую новость: я нашла работу. Уже приступила. Утром я отношу ребенка к одной синьоре, у которой под присмотром еще шестеро. Забираю его вечером. Плачу двадцать тысяч в месяц. Работу мне подыскала жена Освальдо, Ада. Она же нашла и няньку. Эта Ада, на мой взгляд, полная кретинка, но в любезности ей не откажешь.

Я работаю у одного издателя, которого зовут Фабио Колароза. Это друг Ады. Кажется, она с ним спит. Кто их знает! Освальдо говорит, что она спит с ним уже два года. Он такой маленький, худой, с большим длинным крючковатым носом. Похож на пеликана. Его контора на виа По. Я сижу одна в большой комнате. У Коларозы другая большая комната, и он там тоже один. Сидит за письменным столом и думает, а когда думает, морщит нос и кривит губы. Время от времени он говорит в диктофон, закрыв глаза и легонько приглаживая волосы. Я должна печатать на машинке письма и то, что он наговаривает в диктофон. Иной раз он записывает на диктофон свои мысли. Это трудные мысли, и я их смысла не понимаю. Еще я должна отвечать на телефонные звонки, но ему никто не звонит, только иногда Ада. А в третьей большой комнате сидят два парня, которые упаковывают книги и рисуют обложки. Мы будем издавать также книгу твоей тети Матильды. Она называется «Полента и вино» или

что-то в этом роде. У них уже готова обложка. Там солнце и комья земли с воткнутой мотыгой, потому что это история про крестьян. Парни говорят, что эта обложка похожа на манифест социалистов. Деньги на издание книги дает твоя мамаша. Лучше бы она дала эти деньги мне, они мне так нужны. Я на этой работе получаю пятьдесят тысяч лир в месяц. Попробуй-ка прожить на пятьдесят тысяч! Но Колароза обещал прибавить. Он сказал, что ему совершенно неважно, знаю ли я английский или нет.

Освальдо говорит, что два дня уговаривал Аду пристроить меня к этому ее дружку Коларозе. Она наконец согласилась, но предупредила его, что я полоумная. Он ответил, что ничего не имеет против полоумных. Блестящий ответ, правда?

В полдень я хожу в бар выпить капуччино с булочкой. Но позавчера Колароза перехватил меня у входа в бар и пригласил в ресторан. Он вообще молчалив, но не из тех молчунов, с которыми делается не по себе: вдруг задаст какой-нибудь короткий вопросик и слушает тебя, морща нос и кривя губы. Но мне было весело. Не знаю, почему мне было так весело, ведь он почти не говорил со мной. Объяснил, что из этих мыслей, которые он наговаривает на диктофон, он намерен сделать книгу. Я спросила, хороша ли книга твоей тети Матильды, а он сказал – жуткая муть. Но он печатает ее, чтоб доставить удовольствие Аде, которая хочет доставить удовольствие Освальдо, который хочет доставить удовольствие твоей тетке и так далее, и так далее. К тому же все расходы оплачивает твоя мать.

Ребенок похож на тебя. Волосики у него темные и гладкие, а у тебя рыжие и кудрявые, но у новорожденных волосы потом вылезают и вырастают другого цвета. Глаза у него темно-серые, а у тебя зеленые, но ведь у младенцев меняется и цвет глаз. Мне бы хотелось, чтоб ребенок был от тебя, но, к сожалению, я в этом не уверена. Однако ты не думай, что я буду просить тебя усыновить его, когда ты вернешься. Я же не идиотка, чтоб тебя об этом просить, и не сволочь, ведь я не уверена, что он твой. Если учесть эти обстоятельства, мой ребенок – безотцовщина, иногда мне это кажется ужасным, но когда я в хорошем настроении, то думаю: ну и ладно.

Мне с тобой было весело. Не знаю почему, но разве вообще можно понять, почему с кем-то скучаешь, а с кем-то веселишься? Ты иной раз бывал не в духе и не разговаривал со мной. Я говорила, а ты в ответ только мычал, не открывая рта. Теперь, чтобы вспомнить тебя, мне довольно промычать на твой манер, и я сразу как будто вижу тебя. Ты при мне последнее время всегда бывал не в духе. Может, считал, что я слишком за тебя цепляюсь. Но мне ведь ничего не было нужно, только быть с тобой рядом, и все. Если хочешь знать, я никогда не думала, что ты должен на мне жениться, сама мысль выйти за тебя была смешной, а то и жутковатой. Если мне когда и приходила такая мысль, я ее быстренько выбрасывала из головы.

Мне стало так жалко тебя в тот раз, когда у нас было назначено свидание и ты прибежал бледный-бледный и сказал мне, что сбил монахиню. А потом, уже в подвальчике, сказал, что она умерла. Ты лежал, уткнув голову в подушку, а я тебя утешала. Но на следующий день ты уже не разговаривал со мной и, когда я гладила тебя по голове, мычал по-своему и отворачивался. У тебя очень скверный характер, но я не поэтому не хочу за тебя замуж. Не хочу оттого, что в тот раз и в другие мне было тебя жалко, а я хотела бы выйти замуж за человека, которого бы мне никогда не надо было жалеть, потому что мне на саму себя жалости не хватает. Я бы хотела выйти замуж за человека, которому могла бы завидовать.

Целую тебя и время от времени буду писать.

Мара



6 января 71

Дорогой Микеле!

Так приятно было поговорить с тобой по телефону. Я тебя прекрасно слышала. Со стороны Освальдо было очень мило приехать за мной, чтоб я позвонила тебе из его квартиры. Таким образом, и он смог сказать тебе два слова.

Меня обрадовало то, что ты гуляешь по лесу с этими собаками. Представляю себе, как ты бродишь по лесам. Хорошо, что я догадалась послать тебе сапоги, потому что в лесу, должно быть, грязь и трава мокрая. Я тоже могла бы здесь побродить по лесу, если подняться на один из холмов; Матильда иной раз предлагает мне пойти туда прогуляться. Но одна мысль, что рядом со мной будет развеваться эта ее тирольская пелерина, отбивает у меня всякую охоту к прогулкам. В одиночку мне не хочется забираться туда наверх, в этот лес, а близняшки никогда не изъявляют желания пройтись со мной. Потому на лес я смотрю из окна, и он мне кажется таким далеким. Может быть, для того, чтобы гулять по лесам и полям, нужно спокойствие, благополучие, и я очень желаю и надеюсь, что у тебя они есть.

И все-таки не пойму, что ты намерен делать. По мнению Освальдо, я должна оставить тебя в покое. Там ты учишь английский и занимаешься домашним хозяйством, а от этого, по его мнению, только польза. Но я хочу знать, когда ты думаешь вернуться.

Я ходила с Освальдо в подвальчик, чтобы забрать твои картины. Видела твоего друга Рея, который, как ты знаешь, теперь там живет. С ним была некая Соня, подруга Анджелики, с черным конским хвостом. И еще другие. Человек двенадцать. Сидели на твоей постели и на полу. Когда мы вошли – дверь была открыта, – они не сдвинулись с места и продолжали заниматься своим делом, то есть ничем. Соня помогла нам перенести картины в машину. А остальные и не пошевелились. Приехав домой, я развесила все твои картины. Мне они совсем не нравятся, но в известном смысле даже лучше, что они нехороши, раз ты забросил живопись. Освальдо говорит, что это, вероятно, окончательно. Один черт знает, что ты теперь будешь делать. Освальдо советует мне об этом не думать. Чем-нибудь да займешься.

Мне было ужасно грустно снова увидеть этот подвальчик. По-моему, и Освальдо как-то загрустил. Постель была вся сбита, и я увидела одеяла, которые покупала для тебя. Мне плевать на эти одеяла, но я сказала Анджелике, чтоб она взяла их себе. Ей они наверняка пригодятся.

Рождество мы провели вдвоем с Матильдой. Девочки уехали кататься на лыжах в Кампо-Императоре. Анджелика с Оресте были у каких-то своих друзей по фамилии Беттойя – не знаю, кто такие. Виола и Элио – в деревне у его родителей. Матильда тем не менее приготовила нечто вроде рождественского обеда, хотя мы вдвоем с ней ели его на кухне. Клоти отправилась к себе домой, и мы думали, что она больше не вернется, так как забрала с собой почти все свои платья. Матильда приготовила каплуна, фаршированного изюмом и каштанами, а кроме того, шоколадный крем. Поэтому в кухне было полно грязной посуды, к тому же у нас сломалась посудомойка. После обеда Матильда отправилась спать, заявив, что посуду вымоют близняшки, когда вернутся. Она их переоценивает. Я вымыла и перетерла всю посуду. Под вечер явился Освальдо со своей дочкой Элизабеттой и с собакой. Я их угощала остатками крема, но девочка до крема не дотронулась, а стала читать журналы близняшек. Освальдо починил посудомойку. Когда они уже собрались уезжать, вылезла Матильда и начала кричать, почему ее не разбудили. Она, дескать, пошла спать со скуки, потому что нас в этом доме никогда никто не навещает. Она настаивала, чтоб они остались поужинать, и они остались. Поэтому пришлось опять мыть гору посуды, так как посудомойка,

как только я ее включила, тут же снова сломалась, извергнув потоки воды на пол. На следующий день против всяких ожиданий явилась Клоти. Она принесла нам сумку яблок, которые Матильда жадно грызет, утверждая, что ей обязательно нужно съесть каждые полчаса по яблоку, чтобы чувствовать себя в добром здравии.

Освальдо приезжает к нам почти каждый вечер. Матильда считает, что он в меня влюблен, но Матильда – бестолочь. Я думаю, он приезжает по инерции, поскольку взял себе такую привычку. Сначала он приезжал, чтобы слушать роман «Полента и отравы», но теперь чтение, слава богу, закончено. Матильда читала вслух своим хриплым низким голосом, а я и Освальдо покорно слушали и клевали носом. Теперь Освальдо подsunул этот роман одному издателю, другу Ады. Я оплачу расходы, потому что Матильда попросила меня об этом и я не сумела ей отказать.

Я этого Освальдо не понимаю. Человек он неплохой, но мне надоедает. Сидит тут до полуночи, листает журналы. Говорит мало. Обычно ждет, когда я с ним заговорю. Я делаю над собой усилие, чтоб поддержать беседу, потому что говорить мне с ним, в сущности, не о чем. Когда мы еще слушали «Поленту и отраву», то хоть и дремали, но все же был повод сидеть вместе. А теперь я не вижу никакого. И все-таки должна сказать, что я довольна, когда он появляется. Привыкла как-то. И когда вижу его, то чувствую странное облегчение, смешанное с тоской.

Целую тебя.

Твоя мать

Я спросила Освальдо, была ли эта девушка, Мара Пасторелли, в подвальчике, когда мы ходили туда забирать картины. Он сказал – нет: она с теми не дружит, она из другой компании. Я ей послала денег через Анджелику. По словам Анджелики и Освальдо, деньги послать было необходимо, потому что она с этим несчастным ребенком в отчаянном положении. Теперь ей нашли работу у того же издателя – друга Ады. Эта Ада поистине небесное провидение.

13

8 января 71

Дорогой Микеле!

Вчера вскрыли завещание твоего отца. Оно хранилось у Лиллино. Отец написал это завещание, как только почувствовал себя плохо. Я об этом ничего не знала. Все собрались в нотариальной конторе: я, Лиллино, Матильда, Анджелика, Элио и Виола. Оресте не пришел – был занят в газете.

Твой отец оставил тебе картины, написанные им с 45-го по 55-й год, дом на виа Сан-Себастьянелло и башню. У меня создалось впечатление, что твои сестры получают гораздо меньше, чем ты. Им отходят земельные участки близ Сполето; многие из них распроданы, но кое-что еще осталось. Матильде и Чечилии твой отец отказал буфет в стиле пьемонтского барокко, и Матильда тотчас же заявила, что не знает, куда его девать, и потому уступает Чечилии. Представляешь, какая радость для Чечилии, которая выжила из ума и почти ничего не видит.

Сообщи, пожалуйста, что ты собираешься делать с домом на виа Сан-Себастьянелло –

продать, сдать внаем или поселиться там. Что касается башни, то, как тебе известно, тот архитектор уж было начал там работы, но теперь все застопорилось. Проекты, одобренные твоим отцом, требуют огромных затрат. Лиллино говорит, что мне с ним следует съездить посмотреть эту башню и что там сделано. Сам Лиллино этой башни не видел, но говорит, что ее нельзя считать выгодным капиталовложением, так как, чтобы проехать к ней на автомобиле, необходимо пробить дорогу в скале. Сейчас туда можно добраться только пешком, карабкаясь по горной тропинке. А у меня мало охоты лазать по этим скалам вместе с Лиллино.

Хорошо бы ты приехал и решил сам. Я за тебя решать не могу. Как мне решать, когда я не понимаю, где и как ты собираешься жить.

Твоя мать

14

12 января 71

Дорогая мама!

Спасибо тебе за письма. Пишу второпях, ибо уезжаю из Сассекса в Лидс вместе с девушкой, с которой познакомился здесь. Она там будет преподавать рисование в школе. А я, думаю, устроюсь мыть посуду и топить котельную в той же школе. С котельной и с посудой я научился управляться быстро и ловко.

Эта пара, у которой я здесь работал, профессор с женой, – славные ребята, и мы расстались без обид. Он отчасти педик, но только отчасти. Выучил меня играть на Кларино[19].

Лидс как город, вероятно, не бог весть что. Я видел открытки. Девушка, с которой я еду, тоже не бог весть что, неглупа, но немного зануда. Я уезжаю с ней, потому что здесь мне надоело.

Было бы хорошо, если б ты прислала мне в Лидс немного денег, по возможности срочно. Я, правда, еще не знаю, где буду жить в Лидсе, но ты можешь послать деньги матери этой девушки, адрес прилагаю в конце письма. На тот же адрес пришли мне, пожалуйста, «Пролегомены» Канта. Они мне тоже срочно нужны. Книгу найдешь в подвальчике. Здесь она тоже есть, но на английском, а я и по-итальянски ее прочел не без труда. Наверно, она есть в библиотеке, но я не любитель библиотек. Спасибо.

Вернуться пока не могу. Впрочем, если честно, не столько не могу, сколько не хочу. А насчет дома на виа Сан-Себастьянелло, то почему бы тебе самой там не поселиться, ведь, судя по твоим письмам, ты сейчас в растрепанных чувствах и деревня тебе осточертела.

С башней решайте сами. Не думаю, чтоб я когда-нибудь поселился в этой башне – ни зимой, ни летом.

Если не хочешь сама жить на виа Сан-Себастьянелло, может быть, там устроить ту девушку, мою знакомую, Мару Касторелли, которой ты послала деньги. У нее, как ты знаешь, есть квартира на виа дей Префетти, но там ей вроде неудобно. А дом на виа Сан-Себастьянелло очень удобен. Я о нем всегда вспоминаю с удовольствием.

Передай Матильде мои поздравления по поводу ее романа «Полента и вино», который вскоре должен выйти. Поцелуй от меня близняшек и всех остальных.

Микеле

Пишите мне на имя миссис Томас, 52, Бедфорд-роуд, Лидс.

15

25 января 71

Дорогой Микеле!

Со мной приключилась очень странная штука, и мне хочется поскорее рассказать тебе об этом. Вчера мы с Фабио занимались любовью. Фабио – это издатель Колароза. Пеликан. Ты представить себе не можешь, до чего он похож на пеликана. Это дружок Ады. А я его отбила у нее.

Он пригласил меня в ресторан. Потом проводил домой, потому что был праздник и мы работали только до обеда. Он сказал, что хотел бы зайти ко мне поглядеть на ребенка. Это Ада рассказала ему про ребенка. Я ему ответила, что ребенка сейчас нет: он у той синьоры. Тогда он сказал, что с удовольствием посмотрит мою квартиру. Мне было стыдно за стойкий сортирный запах, кроме того, уходя, я все бросила неприбранным. Но он настаивал, и я вынуждена была его пригласить. Он уселся в единственное кресло-шезлонг с продраннным полотном. Я угостила его растворимым кофе. Налила в розовую пластмассовую чашечку, которую мне подарила моя подружка, когда я жила в пансионе. Других чашек у меня нет. Надо бы купить в «Станде»[20], но все никак не выберусь. Он выпил кофе и стал ходить взад-вперед, наморщив свой нос. Я спросила, не чувствует ли он этой вони, но он сказал – нет. Сказал, что хотя нос у него большой, но запахов не чувствует. Я привела в порядок постель и села на кровать, а он присел рядом со мной, так мы и занялись любовью. Я была просто ошарашена. А он после заснул. Я смотрела на его спящий носище и думала: «Боже мой, я переспала с пеликаном!»

В пять часов мне надо было идти за ребенком. Пока я одевалась, пеликан проснулся и сказал, что ему хочется еще немножко полежать. Я ушла и вернулась с ребенком. Он все еще валялся, высунул свой нос, чтобы поглядеть на ребенка, и сказал, что он красивый. Потом снова улегся. Я приготовила молочную смесь для ребенка, и мне было приятно, что он тут, ведь я не люблю быть одна, когда развожу эту молочную смесь. Пора бы уж привыкнуть, я же почти всегда одна, а привыкнуть не могу. На ужин у меня был кусочек говядины. Я его отварила, и мы пополам это мясо съели. За едой я ему сказала, что он похож на пеликана. Он сказал, что ему кто-то уже об этом говорил. Не помнит кто. Я сказала: «Может, Ада?» Но тут же поняла, что ему не очень хочется говорить об Аде, а мне как раз хотелось. Я ему не стала говорить, что считаю ее кретинкой, а сказала, что она, по-моему, немного несносна. Он давай смеяться. Я спросила, сыт ли он. Он сказал, что пеликаны едят мало. И остался ночевать. Утром оделся и ушел. Увиделись мы в конторе. Он сидел там со своим диктофоном. Когда я вошла, он подмигнул, но ничего не сказал. Назвал меня на «вы». Я поняла, что на работе он не хочет подавать виду. В ресторан он меня не пригласил. Приехала Ада и увезла его. Так что я сейчас очень голодная, потому что со вчерашнего вечера съела только полкусочка мяса да булочку и выпила две чашки капучино. Сейчас выйду и куплю себе ветчинки.

Не знаю, когда он вернется. Он не сказал. Знаешь, по-моему, я влюблена. Мне его ничуть не жалко, как бывало жалко тебя. Я ему завидую. Завидую, потому что у него странный вид, какой-то отсутствующий таинственный. У тебя тоже иной раз бывал отсутствующий вид, но твои тайны казались мне детскими игрушками. А он выглядит так, как будто у него есть настоящие тайны, которые он никому не раскроет, и тайны эти запутанные и удивительные.

Поэтому я ему завидую. Ведь у меня никаких тайн нет

– даже самых пустячных.

И потом, я уже так давно ни с кем не спала. С тех пор, как родила ребенка. Во-первых, потому, что никто не подвертывался. А во-вторых, неохота было. Японец – педик. У Освальдо и в мыслях нет со мной переспать. Либо он тоже педик, либо я его не волную. Не знаю.

Сегодня за мной зайдет Анджелика, и мы поедем к ее подруге, у которой есть детская коляска. Она ей больше не нужна и стоит у нее под лестницей. Анджелика говорит, что колясочку надо будет помыть и продезинфицировать.

Я еще не решила, расскажу ли Анджелике про пеликана. Я ведь ее мало знаю, еще подумает, что я ложусь в постель с первым встречным. А может, и расскажу, потому что умираю от желания кому-нибудь рассказать. Освальдо расскажу обязательно, как только его увижу. Подумать только, я отбила у Ады ее пеликана!

Целую тебя.

Мара

Анджелика пришла, и мы съездили за коляской. Чудесная колясочка. По дороге туда я все рассказала Анджелике.

Анджелика дала мне твой новый адрес. Она сказала, что Лидс, куда ты переехал, – серый и очень унылый город. Черт тебя знает, зачем ты поехал в этот Лидс. Анджелика говорит, что ты туда потащился за какой-то девкой. Я сейчас же стала к ней ревновать. Ты для меня теперь мало что значишь, мы ведь просто Друзья, и все-таки я ревную ко всем девицам, которые тебе попадают.

16

Анджелика встала. Было воскресенье. Девочка уже два дня гостила у подруги. Оресте уехал в Орвьето. Она босиком прошлась по комнатам, чтобы открыть жалюзи. Было солнечное сырое утро. С маленькой площади, куда выходили окна, тянуло ароматом кондитерской. Анджелика нашла на кухне свои зеленые махровые шлепанцы и сунула в них ноги. Нашла на пишущей машинке в столовой свой белый резиновый чепчик для душа и надела на голову, подобрав под него волосы. После душа надела красный мохнатый халат, еще влажный, потому что вечером им пользовался Оресте. Приготовила себе чай. Посидела в кухне за чашкой чая и вчерашней газетой. Сняла чепчик, и волосы рассыпались по плечам. Потом пошла одеваться. Порылась в комод, ища колготки, но на всех были спущенные петли. Наконец нашла одни колготки без дорожек, но с дыркой на большом пальце. Натянула сапоги. И, застегивая молнию на сапогах, вдруг подумала, что больше не любит Оресте. При мысли о том, что Оресте весь день пробудет в Орвьето, ей стало легко и радостно. Да и он больше не любит ее. Он, скорее всего, влюбился в девушку, которая ведет в газете женскую рубрику. А потом подумала, что, наверно, она все это напридумала. Она надела свою голубую безрукавку и поскребла ногтем белое пятно на юбке. Должно быть, пятно от теста. Накануне они жарили блинчики на меду – она с Оресте и супруги Беттой. Когда они ели эти блинчики, Анджелика положила голову на плечо Оресте, и он ее обнял. Но потом, спустя несколько минут, отстранил ее голову, сказав, что ему жарко. Снял пиджак. Упрекнул ее за то, что она на всю катушку включает калорифер. Супруги Беттой подтвердили, что в комнате жарко. А блинчики были чересчур пропитаны оливковым маслом. Анджелика привела в порядок

волосы, стоя перед зеркалом, взгляделась в свое лицо – длинное, бледное и серьезное.

В дверь позвонили. Пришла Виола. На ней было новое черное пальтишко, отделанное леопардом, на голове берет, тоже из леопарда. Черные, распущенные по плечам волосы, гладкие и блестящие. Глаза – карие, подведенные голубым. Изящный маленький носик, маленький рот с выпяченной верхней губой над крупными белыми зубами. Сняв пальто, она аккуратно разложила его на сундуке в передней. Под пальто на ней была красная вязаная кофточка с круглым вырезом. Анджелика налила ей чаю. Виола обхватила чашку руками, чтобы согреться. И спросила Анджелику, отчего у нее калорифер совсем не греет.

Виола пришла сказать, что она считает отцовское завещание несправедливым. Особенно несправедливо, что отец оставил Микеле эту башню. Они с Элио считают, что для них, сестер, было бы чудесно иметь эту башню и проводить там лето. Микеле эта башня совершенно не нужна. Анджелика сказала, что сама она этой башни не видела, но знает, что для приведения ее в жилой вид нужна куча денег, а у нее денег нет. К тому же башня принадлежит Микеле.

– Дура, – сказала Виола. – Чтоб получить деньги, достаточно продать часть наших земель в Сполето.

Она попросила печенья, поскольку ушла из дома, не позавтракав. У Анджелики печенья не оказалось, но нашлась поломанная соломка в целлофановом пакете. Виола принялась грызть соломку, макая ее в чай. Она сообщила, что, кажется, забеременела: у нее задержка уже на десять дней. По утрам у нее ощущение странной истомы.

– В первые дни вообще ничего не чувствуешь, – сказала Анджелика.

– Завтра сделаю анализ на мышку, – сказала Виола. Она уже подсчитала, что ребенок родится в начале августа. – Самый худший месяц для родов. Буду помирать от жары, вот ужас-то! – Года через два все они могли бы уже отдохнуть в этой башне. Элио собирал бы ракушки на скалах. Он так любит собирать ракушки. И они ели бы эти замечательные супы из ракушек. И поставили бы жаровню, чтобы жарить бифштексы на открытом воздухе. Оресте с Элио занимались бы подводной охотой. И тогда вместо бифштексов можно было бы жарить рыбу.

– Оресте никогда не занимался подводной охотой, – сказала Анджелика.

Зазвонил телефон. Анджелика взяла трубку. Это был Освальдо. Он сказал, что Рея ранили в голову во время демонстрации и отвезли в Центральную клинику. Пускай Анджелика едет туда.

Анджелика надела шубку и просила Виолу подбросить ее, потому что машину забрал Оресте. Но уже на лестнице Виола вдруг объявила, что не может ее подвезти, сославшись на недомогание и слабость. Тогда, сказала Анджелика, она возьмет такси. Она уже садилась в такси, когда Виола вдруг передумала и сказала, что все-таки подвезет ее. Таксист выругался.

В машине Виола снова завела разговор о башне. Наверху они устроили бы площадку и ставили бы туда колясочку с ребенком. Там, наверху, наверное, замечательный воздух.

– Да какой там воздух! – возразила Анджелика. – Я знаю, на этом острове Джильо жароца. Представь себе, как будет припекать там, наверху, да твой ребенок изжарится заживо.

– Мы сделаем тент, – сказала Виола. – И потом, мы во всех комнатах выложим полы метлахской плиткой, она прохладная, легко моется и прочнее кафеля.

Но Анджелика припомнила, что отец уже выбрал и закупил несколько центнеров кафельной

плитки. Кроме всего прочего, башня принадлежит Микеле.

– Микеле туда никогда не поедет, – сказала Виола. – Он никогда не женится, никогда у него семьи не будет. Он гомосексуалист.

– Ты что, рехнулась? – сказала Анджелика.

– Он гомосексуалист, – твердила Виола. – Неужели ты не поняла, что они с Освальдо...

– Ты рехнулась, – повторила Анджелика. Но, произнося это, подумала, что и у нее мелькала такая мысль. – У Микеле здесь была девушка, она родила ребенка, вероятно от Микеле, – сказала она.

– Ну и что? Он и так и сяк – сказала Виола.

– А у Освальдо дочь, – сказала Анджелика. – Он что, тоже и так и сяк?

– Да, – сказала Виола. – Бедный Микеле! Когда я о нем думаю, у меня сердце сжимается.

– А мне его ничуть не жаль, – сказала Анджелика. – Мне даже весело, когда я о нем думаю. – Но это была неправда, у нее тоже сжималось сердце. – У Микеле сейчас в Лидсе девушка, – сказала она.

– Знаю, – сказала Виола. – Он никогда не уймется. На месте не может посидеть. Хватается то за одно, то за другое. Отец его погубил. Он обожал его и баловал. Отнял его у нас и у мамы. А сам упустил. Обожал, но упустил. Вечно оставлял его дома одного со старухами кухарками. Вот он и стал гомосексуалистом. Из одиночества. Он тосковал по маме и по нам, а ведь так и становятся гомосексуалистами, когда думают о женщинах как о чем-то желанном и недостижимом. Мне это сказал мой психоаналитик. Ты знаешь, я хожу к психоаналитику.

– Знаю, – кивнула Анджелика.

– Я так плохо спала, – сказала Виола. – Меня все время мучила какая-то тревога. А с тех пор, как я хожу к психоаналитику, стала спать лучше.

– И все-таки Микеле не гомосексуалист, – сказала Анджелика. – Он нормальный. А если б он даже был гомосексуалистом, то это еще не причина, чтобы отнимать у него башню.

Виола сказала, что тоже ненадолго зайдет в клинику. Они нашли Освальдо, Аду и Соню в приемном покое отделения «скорой помощи». Освальдо прихватил Аду, потому что в клинике у нее работал знакомый. Соня держала ветровку Рея. Она была рядом с ним, когда его сшибли с ног. Она знала тех, кто его сшиб. Это фашисты. У них были цепи. Ада увидела своего приятеля-врача и перехватила его. Тот заверил, что с Реем ничего серьезного и он может вернуться домой.

Виола и Ада пошли в бар. Ада взяла кофе, а Виола горячую хинную настойку. Потом она объявила, что уходит, поскольку у нее дрожь в коленях. Она разволновалась, и вообще больницы на нее всегда плохо действуют. Она увидела, как санитарка пронесла тазик с окровавленными бинтами. Чего доброго, еще случится выкидыш. Ада спросила, на каком она месяце. Виола сказала, что на первом. Ада сказала, что она на седьмом месяце ночами дежурила в больнице у своей служанки, которую положили с разрывом брюшины.

Рей вышел из отделения «скорой помощи» с забинтованной головой. Ада и Виола уехали. Освальдо посадил Соню, Анджелику и Рея в машину и повез к себе домой. Рей прилег на диван в гостиной. В этой большой комнате вся обивка на мебели потерлась, истрепалась. Освальдо принес бутылку «ламбруско»[21]. Анджелика выпила стакан и прикорнула в кресле, положив голову на подлокотник. Она видела, как Освальдо и Соня снуют из комнаты в кухню,

видела широкую спину Освальдо в свитере из верблюжьей шерсти и его большую квадратную голову с редкими светлыми волосами. Она думала о том, как хорошо сидеть здесь с Освальдо, Соней и Реем, как хорошо, что Виола и Ада уехали. Думала о том, что жизнь все-таки приятная штука. Может быть, у Освальдо с Микеле и вправду что-то было, как утверждает Виола, но это трудно себе представить, да ей и безразлично. Рей уснул, натянув на голову плед. Освальдо принес миску и поставил ее на стеклянный столик перед диваном. Соня принесла тарелки. Рей проснулся, и они стали есть спагетти, заправленные оливковым маслом, чесноком и горьким перцем. Потом они просидели до вечера, покуривая, слушая пластинки, попивая «ламбруско» и время от времени перекидываясь несколькими словами. Когда стемнело, Рей, а за ним и Соня спустились в подвальчик.

Анджелике надо было возвращаться домой, и Освальдо поехал с ней. Ему не хотелось оставаться одному, после того как они так прекрасно провели время вчетвером, ничего не делая.

Дома Анджелика стала поджидать у окна возвращения девочки, а Освальдо углубился в чтение книги, которую нашел на пишущей машинке. Это были «Десять дней, которые потрясли мир». Анджелика увидела, как девочка выпрыгивает из машины, и помахала рукой друзьям, у которых та гостила.

Дочка вернулась веселая и усталая. Они ездили в Анцио, где она играла в сосновой роще. Она уже ужинала, в ресторане. Анджелика посмотрела, как девочка раздевается, помогла ей застегнуть пижаму. Потушила лампу и поцеловала беленькие кудряшки, высывающиеся из-под одеяла. Потом пошла в кухню, взяла ножик и счистила на газету комья грязи с девочкиных башмаков. Поставила разогреть свежемороженый горошек и нарезала сверху остатки ветчины. Оресте, наверное, вернется поздно. Анджелика уселась в кресле рядом с Освальдо, сняла сапоги и осмотрела значительно увеличившуюся дырку на пальце. Освальдо продолжал читать. Анджелика положила голову на подлокотник и задремала. Во сне ей почудилось выражение «И так и сяк». Только эти слова и кафельные плитки, разбросанные в сосновой роще. Ее разбудил телефонный звонок. Звонил Элио. Он просил ее, если можно, приехать к ним. У Виолы началось кровотечение. Она плачет и просит позвать кого-нибудь. А еще он обозвал Анджелику дурой за то, что потащила Виолу в клинику. Она там разволновалась, и у нее случился выкидыш. Может, это не выкидыш, сказала Анджелика, а обыкновенные месячные. Нет, вероятно, выкидыш, сказал Элио, Виола просто в отчаянии, ведь ей так хотелось ребенка. Анджелика снова натянула сапоги и попросила Освальдо посидеть у них, пока не вернется Оресте. Потом вышла и поехала к Виоле.

17

Лидс, 15 февраля 71

Дорогая Анджелика!

То, что я тебе сообщу, наверно, тебя ошарашит. Я женюсь. Пожалуйста, походи в контору на пьядца Сан-Сильвестро и затребуи необходимые документы. Я не знаю, какие именно документы нужны. Я женюсь, как только получу документы.

Я женюсь на девушке, с которой познакомился в Лидсе. Вернее сказать, она не девушка, потому что разведена и у нее двое детей. Она американка. Препоает ядерную физику. Дети очень славные. Я люблю детей. Не младенцев, а таких, как эти, шести-семилетних. Очень забавные, правда.



Не стану тебе рассказывать, какова моя будущая жена. Ей тридцать лет. Она некрасива, носит очки. Очень умна. Я люблю умных.

Кажется, я нашел себе работу. Здесь, в Лидсе, в женском колледже требуется преподаватель итальянского языка. До сих пор я мыл посуду в другом колледже, где преподавала та девушка, с которой я приехал, – Жозефина. Вы пока можете писать мне по адресу матери Жозефины. У меня еще нет квартиры, но я ее ищу. Эйлин – женщина, на которой я женюсь, – живет со своими родителями и детьми, и квартира у них маленькая. Для меня там места нет. У меня комната в пансионе, но этого адреса вам не даю, потому что скоро съеду.

Может быть, я напишу и маме, но все-таки подготовь ее. Сделай это тактично, потому что она от таких новостей наверняка будет с ума сходить. Скажи ей, чтоб не беспокоилась, я все обдумал. Мы, возможно, приедем в Италию на пасхальные каникулы, и вы познакомитесь с Эйлин и детьми.

Целую тебя. Пришли быстренько документы.

Микеле

18

Лидс, 15 февраля 71

Дорогая Мара!

Хочу сообщить тебе, что я женюсь. Женюсь на необыкновенной женщине. Она самая умная из всех женщин, каких я встречал.

Пиши мне. Твои письма меня забавляют. Я их читал Эйлин, моей жене. То есть она станет моей женой через двадцать дней, как только я получу документы. Нас очень позабавил твой пеликан.

Посылаю тебе посылку – двенадцать махровых ползунков для ребенка. Эйлин сказала, чтоб я тебе их послал. Они сохранились от детей. Эйлин говорит – очень удобные. Стираются в машине. Правда, у тебя вряд ли есть стиральная машина.

Ты их тоже сохрани, возможно, я попрошу их обратно, если у нас с Эйлин будут дети. Эйлин просила сказать тебе, чтоб ты их не выбрасывала.

Передавай привет пеликану.

Микеле

19

Лидс, 15 февраля 71

Дорогой Освальдо!

Извини, что ни разу не написал тебе с тех пор, как уехал. Те несколько слов, которыми мы

обменялись по телефону, когда ты звонил, чтоб сообщить о смерти моего отца, и потом, когда мать звонила от тебя, – это все не в счет.

Я понимаю, что должен был бы написать и рассказать о себе поподробнее. Но ты ведь знаешь, что не в моей натуре подробно о себе рассказывать.

Мне пишут, что ты не забываешь моих родных: проводишь вечера у моей матери, видишься с моими сестрами. Это очень приятно.

Хочу сообщить тебе новость, которая, вероятно, тебя поразит. Я решил жениться. Мою будущую жену зовут Эйлин Робсон. Она разведена. У нее двое детей. Она некрасивая. Иногда кажется почти уродкой. Ужасно худая. Вся в веснушках. В огромных очках, как у Ады. Но Ада красивее. Впрочем, они, пожалуй, одного типа.

Эйлин очень умна. Это как раз и привлекает меня в ней. Может быть, оттого, что сам я не очень умен, а только проницателен и восприимчив. Поэтому я знаю, что такое ум и чего мне недостает. Слова «проницателен и восприимчив» – не мои: помнится, ты однажды отозвался так обо мне.

Я бы не смог жить с глупой женщиной. Я не очень умен, но восхищаюсь чужим умом и ценю умных людей.

У меня в подвальчике, по-моему где-то в ящике комода, лежит шарф из белого кашемира в голубую полоску. Мне подарил его отец. Найди его, пожалуйста, и возьми себе. Мне было бы приятно знать, что у тебя на шее этот шарф, когда ты выходишь из своей лавочки на набережную. Я не забыл наших долгих прогулок по набережной, взад и вперед, при заходящем солнце.

Микеле

20

22 февраля 71

Дорогой Микеле!

Кашемирового шарфа я не нашел. Однако я купил себе шарф, кажется, не из кашемира и без голубых полосок – простой белый шарф. Ношу его и представляю, что он твой. Я понимаю, что это суррогат. Но ведь все мы живем на суррогатах.

Я часто бываю у твоей матери, она очень симпатичная, навещаю, как тебе правильно сообщили, и всех твоих родственников.

В остальном моя жизнь такова, какой ты ее знаешь, иными словами – без перемен. Хожу в лавочку, слушаю жалобы синьоры Перони на варикозные вены и артрит, просматриваю старые счета, беседую с редкими клиентами, вожу Элизабетту на гимнастику и забираю после занятий, гуляю по набережной, стою у парапета, заложив руки в карманы, и смотрю, как заходит солнце.

Прими сердечные поздравления по случаю твоей женитьбы, я послал тебе в подарок «Цветы зла»[21а] в красном сафьяновом переплете.

Освальдо

21 февраля 71

Дорогой Микеле!

Сейчас пришла Анджелика и сказала мне, что ты женишься. Она говорит, что ты просил подготовить меня к этому, поскольку боишься, как бы я не расстроилась. Она же, наоборот, выложила все сразу, едва войдя в комнату. Анджелика знает меня лучше, чем ты. Она знает, что я постоянно расстроена и больше меня уже ничем расстроить нельзя. Тебе это покажется странным, но теперь никакие новости меня не могут ошеломить или испугать, потому что я все время пребываю в состоянии ошеломления и страха.

Я уже десять дней не встаю с постели, потому тебе и не писала. Я вызвала доктора Бово, он лечил твоего отца и живет там же на виа Сан-Себастьянелло, на пятом этаже. У меня плеврит. Так странно писать: «у меня плеврит», ведь я ни разу в жизни ничем не болела и всегда считала, что здоровей меня никого нет. Болели всегда другие.

Анджелика дала мне прочесть твое письмо. Некоторые фразы меня ошеломили, хотя, как я тебе уже сказала, у меня против этого выработался иммунитет. К примеру: «Я люблю умных», «Я люблю детей». Честно говоря, я не подозревала, что ты любишь умных и детей. Однако эти фразы произвели на меня, в общем, благоприятное впечатление. Ты как будто стремишься наконец обрести ясность и решимость. Как будто пытаешься наконец сделать окончательный выбор.

Я очень рада, что увижу тебя на пасху и познакомлюсь с твоей женой и ее детьми. Конечно, двое детей в доме – это утомительно, но поскольку я увижу тебя, то приму всех с большой радостью.

В том, что ты женишься на тридцатилетней женщине, по-моему, ничего плохого нет. Тебе, безусловно, нужна зрелая женщина. Материнская забота. Это оттого, что, когда ты был маленький, твой отец отнял тебя у меня. Прости ему бог, если он существует, – это, вероятно, не исключено. Я иной раз думаю, как мало мы с тобой были вместе, как мы мало знаем друг друга, как поверхностно друг о друге судим. Я, например, считаю тебя сумасбродом, но подчас сомневаюсь: вдруг ты вовсе не сумасброд, напротив, вполне разумный человек, только скрываешь это.

Кажется, мне наконец поставят телефон. Благодаря Аде, которая лично отправилась в телефонную компанию, как только узнала, что я больна.

Забыла сказать тебе очень важную вещь. Освальдо говорит, что Ада охотно купит твою башню. Это было бы великое дело, гора у тебя с плеч, хотя ты, скорее всего, об этой башне и не вспоминаешь. Виола и Элио хотели было перекупить ее у тебя, но съездили посмотреть и вернулись разочарованные. Они говорят: чтоб добраться туда, надо попотеть, пока влезешь вверх по крутой тропинке. И потом, у этой башни такой вид, что стоит тронуть ее пальцем – и она рухнет. Этот архитектор ничего еще там не начал, только съездил туда разок с каменщиками, которые пробили стенку и вытащили водопроводную раковину. Теперь эта раковина валяется снаружи, в крапиве. Кафельная плитка куплена, но ее так и не вывезли с фабрики, к большому неудовольствию хозяина. По словам Ады, этот архитектор форменный идиот. Она ездила смотреть башню со своим архитектором. Хочет сделать там бассейн, лестницу вниз к морю, проложить дорогу. Стало известно, что твой отец заплатил за эту башню не миллион, как он говорил, а десять. Ада готова дать тебе пятнадцать. Решай.

Я думаю, тебе нужны рубашки, носки и, наверно, темный костюм. Я сейчас этим заниматься не могу из-за болезни, а у Анджелики нет времени. Виола же не в настроении, у нее депрессия, может быть, легкое нервное истощение. У каждого из нас что-нибудь не ладится. Матильда совершенно рехнулась с «Полентой и отравой»: каждый день ездит к издателю Коларозе вычитывать гранки, обсуждать обложку и действовать ему на нервы. У Коларозы работает сейчас твоя подружка Мара Марторелли. Матильда ее там видела, говорит, на ней надето немыслимое японское кимоно с огромными цветами.

Кончаю писать, потому что Анджелика собирается уходить и захватит письмо.

Целую тебя и желаю счастья, если допустить, что счастье существует: это, вероятно, не исключено, хотя и не часто оно встречается в мире, где нам выпало жить.

Твоя мать

22

29 февраля 71

Дорогой Микеле!

Получила двенадцать махровых ползунков. Ты мог бы и не трудиться посылать их, потому что они очень поношенные, кнопки все оторваны, а материя задубелая и шершавая, как рыба чешуя. Скажи твоей Эйлин, или как ее там зовут, что я не нищенка. К ее сведению, у моего ребенка чудесные новые ползунки из очаровательной махрушки с розовыми и голубыми цветочками. Но все равно, спасибо.

Кстати, я перебралась к пеликану. Явилась сюда позавчера вечером со всеми своими манатками, потому что моя подружка велела мне убраться с виа дей Префетти. Я ей рассказала про моего пеликана, и она тогда заявила, что, значит, эта квартира мне больше не нужна и чтобы я немедленно убиралась. Она придумала устроить в этой квартире то ли клуб, то ли галерею, то ли еще что-то в этом роде. Во всяком случае, уже не «boutique». Она сказала, что ей нужны деньги, много денег, стало быть, я должна выметаться без лишних разговоров. Я, конечно, могла бы заупрямиться и еще остаться, но на меня злость нашла. За двадцать минут сложила все вещи, запихала их в коляску, взяла ребенка и отправилась к Фабио. У него аттик[22] на пьядца Кампителли. Чудесная квартира, никакого сравнения с виа дей Префетти. Пеликан немного оторопел, когда я заявила на ночь глядя, но тут же отправил свою прислугу за молоком и за цыпленком для меня в «Пиччоне» – знаешь, этот гриль-бар на пьядца Арджентина. Ребенок теперь пьет молоко из детской кухни, а не молочную смесь, – не помню, писала ли я тебе об этом.

Я уже бывала дома у Фабио, и его аттик мне очень понравился. Единственное, что мне не по душе, – это его прислуга, пятидесятилетняя толстуха, грубая, неприветливая, смотрит на меня волком и не отвечает, когда я к ней обращаюсь. А на ребенка глядит так, будто он тряпка какая. Я сказала Фабио, чтоб он ее уволил. Но он говорит, что этой прислуге цены нет.

На работу я больше не хожу. Сижу здесь, наслаждаюсь этой квартирой и загораю на террасе. Ребенка я тоже выношу на террасу под зонтик, и так нам хорошо, что и сказать тебе не могу. Я больше не оставляю его у той синьоры: она за ним плохо присматривала, не меняла пеленки, я уверена, что он там все время плакал, а она и не думала к нему подходить. Когда Фабио возвращается со службы, он тоже усаживается на террасе и мы держимся за руки, а

эта толстуха Белинда в розовом переднике приносит нам томатный сок. Фабио вначале немного растерялся, но теперь, когда я его спрашиваю, счастлив ли он, морщит свой нос и говорит, что да. Ады теперь и в помине нет. Он с ней больше не видится. Я звонила Освальдо, чтобы узнать, как она это приняла. Он говорит – приняла плохо, но предсказывает, что наш союз будет недолговечным. Я же, наоборот, думаю, что выйду замуж за пеликана. Тогда у меня будут еще дети, по-моему, самое приятное на свете – иметь детей. Конечно, чтоб иметь детей, надо иметь Деньги, если же их нет – это ужасно, но, насколько я понимаю, пеликан – миллиардер. Не подумай, я выхожу за него не из-за денег, а потому, что люблю его, и все-таки я довольна, что у него столько денег, я ему завидую, потому что он богат, умен, а иной раз даже завидую, что у него такой громадный нос.

Я поздравляю тебя с женитьбой, а ты меня поздравь с замужеством, потому что, как знать, может, я выйду замуж еще раньше тебя.

К свадьбе я дарю тебе картину Мафаи[23]. Не посылаю ее, потому что переслать картину Мафаи – дело непростое. Она висит здесь, в нашей с пеликаном спальне; я спросила у него, можно ли подарить ее тебе, и пеликан разрешил.

Мара

23

Лидс, 18 марта 71

Дорогая Анджелика!

Получил документы, спасибо тебе. В среду мы поженились.

Я узнал, что мама больна, это меня очень огорчает. Надеюсь, ничего особо серьезного у нее нет.

Мы с Эйлин нашли маленький двухэтажный домик на Нелсон-роуд – улице, состоящей из несметного числа совершенно одинаковых домиков. У нас крохотный садик, где я посажу розы.

Поблагодари маму за деньги, рубашки и темный костюм, который я на свадьбу не надел и не надену никогда. Я повесил его в шкаф, с нафталином.

Эйлин рано утром уходит в университет и отводит детей в школу. Я встаю немного позже. Привожу в порядок квартиру, мою посуду после завтрака, чищу паласы валиковой щеткой. Так продолжается пока что два дня. Жизнью доволен.

В день свадьбы мы обедали в ресторане вместе с родителями Эйлин. Эти родители меня просто обожают.

Я узнал, что Виола с Элио хотели приехать на мою свадьбу; мне сказал об этом тот самый родственник синьоры Перони, когда заглянул ко мне в пансион, где я жил до позавчерашнего дня. К счастью, они не приехали, к счастью, никто из вас не приехал. Не то чтоб я не хотел вас видеть, наоборот, всех вас с удовольствием бы повидал, но мы поженились на скорую руку и без всякой помпы, так что Виола с Элио, да и вы тоже, наверняка были бы разочарованы.

Скажи Оресте, что жена моя – коммунистка, одна из немногих здесь. А я – не коммунист. Я

по-прежнему никто, даже со своими римскими друзьями я потерял связь и ничего о них больше не знаю. Кто бы мог подумать, что я уехал по политическим мотивам – не только из-за этого, но в том числе. Я, вообще-то, затрудняюсь сказать, почему уехал. Как бы там ни было, а теперь политикой не занимаюсь – хватит того, что ею занимается моя жена.

Мне нужна книга «Критика чистого разума» Канта. Не могла бы ты поискать ее в моем подвальчике, при условии что он еще существует и что я еще могу называть его моим.

Целую тебя.

Микеле

24

23 марта 71

Дорогой Микеле!

Вот уже два дня я снова на ногах и чувствую себя хорошо. Пока чувствую небольшую слабость, но это пройдет.

Меня бы очень порадовало письмо от тебя, но ты скуп на письма к своей матери. Но ничего, я регулярно получаю известия о тебе от Анджелики. Я рада, что у тебя уютный домик, по крайней мере я его воображаю уютным, с этим маленьким садиком и с паласом на полу. Правда, мне трудно себе представить, как ты чистишь паласы. И как выращиваешь розы. Я в данный момент бесконечно далека от роз и вряд ли сумею их выращивать, а ведь, когда я перебралась в деревню, у меня была такая мысль. Может быть, это потому, что все еще стоит зима, пока довольно холодно, часто льет дождь, но мне кажется, что и весной я не стану заниматься садом и найму садовника, а сама и до веточки не дотронусь. У меня нет легкой руки на цветы, как у Ады. Кроме того, розы напоминают мне дом на виа дей Виллини, где прямо под моим окном, в саду у соседей, был чудесный розарий. Короче говоря, розы напоминают мне о Филиппо. Дело в том, что я не хочу о нем вспоминать, я все равно его вспоминаю беспрерывно, и неисповедимы те пути памяти, которые приводят меня к нему, но я, должно быть, глядела как раз на те розы под окном, когда он говорил мне, что все кончено, и теперь стоит увидеть розовый куст, как мне внезапно кажется, будто я проваливаюсь во тьму; вот поэтому-то в моем саду, может быть, и будут цветы, но роз не будет. Поскольку мы с тобой во многом схожи, я думаю, что ты не создан ухаживать за цветами. Но возможно, за эти месяцы ты стал другим, не похожим на того, каким я тебя знала, и не похожим на меня. А возможно, Эйлин сделает тебя совсем другим человеком. Я верю в Эйлин. Думаю, она мне понравится. Хорошо бы ты прислал мне еще одну ее фотографию. Та, что я уже получила, слишком маленькая, на ней виден только длинный плащ. Ты пишешь, что Эйлин очень умная. Я, как и ты, люблю умных и всегда стремилась выбирать себе в спутники именно умных людей. Твой отец был странный и гениальный человек. У нас совместная жизнь не удалась, может быть, потому, что мы оба – сильные натуры и каждый требовал слишком большого простора для своей индивидуальности. А Филиппо тоже странный и очень умный. К сожалению, он меня бросил. Навсегда ушел из моей жизни. Мы больше не видимся. Мы могли бы остаться друзьями, если б я захотела, но я не захотела. Ведь тогда нам пришлось бы встречаться в присутствии этой скуластенькой бабенки, на которой он женился. Она, должно быть, глупа как пробка. Наша связь его, по-видимому, утомляла. Я не считаю себя очень умной, но, по-видимому, для него я была чересчур умна. Не все это любят. Но я все эти годы с Филиппо была очень счастлива, даже несмотря на то, что все рухнуло во тьму. Таких счастливых воспоминаний, как о Филиппо, у меня больше ни о ком нет. Он так и не захотел ко

мне переехать, придумывал самые разные предлоги: то его работа, которой мешают близняшки, то его здоровье, то здоровье его матери. Но все это были отговорки. На самом деле он не хотел жить вместе со мной. Не очень любил, должно быть. Но все равно, у меня чудесные воспоминания о тех часах, которые он проводил на виа дей Виллини, у нас дома, играл в шахматы с Виолой и Анджеликой, проверял уроки близняшек, готовил рис с кэрри, печатал на машинке у меня в комнате свою книгу, которую потом опубликовал, – «Религия и страдание». Я много думала о Филиппо во время моей болезни, даже написала ему письмо, но потом порвала. Несколько дней назад у него родилась дочка. Они прислали мне извещение с летящим розовым аистом. Глупые! Девочку назвали Ванессой. Глупые! Ну скажи ты мне, разве это подходящее имя для девочки?

Пишу тебе, сидя в своей комнате у зажженного камина. Из окон мне виден наш голый, унылый сад без цветов, с двумя фонарями кованого железа – имитация каретных, зачем я их купила, не знаю – и двумя карликовыми соснами – Матильдино приобретение, которое я ненавижу. Вдали виднеется деревня и холмы под луной. На мне черное платье: кажется, оно ко мне идет, а когда я спущусь к ужину, то накину испанскую шаль, которую мне подарил твой отец лет двадцать назад; я вытащила ее из сундука, где она лежала в нафталине. К ужину приедут Освальдо и издатель Колароза. Издателя пригласила Матильда. Приглашение он вполне заслужил, ведь Матильда как только его не донимала. Кстати, «Полента и отравы» наконец вышла из печати. Экземпляры валяются по всему дому. Матильда послала и тебе книжку с надписью. Поэтому вскоре ты тоже увидишь эти комья земли, солнце и мотыгу. Рисунок на обложке придумала Матильда. Колароза предлагал дать репродукцию картины Ван Гога. Но Матильда настояла на своем. Если уж она что-нибудь вобьет себе в голову, то ее не сдвинешь. Ей все говорили, что эта ее обложка смахивает на манифест соцпартии. Но переубедить ее не было никакой возможности.

Вчера Матильда съездила в Рим купить шампанского для сегодняшнего вечера. Этот ужин – ее идея, и сегодня она целый день торчала в кухне, нервируя Клоти, и без того мрачную и нервную. Меню будет такое: рисовое сарту, vol-au-vent, цыпленок под бешамелью и цуккотто [24]. Я заметила Матильде, что все эти кушанья круглой формы. А затем обратила ее внимание на то, что это очень тяжелая пища. Такой ужин может убить быка.

Матильда хочет еще, чтобы девочки сегодня вечером были с распущенными волосами и надели бархатные платья с кружевным воротничком. А сама наденет черную юбку от костюма и блузку с баской на казачий манер. С издателем Коларозой я еще не знакома. Матильда говорит, что он низенький, голова ушла в плечи и неопикуемый нос. Я хотела пригласить и Аду, но Освальдо объяснил мне, что Ада с Коларозой были любовниками, но теперь расстались. Теперь он живет с этой твоей подружкой Марой Касторелли, которая недавно к ночи ввалилась к нему в дом вместе со своим ребенком. Подумать только – именно Ада порекомендовала ему Мару, а Мара быстренько его отбила. Не знаю, приедет ли эта Мара сегодня вечером, я сказала – пусть приезжает, но ей, кажется, не с кем оставить ребенка. Так или иначе, я как-нибудь вечером приглашу Аду. Я с ней еще не знакома, но очень ей обязана. То, что мне ставят телефон, – ее заслуга. Просто не верится, что у меня будет телефон; как только установят, тут же тебе позвоню. Стоит подумать об этом, сразу начинаю волноваться. Видимо, нервы и сердце у меня уже не те. А ведь была здорова как бык. Но слишком уж много всего на меня навалилось. Вот и стала немощная.

Машина подъехала. Это они. Прощаюсь.

Твоя мать

Мне отсюда видно, как из машины вылезает маленькая фигурка в норковой шубе. Должно быть, Мара.

26 марта 71

Дорогой Микеле!

Несколько дней назад я ужинала у твоей матери. Ничего интересного. Там были Освальдо, Анджелика, пеликан, твоя тетка, мать и маленькие сестры. Не знаю, почему мне раньше так хотелось повидаться с твоей матерью и понравиться ей. Может, я надеялась, что она поможет мне выйти за тебя замуж. Вообще-то я никогда не хотела выходить за тебя, учти. По крайней мере никогда не отдавала себе отчета, что хочу этого. Но, может, с отчаянья все-таки хотела, сама того не сознавая.

К твоей матери я приехала в длинной юбке, черной с серебром, – мы с пеликаном специально купили ее в тот день – и моей норковой шубке, которую мы тоже купили вместе с ним пять дней назад. Я весь вечер сидела в шубе внакидку, потому что в доме собачий холод. Калориферы плохо работают. В этой юбке и в этой шубе я вначале чувствовала себя – сама не знаю почему – такой нежной-нежной и маленькой-маленькой. Мне хотелось, чтобы все на меня смотрели и видели, какая я нежная и маленькая. Я была так одержима этим желанием, что даже голос стал у меня тонкий и нежный. Но потом вдруг подумала: а что, если все эти люди считают меня шлюхой высокого пошиба? Слова «шлюха высокого пошиба» утром прочла в детективном романе. И вот они, эти слова, меня будто камнем придавили. Мне сразу показалось, что все держатся со мной холодно. И Освальдо. И Анджелика. И пеликан. Пеликан забился в кресло с бокалом в руке. Поглаживал себе волосы. Гладил свой нос. Не морщил, а поглаживал, тихонечко. Мать у тебя красивая, но симпатии как-то не вызывает. На ней было черное платье и шаль с бахромой. Она теребила бахрому шали и свои волосы, кудрявые и рыжие, совсем как твои. Я подумала, что, будь ты здесь, для меня все было бы просто, потому что ты прекрасно знаешь, что я не шлюха – ни высокого, ни невысокого пошиба, а просто девчонка, и баста. Камин горел, но мне все равно было холодно.

Твоя мамаша спросила, откуда я родом, и я ответила – из Нови-Лигуре. А потом немножко наврала про Нови-Лигуре. Сказала, что у нас там большой и очень красивый дом, много родни, которая меня любит и ждет, что у меня там милая старая няня и маленький братик, которого я обожаю. Эта нянька на самом деле есть, она теперь ходит стряпать к моим двоюродным. Брата своего я люблю, но никогда ему не пишу. А этот их дом ничего особенного из себя не представляет. Квартира над посудной лавкой. Мои двоюродные посудой торгуют. Но я сказала, что все они адвокаты.

Анджелика с матерью возилась на кухне, потому что их служанка вдруг плохо себя почувствовала и улеглась в постель. На самом деле она обиделась на твою тетку, поскольку та ей выговорила за vol-au-vent. Так мне сказала Анджелика. Твои сестренки помогать отказались – они, мол, очень устали, потому что до этого играли в волейбол. На них были спортивные костюмы, и они не захотели переодеваться. А твоя тетка разозлилась на это и еще потому, что vol-au-vent не пропекся и был весь жидкий внутри.

И на меня вдруг нашла ужасная тоска. Я подумала: да что я здесь делаю? Где я? Что это за шуба на мне? Что это за люди такие, которые со мной почти не говорят, а когда к ним обращаюсь, делают вид, будто не слышат? Я сказала твоей матери, что хочу привезти и показать ей моего ребенка. Она сказала, чтоб я привозила, но без особого восторга. Я умирала от желания крикнуть ей в лицо, что это твой ребенок. Если б я была в этом уверена на сто процентов, то крикнула бы. Там были твои фотографии в детстве, я брала их, рассматривала, и мне кажется, что у ребенка твой подбородок, твой рот. Но с уверенностью



сказать трудно. Сходство – такая ненадежная вещь.

Они разговаривали мало, но даже из того немногого, что они говорили, я не понимала ни слова. Интеллигенты, известное дело. Я умирала от желания крикнуть, что всех их считаю дерьмом. Анджелика и та мне разонравилась. Я никого не понимала. Пеликан сидел серьезный-пресерьезный. На меня не смотрел. Я то и дело гладила его по руке. Но он тотчас убирал ее. Мне казалось, что, когда я открывала рот, он начинал ерзать как на иголках. Мы еще никогда не были с ним на людях, и он, вероятно, стыдился меня. В конце ужина подали шампанское. Я сказала: «Желаю успеха „Поленте и каштанам“». Перепутала название. Пеликан меня поправил. Я объяснила, что ошиблась из-за песенки, в которой говорится: «Если в горы ты пойдешь, от поленты и каштанов вмиг оскомину набьешь». И пропела им всю песенку. Это очень славная песенка, и пою я не фальшиво. У твоей матери на лице была натянутая улыбка. И у Освальдо тоже. А пеликан – тот и не думал улыбаться. И девочки не улыбнулись. Я пела, и со всех сторон меня обступал леденящий холод. Твоя тетка все стучала в дверь к служанке, предлагая ей то *vol-au-vent*, то еще что-нибудь, и возвращалась разобиженная, потому что та от всего отказывалась.

Домой возвращались в машине Освальдо – я, Анджелика и пеликан. Я сидела сзади с пеликаном. «Послушай, чего ты на меня дуешься? – сказала я ему. – И что я тебе такого сделала? За весь вечер слова мне не сказал. Даже не взглянул ни разу». Он говорит: «У меня очень болит голова». «Господи, у тебя вечно голова болит», – сказала я. У него действительно постоянные головные боли. Он сидел, забившись в уголок машины. Словно ему неприятно до меня дотрагиваться. Тогда я стала плакать, не в открытую, потихоньку, и слезы текли прямо на шубу. Анджелика погладила меня по коленке. Освальдо вел машину и не обернулся. Пеликан притулился в своем углу, плотно запахнув пальто и повесив нос. Так было ужасно плакать в этом холоде. Еще хуже, чем петь. Гораздо хуже.

Ребенка я оставила дома с Белиндой, прислужгой пеликана. Лучше бы мне взять его с собой. У этой Белинды к детям нет никакого терпения. Когда мы вернулись, ребенок вопил. Белинда еще не легла и заявила мне, что она имеет право на сон. Я сказала, что тоже имею право на развлечения и сон. Она ответила, что я ни на что не имею права. Я сразу не нашлась и потому хлопнула дверью у нее перед носом. А потом крикнула ей, что я ее увольняю. Но я увольняла ее уже много раз. Она говорит, что не уйдет. Говорит, что уволить ее может только профессор. Это пеликан-то профессор!

Ребенок проплакал всю ночь. Это было ужасно. У него режутся зубки, у бедняжки. Я все носила его на руках, расхаживая взад и вперед по гостиной, и слезы у меня так и лились. К утру он уснул, и я положила его в колясочку. Его было ужасно жалко: охрипший, потный, волосики слиплись, весь обмякший. Мне и себя было жалко, я устала до смерти, даже свою черную с серебром юбку не успела переодеть. Я пошла в спальню. Пеликан не спал, он лежал там, скрестив руки за головой. Мне стало его ужасно жалко. Я жалела его пижаму, его голову на подушке, его нос. Я сказала ему: «Послушай, я так больше не могу. Надо взять няньку». «Няньку?» – сказал он, словно с луны свалился. «Когда я жила одна на виа дей Префетти, – сказала я, – то могла еще позволить, чтоб ребенок немного покричал, но здесь не могу, потому что у тебя болит голова». «Вряд ли я смогу здесь терпеть еще и няньку, – сказал он. – Нет, вряд ли, думаю, что никак не смогу». «Тогда я снова стану жить одна», – сказала я ему. Он не ответил. Так мы и лежали, каменные, холодные, словно два мертвеца.

Я тебе писала в предыдущем письме, что мы с пеликаном поженимся. Это была глупость. Считай, что я этого никогда не говорила. А письмо порви, потому что мне стыдно за те слова. У него никогда и в мыслях не было жениться на мне, да и я, скорее всего, тоже не хочу за него выходить.

Сейчас он ушел. Я крикнула ему вслед: «И не смей обращаться со мной как со шлюхой высокого пошиба!» У меня уже пропал тот тоненький голос, который появляется, когда я

чувствую себя маленькой и нежной, а прорезался хриплый голосина, как у привратницы. Он ничего мне не ответил. И ушел.

Временами я просто бешусь. Говорю себе: «Я такая красивая, милая, такая молодая, добрая, и у меня такой чудный ребенок. Да я ему одолжение делаю, что живу у него в доме и трачу его деньги, которые он не знает куда девать! Ну чего еще надо заднице этой!» Да, временами я бешеная, и у меня такие мысли.

Мара

26

Нови, 29 марта 71

Дорогая Анджелика!

Ты, наверно, удивишься, получив мое письмо из Нови-Лигуре. Я приехала сюда вчера. Мы с ребенком приютились в доме моей няньки. Она положила мне матрас в кухне. Она старая. Зовут ее Амелия. Она сказала, что я могу остаться на несколько дней, но не больше, потому что у нее нет места. Не знаю, куда мне идти, но это неважно, потому что в конце концов я всегда нахожу, где приткнуться.

Уехала я внезапно. Оставила Фабио записку. Его не было дома. Я написала: «Я ухожу. Спасибо. Чао». Шубу я взяла, потому что он мне ее подарил, к тому же на улице холодно. Черную с серебром юбку, что была на мне в доме у твоей матери, я тоже взяла. Ему-то она зачем? И потом, это же были подарки.

Хочу попросить тебя об одной услуге. Я так спешно собралась, что забыла свое кимоно, то черное, с подсолнухами. Сходи, возьми его и перешли мне сюда, в Нови-Лигуре, виа делла Дженовина, 6. Оно должно быть в нашей спальне, в нижнем ящике комода. Я до сих пор пишу «в нашей спальне», потому что в этой комнате мы с ним какое-то время были очень счастливы. Если счастье существует, это оно и было. Только вот длилось недолго. Как видно, счастье надолго не задерживается. Все так говорят.

По-твоему, это странно – влюбиться в такого человека, совсем некрасивого, с таким большим носом? В пеликана. У меня в детстве была книжка с картинками всяких зверей, и там был пеликан с короткими расставленными лапами и с огромным розовым клювом. Вот он такой и есть. Но я поняла, что во всякого человека можно влюбиться, даже в смешного, странного, унылого. Мне нравилось, что у него столько денег, и эти его деньги казались мне не такими, как у других, они словно бы тянулись за ним, как хвост кометы. Мне нравилось, что он такой умный, знает кучу вещей, о которых я понятия не имела, и ум его тоже казался мне длинным, как хвост. А у меня никакого хвоста нет. Я глупая и бедная.

Вначале, когда я познакомилась с пеликаном, у меня были всякие некрасивые и совсем не сентиментальные мысли. Я думала: «Вот теперь я высосу этого дядю, как яичко. Растрянжирю его денежки. Отобью его у этой кретинки Ады. Влезу к нему в дом с ребенком, и никто меня оттуда не вышибет». Я была холодная, спокойная, веселая. А потом мало-помалу где-то внутри у меня родилась большая тоска. Этой тоской я заразилась от него, как болезнью. Я ее в костях чувствовала, даже когда спала. И никак мне не удавалось от нее избавиться. Но он-то от своей тоски делается только умнее, а я с этой тоской, наоборот, еще больше поглупела. Потому что тоска не на всех одинаково действует.

Вот тут я и поняла, что попала в ловушку. До смерти в него влюбилась, а ему на меня было наплевать. Я ему до смерти надоела. Но у него не хватало духу выставить меня – просто из жалости. Мне его тоже было ужасно жалко. И так тяжело было жить в этой жалости – и ему и мне.

Знаешь, а ведь ему и на Аду всегда было наплевать. Только она крепкая, сильная, оптимистка, вечно чем-нибудь занята и совсем не прилипчивая. А я, наоборот, прилипчивая и потому стала для него обузой. Он жил в своей тоске, а меня в нее никогда бы не впустил, мне там места не было. Это «никогда» казалось мне страшным. Вот я и ушла.

Когда я вчера вечером заявила к Амелии, она жутко перепугалась. Она обо мне ничего не знала, три года меня не видела. Я ей ни разу даже открыточки не прислала. Она и не знала, что у меня есть ребенок. Смотрела на ребенка, на шубу и ничего не понимала. Я ей сказала, что у меня ребенок от человека, который меня бросил. Попросилась у нее переночевать. Она вытащила из шкафа матрас. Я сказала, что хочу есть, и она сделала мне на ужин яичницу из одного яйца и дала тарелку фасоли. Я поняла, что ей меня жалко, поэтому она и позволила мне остаться. В жизни всегда так: одни жалеют других.

Днем Амелия ходит готовить к моим двоюродным. Их там целая куча, и приходится много стряпать. Я просила ничего им про меня не говорить, но она тут же им рассказала, что я приехала и поселилась у нее. Поэтому ко мне заявились две кузины с моим братом – тем мальчиком двенадцати лет, который живет у них и уже помогает в лавке. Я очень люблю своего братика. Но он, видно, меня даже не помнит. Поздоровался очень холодно. И к ребенку не подошел, не порадовался на него. Как, впрочем, и мои кузины. Они, наверно, на кошку и то обратили бы больше внимания. Что их интересовало, так это шуба, которую я повесила на стул. Они сказали, что если ее продать, то я смогу прожить на эти деньги несколько лет. Я смекнула, что они целятся купить ее у меня. И ответила, что пока не собираюсь ее продавать. Я как-то уже привязалась к своей шубе – помню день, когда мы с пеликаном, держась за руки, отправились ее покупать, и он тогда был вроде бы даже рад идти со мной по улице. Может быть, он уже подумывал о том, что я прилипчивая и обременяю его, но я-то еще не замечала, что он так думает.

Если пеликан спросит мой адрес, ты ему можешь его дать. Целую тебя.

Мара

27

2 апреля 71

Дорогая Мара!

Анджелика пришла за твоим кимоно. Мы долго искали, потому что в ящике комода его не было, и наконец нашли в моем кабинете под грудой газет. Оно все пропылилось, и, наверно, надо было попросить Белинду постирать его, но мне не хотелось напоминать про тебя Белинде. Она в то же утро, как только ты уехала, уничтожила все следы твоего пребывания здесь. Выкинула твои кремы, оставшиеся в ванной, и все банки с молочной смесью, которую ты давала ребенку. Я сказал, что не нахожу ничего плохого в молочных смесях, а она ответила, что эти банки дрянного качества. Анджелика отряхнула рукой твое кимоно, сказав, что и так сойдет.

Посылаю тебе денег, потому что, думаю, они тебе нужны. Анджелика сейчас пошла на пьядца

Сан-Сильвестро, чтобы отправить тебе кимоно и телеграфный перевод.

Я глубоко признателен тебе за то, что ты ушла. Действительно, у меня было такое горячее желание, а ты это поняла, вероятно, потому, что я вел себя так, чтоб до тебя дошло. То, что я пишу, возможно, покажется тебе бессмысленной жестокостью. Согласен, это жестоко, но не бессмысленно. Потому что если ты где-то в глубине души питаешь надежду вернуться, то знай – тебе надо оставить ее навсегда. Я с тобой жить не могу. Вероятно, я ни с кем не могу жить вместе. Я ошибочно полагал – и невольно ввел в это заблуждение тебя, – будто между мной и тобой возможна длительная связь. Впрочем, я тебя не звал – ты пришла сама. Но при совместной жизни наша и без того непрочная связь сразу оборвалась. Однако я перед тобой виноват и этой вины с себя не снимаю. Она только увеличила груз моих провинностей перед жизнью, и так уже достаточно тяжкий. Мне очень тебя жаль, потому у меня и не хватало смелости просить тебя уйти. Ты скажешь, что я трус. Действительно, пожалуй, более точного слова для меня не найдешь. По отношению к тебе, да и к себе самому, я испытываю мрачную жалость труса; когда я в тот вечер вернулся домой и прочел твою записку, мне стало тебя недоставать, и я уселся в кресло с ощущением пустоты. Но, не скрою, к этому ощущению примешивалось глубокое, радостное облегчение, – пожалуй, будет справедливо, если ты узнаешь, что я чувствовал. Короче говоря, я не мог больше тебя выносить.

Желаю тебе всяческих благ и счастья, если оно вообще существует. Я в это не верю, но другие верят, – кто знает, может, они и правы.

Пеликан

28

Лидс, 27 марта 71

Дорогая Анджелика!

Я получил письмо от Мары. Сходи к ней, подбодри ее. У нее куча неприятностей. Этому издателю, с которым она живет, видно, мало одного преступления – я имею в виду публикацию романа «Полента и отрава», – так он еще заразил Мару комплексами и меланхолией.

Может быть, я приеду на пасхальные каникулы, но пока в этом не уверен. Иногда я тоскую по вам, по всем, о ком привык говорить «мои», хотя вы несколько не мои, а я несколько не ваш. Но если я приеду, то наверняка буду ощущать на себе ваши пристальные взгляды. А в данный момент мне не хочется ощущать ваши взгляды. Не говоря уже о том, что поскольку я приеду с женой, то вы и ее будете изучать, стараясь выяснить, какого рода отношения у меня с женой. Этого я также не смогу вынести.

А еще я очень скучаю по моим друзьям – Джанни, Ансельмо, Оливьеро и всем остальным. Здесь у меня друзей нет. Тоскую и по некоторым римским кварталам. А к иным кварталам и иным друзьям у меня хоть и есть ностальгия, но смешанная с отвращением. Когда же к ностальгии примешивается отвращение, то ты как бы видишь любимые места и людей в далекой дали, и дороги, ведущие к ним, кажутся разбитыми и непроходимыми.

Иногда ностальгия и отвращение так тесно переплетаются во мне и это чувство так сильно, что тревожит меня даже во сне, и тогда я просыпаюсь, сбрасываю одеяло и закуриваю. Эйлин, тут же забирает свою подушку и уходит спать в детскую. Она говорит, что имеет право спокойно поспать. Говорит, что каждый должен сам справляться со своими наваждениями. И

тут она права, надо отдать ей должное.

Не знаю, зачем я пишу тебе все это. Но я сейчас готов говорить хоть со стулом. С Эйлин я поговорить не могу, во-первых, потому, что сегодня суббота и она сейчас готовит обед на всю неделю, а во-вторых, она не любит сидеть и слушать чужую болтовню. Эйлин очень умна, но я обнаружил, что весь ее ум мне совершенно ни к чему, потому что он направлен на вещи, которые меня не касаются, как, например, ядерная физика. Пожалуй, я все-таки предпочел бы глупую жену, которая выслушивала бы меня тупо и терпеливо. В данный момент я бы не прочь, чтобы под боком была Мара. Долго я бы ее не вытерпел, потому что и с ней мне покоя не было бы: выслушав, она обрушила бы на меня все свои невзгоды и прилипла бы ко мне как тянучка. Иметь такую жену я, конечно, тоже не хотел бы. Но вот именно сейчас, в данный момент, я бы не прочь, если б она была здесь.

Целую тебя.

Микеле

29

2 апреля 71

Дорогой Микеле!

Только что получила твое письмо. Оно меня встревожило. Сразу видно, что ты очень несчастлив.

Может быть, мне и не стоит так все драматизировать. Может быть, надо было бы сказать себе, что ты просто слегка поссорился с женой и чувствуешь себя одиноким. И хотелось бы так легко отнестись к твоему письму, да не получается. Оно меня испугало.

Я могла бы и сама приехать к тебе, если не приедешь ты. Правда, это нелегко, я не знаю, как оставить девочку и Оресте, а потом, у меня нет денег, но это не проблема – попрошу у мамы. Мама чувствует себя неважно, у нее до сих пор временами повышается температура, и, конечно, я не стану говорить ей, что получила от тебя письмо, которое меня напугало. Если я решусь к тебе поехать и попрошу у нее денег, то скажу, что ты не можешь приехать из-за работы и я надумала сама навестить тебя.

Ты пишешь, что не хотел бы в данный момент ощущать на себе взгляды людей, которые тебя любят. Действительно, когда переживаешь трудные минуты, трудно выносить взгляды любящих тебя людей, но эту трудность легко преодолеть. Глаза любящих и судящих нас людей могут быть необычайно ясными, сострадательными и суровыми, и для нас, быть может, тяжело, но в итоге спасительно и благотворно встретиться с ясностью, суровостью и состраданием.

Твоя подруга Мара ушла от Коларозы и уехала из Рима. Она написала мне из Нови-Лигуре, где живет в доме служанки своих двоюродных сестер. Она в отчаянном положении, ей некуда деться, у нее совсем ничего нет, кроме черного кимоно с подсолнухами, норковой шубы и ребенка. Но у меня такое впечатление, что все мы до тонкости владем искусством попадать в отчаянные положения, которых никто не может изменить и из которых нет выхода ни вперед, ни назад.

Напиши хоть строчку о том, можно ли мне приехать. Я не хочу приезжать, если мысль увидеться со мной для тебя нестерпима.

Анджелика

30

Лидс, 5 апреля 71

Дорогая Анджелика!

Не приезжай. Должны прибыть из Бостона родственники Эйлин. У нас только одна комната для гостей. Потом мы, может быть, все поедем в Брюгге. Я не знаю Брюгге.

Этих родственников Эйлин я тоже никогда не видел. Бывают периоды, когда хорошо себя чувствуешь лишь с незнакомыми людьми.

Не строй никаких предположений на мой счет. Все они, так или иначе, будут ошибочными, поскольку ты не знаешь кое-каких существенных деталей. Я был бы рад повидать тебя, но – до другого раза.

Микеле

31

8 апреля 71

Дорогой Микеле!

Только что получила твое письмо. Признаться, я уже сложила чемодан в дорогу. Деньги я попросила не у мамы, а у Освальдо. Против обыкновения они у него были, так что не пришлось прибегать к помощи Ады.

Меня насмешила фраза в твоём письме: «Я не знаю Брюгге», словно Брюгге – единственная вещь в мире, которой ты не знаешь.

Я хотела повидать тебя, чтобы поговорить не только о тебе, но и о себе. Я тоже переживаю трудный момент.

Но, как ты говоришь, до другого раза.

Анджелика

32

9 апреля 71

Дорогой Микеле!

Анджелика сказала мне, что ты на пасхальные каникулы не приедешь. Что ж делать,

придется потерпеть. Теперь всякий раз, думая о тебе, я вынуждена повторять эти слова. Правда, с годами запас нашего терпения все возрастает. Это единственный возрастающий наш запас. Все остальные постепенно истощаются.

Я привела в порядок две комнаты на втором этаже. Застелила постели и повесила полотенца в ванной комнате. Ванная наверху – самая лучшая в доме, облицована зеленым узорчатым кафелем, и, глядя на эти замысловатые узоры, я радовалась, что смогу показать их твоей жене. Комнаты так и стоят полностью убранные, с готовыми постелями. Я туда больше не заходила. Скажу Клотти, чтоб поднялась и разобрала постели.

Приготавливая эти две комнаты, я думала, что твоей жене там будет удобно и она отметит, что я умею содержать дом в порядке. Но это были глупые мысли, ведь я совсем не знаю твоей жены, не знаю, когда и где ей удобно, не знаю, такой ли она человек, кому нравятся дома, которые содержатся в порядке, и люди, которые этот порядок поддерживают.

Анджелика сказала мне, что ты едешь в Брюгге. Я не спрашиваю себя, что ты собираешься делать в Брюгге: ведь я уже перестала задаваться вопросом, что ты намерен делать там или здесь. Я пытаюсь представить твою жизнь в разных местах, но в то же время чувствую, что твоя жизнь не такая, какой я ее себе представляю, и оттого моя фантазия становится все более вялой и незамысловатой.

Я хотела бы, когда окрепну, навестить тебя вместе с Анджеликой, если, конечно, это доставит тебе удовольствие. У вас в доме мы не поселимся, потому что я не хочу обременять твою жену, у которой, я думаю, и без того много дел. Мы остановимся в гостинице. Я, правда, не люблю путешествовать, не люблю гостиниц. Но все-таки предпочитаю гостиницу, чем ощущение, что я кого-то обременяю, занимая место в маленьком доме: живете вы в маленьком доме – одно из немногих сведений, которые я о вас имею. Сейчас я выехать не могу, потому что еще не совсем оправилась от этого плеврита, то есть плеврита у меня уже нет, но врач пока велит беречься. Он еще нашел у меня какой-то непорядок в сердце. Ты объясни своей жене, что в доме у меня порядок, а в сердце – нет. Расскажи ей, какая я, чтобы она, когда меня увидит, смогла сопоставить мой настоящий облик с твоим описанием. Одно из редких удовольствий нашей жизни – сопоставлять описания других со своими собственными представлениями, а потом – с реальностью.

Я часто думаю о твоей жене и пытаюсь ее себе вообразить, хоть ты и не потрудишься описать ее, а фотография, которую ты прислал, когда сообщил, что женишься, маленькая и нечеткая. Я часто смотрю на нее, но не могу ничего разглядеть, кроме длинного черного плаща и косынки на голове.

Ты мне совсем не пишешь, но я рада, что ты пишешь Анджелике. Думаю, это вполне естественно, что ты делишься с ней, ведь к Анджелике ты ближе, чем ко мне. Может быть, я обольщаюсь, но мне кажется, что через нее ты косвенно делишься и со мной. Анджелика очень умна, по-моему, она умнее вас всех, хотя судить об уме собственных детей дело нелегкое.

Иногда у меня возникает ощущение, что она несчастлива. Но Анджелика со мной очень скрытничает. Не потому, что она меня не любит, а просто, видимо, не хочет волновать. Странно, у Анджелики ко мне материнские чувства. Когда я расспрашиваю ее о ней самой, то она всегда отвечает как-то холодно и безмятежно. В результате я об Анджелике знаю довольно мало. Когда мы вместе, то говорим не о ней, а обо мне. Я всегда охотно говорю о себе, потому что очень одинока, и тем не менее рассказывать мне особенно нечего. То есть нечего рассказать о моей теперешней жизни. С тех пор как я нездорова, мои дни текут монотоннее, чем когда-либо. Выхожу я мало, за руль сажусь редко, часами просиживаю в кресле, смотрю, как Матильда занимается йогой, как Матильда раскладывает пасьянс, как Матильда отстукивает на машинке свою новую книгу, как Матильда вяжет себе берет из

остатков шерсти.

Виола сердится на тебя за то, что ты ей ни разу даже открытки не прислал. К твоей свадьбе она купила красивое серебряное блюдо и собиралась подарить его тебе, когда вы приедете. Прошу тебя, напиши Виоле и поблагодари ее, потому что блюдо очень красивое. Напиши и близняшкам, которые тебя ждали и приготовили подарки для детей Эйлин: складной нож и шатер, чтобы играть в индейцев. И конечно, я прошу тебя написать также и мне.

Вчера Освальдо уехал в Умбрию с Элизабеттой и Адой. Поэтому в предстоящую неделю не будет наносить нам ежевечерних визитов. Я уже привыкла, что он появляется здесь по вечерам. Привыкла в течение нескольких часов видеть перед собой его румяное лицо, его широкую квадратную голову с редкими, аккуратно приглаженными волосами. Он, наверно, тоже привык проводить вечера у нас в доме, играть в пинг-понг с девочками и читать вслух Пруста мне и Матильде. Если он не приезжает сюда, то навещает Анджелику и Оресте, где делает примерно то же самое с небольшими вариациями, например читает девочке «Паперино»[25] и играет в лото с Оресте и супругами Беттой. Оресте считает его приятным, но ничтожным человеком. Беттой считают его ничтожным, но приятным. Действительно, его нельзя назвать неприятным. Считать его ничтожным, по-моему, неверно, ведь от ничтожества ждать нечего, а от Освальдо, напротив, ждешь, что он вдруг раскроется и явит людям смысл своего существования. На мой взгляд, он умен, но как будто прячет свой ум где-то за пазухой, под пуловером, или же за своей улыбкой, старается не выказывать его по одному ему ведомым мотивам. Несмотря на его улыбку, мне он кажется чрезвычайно грустным человеком. Может быть, поэтому я так привыкла к его обществу. Я люблю грусть. Люблю еще больше, чем ум.

Вы с Освальдо были друзьями, а я очень редко имела удовольствие познакомиться с кем-нибудь из твоих друзей. Поэтому я иногда расспрашиваю его о тебе. Но его ответы на мои вопросы столь же холодны и безмятежны, как и у Анджелики, когда я спрашиваю, все ли у нее в порядке и счастлива ли она. У меня впечатление, что и Освальдо не хочет меня волновать. В его отсутствие я, бывает, злюсь на него, вспоминая этот спокойный голос, эти ответы, такие безмятежные и уклончивые. Но когда он здесь, я сижу смиренно и проглатываю его молчание и его уклончивые ответы. С годами ко мне пришло какое-то благодущие и смирение.

Недавно я вспомнила, как ты однажды приехал сюда и, едва войдя, стал шарить по всем шкафам в поисках сардинского ковра, который тебе хотелось повесить на стене в твоём подвальчике. Должно быть, я тогда видела тебя в последний раз. Это было всего несколько дней спустя после того, как я переехала в этот дом. В ноябре. Ты бродил по комнатам и шарил во всех шкафах, только-только расставленных по местам, а я ходила за тобой следом, жалуясь, что ты вечно утаскиваешь мои вещи. Этот сардинский коврик ты, видимо, все же нашел и взял с собой, потому что в доме его нет. Но его нет и в подвальчике. Мне этот ковер и тогда и теперь был совершенно не нужен. Я вспоминаю о нем потому, что ему обязана моей последней встречей с тобой. Я помню, что тогда, сердясь и протестуя, испытывала огромную радость. Я знала, что мои протесты тебя раздражают и вместе с тем забавляют. Теперь я думаю, что это был один из моих счастливых дней. К сожалению, переживая счастливые моменты, мы редко отдаем себе в том отчет. Мы осознаем это обычно лишь по прошествии времени. Для меня счастьем было протестовать, а для тебя – шарить по моим шкафам. Но все же я должна сказать, что в тот день мы потеряли драгоценное время. А ведь могли бы сесть, порасспросить друг друга о важных вещах. Быть может, мы не испытали бы такого счастья, даже, вероятно, почувствовали бы себя очень несчастными. Но зато я теперь вспоминала бы этот день не как смутно счастливый, а как искренний, важный для нас обоих день, когда мы узнали бы друг в друге человека, – мы, которые до этого обменивались лишь словами второго сорта, не ясными и необходимыми, а серыми, благодущными, обтекаемыми и бесполезными.



Целую тебя.

Твоя мать

33

Лидс, 30 апреля 71

Дорогая Анджелика!

Я – приятель Эйлин и Микеле. С Микеле я познакомился в киноклубе. Несколько раз он приглашал меня к себе домой поужинать. Так я познакомился и с Эйлин.

Я итальянец, студент, в Лидсе на стажировке.

Твой адрес мне дал Микеле. Он сказал, чтоб я навестил тебя, если вернусь в Италию летом.

Пишу, чтоб сообщить тебе, что твой брат оставил жену и уехал неизвестно куда. Жена его тебе не пишет, во-первых, потому, что почти не знает итальянского, а во-вторых, потому, что она в очень подавленном состоянии. Мне ее очень жаль, хоть я и не вправе осуждать Микеле, да и его мне было жаль, когда я заходил к нему в тот неимоверно грязный пансион, куда он перебрался.

Эйлин просила меня известить вас об уходе Микеле, во-первых, потому, что она не знает, сообщил ли он вам о том, что их брак распался, во-вторых, потому, что Микеле уехал, не оставив адреса, а в-третьих, потому, что он оставил после себя много долгов. Она эти долги платить не намерена и просит, чтоб их заплатили вы. Микеле задолжал триста фунтов. Эйлин просит выслать ей эти триста фунтов по возможности немедленно.

Эрманно Джустиньяни

Линкольн-роуд, 4, Лидс

34

3

мая 71

Дорогой Эрманно Джустиньяни!

Скажи Эйлин, что мы посылаем ей эти деньги через нашего родственника Лиллино Борги, который на этих днях прибудет в Англию.

Если вы тем временем узнаете, где сейчас Микеле, то, пожалуйста, немедленно сообщите мне об этом. Мы от него известий больше не имели. Он писал мне, что, быть может, поедет в Брюгге, но я не знаю, поехал ли он туда или еще куда-нибудь.

Он писал, что у него нет друзей в Лидсе, но, вероятно, это было до того, как вы встретились в киноклубе. А может быть, он солгал, как наверняка лгал по всяким другим поводам; учитывая

эти умолчания и возможную ложь, я с трудом ориентируюсь в его жизни. Но, конечно, и я его не осуждаю, поскольку для этого я не знаю кое-каких существенных деталей. Я могу огорчаться из-за его лжи и скрытности, но бывают роковые обстоятельства, вынуждающие нас к этому даже против нашей воли.

Я не пишу самой Эйлин, поскольку тоже плохо знаю английский да к тому же не знаю, что ей сказать, кроме того, что очень огорчена за нее, но это, думаю, можешь передать ей и ты.

Анджелика Виванти Де Риги

35

Трапани, 15 мая 71

Дорогой Микеле!

Не удивляйся, что пишу тебе из Трапани. Я попала в Трапани. Не знаю, рассказывала ли я тебе, что в одном пансионе на пьяцца Аннибальяно, который назывался пансион «Пьяве», я подружилась с одной синьорой, которая была очень любезна ко мне. Однажды она мне сказала, что могла бы приютить меня с ребенком в Трапани. Потом я ее совершенно потеряла из виду и забыла ее фамилию. Помнила только имя. Ее звали Лиллия. Она толстенькая, вся голова в кудряшках. Из Нови-Лигуре я написала в пансион «Пьяве» горничной по имени Винченца – я тоже помнила только ее имя. Описала ей эту кудрявую, толстенькую, с маленьким ребенком. Горничная дала мне адрес кудрявой в Трапани, где ее муж открыл столовую. Я написала кудрявой, но ответа ждать не стала, а сразу поехала. Теперь я здесь. Муж кудрявой отнесся ко мне без восторга, но сама она сказала, что я буду помогать ей по дому. Я встаю в семь утра и отношу кофе кудрявой, которая читает, лежа в постели. Потом я занимаюсь детьми – моим и ее, – хожу за покупками, прибираю квартиру и застилаю постели. Кудрявая приносит что-нибудь из столовой, обычно лазанье[26], потому что она очень их любит. А вот мне эти лазанье и вообще все блюда из их столовой не очень-то по вкусу. Кудрявая терпеть не может этот город. Называет его дырой. Да и дела в столовой идут скверно. Им нужно платить по векселям. Я предложила вести счета, но муж кудрявой сказал, что я для этого не гожусь, наверно, он прав. Кудрявая часто рыдает у меня на плече. А я не могу ее утешить, потому что мне и самой невесело. Правда, ребенку здесь хорошо. Я после обеда вожу его вместе с другим ребенком в скверик. У кудрявой есть коляска, в которой они помещаются вдвоем. В скверике я болтаю с разными встречными и вру им напропалую. Когда настроение паршивое, с незнакомыми общаться самое милое дело. По крайней мере им можно наврать.

Кудрявая для меня теперь уже не чужая. Я изучила каждую ее черточку, знаю все ее платья, белье, бигуди, которые она накручивает, чтоб получились эти кудряшки; вижу, как она каждый день уплетает лазанье, перемазывая себе томатным соусом весь рот. Да и я теперь ей не чужая. Иной раз она мне грубит, а я тоже в долгу не остаюсь. Небылицы я ей больше не плету, потому что несколько раз уже выложила всю правду, плача у нее на плече. Рассказала, что я одна на всем свете и отовсюду меня выперли под зад коленом.

Ребенок у кудрявой в семь месяцев весит девять кило, а мой – только семь кило двести, но детский врач в Нови-Лигуре сказал мне, что дети не должны быть чересчур толстыми. И потом, мой красивее и румянее, и, должна тебе сказать, у него теперь волосики вьющиеся и светлые, не совсем рыжие, как у тебя, но белокурые с рыжинкой, и глазки не сказать чтоб зеленые, а серые, но, пожалуй, отливают зеленым. Когда он смеется, иной раз напоминает мне тебя, но когда спит, то нисколечко с тобой не схож, а смахивает только на моего дедушку

Густаво. Кудрявая говорит, что можно определить, твой ли он, сделав анализ крови, но и это не на сто процентов: пока еще не нашли безошибочного способа, чтоб узнать, чей ребенок. Да и какое это имеет значение – тебе наплевать, мне тоже не больно интересно. Те двенадцать ползунков, которые ты мне прислал от своей жены, по правде говоря, оченьгодились, сперва я ими пренебрегала, а теперь они хорошо служат, иногда я надеваю их и на ребенка кудрявой, когда нечем сменить.

Вообще-то я здесь за служанку. Мне не очень-то нравится прислуживать, думаю, это никому не по нутру. Вечером с ног валюсь. Моя комната за кухней. Духота жуткая. Платить они мне не платят, говорят, что я у них как бы член семьи, так что время от времени дадут каких-нибудь пять тысяч, когда вспомнят, но с тех пор, как я здесь, они об этом вспомнили только два раза. Правда, они и сами в трудном положении.

Шубу свою я повесила в шкаф кудрявой, в пластиковый мешок, и кудрявая то и дело расстегивает на мешке молнию и поглаживает рукав. Она говорит, что охотно бы купила ее, но я не хочу продавать – боюсь, что она мне заплатит мало, а то и совсем ничего. Я думала вообще не продавать ее, а сохранить на память о нашей жизни с пеликаном, но потом решила, что все-таки продам, я ведь не сентиментальна. Порой на меня накатывает сентиментальность, но ненадолго. Все чувства с меня слетают, и я снова стою обеими ногами на земле. А вот Освальдо говорит, что я вовсе не стою на земле, а витаю в облаках, может, оно и так, иначе бы я не получала все время под зад коленом.

С Освальдо я виделась в середине апреля, когда останавливалась в Риме по дороге сюда. Я пошла в его лавочку, и там была синьора Перони, которая очень обрадовалась нам с ребенком, а потом появился и Освальдо. Я спрашивала у него о тебе, но он ничего не знал, так как только что вернулся после поездки в Умбрию – с Адой, разумеется. Он повез меня на вокзал в своей малолитражке. Про пеликана он сказал, что тот поселился у себя на вилле в Кьянти, а свое издательство, скорей всего, закроет, так как оно ему надоело. Ада иногда навещает его в Кьянти. Но мне теперь до пеликана дела нет, и дни, когда я обливалась из-за него слезами, кажутся мне теперь такими далекими. Важно идти вперед и уходить от вещей, которые заставляют тебя плакать. Освальдо предсказал, что мне в Трапани придется плохо, что меня превратят в служанку, как на самом деле и вышло. Но я ему сказала, что помаленьку устроюсь где-нибудь, может, найду работу вроде той, что у меня была в издательстве до того, как пеликан перетащил меня в свой аттик. По правде говоря, он-то меня не тащил, я сама на него свалилась. Впрочем, Освальдо мне ничего не предлагал, только посоветовал не ехать в Трапани, хорошенький совет, как будто я без него не знала, что в этом городишке буду помирать с тоски по вечерам, но достаточно не смотреть в окно, забраться в постель и с головой укрыться простыней.

Освальдо проводил меня и дождался отхода поезда. Сидел со мной в купе, купил мне бутерброды и журналы. Дал денег. Я оставила ему свой адрес в Трапани, на случай если ему взбредет в голову навестить меня. Потом мы обнялись и поцеловались, и после этого поцелуя я поняла, что он самый настоящий педик, раньше у меня были сомнения, но там, на вокзале, все они рассеялись.

В конце письма прилагаю адрес. Не знаю, как долго я здесь пробуду, поскольку кудрявая хоть и «взяла меня в долю», но частенько говорит, что не может позволить себе такую роскошь. То так говорит, а другой раз обнимет и скажет, что без меня бы она пропала. Мне кудрявую жалко. Но в то же время я ее ненавижу. Всегда так: стоит узнать человека поближе, сразу начинаешь его жалеть. Потому-то мы лучше чувствуем себя с незнакомыми. С ними не настал еще момент, когда начинаешь жалеть и ненавидеть.

Я думаю, что в августе здесь сдохнешь от жары. Пишу тебе в своей комнате. Это каморка с одним окном, а чтоб его открыть, надо влезть на кровать. Уже сейчас духота. Внизу под нами – столовая, и мне от одной этой мысли становится душно. Пишу тебе, сидя на кровати, а

рядом со мной – куча неглаженного белья, но, как ты понимаешь, гладить я сейчас не собираюсь.

Пишу тебе на твой обычный адрес в Лидсе. Сколько раз я спрашивала себя, как ты там живешь со своей женой в этом английском городе. Наверно, твоя жизнь все же лучше той, какая выпала мне. Здесь не на ком взгляд остановить. Иной раз я думаю, куда ж подевались люди, которые были бы мне интересны и которые интересовались бы мной.

Целую тебя.

Мара

Виа Гарibaldi, 14, Трапани

36

4 июня 71

Дорогая Мара!

Пишу, чтобы сообщить Вам горестную весть. Мой брат Микеле погиб в Брюгге во время студенческой демонстрации. Явилась полиция и разогнала их. Микеле преследовала группа фашистов, и один из них ударил его ножом. Должно быть, они его знали. Улица была пуста. С Микеле был его приятель, он позвонил в «скорую помощь». Микеле остался лежать на тротуаре. На этой улице одни склады, а в это время, в десять вечера, они были закрыты. В одиннадцать Микеле умер в больнице. Этот его друг позвонил моей сестре Анджелике. Сестра, ее муж и Освальдо Вентура ездили в Брюгге. Они привезли его в Италию. Вчера Микеле похоронили в Риме, рядом с нашим отцом, умершим в декабре, как Вы, может быть, помните.

Освальдо сказал, чтобы Вам написала я. Он слишком потрясен. Я тоже потрясена, как Вы можете себе представить, но стараюсь держаться. Сообщение было напечатано во всех газетах, но Освальдо сказал, что Вы, конечно, газет не читаете.

Я знаю, Вы любили моего брата. Знаю, что Вы с ним переписывались. Мы с Вами познакомились на вечеринке в день рождения Микеле в прошлом году. Я Вас очень хорошо помню. Мы считали своим долгом сообщить Вам о нашей огромной потере.

Виола

37

12 июня 71

Дорогая Мара!

Я знаю, что Виола написала тебе. Сейчас мы с дочкой гостим у моей матери. Я должна быть с ней рядом, чтобы вместе провести те застывшие дни, которые обычно следуют за большим несчастьем. Это застывшие дни, хотя мы и заполняем их делами: пишем письма, смотрим фотографии. Это дни молчания, хотя мы изо всех сил пытаемся говорить, заботиться о

живых, понемногу собираем воспоминания, по большей части самые отдаленные и безобидные, немного отвлекаемся текущими мелочами и даже подчас громко говорим и громко смеемся, чтобы увериться, что мы не потеряли способности думать о настоящем, громко говорить и смеяться. Но как только замолкаем, сейчас же слышим свое молчание. Часто заходит Освальдо, никак не нарушая ни нашего молчания, ни нашей застылости. Поэтому его посещения нам приятны.

Хотелось бы знать, не получала ли ты в последнее время писем от Микеле. Нам он давно не писал. Тех, кто его убил, не нашли, парень, который их видел, смог дать только неясные и сбивчивые показания. Я думаю, что в Брюгге Микеле снова сблизился с политическими группировками, и те, кто его убили, наверно, имели на то определенные причины. Но все это предположения. На самом же деле мы ничего не знаем, а то, что нам еще удастся узнать, тоже будет лишь предположениями, и мы никогда не найдем в них ясного ответа.

Есть вещи, о которых нет сил думать, я, например, не могу думать о тех минутах, когда Микеле остался лежать один на той улице. А еще не могу думать о том, что, когда он умирал, я спокойно сидела дома, занималась всегдашними вечерними делами, мыла посуду, стирала Флорины колготки, прищипливала их двумя прищепками на балконе вплоть до той минуты, как зазвонил телефон. Не могу думать и обо всем, что я делала в предыдущий день, потому что все исподволь подводило к тому телефонному звонку. Мой номер телефона Микеле сказал тому парню в момент, когда пришел в сознание, но потом сразу умер, и это для меня ужасно, что он вспомнил мой номер, когда умирал. Я ничего не могла понять по телефону, потому что говорили по-немецки, а я немецкого не знаю, я позвала Оресте, он знает немецкий. Потом Оресте все сделал сам: отвел девочку к нашим друзьям Беттойя, позвонил Освальдо, позвонил Виоле. К матери поехала Виола. Я хотела сказать ей сама, но хотела и ехать в Брюгге, и в конце концов решила ехать, потому что хотела проститься с Микеле и еще раз увидеть его рыжие кудри – я их всегда любила.

Мы простились с Микеле в больничной часовне. Потом, в пансионе, нам дали его чемодан, пальто и его красный свитер. Они лежали на стуле в его комнате. Когда он погиб, на нем были джинсы и белая бумажная блуза с головой тигра.

Блузу и джинсы в пятнах крови нам показали в полиции. В чемодане было немного белья, пачка раскрошившегося печенья и расписание поездов. Мы ходили на ту улицу, где его убили. Это узкая улица, по обеим сторонам – бетонные склады. В этот час на улице был гомон, полно грузовиков. С нами ходил тот приятель, который был с Микеле в день гибели. Это датчанин, ему семнадцать лет. Он показал нам пивную, где они с Микеле завтракали утром, и кино, куда они пошли потом. С Микеле он был знаком три дня. Нам не удалось узнать от него, были ли у Микеле еще друзья и с кем он общался. Поэтому пансион, пивная и кино – единственное, что мы знаем о пребывании его в этом городе.

Напиши мне о себе и о своем ребенке. Мне случается иной раз думать о нем, потому что Микеле сказал мне, что этот ребенок мог быть и от него. Когда я его видела, я не нашла сходства с Микеле, но не исключено, что, быть может, это все-таки его ребенок. Я, однако, думаю, что мы должны позаботиться о твоём ребенке независимо от того, чей он. Мы – это я, моя мать и мои сестры. Не знаю, почему у меня такое чувство, не все, что мы считаем себя обязанными или не обязанными делать, имеет объяснение. Потому мы постараемся время от времени посылать тебе деньги. Конечно, деньги не разрешат твоих проблем, потому что ты одинокая, потерянная, бездомная и бестолковая. Но у каждого из нас есть предел, где мы ощущаем себя потерянными и бестолковыми, и временами нас неудержимо тянет скитаться и упиваться собственным одиночеством, потому каждый из нас, попав в этот предел, может тебя понять.

Анджелика

Трапани, 18 июня 71

Дорогая синьора Анджелика!

Я подруга Мары и пишу Вам, потому что Мара слишком потрясена, чтобы писать. Мара просит меня выразить Вам соболезнование по случаю огромного несчастья, которое Вас постигло, и я присоединяю свое искреннее сочувствие. Мара настолько потрясена этим несчастьем, что два дня ничего не хотела есть. И это понятно, поскольку Ваш оплакиваемый брат Микеле был отцом милого ангелочка Паоло Микеле, этого обожаемого создания, который в данный момент играет в манежике на балконе вместе с моим младенцем, и во имя этих двух невинных душ я обращаюсь к Вам с просьбой не оставить Мару, которая сейчас живет у меня и помогает мне по хозяйству. Но я, видимо, не смогу долго держать у себя милого ангелочка и маму, потому что это не пустячная материальная обуза и еще потому, что хотя Мара мне как сестра, но я, по правде говоря, нуждаюсь в настоящей помощи по дому, а у Мары слишком много горестей, чтобы посвятить себя домашним хлопотам, которые требуют терпения, прилежания и охоты. И все же ни у меня, ни у моего мужа не хватает духу выбросить их на улицу. Поэтому я прошу всех вас взять на себя заботу об этой девушке, претерпевшей безвременные испытания, и о маленьком невинном сиротке, сыне Вашего брата, безвременно взятого небом. У меня масса своих неприятностей, проблем, материальных затруднений, я совершила благое дело, но не хочу лишать других возможности выполнить свой долг и в то же время свершить благой поступок.

С глубоким уважением и с верою, что мой призыв будет Вами услышан.

Лиллия Савио Лавиа

Позволю себе напомнить, что, взяв Мару к себе, Вы получите огромное утешение, созерцая черты дорогого усопшего в милом ангелочке, а это утешение, как благодатная роса, успокаивает сердца, погруженные в печаль, не ведающую утешения.

Варезе, 8 июля 71

Дорогая Анджелика!

Я в Варезе у дяди Освальдо. Тебе Освальдо, наверно, говорил, что кудрявая с мужем выставили меня из дома. Я очень благодарна за деньги, которые ты мне прислала, хотя, к сожалению, почти все эти деньги мне пришлось отдать кудрявой, потому что она сказала, что я разбила ей весь столовый сервиз, и это, по правде говоря, правда. В день, когда у них обедали родственники – целая дюжина, – я ткнулась в дверь столиком на колесиках, и почти все тарелки разлетелись по полу вдребезги.

Когда я узнала о смерти Микеле, я кинулась на постель с плачем и пролежала так почти весь день, а кудрявая приносила мне бульону, потому что кудрявая – она неплохая, когда не думает о порядке в доме и о зря потраченных деньгах. Потом я собралась с силами из любви к моему ребенку и постаралась жить, как всегда, а кудрявая делала мне укрепляющие уколы,

потому что я все равно была в жалком состоянии.

То твое письмо я кудрявой прочесть не дала, и все мои письма прятала в сапоги, но однажды захожу к себе в комнату и вижу кудрявую у комода, она покраснела и говорит, что ищет выжималку для лимонов, нет, говорю, я знаю, что ты шарить в моих вещах, и мы поссорились – в первый раз поссорились с криком и визгом, я оторвала у ней обложку от халата, а потом, когда пришел перевод от тебя, мы снова сцепились, и тут я поняла, что делать нечего, пошла, получила перевод и швырнула ей деньги в лицо, а она их взяла. Это было за несколько дней до того, как я от них ушла. К сожалению, в моей жизни все время получается так, что мои отношения с людьми рано или поздно портятся – не знаю, по моей или по их вине; вот так испортились у нас отношения с кудрявой, и хотя я понимаю, что все-таки должна быть ей благодарна, но пока что не могу вспоминать о ней спокойно и с признательностью.

Ты такая добрая, что послала мне эти деньги, поблагодари, пожалуйста, и мать, думаю, эти деньги для меня дала тебе она. Если ты хочешь посылать мне деньги, то спасибо, я их всегда приму, но хочу честно сказать тебе одну вещь. Я не думаю, чтобы мой ребенок был от Микеле. Он на него не похож. Иногда он похож на моего деда Густаво. Но временами напоминает Оливьеро, того парня, который часто бывал у Микеле и всегда носил серую майку с двумя зелеными полосками. Не знаю, помнишь ли ты этого Оливьеро. Я с ним спала три или четыре раза, и он мне совсем не нравился, а вот поди ж ты – скорей всего, это у меня вышло именно с ним. Ты так хорошо написала, что хоть я бестолковая и потерянная, но ты все же можешь меня понять. И пускай я бестолковая и потерянная, но я решила честно сказать тебе правду, потому что обманывать тебя не хочу. Других я, пожалуй, не прочь обмануть, но тебя – не хочу. Ты очень хорошо пишешь, что не все, что мы считаем себя обязанными или не обязанными делать, имеет объяснение. И это даже к лучшему, что не все имеет объяснение. Потому что если бы все можно было объяснить, то была бы тощища смертная.

Я еще не все тебе рассказала о том, какая со мной случилась неприятность. Кудрявая с мужем решили прокатиться в Катанию. Они поехали на три дня, но по дороге у него сломалась машина. Потому что вернулись раньше времени и, войдя в дом, застали меня с братом мужа в их же собственной супружеской постели. Это было в воскресенье в три часа дня.

Этот парень – брат мужа, стало быть, приходится кудрявой деверем. Ему было восемнадцать лет. Я говорю «было», потому что больше с ним уж не увижусь. Он тоже был на том обеде, когда я разбила тарелки, и помогал мне собирать осколки в мусорное ведро. А в то воскресенье я была дома одна, потому что, как я тебе сказала, кудрявая с мужем уехала в Катанию. Я после обеда укладывала детей в постель, своего и ихнего. Стояла жуткая жара. У этого Пеппино были ключи от дома, и я вдруг увидела его перед собой. Я не слышала, как открылась дверь, и испугалась. Пеппино был высокий парень с черными патлами. Он, когда помогал мне убирать разбитые тарелки, приударил за мной. Он немного походил на Оливьеро. Я задернула шторы в детской комнате, и мы пошли на кухню. Пеппино сказал, что хочет есть, и попросил макарон. У меня не было охоты готовить, и я наложила ему в тарелку лазанье. Он сказал, что ненавидит холодные лазанье из столовой, потому что знает, как их готовят – на пережаренном масле, слитом в графинчик, а рагу в них – из мяса, недоеденного клиентами. Тут мы стали поносить столовую, а заодно и кудрявую с мужем, слово за слово – и мы оказались в их постели, потому что у меня кровать маленькая; я его сначала привела к себе, но он сказал, что та, другая, кровать гораздо удобней. Мы позанимались любовью и тихонько лежали, обнявшись, в полусне и полутьме, как вдруг я увидела, что из двери высунулась голова кудрявой, а за ней – муж со своей лысой башкой, в черных очках. Пеппино живо напялил штаны, схватил майку, шляпу – по-моему, он доделался уже на лестнице – и поскакал бегом по ступенькам, оставив меня одну с этими двумя гадюками. Они велели мне убираться немедленно, я ответила, что подожду, пока проснется ребенок, но в это время оба

ребенка проснулись и подняли рев. Я пошла собирать вещи, но тут явилась кудрявая, стала плакать у меня на плече, она, мол, понимает, что я еще молода, но муж ничего не хочет понимать и больше всего бесится, что мы с его братом замарали их постель, и дом, и невинные детские души. Кудрявая приготовила мне молока для ребенка в пластмассовой бутылочке, я попросила у нее термос, но она не дала, потому что у нее остался только один – второй она мне одолжила еще в пансионе, но я его потеряла в своих скитаниях. Эта бутылочка, наверно, была немытая, потому молоко скисло, и вечером мне пришлось его вылить. Я сказала кудрявой, что уезжаю обратно в Рим, но на самом деле я не уехала, а отправилась к одной знакомой булочнице. Лавка была закрыта, но я позвонила с черного хода. Эта булочница сказала, что я могу у нее переночевать, но только одну ночь, и поставила мне под лестницей раскладушку, а ребенка я устроила в пластиковой сумке. Но ему там было жарко, у кудрявой он спал в старенькой кровати. Вечером я по телефону отловила Пеппино в столовой, Пеппино пришел, и мы с ним погуляли и занялись любовью на лугу у железной дороги. Я тем временем все думала, что мне на этого Пеппино наплевать, потому что с этими юнцами младше меня я ничего такого не чувствую, а влюбляюсь только в людей постарше, когда мне кажется, что у них много странных тайн и странной тоски, как у пеликана. Но с молодыми я развлекаюсь, мне весело и в то же время жалко их, они мне кажутся глупыми и бестолковыми, как я сама, то есть с ними все так, как будто я одна, только повеселее. Так было и с Микеле, мы хорошо повеселились, провели вместе столько замечательных часов, но это не имело ничего общего с настоящей любовью, а было похоже на то время, когда я девчонкой играла в мячик с другими детьми на улице перед домом. И вдруг я, лежа рядом с Пеппино, вспомнила о Микеле и поняла, что никогда больше не смогу подолгу быть веселой, потому что сразу начинаю думать и вспоминать о слишком многих вещах. А Пеппино решил, что я плачу оттого, что кудрявая меня выгнала, и стал меня утешать на свой манер, подражая кошачьему мурлыканью, которое у него здорово выходило. Но я продолжала хлюпать, думая о Микеле, которого убили на улице, и говорила себе, что и меня, наверно, тоже в конце концов убьют ночью где-нибудь в темном переулке, вдали от моего ребенка; тут я стала думать про ребенка, которого оставила у булочницы. И наконец сказала Пеппино, чтоб он перестал мурлыкать, потому что мне ничуть не смешно, а потом вдруг вспомнила о своей шубе, которую забыла взять в спешке и она осталась висеть в шкафу у кудрявой. На следующий день Пеппино пошел туда, открыл дверь своим ключом, взял шубу и принес ее мне в булочную. Сначала он не хотел идти, боясь столкнуться с ними на лестнице, но я его так упрашивала, что он согласился и никого не встретил. Шубу я продала подруге булочницы за четыреста тысяч лир, и на эти деньги устроилась в мотеле. Из мотеля позвонила Освальдо в Рим, в лавку, и он сказал, что подумает, куда бы меня пристроить, а потом сам позвонил и сказал, что я могу поехать к его дяде в Варезе. Этот пожилой синьор ищет человека, который ночевал бы у него в доме, чтоб ему не оставаться ночью одному. И вот теперь я здесь, на красивой вилле с садом, полным гортензий, скучаю, но живу хорошо, и ребенку хорошо. Этот дядюшка Освальдо довольно обходительный, может, педик, красивый, надушенный, в красивых пиджаках из черного бархата; он ничего не делает, когда-то торговал картинами, и на вилле полно картин. Но главное – он глух как пень и не слышит, когда ребенок плачет по ночам. Я живу в прекрасной комнате со штофными обоями в цветочек, никакого сравнения с той дырой в Трапани, а лучше всего то, что мне здесь почти ничего не приходится делать, только срезать гортензии и ставить их в вазы, а вечером варить яйца в мешочек, одно для этого дяди, другое – для себя. Вот только не знаю, смогу ли здесь остаться, потому что этот дядя говорит, что Ада, может быть, пришлет ему своего слугу, а если пришлет, то я ему больше не понадобится, вечно эта Ада мне поперек дороги становится, чтоб ей пусто было. Я бы здесь хоть на всю жизнь осталась, скуку я уж как-нибудь вытерплю, только вот иной раз мне страшно на этой одинокой вилле, раньше я никогда ничего не боялась, а теперь меня то и дело страх берет и горло сжимается, я вспоминаю Микеле и начинаю думать, что я тоже умру и, может быть, умру именно здесь, на этой прекрасной вилле с красивым ковром на лестнице, с изящными кранами в каждой ванной, с гортензиями в вазах везде, даже на кухне, и с голубями, которые воркуют на подоконниках.



8 августа 71

Дорогой Филиппо!

Вчера видела тебя на площади Испании. Меня ты, кажется, не заметил. Я шла с Анджеликой и Флорой. Ты был один. Анджелика нашла, что ты постарел. А мне трудно сказать, постарел или нет. Ты был в пиджаке внакидку и, как обычно, потирал себе лоб на ходу. Ты вошел в «Бабингтон».

Для меня в высшей степени странно увидеть тебя на улице и не окликнуть. Но, по правде говоря, нам особенно нечего сказать друг другу. Мне безразлично, что происходит с тобой, а тебе наверняка безразлична моя жизнь. Мне твоя жизнь безразлична, потому что я несчастна. А тебе – моя, потому что ты счастлив. Как бы там ни было, мы теперь с тобой чужие друг другу.

Я знаю, что ты был на кладбище. Я сама на кладбище не ездила, мне сказала Виола, что видела тебя там. Ты ей якобы сказал, что хочешь навестить меня, но пока до сих пор не появился. Правда, у меня нет желания с тобой встречаться. Я вообще не хочу никого видеть, кроме моих дочерей с их неизбежными домочадцами, моей золовки Матильды и нашего друга Освальдо Вентуры. Я не замечаю, что нуждаюсь в обществе, но если не вижу кого-нибудь из них несколько дней, то мне его не хватает. Может случиться, что если ты наведишь меня, то я моментально к тебе привыкну, а я не хочу привыкать к человеку, чье присутствие в силу сложившихся обстоятельств не будет регулярным. Эта розовощекая бабенка, на которой ты женился, вряд ли позволит тебе бывать здесь часто. А я не смогла бы довольствоваться обыкновенным, формальным, единственным визитом вежливости. Он мне ни к чему.

Поскольку, возможно, за то время, что мы не виделись, ты совершенно поглупел, поясню тебе, что в выражении «розовощекая бабенка» нет ни капли желчи. Если у меня и были по отношению к тебе ревность и желчь, то мои жизненные перипетии начисто их уничтожили.

Мне случается иногда думать о тебе. Сегодня утром неожиданно вспомнила тот день, когда мы с тобой поехали на твоей машине в Курмайер повидать Микеле, который там отдыхал в кемпинге. Микеле тогда было, наверное, лет двенадцать. Я помню, как мы увидели его у палатки голым до пояса, в альпинистских ботинках на босу ногу. Я обрадовалась, увидев его таким поздоровевшим, загорелым, усыпанным веснушками – к его прежним прибавилась тысяча новых. В городе он выглядел обычно бледным. Мало бывал на воздухе. Отец его за этим не следил. Мы поехали прокатиться на машине и собирались позавтракать где-нибудь в шале. Ты в присутствии Микеле, как правило, нервничал. Ты не любил его. А он не любил тебя. Ты говорил, что он избалованный, капризный, заносчивый мальчишка. А Микеле тебя тоже не выносил. Он этого никогда не выказывал, но все и так было ясно. Однако в тот день все было чудесно, спокойно, без единого резкого слова между вами. Мы зашли в лавочку, где продавались туристские принадлежности и открытки. Ты купил ему зеленую шапочку с оленьим хвостиком. Он был счастлив. Нахлобучил ее набекрень на свои кудри. Он и впрямь был избалован, но иногда какой-нибудь пустяк мог сделать его счастливым. В машине он стал петь. Ту песню, которую всегда пел его отец. Обычно меня это раздражало, потому что напоминало о его отце, с которым у нас в то время были обостренные отношения. Но в тот день я была довольна, и все мои горечи казались мне легкими, мягкими, терпимыми. В песне были такие слова: «Non avemo ni canones – ni tanks ni avionnes – oi Carmela». Ты тоже знал эту

песню и подхватил: «El terror de los fascistas – rumba – la-rumba-la»[27]. Ты сочтешь меня дурой, но это письмо я написала, чтоб поблагодарить тебя за то, что ты в тот день пел вместе с Микеле и купил ему шапочку с оленьим хвостиком, которую он потом носил два или три года.

И еще я хочу попросить тебя об одной вещи: если ты помнишь все слова этой песни, запиши их и пришли мне по почте. Тебе это покажется странным, но человек цепляется за пустяковые и странные желания, когда ему больше уже нечего желать.

Адриана

41

Ада с Элизабеттой уехали в Лондон. Освальдо намеревался поехать за ними в начале сентября. Пока он еще не мог оставить свою лавочку. Было двадцатое августа. Анджелика собиралась в путешествие на машине с Оресте, девочкой и супругами Беттой. С Адрианой должна была остаться Виола. Близняшки отдыхали в кемпинге в Доломитах.

Анджелика и Виола в машине Виолы проводили Аду и Элизабетту в аэропорт. Теперь они возвращались обратно. Освальдо ехал следом на своей малолитражке.

Утром Анджелика и Виола ездили с Лиллино к нотариусу и подписали договор о продаже башни. Башню купил пеликан. У нотариуса он не появился. Послал своего поверенного. Пеликан по-прежнему сидел в Кьянти. У него всякие недуги говорил Освальдо, разумеется мнимые, но от этого не менее болезненные. Из своей виллы в Кьянти он теперь не выезжает. Издательскими делами занимается Ада, причем совершенно безвозмездно. Но Аде наплевать на деньги, сказала Виоле Анджелика. Она сидела рядом с Виолой, которая вела машину: спокойный, изящный профиль, пристальный взгляд устремлен на дорогу. Несмотря на жару, волосы тщательно расчесаны щеткой, надушены и блестят. На Виоле белый льняной костюм, свежий, отутюженный. На Анджелике джинсы и мятая блузка. Весь день она укладывала чемодан. Они уезжают завтра.

Аде наплевать на деньги, говорила Анджелика, она на них плюет, еще бы, ведь их у нее целая куча. А пеликан – он тоже плюет на деньги, поскольку и у него их куры не клюют. Непонятно, зачем он купил эту башню. Безусловно, его ноги там никогда не будет. Он ее и не видел. Наверно, Ада убедила его, что башня – хорошее капиталовложение. Ада собирается превратить башню во что-то другое, неизвестно, во что, может, в ресторан, может, в дом отдыха.

– Хорошенький отдых! – сказала Виола. – До этой башни пока доберешься – ноги протянешь. Ты ее не видела, а я видела.

– Но я же говорю, что Ада ее преобразит. Построит там дорогу. Бассейн. Коттеджи. И не знаю что еще... Эту парочку, – сказала Анджелика, – я имею в виду Аду и пеликана – объединяло любопытство к деньгам, вернее, к тому, как с их помощью можно преобразовать вещи, но одновременно глубокое безразличие к обладанию деньгами и к их трате, притом что и у нее, и у него изрядный капитал. А разница между ними та, что Ада не может, да и не пытается вообразить себя бедной, а пеликан всю жизнь воображает себя в нищете, отчего его прошибает озноб и он содрогается от ужаса и соблазна.

– Вот и покончено с нашей башней, – сказала Виола.

- Она никогда не была нашей, – сказала Анджелика.
- Да и красивой ее не назовешь, – сказала Виола.
- Это точно, – сказала Анджелика.
- Снаружи каменная груда с окошком наверху. А по форме лишь смутно напоминает башню, впрочем, любое нагромождение камней можно при желании назвать башней. А внутри там жуткая вонь и всюду дерьмо. Оно мне прежде всего вспоминается.
- Но он не чувствует запахов, – сказала Анджелика.
- Он – это кто?
- Пеликан. Несмотря на свой носик, он говорит, что никаких запахов не ощущает.
- Так или иначе, непонятно, зачем он купил эту башню. И отец зачем купил – тоже непонятно.
- Если Ада говорит, что это хорошее капиталовложение, то, несомненно, Ада права.
- Тогда непонятно, зачем мы продали эту башню, – сказала Виола.
- Потому что так посоветовал Лиллино.
- А если он дал нам плохой совет?
- Что ж теперь поделаешь!
- Я не знала, что мне делать с этой дерьмовой башней, – сказала Виола. – Правда, купил ее наш отец, поэтому не надо было называть ее «дерьмовой». Я сказала, не подумав. Но так или иначе, обратного хода нет. С башней мы покончили.
- Если учесть, что мы ничего и не начинали, – сказала Анджелика.
- Мне тоскливо оставаться с мамой в этом пустынном доме, – сказала Виола. – Не люблю я пустынных мест. Потому и башня мне не нравилась.
- Но там Матильда, – сказала Анджелика.
- От Матильды у меня ни на волос тоски не убавится.
- Там есть телефон. Ты забыла, что теперь там телефон. Уже неделя, как поставили. Заслуга Ады. И потом, там будет еще ее собака. Освальдо привезет.
- Терпеть не могу собак, – сказала Виола. – Мне придется ухаживать за собакой, за кроликами и за ягненком близняшек, которого надо поить из бутылочки. По крайней мере ягненка они могли бы взять с собой.
- В Доломиты?
- Боюсь, что я беременна, – сказала Виола. – У меня большая задержка.
- Тем лучше. Ты же все время говоришь, что хочешь ребенка.
- Я боюсь, потому что буду в этом доме на отшибе, без доктора поблизости.
- Можешь звонить доктору Бово. Он сразу приедет. Да и потом, что же делать? Мама не может остаться одна. У Матильды крепкий сон. Ее и землетрясение не разбудит. Клоти взяла

отпуск. Я должна уехать на несколько дней. Я обещала дочке. Но скоро я вернусь, и тогда ты уедешь.

– Я и не спорю. Хочу только сказать, что мне тревожно. Я должна это высказать, какой смысл держать все в себе? Вчера Элио уехал в Голландию. Он так переживал, что едет без меня.

– Мог бы остаться с тобой.

– Нет, ему хотелось увидеть Голландию. Ему необходима разрядка. Бедный Элио! Смерть Микеле на него ужасно подействовала. Он корит себя, что не поехал в Лидс, когда Микеле женился. Говорит, что мог бы дать ему полезные советы.

– Какого рода?

– Не знаю. Советы. Элио очень человечный.

– Микеле убили. Интересно, какие такие человечные советы могли защитить его от фашистов, которые его убили?

– Если бы он сидел спокойно в Лидсе, его бы не убили.

– А может, для него было трудно сидеть спокойно.

– В последний раз я видела его на пьядца Арджентина. Он выходил из гриль-бара. Бросил мне: «Привет» – и пошел себе. Я спросила его, что он купил. Он сказал: «Жареного цыпленка». Это были последние слова, какие он мне сказал. Какие жалкие слова! Я смотрела, как он уходит со своим бумажным пакетом. Чужой!..

Они подъехали к дому матери. Виола поставила машину близ карликовых сосен, чахлах и поникших от жары. Анджелика вытащила чемоданы из багажника.

– Сколько же ты с собой привезла! – сказала она.

– Жареный цыпленок, – сказала Виола. – Последние его слова. Как сейчас слышу его голос. А до чего ж мы любили друг друга, когда были детьми. Играли в куклы, в дочки-матери. Я была мама, а он – дочка. Он хотел быть девочкой. Такой, как я. Но потом я ему разонравилась. Он меня презирал. Говорил, что я буржуазка. Но я не умею быть другой. Потом он любил только тебя. Я тебе ужасно завидовала. Тебе-то, конечно, есть что вспомнить. Ты все время с ним виделась. Дружила с его друзьями. А я знала только их имена: Джанни, Ансельмо, Оливьеро, Освальдо. Что касается Освальдо, эта дружба мне никогда не нравилась. Дружба гомосексуалистов. И нечего себя обманывать. Достаточно было увидеть их вместе, чтобы все понять. Элио тоже это заметил, когда увидел их вместе.

Я никак не могу примириться с тем, что Микеле стал гомосексуалистом. Микеле назвал бы меня конформисткой. Мне тяжело видеть Освальдо. Он вежливый, он все что хочешь, но мне тяжело его видеть. А я буду часто его видеть, потому что он часто бывает здесь. Чего ему тут надо – неизвестно. Вот он. Подъезжает. Слышишь, как пытит малолитражка? Но маме он нравится. То ли она об этом не думает, то ли думает, но привыкла. Вероятно, ко всему можно привыкнуть.

– Ко всему привыкаешь, когда ничего другого не остается, – сказала Анджелика.

Лидс, 9 сентября 71

Дорогая Анджелика!

Со вчерашнего утра я в Лидсе. Ночевал в пансионе под названием «Гонконг». Нельзя вообразить себе более грустного зрелища, чем пансион «Гонконг» в Лидсе.

Я оставил Аду с Элизабеттой в Лондоне, потому что сюда им приезжать незачем.

Я разыскал того парня по имени Эрманно Джустиньяни, который тебе писал. Он все еще здесь, живет по тому же адресу. Симпатичный малый, с заостренным, немного бледным лицом, похожий на малайца, и действительно, он сказал мне, что мать у него азиатского происхождения.

Он сообщил, что Эйлин с детьми возвратилась в Америку. Их адреса он не знает. Об Эйлин он сказал, что это женщина большого ума, но алкоголичка. Микеле женился на ней, намереваясь спасти ее от пьянства. Это на него похоже, он любил прийти на помощь ближнему. Только его благородство было бесплодным, ибо длилось недолго. Их супружество разлетелось в прах через восемь дней. В течение первых восьми дней они, кажется, были счастливы. Но он тогда их еще не знал. А познакомился позже, когда практически все было кончено. Но знакомые рассказывали ему, что на эти восемь дней Эйлин бросила пить и выглядела другим человеком.

Эрманно проводил меня к дому на Нелсон-роуд, где жили Эйлин и Микеле. На доме написано «For sale», то есть «продается». Я обратился в агентство, и мне разрешили его осмотреть. Это маленький английский домик в три этажа, по одной комнате на каждом, обставленный уродливой мебелью в стиле псевдолиберти. Я обошел все комнаты. В кухне еще висел передник, который, возможно, принадлежал Эйлин, на нем нарисованы помидоры и морковки, а еще плащ, тоже, возможно, ее, – из черного атласа, с разорванным рукавом. Но все это предположения. В другой комнате на стенах висели картинки с Белоснежкой и семью гномами, а на полу стояла плошка с давно прокисшим молоком – очевидно, кот не допил. Я так подробно описываю все эти вещи, потому что мне кажется, это будет для тебя дорого. От Микеле я не нашел ничего, за исключением поношенной шерстяной рубашки, намотанной на щетку как половая тряпка. Мне показалось, что это та самая рубашка, которую он как-то купил на зиму, и действительно, я нашел на ней ярлычок «Антиколи», магазина на виа делла Вите. Поколебавшись, я оставил ее там, где она была. Мне кажется, ни к чему сохранять вещи покойных, когда эти вещи побывали в руках у незнакомых людей и стали как бы безличными.

Посещение этого дома нагнало на меня бесконечную тоску. Сейчас я пишу в номере пансиона и вижу в окно Лидс, один из последних городов, где бродил Микеле. От этого симпатичного Эрманно Джустиньяни, с которым мы сегодня будем ужинать, мне не многое удастся узнать о Микеле: тот его мало видел или мало помнит, а может быть, долгие разговоры со мной на эту тему ему неприятны. Он ведь молодой парень. У нынешней молодежи нет памяти, они ее в себе не культивируют. Как ты знаешь, у Микеле тоже памяти не было, вернее, он никогда не любил предаваться воспоминаниям. Склонность к этому еще сохраняется, быть может, у тебя, у твоей матери и у меня: у тебя – по натуре, у меня и у твоей матери – тоже по натуре, а еще потому, что в нашей теперешней жизни нет ничего такого, что было бы нам дороже пережитых в прошлом мгновений и увиденных на нашем пути мест. Когда я видел эти места и переживал эти мгновения, они мне казались такими великолепными, может быть, именно потому, что я знал, какими они явятся мне в воспоминаниях. Меня всегда глубоко огорчало, что Микеле не хотел или не мог почувствовать этого великолепия и шел дальше, никогда не оглядываясь назад. Однако мне кажется, что он, сам того не сознавая, ощущал эти великолепные воспоминания во мне, внутри меня. И много раз мне приходила мысль, что, возможно, умирая, он в миг озарения познал и прошел все пути памяти, и эта мысль меня утешает, потому что, когда тебе ничего

не остается, утешаешься пустяком, и даже вид в кухне той пыльной рубахи, которую я не подобрал, был для меня странным, леденящим, горестным утешением.

Освальдо

Caro Michele

Torino, 1973

Перевод З. Потаповой

Повести и рассказы

Так все и было

Посвящается Леоне

– Скажи мне правду, – сказала я.

– Какую еще правду? – сказал он, что-то быстро рисуя в своем блокноте; он дал мне поглядеть этот рисунок: длинный-длинный поезд, над ним огромное облако черного дыма, а из окошка высовывается он сам и машет платком.

Я выстрелила ему в глаза.

Он попросил меня приготовить ему в дорогу термос. Я пошла в кухню, заварила чай, добавила в него молока и сахара, налила чай в термос, хорошенько закрутила стаканчик, потом вернулась в комнату. Тут он показал мне рисунок, а я вынула револьвер из ящика письменного стола и выстрелила в него. Я выстрелила ему в глаза.

Мне уже не раз приходило в голову, что рано или поздно я все равно это сделаю.

Потом я надела плащ, перчатки и вышла на улицу. Выпила в баре кофе и побрела по городу куда глаза глядят. День был прохладный, дул ветерок, и пахло дождем. Я села на скамейку в сквере, сняла перчатки, посмотрела на свои руки. Сняла с пальца обручальное кольцо и положила его в карман.

Мы были женаты четыре года. Он хотел от меня уйти, но потом умерла наша дочка, и он остался. Он говорил, что мы должны снова завести ребенка, что мне это очень поможет, и в последнее время мы часто спали вместе. Но больше детей у меня не было.

Увидев, что он укладывает вещи, я спросила, куда это он собрался. Он ответил, что едет в Рим, где у него назначена встреча с одним адвокатом по одному делу. И что лучше мне пожить, пока его не будет, у родителей, чтобы не сидеть дома одной. Он точно не знает, когда вернется – недели через две, а может, и через месяц. Я подумала, что он, скорее всего, вообще не вернется. И тоже сложила чемодан. Он посоветовал мне взять с собой что-нибудь почитать. Я вынула из шкафа «Ярмарку тщеславия», два романа Голсуорси и положила книги в чемодан.

– Скажи мне правду, Альберто, – сказала я.

– Какую еще правду?

– Вы едете вместе?

– Кто это «мы»? – Помолчав, он заговорил снова: – И какой же ерундой ты забиваешь себе голову – ни себе, ни другим покоя не даешь. – И добавил: – Поезжай-ка лучше в Маону к родителям.

– Ладно, – сказала я.

Он взглянул на небо.

– Ты бы надела плащ и резиновые сапоги.

– Я хочу знать правду, какой бы она ни была.

Он расхохотался.

Он правды восхотел, такой бесценной,

Как знают все, кто жизнь ей отдает[28].

Не знаю, сколько времени я просидела на той скамейке. В сквере не было ни души, скамейки были влажные, а вся земля усеяна опавшими листьями. Я стала думать, что мне теперь делать. Сказала себе, что очень скоро пойду в полицию. Постараюсь объяснить, как все случилось, хоть это и нелегко. Придется начинать все сначала, с того самого дня, когда мы познакомились с ним в доме доктора Гауденци. Он играл с женой доктора на пианино в четыре руки, пел какие-то песенки на диалекте. И смотрел на меня. Набросал карандашом в своем блокноте мой портрет. Я сказала, что, по-моему, получилось похоже, но он сказал – нет и вырвал листок.

– Он так и не научился рисовать женщин, которые ему нравятся, – сказал доктор Гауденци.

Они дали мне сигарету и очень развеселились, когда у меня стали слезиться глаза. Потом Альберто проводил меня до пансиона и попросил разрешения занести мне на следующий день французский роман, о котором мы говорили.

И действительно явился на следующий день. Мы вышли вместе, немножко прогулялись, потом посидели в кафе. Он смотрел на меня, и глаза его радостно блестели, а я думала, что, наверно, он в меня влюбился. Меня до сих пор еще никто не любил, ни один мужчина, и я теперь чувствовала себя такой счастливой, что готова была просидеть с ним в кафе целую вечность. Вечером мы пошли с ним в театр, я надела свое самое красивое бархатное платье бордового цвета – мне подарила его моя кузина Франческа.

В театре я встретила Франческу, она сидела сзади нас и помахала мне рукой. На следующий день я у них обедала, и Франческа спросила меня:

– Кто этот старикашка?

– Какой старикашка?

– Да тот, в театре.

Я сказала ей, что это просто один мой поклонник, который мне совершенно безразличен.

Когда он в следующий раз пришел ко мне в пансион, я присмотрелась к нему хорошенько, и он не показался мне таким уж старым. Франческа вечно всех обзывает старикашками. Но он правда мне не нравился, просто было очень приятно, что он приходит ко мне в пансион и смотрит на меня такими глазами, ведь любой женщине приятно, когда мужчина вот так на нее смотрит. Я думала: он, наверно, очень влюблен в меня, бедняжка! И все представляла себе, какими словами он сделает мне предложение. Я ему, конечно, откажу, а он тогда попросит не лишать его по крайней мере моей дружбы, потом он опять пригласит меня в театр и однажды вечером познакомит со своим другом, помоложе, тот влюбится в меня без памяти, и я выйду за него замуж. У нас будет много детей, и Альберто будет приходить к нам в гости, а под рождество – обязательно с огромным куличом; ему будет радостно приходить к нам, но и немножко грустно.

Я очень любила помечтать, лежа в постели у себя в пансионе, и больше всего о том, как я выйду замуж и заведу собственный дом и как это будет замечательно. Я очень хорошо представляла себе этот дом, вплоть до изящных безделушек и комнатных растений, а я утопаю в просторном кресле и вышиваю платочки. Когда я думала о своем будущем муже, мне представлялось то одно лицо, то другое, но голос всегда одинаковый, этот голос звучал во мне, повторяя одни и те же насмешливые и нежные слова. Комната у меня была мрачная, с темными обоями, по соседству жила вдова полковника, и всякий раз, когда я передвигала стул или открывала окно, она стучала мне в стенку шваброй. Мне приходилось вставать утром очень рано, потому что работала я в школе учительницей. Впопыхах одеваясь, я одновременно жевала бутерброд и варила яйцо на спиртовке. Пока я крутилась в поисках одежды, полковничья вдова яростно молотила в стенку шваброй, а хозяйская дочь-истеричка истошно вопила в ванной: для успокоения ее заставляли принимать горячий душ. Я выскакивала на улицу, в холодное пустынное утро, и, пока ждала трамвая, развлекала себя самыми невероятными выдумками; это меня немножко согревало; вот так, вся погруженная в свои мысли, с отсутствующим видом являлась я в школу и, наверно, со стороны выглядела довольно нелепо.

Всякой девушке приятно думать, что в нее кто-то влюблен, и даже если сама она не влюблена, это дела не меняет, она все равно расцветает, глаза блестят, походка становится легкой и голос – мягче и нежнее. До встречи с Альберто я думала, что так и проживу одна – слишком уж бесцветной и неинтересной я себе казалась, – но после знакомства с ним, когда я решила, что он влюблен в меня, я стала думать, что раз я нравлюсь ему, то могу понравиться и другим, и даже тому мужчине, чей насмешливый и нежный голос звучал во мне. Лицо у него было то одно, то другое, но обязательно широкие, мощные плечи и красные, чуть шершавые руки, а когда вечером он возвращался домой и заставлял меня полулежащей в кресле и вышивающей платочки, он так мило надо мной посмеивался.

Девушка, если она очень одинока и жизнь у нее однообразная и утомительная, кошелек тощий и перчатки поношенные, чего только себе не напридумает, воображение расставляет перед ней на каждом шагу опасные ловушки, и уберечь ее от них некому. И вот, витая в облаках, я читала Овидия восемнадцати девочкам в большой холодной классной комнате, обедала в пансионе, в мрачной столовой, глядела на улицу сквозь желтые витражи и ждала, когда за мной приедет Альберто и поведет меня на концерт или просто погулять. В субботу днем я садилась у Порта-Витториа на рейсовый автобус и ехала в Маону. Обратной возвращалась в воскресенье вечером.

Мой отец – врач, уже больше двадцати лет он живет в Маоне. Он высокий, полный, чуть прихрамывает и потому всегда ходит, опираясь на палку из вишневого дерева. Летом носит соломенную шляпу с черной лентой, а зимой – бобровую шапку и пальто с бобровым воротником. Мама у меня малюсенькая, у нее огромная копна седых волос. Отца редко вызывают к больным, потому что он стар и передвигается с трудом, большинство



предпочитает врача из Кавапьетры, у того есть мотоцикл, да к тому же он учился в Неаполе. Отец с матерью весь день сидят в кухне и играют в шахматы с ветеринаром и муниципальным ассессором. Приехав в субботу в Маону, я сразу же устраивалась у печки и просиживала там до самого отъезда в воскресенье. Пригревшись у печки и разомлев от поленты и супа, я дремала и могла за весь день не проронить ни единого слова. Отец в перерыве между партиями жаловался ветеринару, что современные девушки потеряли всякое уважение к родителям и не желают посвящать их в свои дела.

Я рассказывала Альберто об отце с матерью, о том, как я жила в Маоне, до того как переехала в город и стала учительницей, как отец бил меня по рукам палкой и я бегала плакать в чуланчик, где хранился уголь, как я прятала под матрас «Рабыню или королеву», чтобы читать по ночам, как с отцом, служанкой и ассессором мы ходили на кладбище, спускались вниз по холму, мимо полей и виноградников, и как мною при виде этих пустынных полей и голого холма овладевало безумное желание бежать куда-нибудь подальше отсюда.

Альберто, напротив, никогда не рассказывал о себе, а я ни о чем его не спрашивала: я ведь совершенно не привыкла, чтобы кто-то проявлял ко мне такой интерес и так внимательно слушал меня, как будто все то, что я говорила или думала по дороге на кладбище или в чуланчике с углем, было чрезвычайно важно, потому мне так нравилось гулять с Альберто по городу и сидеть с ним в кафе, и я уже не чувствовала себя такой одинокой. Он сказал мне, что живет вдвоем со старой больной матерью. А жена доктора Гауденци сказала, что у матери его денег куры не клюют, но на старости лет она совсем свихнулась, что целыми днями изучает санскрит и курит сигареты в мундштуке слоновой кости, что она не общается ни с кем, кроме монаха-доминиканца, который уже много лет каждый вечер приходит читать ей письма святого Павла, из дома она уже давно не выходит, говорит, что во всех туфлях у нее болят ноги, и потому вечно сидит в кресле у себя дома и болтает с молодой кухаркой, которая нечиста на руку и страшно ей грубит. Альберто же не любил рассказывать о себе, и поначалу меня это очень не волновало, но потом стало огорчать, я пыталась расспрашивать его, но, как только заговаривала с ним о матери, работе или просто о его жизни, лицо у него становилось хмурым и отстраненным, а глаза мутнели, словно у больной птицы.

Он никогда не говорил мне, что влюблен в меня, но я была в этом уверена, иначе зачем он так часто приходит ко мне в пансион, дарит книги, шоколадные конфеты и ходит со мной повсюду? Я думала, что он, скорее всего, просто робеет, не решается признаться, и с нетерпением ждала, когда же он наконец решится, потому что мне очень хотелось рассказать об этом Франческа. Франческа столько всего мне рассказывала, а я ей ничего. Но однажды я все же рассказала Франческа, что Альберто влюблен в меня, хотя он до сих пор мне не признался; в тот день он подарил мне коричневые замшевые перчатки, и я твердо уверилась в его любви. Я сказала ей, что не хочу выходить за него замуж, потому что для меня он слишком старый, я точно не знала, сколько ему лет, но считала, что никак не меньше сорока, мне же в то время было всего двадцать шесть. Но Франческа сказала, что он ей очень не нравится и она советует мне держаться от него подальше, а перчатки его швырнуть ему в лицо: такие перчатки с кнопками на запястье давно никто не носит и у меня в них провинциальный вид. Она сказала, что с этим типом я обязательно попаду в какую-нибудь историю. Франческа в то время было всего двадцать лет, но она казалась мне очень умной, и я всегда слушалась ее. Но на сей раз я ее не послушалась, перчатки носила постоянно: они мне нравились, хоть и были на кнопках, и проводить с Альберто время мне тоже нравилось, я продолжала с ним встречаться, потому что еще никогда ни один мужчина за мои двадцать шесть лет не делал мне подарки и не проявлял ко мне такого интереса и жизнь моя всегда была такой скучной и пустой, ей, Франческа, легко говорить, думала я, у нее-то есть все, что только можно пожелать, и ездит она повсюду, и развлечений у нее сколько угодно.

Потом наступило лето, я уехала в Маону и все ждала, что он мне напишет, но получила всего-навсего одну открыточку из какого-то местечка на озерах, на которой он просто расписался. В Маоне я очень скучала, дни тянулись бесконечно. Сидела на кухне или

валялась у себя в комнате с книгой. Мать на террасе заготавливала на зиму помидоры: повязав голову столовой салфеткой, она снимала с них кожуру и выкладывала их сушиться на деревянную доску; отец сидел на площади перед домом с ветеринаром и ассессором и чертил палкой в пыли какие-то знаки. Во дворе у родника служанка стирала белье, выкручивая его красными мускулистыми руками, над помидорами жужжали мухи, мать вытирала нож газетой, а потом тряпкой – свои перепачканные руки. Я смотрела на открытку, которую прислал мне Альберто, но я и на память помнила, что на ней нарисовано: озеро, солнечный луч, яхты под парусом, – и никак не могла понять, почему, кроме этой открытки, он больше ничего не написал мне. Я все время ждала почту. Франческа прислала мне из Рима два письма, она поехала туда с подругой поступать в театральную школу, в первом она писала, что обручилась, а в другом сообщала, что помолвка расстроилась. Я часто думала, что Альберто вполне может нагрянуть ко мне в Маону. Поначалу отец страшно удивится, но я скажу ему, что это друг доктора Гауденци. Я шла на кухню, где стояло вонючее помойное ведро, и выносила его в чуланчик с углем, но служанка тут же приносила его обратно, уверяя, что от него совершенно не воняет. Я немножко боялась, что он действительно приедет: мне было стыдно помойного ведра и матери с салфеткой на голове и руками, перепачканными томатным соком, а немножко и надеялась; когда прибывал рейсовый автобус, я высовывалась из окошка, чтобы посмотреть, кто приехал, и мне все казалось, что я вот-вот его увижу; если же появлялся кто-нибудь небольшого роста в белом плаще, я начинала дрожать и задыхаться, но это всякий раз оказывался не он, и я возвращалась к себе в комнату, читала там и думала до самого обеда. Иногда я пыталась снова мечтать о мужчине с насмешливым голосом и широкими плечами, но он все больше и больше отдалялся, и его незнакомое, всякий раз новое лицо больше ничего для меня не значило.

Когда я вернулась в город, я ждала, что Альберто сразу же придет ко мне, конечно, он догадается, что я вернулась, ведь в школах начинались занятия. Но он все не шел; каждый вечер, причесавшись и напудрившись, я ждала его, а он все не шел, и я ложилась спать. Комната у меня была мрачная, с обоями в цветочек, и опять истошно вопила хозяйская дочка, отказываясь раздеваться. У меня был адрес Альберто и номер телефона, но я не решалась позвонить, ведь он всегда приходил ко мне сам. Я говорила себе, что он, возможно, еще не вернулся в город. Но однажды я все же позвонила ему из автомата. Услышав его голос, я не стала говорить и осторожно повесила трубку. Мне было стыдно, что я так жду его, и я обманывала себя, хваталась за книгу, но ни строчки не понимала из того, что читаю. Ночи были еще теплые, я спала с открытым окном, с бульвара доносилось дребезжанье трамваев, и я думала, что, возможно, в одном из этих трамваев едет он в своем белом плаще и с кожаным портфелем, занятый какими-то таинственными делами, о которых он не хотел мне говорить.

И вот так я влюбилась в него, влюбилась, пока сидела в своей комнате с напудренным лицом и ждала полчаса, еще полчаса, час, еще час, под истошные вопли хозяйской дочки, и пока ходила по городу, постоянно озираясь, не идет ли он мимо, и сердце у меня сжималось всякий раз, когда я видела мужчину невысокого роста в белом плаще, у которого одно плечо выше другого. Так я начала думать о нем постоянно, о том, как он живет у себя дома с матерью, которая учит санскрит и не желает обуваться, и стала думать, что, если он сделает мне предложение, я соглашусь, и тогда в любое время дня и ночи буду знать, где он и чем занят, а вечером, когда он будет приходить домой и бросать плащ в коридоре на стул, я буду вешать его в шкаф. Франческа еще не вернулась из Рима, и я боялась, что, вернувшись, она обязательно спросит меня об Альберто, и тогда мне придется сказать ей, что я еще не видела его после лета.

– Как же так, ведь он влюблен в тебя! – удивится она, а мне будет стыдно.

Как-то раз я пошла к Гауденци в надежде встретиться там с ним или хотя бы что-нибудь о нем узнать. Доктора я дома не застала, только его жену, которая мыла окна. Я стала смотреть, как она это делает. Она объяснила мне, что сначала надо протереть стекла

газетами и раствором золы, а потом уж наводить блеск шерстяной тряпочкой, тогда они сверкают – любо-дорого. Потом она спустилась с лестницы и угостила меня горячим шоколадом, но об Альберто она так и не заговорила, и я ушла ни с чем.

Однажды я все же встретила его на улице. Увидела его еще издали: с кожаным портфелем, в расстегнутом, развевающимся плаще. И пошла следом за ним. Он не оборачивался, стряхивал пепел на землю, потом остановился, чтобы затоптать окурки, и увидел меня. Он очень обрадовался, и мы вместе зашли в кафе. Он сказал мне, что был очень занят и потому до сих пор не мог зайти в пансион, но часто думал обо мне. Я смотрела на него и старалась понять, что в этом низеньком человеке с кудрявыми седыми волосами так мучило и волновало меня все это время. Сейчас я чувствовала только холод и пустоту, словно внутри у меня что-то сломалось. Он спросил, как я провела лето, пряталась ли по-прежнему в чуланчике с углем, и мы вместе посмеялись. Он помнил все, что я ему про себя рассказывала, до мельчайших подробностей. Я тоже спросила, как он провел лето. И он сразу же сник, отдалился и устало сказал, что любовался озером и что вообще очень любит озера, поскольку они спокойные, и цвет у них тоже спокойный, а вот море представляется ему чем-то огромным и жестоким из-за буйства волн и света.

Но уже очень скоро мы почувствовали себя как прежде и снова смеялись над тем, что я рассказывала. Казалось, он очень-очень рад нашей встрече, и я тоже была очень рада, я забыла, что столько времени напрасно ждала его, и говорила себе, что, может, у него вправду было много дел. Я рассказывала ему об отце с матерью, об ассессоре, о моих новых соседях по пансиону, а он, слушая меня, быстро рисовал мое лицо у себя в блокноте, вырывал листок и рисовал снова. Потом он нарисовал еще и озеро, и самого себя с веслами в лодке, а на берегу каких-то пожилых дам и маленьких кудрявых собачек, собачки выставляли хвост трубой и поднимали лапки возле зеленых кустов.

Мы снова стали видеться чуть ли не каждый день или вечер: вернувшись в пансион и поднявшись в свою комнату, я спрашивала себя, влюблен ли он в меня, влюблена ли я в него, и уже ничего не понимала. Он никогда не говорил мне о любви, и я, конечно, тоже с ним об этом не заговаривала, а говорила о школе, о пансионе, о прочитанных книгах. Я думала о его маленьких изящных руках, рисующих в блокноте, о седых кудрях, обрамлявших худое лицо, и о том, как он ходит по городу, маленький и изящный в своем белом плаще. Я думала об этом весь день, и больше для меня ничего не существовало, только его руки, или блокнот, или плащ, а потом снова блокнот, кудрявые волосы под шляпой, худое лицо и руки. Я читала Ксенофонта восемнадцати девочкам в классной комнате, покрашенной в зеленый цвет, на стене – карта Азии и портрет папы, обедала в столовой пансиона, где между столами разгуливали хозяйка, по субботам садилась на рейсовый автобус у Порты-Витториа и чувствовала, что совсем дураю, потому что никто и ничто меня не интересует. Я уже не была так уверена, что он меня любит. И все же он приносил мне книги, шоколадные конфеты, и, казалось, ему было очень-очень хорошо со мной. Но он никогда ничего не говорил мне о своей жизни, и, пока я читала в классе Ксенофонта или проставляла отметки в журнале, все мои мысли были только об этом маленьком человеке, занятом своими таинственными делами, и снова об этом маленьком человеке, который ходит по городу в белом развевающимся плаще, гонимый неведомыми мне побуждениями и желаниями, и я была от этого как будто в лихорадке. Раньше я считала себя неплохим преподавателем, работа увлекала меня, все мои ученицы были мне интересны. Теперь же я не испытывала никакой симпатии к этим восемнадцати девочкам за партами, они стали мне совершенно безразличны, даже неприятны, и я старалась поменьше глядеть на них.

Франческа вернулась из Рима в мрачном настроении, как-то вечером я пришла к ним ужинать, но все время нервничала, что придет Альберто и не застанет меня, и торопилась как можно скорее уйти. Ужинали мы долго, дядя с тетей переругивались, Франческа мрачно молчала, на ней было потрясающее черное трикотажное платье, которое старило ее и бледнило. После ужина тетя увела меня к себе в комнату и завела разговор о Франческе, что,

мол, с ней такое, я сказала, что не знаю, и хотела было уйти, но тетя удерживала меня, плакала и жаловалась, что совершенно не понимает Франческу, не понимает, почему она стала одеваться во все черное и перекрасила волосы в черный цвет, ведь это ее так старит, и она, тетя, понятия не имеет, что Франческа делала в театральной школе и что намеревается делать в дальнейшем. Летом Франческа обручилась, а потом почему-то все расстроилось, он очень милый юноша из прекрасной семьи, а Франческа его бросила. Время шло, наверно, Альберто уже в пансионе, а тетя все держала меня за руку и плакала, уткнувшись в носовой платок.

Я ушла от них совсем поздно, и, когда добралась до пансиона, уже закрывали входную дверь, служанка сказала, что ко мне приходил тот самый господин, подождал немного в гостиной и ушел. Я поднялась к себе в комнату, легла в постель и вдруг расплакалась. Впервые в жизни я плакала из-за мужчины и подумала, что, наверно, люблю его, если так плачу. И еще я подумала, что, если он сделает мне предложение, я соглашусь, и мы всегда будем вместе, и в любое время дня и ночи я буду знать, где он. Но когда я думала, что нам придется еще и спать вместе, мне становилось противно, и тогда я говорила себе, что, наверно, совсем не влюблена в него, и окончательно запутывалась.

Но про любовь он со мной не говорил, и когда мы встречались, то просто болтали по-приятельски. О себе он говорить тоже не хотел, он хотел, чтобы говорила одна я. А если мне было грустно и я молчала, то он, казалось, начинал тяготиться моим обществом, тут я пугалась, что он больше не придет, и изо всех сил старалась развлечь его, рассказывала о соседях по пансиону, об истошных воплях, и мы вместе смеялись. Но потом, расставшись с ним, чувствовала себя вконец измученной, ложилась на кровать и вспоминала прежние свои фантазии. Я теперь так отупела, что не могла даже выдумать ничего нового. Теперь я перебирала в памяти каждое его слово и все думала, не говорит ли оно о любви, я вертела все его слова так и эдак, и то мне казалось, что у них один смысл, но уже через минуту – совсем другой, в конце концов я бросала это занятие, и на глаза наворачивались слезы.

Как-то раз он сказал мне, что ему никогда не удавалось заняться чем-нибудь всерьез. Рисовал, но художником не стал, играл на фортепьяно, но так и не выучился играть по-настоящему, у него есть адвокатская практика, но необходимости зарабатывать на жизнь у него никогда не было, и потому, даже если он вовсе не будет ходить на работу, ничего страшного не случится. По утрам он валяется в постели и читает романы. Но порой ему становится стыдно, он чувствует, что сыт по горло этой жизнью и словно задыхается в своей мягкой теплой постели под шелковым желтым пуховиком. Он ощущал себя пробкой, которая плавает по поверхности моря, волны приятно покачивают ее, но она никогда не узнает, что скрыто в морских глубинах. Только это он и сказал мне о себе, и еще – что ему нравятся местечки на озерах, а я ловила его слова, а потом вертела их так и эдак, но мало что могла различить в таинственных глубинах его жизни, и лишь на поверхности покачивались старуха, изучающая санскрит, и желтый шелковый пуховик.

Пока я сидела на скамейке в сквере, пошел дождь, и мне пришлось уйти. Я снова зашла в бар, выпила еще кофе и на минутку присела к единственному столику возле окна. Прислонившись к стеклу, я смотрела, как идет дождь, и вдруг мне пришло в голову, что кто-то мог услышать выстрел. Дом наш стоит в глубине пустынной улочки, вокруг небольшой садик и много деревьев. Нет, скорее всего, выстрела никто не слышал. Это тот самый дом, где жила старуха, учившая санскрит, все книжные шкафы забиты книгами на санскрите, а в комнатах до сих пор чувствуется запах старухи. Старуху я никогда не видела: она умерла еще до того, как мы поженились, но я видела ее мундштук из слоновой кости в шкатулке, и видела ее тапочки и ее шерстяную шаль, связанную крючком, и пустые коробки из-под пудры с ваткой вместо пуховки, и повсюду чувствовала ее запах.

Смерть матери совершенно выбила его из колеи. Однажды утром он нашел ее мертвой в постели. В тот день мы собирались вместе на выставку картин. Он должен был зайти за мной,

но не пришел, и я позвонила ему. Мама умерла, сказал он мне. Растерявшись, я едва сумела выдать из себя несколько слов, но потом написала ему письмо. По-моему, письмо получилось хорошее, я иногда могу писать очень проникновенно. На похороны я не пошла; старуха написала в завещании, чтобы на ее похороны никто не приходил, – так сказал мне доктор Гауденци, когда я позвонила ему, чтобы узнать место и время. Через несколько дней Альберто прислал мне записку, в которой писал, что пока еще не в состоянии выйти из дома и просит меня навестить его. Сердце у меня безумно колотилось при мысли, что я увижу этот дом. Альберто встретил меня небритый, всклокоченный, в пижамной куртке. Он поругался со служанкой, и она взяла расчет. Попробовал было сам разжечь печку, перевел кипу газет, но печка не разгоралась. Я разожгла печь, и мы сели возле нее, он показал мне портрет матери в молодости: крупная надменная женщина с большим испанским гребнем, воткнутым в шиньон. Он долго рассказывал мне о матери, но тот милый тонкий образ, который возникал из его слов, никак не вязался с женщиной на портрете и с той раздраженной старухой в тапочках, какой я всегда себе ее представляла. Я смотрела на комнату, на печку, на садик за окном с высокими голыми деревьями, на дикий виноград, вьющийся по ограде, и мне было так хорошо, так покойно, как не бывало уже давно, как будто только здесь, с ним, в его доме, могло пройти то лихорадочное, судорожное состояние, ужасно мучившее меня последнее время.

Я ушла от него такая счастливая, что прямо не могла усидеть одна в своей комнате, и я пошла к Франческе. Но Франческа была в мрачном настроении, едва на меня взглянув, она тут же заявила, что у нее нет никакого желания выслушивать мои исповеди, плевать ей на всех, и вообще у нее болит голова. Она лежала на кровати с горячей грелкой, но все же собиралась куда-то идти и попросила меня подшить ей подкладку на пальто, я подшила и ушла.

Домой к себе он больше меня не приглашал, мы гуляли с ним по набережной или подолгу сидели в кафе. И о матери тоже больше не говорил. Он носил на рукаве плаща черную траурную повязку, но снова начал рисовать в блокноте, и нарисовал даже нас вдвоем, разжигающих печку. Когда он уходил, меня не покидало ощущение растерянности и пустоты: понять этого человека я не могла. Я не понимала, почему он проводит со мной столько времени, расспрашивая о моих соседях и рисуя в блокноте. Ни одного слова о любви между нами сказано не было. Мы ходили гулять далеко вдоль речки или за шлагбаум, куда обычно ходят влюбленные, но мы-то ведь ни единым словом, ни единым жестом до сих пор не подтвердили свою любовь.

Наконец однажды я сказала ему, что люблю его, – сказала потому, что устала носить в себе эту тайну; когда я оставалась одна у себя в комнате, мне часто казалось, что эта тайна растет во мне и душит меня изнутри, и потом, мне казалось, что я все больше и больше тупею, потому что уже никто и ничто не могло меня заинтересовать. И я не выдержала: мне было совершенно необходимо знать, любит ли и он меня и поженимся ли мы когда-нибудь. Мне было это столь же необходимо, как есть и пить, и еще я вдруг подумала, что надо уметь во всех случаях говорить правду, даже если это очень непросто и на это нужна смелость. Вот я и сказала ему, что люблю его. Мы стояли на мосту, облокотившись о парапет. Было темно, мимо нас лениво тащились повозки, под брюхом у каждой лошади висел бумажный фонарик. Из прибрежной травы, колючей и высокой, тихо вылетали птицы. Мы немного постояли молча, глядя, как опускается ночь и загорается свет в домиках на окраине, невдалеке от нас. Он сказал, что с детства любит бумажные фонарики и весь год ждет Ночи Всех Скорбящих, чтобы развесить их на балконе, но к утру они лопаются, и это грустно. И вдруг я все выложила ему: как я жду его все время в моей каморке в пансионе, и как мучаюсь одна, и пропускаю ошибки в сочинениях, и как постепенно тупею, и как люблю его. Сказав все это, я повернулась, посмотрела на него и увидела его испуганное и грустное лицо. Тогда я поняла, что он меня не любит. Я заплакала, а он вытащил носовой платок и стал вытирать мне слезы. Он был бледный и очень испуганный: оказывается, он не предполагал, что такое может со

мной случиться, ему очень хорошо со мной и он очень хорошо ко мне относится, но он меня не любит. Он сказал, что уже много лет любит другую женщину, но не может жениться на ней, потому что она уже замужем, но ему кажется, что он никогда не смог бы жить ни с кем, кроме нее. Он сказал, что очень виноват передо мной, он не хотел причинять мне зла, ему и в голову не приходило, что такое может случиться. Мы молча вернулись в город. У дверей пансиона он спросил, можно ли прийти ко мне завтра, но я сказала, что лучше нам не встречаться.

– Да, конечно, – ответил он и ушел.

Я смотрела ему вслед: сзади вид у него был какой-то обиженный, он шел сутулясь, семенящей, усталой походкой, точно мальчишка, которому крепко досталось.

Я не стала ужинать, поднялась к себе в комнату, легла в постель и поручила служанке дозвониться до Франчески и попросить ее, если возможно, прийти ко мне. Франческа пришла. Такая красивая, в черном трикотажном платье, турецкой шапочке с шелковой бахромой и с выщипанными бровями. Она села ко мне на кровать, закурила сигарету и сказала:

– Выкладывай!

Я плакала и не могла говорить.

Она курила и ждала.

– Все тот же старикашка?

– Да, – ответила я.

Она скривилась и выпустила большое кольцо дыма.

– Не нравится мне этот тип.

Мало-помалу я рассказала ей все. Она просидела у меня до полуночи, и нам пришлось будить служанку, чтобы та открыла входную дверь. Франческа оставила мне снотворное, но я все равно не заснула. Время от времени забывалась сном, но тут же передо мной опять вставало перепуганное, страдальческое лицо Альберто. Я не знала, что мне теперь с собой делать. И внутри, в душе, меня жег стыд за все, что я ему сказала, и за все, что он сказал мне.

На следующее утро ко мне пришла Франческа. Принесла мне апельсины. Отправила служанку ко мне в школу предупредить, что у меня бронхит. Написала моей матери, что я не приеду в Маону в следующую субботу, потому что плохо себя чувствую. Потом очистила мне апельсин, но я отказалась от него, и она съела его сама. Она сказала, чтобы я лежала весь день. И еще сказала, что мне остается одно – уехать с ней вместе в Сан-Ремо на два месяца. Я сказала, что не могу из-за школы, да и к тому же у меня нет денег. Она сказала: хрен с ней, с этой школой, а денег у нее хватит на двоих, и завтра же мы уезжаем.

Она обещала, что в Сан-Ремо одолжит мне кружевное вечернее платье с большим декольте сзади и с двумя небесно-голубыми розами на плечах. Она вынула из шкафа чемодан, оберла его газетой и начала складывать мои вещи, потом пошла домой обедать и собираться. Я еще немного полежала в постели. Стала представлять себе женщину, которую он любит. Эта женщина неподвижно стояла передо мной с большим, напудренным розовой пудрой лицом и сверлила меня глупыми, жестокими глазами. Грудь у нее была пышная и мягкая, пальцы длинные, унизанные кольцами. Потом она исчезла, но через минуту опять появилась передо мной, только теперь это была какая-то бледная немочь в старомодной шляпе, из-под широких полей которой глядели усталые и тревожные глаза. Эта маленькая

женщина в шляпе жалела меня, но мне ее присутствие было нестерпимо, а ее жалостливый взгляд омерзителен.

Я все думала, что мне теперь с собой делать. Все мои и его слова вновь и вновь переливались внутри меня. Во рту пересохло и горчило, голова раскалывалась.

Пришла служанка сказать мне, что все тот же господин ждет меня в гостиной. Я встала и оделась. Спустилась вниз: он сидел, положив портфель на колени. Съездившийся, понурый, точно провинившийся школьник. Он сказал, что не спал всю ночь, я сказала, что тоже не спала. Мы вышли на улицу и пошли в кафе. Сели в глубине темного пустынного зала с зеркалами, на которых большими красными лакированными буквами было написано «Чинзано». В соседнем зале играли в бильярд, до нас долетали голоса и стук шаров. Он сказал, что не может не видаться со мной и всю ночь мучился, думая о том, какое зло мне причинил. Но не видаться со мной все равно не может, теперь, после смерти матери, ему так одиноко дома. Он даже представить себе не может, что больше никогда меня не увидит, без меня он чувствует вокруг только холод и пустоту. Но ведь у него есть та, другая женщина, сказала я ему. Но он сказал, что та женщина очень мучает его и жизнь у него безрадостная, он чувствует себя глупым и никому не нужным, как пробка, покачивающаяся на воде.

Я не поехала в Сан-Ремо. Когда Франческа пришла за мной, я сказала ей, что не хочу уезжать. Она страшно рассердилась, побросала все апельсины на пол, потом грохнула об пол чемоданом и пнула его ногой. Вдова полковника принялась что есть силы колотить в стену шваброй. А я сказала Франческе, что если я чего-то в жизни не хочу, так это ехать в Сан-Ремо и мне отвратительно море с его буйством волн и света. И уж лучше я сдохну одна в своей комнате в пансионе, только бы не садиться в поезд, и вообще, когда человеку плохо, он должен страдать в одиночку в привычных для него местах, а перемена мест ему только повредит.

– Дело твое, – бросила она, – но впредь не зови меня по ночам к своему смертному одру, у меня своих забот по горло.

Она надела на голову турецкую шапочку и взглянула на себя в зеркало, застегивая и одергивая пальто.

Когда он предложил мне выйти за него замуж, я согласилась. Но спросила, как же он собирается жить со мной, если любит другую, он сказал, что если я его очень люблю и ничего не боюсь, то нам, возможно, будет очень хорошо вместе, и вообще, таких браков сколько угодно, потому что взаимная любовь совсем необязательна и встречается крайне редко. Мне хотелось еще много чего узнать про то, как он ко мне относится, но долго разговаривать с ним о серьезных вещах было невозможно: он не любил ни во что углубляться и вертеть слова так и эдак, как делала я, ему это было скучно. Когда же я заводила разговор о той женщине и спрашивала его, встречается ли он с ней до сих пор, глаза у него мутнели, а голос начинал звучать глухо и устало, в ответ я слышала только, что это плохая женщина, он из-за нее очень много страдал, и больше не хочет о ней думать.

Итак, он сказал мне, что мы поженимся, и мы продолжали встречаться, теперь он держал меня за руку и целовал, когда мы были одни, в кафе или на набережной, но ничего определенного насчет того, когда мы поженимся, в каком месяце, какого числа, не говорил. Однажды я сказала ему, что нам нужно съездить вместе в Маону, чтобы он поговорил с моим отцом. Ему как будто не очень хотелось, но он поехал. Я заранее написала матери, чтобы она убрала из кухни помойное ведро и приготовила к субботе хороший обед, потому что я приеду не одна. Мы сели на рейсовый автобус у Порто-Витториа, и он нарисовал в своем блокноте всех пассажиров. Родители, увидав нас, в первый момент перепугались и растерялись, но Альберто тут же сказал, что ему надо переговорить с отцом наедине, и они удалились в столовую, где было очень холодно, и мать принесла туда раскаленную жаровню. Отец

остался очень доволен разговором, потом мы выпили марсалы, а мать отвела меня в сторонку и стала причитать, мол, он такой старый, и потом, он ниже меня ростом, еле достает мне до плеча, а она всегда считала, что муж должен быть выше жены. Потом она спросила, уверена ли я, что люблю его, я сказала – да, она обняла меня и повела к себе в комнату показывать скатерти и постельное белье, которое давно приготовила к моей свадьбе. Альберто весь день сидел на кухне и разговаривал, мать вынесла из кухни помойное ведро и послала служанку купить две солонки, чтобы не подавать соль, как обычно, в миске, мы поужинали, потом пришли ветеринар с ассессором, и отец сказал им, что Альберто – мой жених. Альберто сыграл в шахматы с ассессором, мы снова выпили марсалы. Альберто уехал в тот же вечер, он очень подружился с ассессором и обещал прислать ему из дома датские марки для его коллекции.

Когда в тот вечер я разделась у себя в комнате и легла в кровать, на которой спала в детстве, мне вдруг стало страшно и противно при мысли о том, что мы скоро поженимся и будем спать в одной постели. Я убеждала себя, что, возможно, все это потому, что у меня еще никогда не было мужчины, но все же опять начала сомневаться, действительно ли я его люблю, ведь, когда он меня целует, мне это не очень приятно. Но разобраться в себе до конца я все равно была не в состоянии, потому что уже знала: исчезни он навсегда из моей жизни, мне будет так больно, что и жить не захочется, а когда он рядом, как сейчас, и разговаривает с моими отцом и матерью, мне становится противно и страшно. Потом я опять подумала, что, возможно, так происходит со всеми девушками, и всем им непросто, и вообще человек не должен все время анализировать свои чувства, вглядываться и вслушиваться в себя, иначе он совсем запутается и вообще не будет знать, как ему жить.

На воскресенье я осталась в Маоне, а мой отец утром уехал в город, чтобы встретиться с доктором Гауденци и разузнать об Альберто. Вечером он вернулся совсем довольный и сказал, что одобряет мой выбор, потому что Альберто человек порядочный, достойный, с хорошим положением. Мать же плакала и говорила, что брак – это всегда неизвестность, и тогда отец сказал ей, что она дура и что женщины всегда находят повод пустить слезу.

Когда мы раньше, до того как поженились, ходили вместе в кафе или гуляли, ему было хорошо со мной и я нравилась ему, хоть он и не был в меня влюблен. Он выходил из дома специально, чтобы встретиться со мной, выходил даже в дождь. Рисовал мое лицо у себя в блокноте и слушал, что я ему рассказываю.

Но с тех пор, как мы поженились, он перестал рисовать мое лицо. Теперь он рисовал зверей и поезда. Я спросила его, почему он рисует поезда, не потому ли, что ему хочется уехать. Он рассмеялся и сказал, что нет. Однако месяц спустя после нашей свадьбы он уехал. И отсутствовал десять дней. Как-то утром я застала его укладывающим чемодан. Он сказал, что уезжает с Аугусто: им захотелось просто, без всякой цели побродить по окрестным деревушкам, где прошло их детство. Он не предложил мне поехать с ними. Даже не заговорил об этом. Но я не обиделась, ведь они с Аугусто дружили с детства, стоило им встретиться, и они сразу начинали изъясняться на каком-то своем, им одним понятном языке. К тому же он как-то сказал мне, что Аугусто меня недолюбливает. Он уехал. Я не очень скучала, но думала, что все же надо мне хоть немного подружиться с Аугусто и тогда в следующий раз я могла бы поехать вместе с ними. Мне тоже нравится путешествовать по маленьким деревенькам. Но, возможно, он этого не знал.

У нас была молоденькая шестнадцатилетняя служанка, дочь сапожника из Маоны. Ее звали Джемма. Она была страшно глупа и очень противно смеялась в нос. Джемма вбила себе в голову, что у нас завелись мыши, хотя я ни разу не видела ни одной. Ночью она спала, накрывшись с головой из страха, что мыши прыгнут на постель и съедят ее. Она даже привезла из Маоны кошку. И разговаривала с ней, убирая квартиру. Кошка все время убегала в комнату, где умерла старуха, а туда Джемма ни за что войти не хотела, боялась, что старуха выскочит из шкафа и вырвет у нее глаза. Потому она стояла в дверях и умоляла



кошку выйти из комнаты. Кошка мяукала на кресле, а Джемма манила ее корочкой сыра. Я и сама часто заходила в эту комнату; мне нравилось представлять себе, какой была эта старуха, а в комнате и стены, и пустые коробки из-под пудры, и занавески с бахромой сохранили ее запах. Возле окна стояло ее кресло и скамеечка для ног, в шкафу висело ее черное платье и вязаная шаль.

Кабинет Альберто был заперт на ключ. Он запирали его всякий раз, когда выходил из дома, и ключ клал в карман. Я спросила, зачем он это делает, и он сказал мне, что в ящике его стола лежит заряженный револьвер. Ящик был без замочной скважины, и его он запереть не мог, поэтому запирали кабинет. От греха подальше, вдруг мне в голову чего-нибудь взбредет, сказал он, смеясь. А еще он сказал, что этот заряженный револьвер уже много лет лежит у него в ящике, на случай если ему захочется застрелиться или застрелить кого-нибудь. Это давняя привычка, почти суеверие. К тому же у Аугусто есть точно такой же.

Когда его не было дома, я часто останавливалась перед запертой дверью. И думала, что он закрывает кабинет на ключ вовсе не из-за револьвера. Возможно, там были письма или фотографии. Я огорчалась из-за того, что мне самой нечего от него скрывать. Но мне действительно скрывать было нечего. Про свою жизнь я все ему рассказала. Она была однообразна и бесцветна до встречи с ним. А теперь я отказалась от всего, что не имело к нему отношения. Ушла из школы. Редко виделась с Франческой. С тех пор как я не поехала в Сан-Ремо, Франческа чуть ли не избегала меня. Ей явно приходилось делать над собой усилие, чтобы не сказать мне какую-нибудь гадость. Я бы предпочла, чтобы она грубила мне, как раньше. Но теперь, напротив, она была холодна и любезна. Несколько раз по вечерам нас с Альберто приглашали к себе Гауденци, они принимали нас очень радушно и говорили, что чувствуют себя устроителями нашего счастья, потому что именно у них я познакомилась с Альберто. Но Альберто считал их тупицами и всегда находил какой-нибудь предлог, чтобы не пойти. Зато когда к нам по вечерам приходил Аугусто, он всегда был ему рад. Они вдвоем сидели у Альберто в кабинете, а я шла спать, потому что Альберто сказал мне, что Аугусто чувствует себя неловко в моем присутствии.

Несколько дней спустя после его отъезда я встретила Аугусто на улице. Он шел, подняв воротник пальто и засунув руки в карманы, на мгновение его мужественное, сердитое лицо обернулось ко мне. Меня бросило в дрожь, и я промолчала, он махнул мне рукой и быстро удалился. Так я узнала, что Альберто солгал мне – он уехал не с Аугусто. Я вернулась домой. Села возле печки, кошка улеглась мне на колени. И тут я подумала, что из нашего брака ничего хорошего не получится. Раньше я никогда так не думала. Я гладила кошку и смотрела в окно на сад, на листья, розовеющие в лучах заходящего солнца. И вдруг я поняла, что чувствую себя в этом доме как гостя. Я даже не думала о нем как о своем доме, и, когда гуляла по саду, не думала, что это мой сад, и, когда Джемма разбивала тарелку, чувствовала себя виноватой, хотя Альберто ничего не говорил. Мне все время казалось, что старуха вот-вот выскочит из шкафа и прогонит меня вместе с Джеммой и кошкой прочь отсюда. Но тогда где же теперь мой дом? Мою комнату в Маоне мать завалила картошкой и наставила банок с консервированными помидорами. Мне захотелось вновь очутиться в пансионе, в комнате с обоями в цветочек и варить себе яйцо на спиртовке под истошные вопли хозяйской дочки.

Я поужинала и легла в постель. Мне было холодно и никак не удавалось заснуть. Так и лежала в темноте, стуча зубами. На нашей с ним постели; мы спали на ней с тех самых пор, как вернулись из свадебного путешествия, проводя две недели на озерах. Как я и ожидала, мне было с ним противно и стыдно, и я думала, что так, наверно, бывает в первое время со всеми женщинами. Но когда он засыпал рядом со мной, я сразу чувствовала облегчение и успокаивалась. Я призналась ему в том, что испытываю, занимаясь любовью, и спросила, со всеми ли женщинами так происходит. Он ответил, что понятия не имеет, что там происходит с женщинами, а мне надо скорее родить ребенка, потому что это самое важное для женщины, да и для мужчины тоже. И еще он сказал, что мне надо избавиться от этой привычки все

время копаться в себе.

Мне и в голову не приходило, что он может мне солгать. Я помогала ему складывать чемодан и заставила взять с собой шерстяной плед, ведь он собирался ночевать в деревенских гостиницах, и я боялась, как бы он не простудился. Он отказывался, но я настояла. Он очень торопился побыстрее уйти, говорил, что Аугусто ждет его в кафе на вокзале.

Я вспоминала то, что было ночью, и те нежные, взволнованные слова, которые он мне говорил. Потом он засыпал, и я слышала его ровное дыхание в темноте, возле меня. Я долго лежала без сна и вспоминала все те слова, что он сказал мне. Мне не очень нравилось заниматься любовью, но нравилось лежать в темноте и повторять про себя его слова.

Он уехал не с Аугусто. Он уехал с той своей женщиной. Конечно, он лгал мне не впервые, конечно, они уже не раз встречались с тех пор, как он решил жениться на мне. Не раз, говоря, что идет на работу, он, наверно, шел на свидание с ней. В постели он говорил ей те же взволнованные слова, что и мне. Потом они неподвижно лежали рядом и время от времени тяжело вздыхали из-за того, что надо разлучаться. Эта женщина неподвижно стояла в темноте передо мной. На ней было блестящее шелковое платье и много украшений. Зевая, она ленивыми движениями стягивала чулки. Потом исчезала, но через мгновение появлялась снова: теперь это была высокая мужеподобная женщина, она шла размашистым твердым шагом с пекинесом на руках.

Альберто отсутствовал десять дней. Как-то вечером он вернулся. Усталый и в плохом настроении. Попросил кофе погорячее. Джемма уже легла спать, и кофе я сварила ему сама. Принесла его в нашу спальню. Он пил кофе и смотрел на меня. Он не поцеловал меня при встрече. А теперь медленно пил кофе, пристально глядя на меня.

– Ты ездил не с Аугусто. Так с кем же?

Он поставил чашку на стол и поднялся. Запустил руки в свои кудрявые волосы и с силой почесал голову. Снял галстук, пиджак и швырнул их на стул.

– Я устал и хочу спать, – сказал он. – У меня нет никакого желания разговаривать.

– Аугусто куда не уезжал, я встретила его на улице. С кем ты ездил?

– Один, я ездил один.

Мы легли спать, и я погасила свет.

– Прямо скажем, не слишком приятное путешествие, – внезапно зазвучал в темноте его голос. – Лучше б я остался дома.

Он подвинулся и прижался ко мне.

– Не спрашивай меня ни о чем, прошу тебя, – сказал он, – мне грустно, и я очень устал. Мне бы хотелось, чтобы ты помолчала и полежала спокойно. Мне очень грустно.

– Она злая? – спросила я.

– Она несчастная. – Он тихонько ласкал меня в темноте. – Она не виновата, что причиняет зло.

Бесшумные горячие слезы текли у меня по лицу. Он дотронулся рукой до моего лица и еще теснее прижался ко мне.

– Слово в преисподней побывал, – сказал он и тихонько рассмеялся. – Не спрашивай меня

ни о чем. Никогда не спрашивай. Ты – единственное, что у меня есть. Запомни это.

Его голова лежала у меня на плече, я дотронулась рукой до его густых, жестких волос, до худого горячего лица. Впервые за все время мне не было противно с ним.

Через несколько месяцев он уехал опять. Я ни о чем его не спросила. Когда он собирал чемодан у себя в кабинете, я видела, как он кладет туда томик Рильке. Иногда по вечерам он и мне читал Рильке. Он уехал.

– Вернусь через две недели, – сказал он.

Как обычно, запер на ключ дверь своего кабинета. Он никогда не забывал это сделать. Когда он уходил, я улыбнулась ему.

Все с той же улыбкой на лице я поднялась по лестнице, зашла в спальню, стараясь эту улыбку сохранить. Села перед зеркалом и стала расчесывать волосы щеткой, продолжая улыбаться все той же идиотской улыбкой. Я была беременна, и лицо у меня опухло и побледнело. Даже письма, которые я писала матери, носили отпечаток этой жалкой, идиотской улыбки, которая сейчас была на моем лице. Но в Маону я больше не ездила, боялась расспросов матери.

«Ты – единственное, что у меня есть. Запомни это».

Я запомнила, и эти слова немножко помогали мне жить. Но они постепенно утрачивали свою нежность, как сливовая косточка, которую сосут слишком долго. Я ни о чем его не спрашивала. Он возвращался домой поздно вечером, и я не спрашивала, чем он был занят. Но мне приходилось ждать его так долго, что я постепенно привыкла к молчанию. Теперь я не знала, что бы такое сказать ему, и очень боялась, что ему со мной скучно. Хотелось сказать ему что-нибудь смешное и веселое. Я вязала под лампой, а он читал газету и с силой чесал себе голову. Иногда он рисовал в своем блокноте, но мое лицо больше не рисовал. Он рисовал поезда и лошадей. Маленьких лошадок, скачущих галопом, с развевающимися по ветру хвостами. А когда у нас появилась кошка, он стал рисовать еще и кошек с мышками. Я посоветовала ему рисовать кота со своим лицом и мышку с моим. Он рассмеялся и спросил почему. Я сказала, что, по-моему, мы на них очень похожи. Он снова рассмеялся и сказал, что я совсем не похожа на мышку. Но все-таки нарисовал кота со своим лицом и мышку с моим. У мышки был испуганный и понурый вид, она сидела и вязала, а кот был черный, страшный и рисовал в блокноте.

Когда он уехал во второй раз, ко мне в тот же вечер пришел Аугусто. И просидел допоздна. Сказал, что Альберто, уезжая, просил его навещать меня. Я удивилась, даже не нашла, что сказать. Он сидел напротив – в зубах зажата трубка, шея обмотана уродливым шарфом из серой шерсти, лицо большое, мужественное, с черными усами – и молча смотрел на меня. Тогда я спросила его, правда ли, что он меня недолюбливает. Он весь покраснел, даже лоб и глаза, и мы оба рассмеялись. И тут мы с ним немного подружились. Бывает, люди никак не могут найти общий язык, а сказать-то надо всего несколько слов. Потом мы перешли друг с другом на «ты», он сказал, что совсем не умеет разговаривать на «вы». А еще сказал, что вообще-то всех недолюбливает и за свою жизнь встретил только одного человека, который ему по-настоящему нравится, – это он сам. Когда у него плохое настроение, достаточно только посмотреть на себя в зеркало и улыбнуться, и все проходит. Я сказала, что и я не раз пыталась улыбаться себе в зеркале, но мне это не помогает. Он спросил, часто ли у меня бывает плохое настроение. Я ответила, что часто.

Он сидел напротив, зажав трубку между пальцев и выпуская дым из сомкнутых губ.

– Аугусто, – сказала я, – какая она, эта женщина?

– Женщина? О ком ты?

– Та, что ездит вместе с Альберто.

– Давай-ка лучше не будем говорить о ней. По-моему, нам с тобой не следует этого делать.

– Но я же ничего о ней не знаю. Я даже не знаю, как ее зовут. И все время себя терзаю, пытаюсь представить, какое у нее лицо.

– Ее зовут Джованна. А лицо как лицо. Ничего особенного.

– Значит, она не красавица?

– Не знаю. В красавицах я плохо разбираюсь. Но думаю, что, скорее, она все-таки красивая. Или по крайней мере была в молодости.

– Значит, теперь она уже не очень молодая?

– Не очень, но зачем тебе все это нужно?

– Мне бы хотелось хоть изредка говорить с тобой о ней. Я устаю думать о ней в одиночестве. Ведь я ничего о ней не знаю. Я даже не знала, что ее зовут Джованна. И потому мне кажется, что я все время блуждаю в темноте. Мне кажется, я ослепла и передвигаюсь на ощупь.

У меня упал клубок шерсти, он наклонился и поднял его.

– И какого черта вы поженились?

– Я совершила ошибку, – сказала я. – Большого желания у него не было, но раздумывать он не стал. Он не любит долго думать о серьезных вещах. И еще он ненавидит людей, которые копаются в себе и стараются понять, как им жить. Когда он видит, что я сижу неподвижно, молчу и думаю, он закуривает и уходит. Я вышла за него замуж, потому что хотела всегда знать, где он. Он-то всегда знает, где я. Знает, что я сижу здесь и жду его. А вот я не знаю, где он. Он мне не муж. Жена всегда знает про мужа, где он. И если ее спрашивают: «Где твой муж?» – она сразу может ответить и не боится ошибиться. Я теперь даже из дома выходить перестала, боюсь, что встречу знакомых и они спросят меня: «Где твой муж?» И я не буду знать, что им ответить, понимаешь? Может, тебе это покажется глупым, но мне стыдно, и я вообще не выхожу из дома.

– Так почему вы поженились? – спросил Аугусто. – Что на вас нашло?

Я расплакалась.

– Какая глупость, – сказал он.

Он выпускал изо рта клубы дыма и молча глядел на меня. Его мрачное, непроницаемое лицо словно отказывалось меня жалеть.

– Аугусто, где же все-таки Альберто? Куда он уехал?

– Не знаю, – ответил он. – Спокойной ночи. Мне надо идти. – Он взял со стула свое пальто и спичкой вычистил трубку. Его длинный одинокий силуэт застыл в проеме двери. – Я ничем не могу помочь тебе, поверь. Спокойной ночи.

Всю ночь я не сомкнула глаз. Мне казалось, что Аугусто влюбляется в меня и становится моим любовником. Каждый день я бегаю к нему на свиданья в гостиницу. Возвращаюсь домой очень поздно, а Альберто ждет меня и с тревогой заглядывает мне в глаза, стараясь понять, где я была. Но когда Аугусто через несколько дней вновь пришел ко мне, я смотрела

на него и стыдилась своих мыслей. Он подавал мне упавший клубок, набивал трубку, разжигал ее, спичкой вычищал пепел, ходил взад-вперед по ковру, а я все думала про гостиницу и краснела от стыда. Но он явно не собирался в меня влюбляться, да и я не испытывала к нему никаких чувств. Я больше не заводила речь про нас с Альберто, и он молчал, мы вообще не знали, о чем говорить, мне было скучно, и ему, наверно, тоже. Но меня радовало, что мы с ним немножко подружились. Когда вернулся Альберто, я сразу сказала ему, что мы с Аугусто немножко подружились. Альберто, ничего не ответил, но, по-моему, остался недоволен. Он кричал и бушевал в ванной: и вода ему была недостаточно горячей, и помазок куда-то задевался, и еще чего-то он не мог найти. Вышел из ванной побритый, с зажженной сигаретой, я спросила его, как он съездил на этот раз. Он сказал, что съездил так себе и не собирается ничего мне рассказывать, и вообще он ездил в Рим по делам. Я попросила его больше не уезжать, пока не родится ребенок, я боялась, что ночью, когда буду одна, со мной что-нибудь случится. Но он сказал, что я не первая рожаю детей и все эти страхи – просто глупость. Потом мы немного посидели молча, я взяла и плакала, и тогда он вышел из комнаты, хлопнув дверью.

Вечером пришел Аугусто, и я провела его в гостиную. Альберто вновь повторил, что ездил в Рим по делам, и поблагодарил Аугусто за то, что тот не забывал меня. Потом Джемма позвала меня на кухню, чтобы показать книжку расходов, а когда я вернулась в гостиную, их обоих там уже не было, голоса доносились из кабинета Альберто. Я не знала, что мне делать: пойти к ним или остаться в гостиной, мне очень хотелось пойти, но я никак не могла решиться, а потом вдруг подумала, что, если я пойду, в этом не будет ничего особенного. Я взяла свое вязанье и хотела войти в кабинет, но дверь была заперта на ключ.

– Да, это бесполезно, – услышала я голос Альберто.

Что бесполезно? Я села в гостиной и стала считать петли. Я чувствовала себя уставшей, отяжелевшей, ребенок шевелился внутри, и вдруг мне захотелось умереть вместе с моим ребенком, чтобы не чувствовать больше ни этой тревоги, ни вообще ничего.

Я легла в постель и заснула, но проснулась, когда пришел Альберто.

– Хочу умереть вместе с моим ребенком, – сказала я ему.

– Спи и не говори глупостей. Я не хочу, чтобы ты умирала.

– Какая тебе разница, умру я или нет. У тебя есть Аугусто, Джованна, и я тебе совершенно не нужна. Да и ребенок тебе не нужен, ну скажи, зачем тебе ребенок, ты ведь старый, жил же до сих пор без детей и прекрасно без них обходился.

Он рассмеялся.

– Но я не такой уж и старый. Мне всего сорок четыре.

– Нет, ты очень старый. Весь седой. Сорок четыре года ты прожил без детей. Зачем тебе ребенок? Он будет плакать, а ты не сможешь к этому привыкнуть.

– Прошу тебя, не говори глупостей. Ты ведь знаешь, что я очень хочу этого ребенка.

– А почему у вас с Джованной нет детей?

Он тяжело вздохнул в темноте.

– Я же просил тебя не говорить со мной об этой женщине.

Я села на кровати.

– У этой женщины, между прочим, есть имя.

– Ну и что?

– Скажи – о Джованне.

– О Джованне.

– Почему у вас нет ребенка?

– Вряд ли ей так уж хотелось иметь от меня ребенка.

– Вот как? Значит, она тебя не любит?

– Думаю, не очень.

– И я тоже не люблю тебя. Тебя невозможно любить. Знаешь почему? Потому что ты трус. Ты маленький человечек, который боится взглянуть правде в глаза. Ты и в самом деле пробка. Никто тебя не любит, и ты никого не любишь.

– Ты меня не любишь?

– Нет.

– И давно ты меня разлюбила?

– Не знаю. Разлюбила, и все.

Он снова вздохнул.

– Это очень плохо.

– Альберто, скажи мне, куда ты ездил?

– В Рим, по делам.

– Один? Или с Джованной?

– Один.

– Поклянись!

– И не подумаю.

– Потому что это неправда. Ты ездил с Джованной. Скажи мне, куда? На озера? Вы были на озерах?

Он зажег свет и встал. Взял из шкафа одеяло.

– Пойду спать в кабинет. Так нам обоим будет лучше.

Он стоял посередине комнаты, повесив одеяло на руку, маленький и худой, в мятой голубой пижаме, со взлохмаченными волосами и усталым, тревожным лицом. Я заплакала. И сказала ему:

– Нет, Альберто, я не хочу, чтобы ты уходил. Не хочу.

Я плакала и дрожала, он подошел и погладил меня по голове. Я взяла его руку и поцеловала ее.

– Это неправда, что я больше тебя не люблю. Ты даже не можешь себе представить, как я тебя люблю. Я бы не смогла быть с другим мужчиной. Я бы не смогла лечь в постель ни с Аугусто, ни с кем другим. Я хочу любить только тебя. Я – твоя жена. Когда ты уезжаешь из дома, я жду тебя. Я больше ни о чем не думаю, просто не могу ни о чем думать и постепенно тупею. Конечно, мне это неприятно, но тут уж ничего не поделаешь. Я все помню о нас с тобой с самой первой нашей встречи. Я рада, что я твоя жена.

– Ну и хорошо, – сказал он. И, взяв одеяло, ушел спать в кабинет.

И потом еще очень долго мы не спали вместе.

Когда я вышла из бара, было уже темно. Дождь перестал, но булыжная мостовая блестела от дождя. Я почувствовала смертельную усталость и жгучую боль в коленях. Но я еще немного побродила по городу, потом села в трамвай и вышла у дома Франчески. Окна гостиной светились, я увидела служанку с подносом и вспомнила, что сегодня среда, а по средам у Франчески всегда гости. Я решила не заходить к ней. Снова пошла бродить по городу. Ноги у меня устали, отяжелели, на левой пятке на чулке оказалась дыра, и туфля натирала голую пятку. Я подумала, что рано или поздно мне все же придется вернуться домой. При этой мысли меня зазнобило и затошнило. Я снова пошла в сквер. Села на скамейку и вытянула ногу из туфли посмотреть натертую мозоль. Пятка покраснела и распухла, лопнувший волдырь кровоточил. На скамейках, в тени деревьев, целовались парочки, прямо на земле спал старик, съезжившись под зеленым плащом. Я закрыла глаза и стала вспоминать, как иногда днем мы ходили с девочкой гулять в сквер: шли медленно-медленно, время от времени я поила девочку кофе с молоком из термоса, который брала с собой. У меня была специальная большая сумка, куда я складывала все, что могло понадобиться девочке: клеенчатый и махровый слюнявчики, рассыпчатое печенье с изюмом, которое присылала нам мать из Маоны, – девочка очень его любила. Гуляли мы долго: медленно-медленно шли по скверу, я оборачивалась и смотрела, как она ковыляет за мной: капюшон, отороченный бархатом, пальтишко с бархатными пуговицами, белые гамаша. Франческа подарила ей верблюда, которого надо было везти за веревочку и при этом он вертел головой. Очень красивый верблюд, у него даже было седло, обтянутое красной материей с золотыми узорами, и головой он вертел с таким приветливым и рассудительным видом. Верблюд то и дело запутывался в веревке и падал, приходилось поднимать его, и мы потихоньку шли дальше среди деревьев, в теплых и словно чуть влажных лучах солнца, у девочки сползали перчатки, я наклонялась и натягивала их на пальчики и вытирала ей нос носовым платочком, а когда она уставала, брала ее на руки.

Я решила, что ночью пойду домой, а утром – в полицию. Правда, я не знала, где находится полицейское управление, но собиралась поискать точный адрес в справочнике. А потом попросить их, чтобы они разрешили мне рассказать все по порядку, с самого первого дня, может быть, даже некоторые подробности, на первый взгляд несущественные, но они-то и были самыми важными. Конечно, это довольно долгая история, но они должны дать мне возможность рассказать ее. Я стала думать о том человеке, который будет слушать меня, сидя за столом, мне представлялось смуглое лицо с усами. Меня снова начало знобить, и захотелось позвать Аугусто или Франческу и попросить их сходить в полицию, а может, самой написать письмо в полицию и подождать дома, пока они придут за мной. Потом меня посадят в тюрьму, но этого я не могла себе представить. Я видела лишь полицейское управление и мужчину за столом со смуглым длинным и лоснящимся лицом, когда он смеялся, меня начинало знобить, а дальше – пустота, бессмысленная вереница дней, лет, как будто все это случится уже не со мной и никак не связано с моей настоящей жизнью, где у меня была дочка и где были Альберто и Джованна, Аугусто и Франческа, Джемма, и кошка, и Маона с моими родителями. А попаду я в тюрьму или нет – не имеет значения, то, что имело значение, уже случилось, а случилось то, что я выстрелила в Альберто, увидела, как он падает всем телом на стол, и, зажмурившись, бросилась прочь из комнаты.

Девочка родилась три года назад, одиннадцатого января в три часа дня. Я кричала два дня и бродила в халате по всему дому, Альберто ходил за мной следом с перепуганным лицом. Пришел доктор Гауденци и очень неприятная молодая акушерка, которая называла Альберто «папаша». Акушерка сцепилась в кухне с Джеммой, она считала, что Джемма плохо помыла бутылки. Ей нужно было много бутылок для стерилизованной воды, а Джемма была страшно перепугана моими криками, в довершение ко всему у нее вскочил ячмень, и она совсем перестала что-либо соображать. Мои родители тоже были здесь. Я бродила по всему дому и несла какую-то околесицу, просила всех помочь мне покончить с этим треклятым ребенком. Потом я легла в постель, мне безумно хотелось спать, я засыпала на минуту, но тут же просыпалась от ужасной боли и кричала, а акушерка пугала меня, что, если я буду так кричать, у меня будет зуб. Про ребенка я забыла. Про Альберто я тоже забыла и мечтала только об одном – спать и не чувствовать этой боли. Я больше не хотела умереть, напротив, я этого страшно боялась и хотела жить и приставала ко всем, когда же наконец кончатся мои мучения. Но они никак не кончались, акушерка ходила взад-вперед со своими бутылочками, мать, маленькая, вся в черном, плакала в углу, Альберто держал меня за руку, но мне было наплевать на его руку, я кусала простыню и старалась не столько родить ребенка, про него я забыла, сколько вышвырнуть эту боль вон из моего тела.

И вот родилась девочка, боль неожиданно прошла, и, вытянув голову, я стала смотреть на красную голую девочку, которая кричала у меня между ног. Альберто склонился ко мне, на лице его были радость и облегчение, и я вдруг почувствовала себя такой счастливой, как никогда в жизни, боли в теле больше не было, а было чувство гордости и покоя.

Мама поднесла ко мне девочку и положила ее рядом на кровати, она была завернута в белую шаль, из которой торчали два маленьких сжатых кулачка, красных и холодных, и маленькая головка, влажная и лысая. Я увидела лицо Джеммы, склонившееся надо мной с горделивой улыбкой, и у матери была такая же горделивая улыбка, а слабый плач девочки, доносящийся из шали, наполнял меня волнением и счастьем.

Все говорили мне, что надо отдохнуть, но теперь у меня уже не было никакого желания отдыхать, я болтала без умолку, разглядывала девочку, какой у нее носик, и лобик, и ротик. Они закрыли ставни, ушли сами и унесли с собой девочку, со мной остался только Альберто, мы вместе посмеялись над Джеммой, у которой вскочил ячмень, и над акушеркой, которая называла Альберто «папашей». Он спросил меня, по-прежнему ли мне хочется умереть, я сказала, что умирать мне совсем не хочется, наоборот, мне очень хочется выпить апельсинового сока. Альберто пошел за соком и принес мне его в большом стакане на подносе; пока я пила, он поддерживал мне голову и тихонько целовал мои волосы.

Первое время девочка была очень некрасивой, и Альберто называл ее «лягушонком». Возвращаясь домой, он тут же спрашивал: «А что поделывает лягушонок?» – подходил к кровати, стоял и смотрел, засунув руки в карманы. Потом он купил фотоаппарат, чтобы фотографировать девочку, когда она хоть немножко похорошеет. Мать с отцом через несколько дней уехали, мать была счастлива и, уезжая, спросила, счастлива ли я, я сказала ей, что да. Из Маоны мать прислала мне большую посылку с вязаными вещами для девочки и еще носками, которые она связала для Альберто, а отец прислал ему в подарок несколько бутылок вина; оба они и в самом деле были очень довольны и считали, что у меня все в порядке; мать прислала мне письмо, где беспокоилась за Альберто, что он такой худой и так мало ест и, наверно, переутомляется на работе, она советовала мне позаботиться, чтобы девочка не будила его по ночам. Должно быть, мать считала, что после рождения девочки мы снова будем спать вместе, но он продолжал спать у себя в кабинете с тех самых пор, как вернулся тогда из поездки, а я поставила кровать с девочкой возле своей постели. Но спала я плохо: все время вскакивала и проверяла, спит ли девочка, может, ей холодно или слишком жарко, и спокойно ли она дышит. А когда прошли первые месяцы, девочка сделалась ужасно капризной, каждую минуту просыпалась и кричала, а я вставала и укачивала ее. Больше всего я боялась, что Альберто в кабинете все слышно, и потому моментально вскакивала и



старалась поскорее ее успокоить, брала на руки, ходила с ней взад-вперед по комнате, напевая вполголоса. С каждым днем она становилась все капризнее и плаксивее и требовала, чтобы ее все время укачивали, у меня на руках она успокаивалась и, казалось, засыпала: закрывала глазки и дышала ровно, но стоило мне положить ее в кроватку, как она тут же снова принималась кричать. Днем я ходила сонная. Молока у меня было очень мало, я старалась есть как можно больше и очень растолстела, но девочка никак не поправлялась, и, когда я вывозила ее гулять, я все смотрела на других малышек, лежащих в колясках, спрашивала, сколько им месяцев, сколько они весят, и очень огорчалась, что моя девочка худее и слабее их. После каждого кормления я обязательно взвешивала ее и еще каждую субботу взвешивала голенькую перед купанием, у меня был специальный блокнотик, куда я записывала красными чернилами, как ее вес изменился за неделю, а зелеными – вес после кормлений; каждый раз в субботу я вставала с бьющимся сердцем, надеясь, что она прибавила в весе за неделю, но она прибавляла плохо, а иногда не прибавляла совсем, и тогда я впадала в полное отчаяние. Альберто очень злился на меня за это, он говорил, что в детстве тоже был худым, а еще смеялся надо мной из-за блокнотика и из-за того, что у меня дрожат руки, когда я одеваю и раздеваю девочку, и что все время опрокидываю коробочку с присыпкой и начинаю страшно суетиться, если девочка плачет. Он нарисовал меня с английскими булавками во рту, вид перепуганный и озабоченный, пояс на халате развязан и волочится по земле, волосы схвачены сеткой – так я тогда ходила, потому что у меня не было никакого желания причесываться. Я не позволяла Джемме прикасаться к девочке, меня всякий раз передергивало, когда она подходила к кроватке и восхищалась девочкой и трясла у нее перед лицом погремушку своими вечно красными и мокрыми руками. Не нравилось мне и когда в комнату к девочке заходил Аугусто, я боялась, что он занесет нам какую-нибудь инфекцию, он жил с сестрой, у которой тоже был маленький ребенок, и я боялась, что если у этого ребенка коклюш или корь, то Аугусто может принести к нам эту заразу, к тому же Аугусто как-то сказал, что его племянник очень толстый и здоровый, и мне было стыдно за мою девочку.

Когда девочке было месяца три, Альберто начал ее фотографировать, он снимал ее в ванночке и на столе, в чепчике и без чепчика, и на некоторое время очень этим увлекся, даже купил еще один фотоаппарат, более современный, и большой альбом в цветастом переплете и старательно наклеивал туда все эти фотографии, соблюдая хронологию, а внизу ставил дату красными чернилами, а иногда делал какую-нибудь подпись. Но потом ему надоело фотографировать, как надоело вообще все. Однажды он сказал мне, что ему хочется немного проветриться и повидаться с друзьями и он поедет к ним на виллу на озера; когда он собирал чемодан, я заметила, что он кладет туда стихи Рильке. Он уехал и запер на ключ дверь своего кабинета, это он никогда не забывал сделать, а я листала альбом с фотографиями, который лежал на столе в гостиной, и жалела, что ему надоело делать фотографии и альбом остался наполовину пустой. Мне было так грустно смотреть на пустые черные страницы альбома, на последней фотографии девочка была снята с погремушкой, а внизу стояла подпись красными чернилами: «Начинаем играть». И тогда я подумала, что, видимо, одна Джованна никогда ему не надоедает, – я, конечно, не сомневалась, что на озера он поехал с ней и теперь они вместе читают Рильке на скамеечках на берегу озера. Мне он тоже когда-то читал Рильке, но это быстро ему надоело, и дома по вечерам он читал про себя газету или книгу, с силой чесал себе голову, ковырял в зубах зубочисткой, никогда не обсуждал со мной прочитанное и не делился своими мыслями. Я вдруг подумала, нет ли тут и моей вины, но ведь я же всегда слушала его внимательно и стихи хвалила, хотя они и казались мне скучноватыми. Интересно, каким образом Джованне удалось так привязать его к себе, наверно, она никогда не показывала, что любит его, а наоборот, все время мучила и обманывала, и потому он не знал с ней покоя и не мог ни на минуту забыть о ней. Я пошла посмотреть на девочку в кроватке, и мне стало жаль ее, эту девочку, потому что я одна любила ее по-настоящему. Я вынула ее из кроватки, чтобы покормить, и, пока расстегивала халат и давала ей грудь, думала о том, что, когда женщина держит на руках собственного ребенка, все остальное для нее не имеет никакого значения.

В полгода я начала отнимать девочку от груди, я готовила ей кашку из рисовой муки, которая ей совершенно не нравилась. Она была все такой же худенькой и плаксивой, и у нее часто болел животик. Доктор Гауденци был очень любезен, он регулярно навещал нас, осматривал девочку, но, случалось, терял со мной терпение и ругал меня за то, что я такая психопатка и паникую по любому поводу. Я и правда все время паниковала, и, если у девочки вдруг поднималась температура, я прямо голову теряла от ужаса, каждую минуту ставила ей градусник, читала в книжке про все детские болезни подряд, не причесывалась, не ела и не спала по ночам. Даже если температура поднималась совсем немножко, я превращалась в настоящую фурию, кричала на Джемму без всякой причины, словно она была в чем-то виновата. Потом, как только температура падала, я постепенно успокаивалась, мне становилось стыдно перед Джеммой, я звала ее и дарила что-нибудь. Временами у меня возникало желание совсем не видеть девочку. Мне даже не хотелось смотреть на ее вещи: на погремушку, коробочку с присыпкой, пеленки, разбросанные на стульях, а хотелось ходить в кино с подругами или читать романы. Но подруг у меня не было, а если я открывала какой-нибудь роман, мне сразу становилось скучно, и я вновь брала книжку про то, чем кормить маленьких детей и чем они болеют.

Однажды вечером, когда я варила девочке рисовую кашку, неожиданно появилась Франческа. Без шляпы, не покрашенная, она была в плаще и черном платье. Вид какой-то мрачный и грозный, прядь волос упала на глаза. Она попросила разрешения переночевать у меня, потому что разругалась с матерью. Я велела Джемме приготовить ей постель в гостиной на диване. Она уселась и стала смотреть, как я кормлю девочку, девочка, как обычно, все выплевывала обратно, Франческа курила и смотрела.

– Не понимаю, как ты это выносишь, – сказала она. – В тот день, когда у меня родится ребенок, я покончу с собой.

Альберто был у себя в кабинете. Я пошла сказать ему, что у нас Франческа, у нее что-то случилось и она остается у нас ночевать.

– Ладно, – сказал он. Он читал немецкую книжку о Карле V и делал заметки карандашом на полях.

Я уложила девочку спать. Франческа сидела в гостиной, развалившись на диване, и курила. Вид у нее был такой, словно она сидит в своей комнате. Она сняла пояс с чулками и повесила на спинку кресла. Пепел она стряхивала прямо на ковер.

– Ты знаешь, что он тебе изменяет?

– Знаю.

– И тебе это безразлично?

– Нет.

– Уходи от него. Поедем куда-нибудь вместе. Сукин он сын! Что ты в нем нашла?

– Я люблю его, и у нас ребенок.

– Но он же тебе изменяет. Без зазрения совести. Я их все время вижу вместе. Совсем некрасивая. Задница как кочан капусты.

– Ее зовут Джованна.

– Уходи от него. Что ты в нем нашла?

– Значит, ты ее видела. Ну и как она?

– Ммм, одеваться не умеет. Я часто их вижу. Прогуливаются себе не спеша.

– А почему как кочан капусты?

– Слишком круглая. А она идет и вихляет ею во все стороны. Какого черта ты меня об этом спрашиваешь?

Она разделась догола и принялась разгуливать по гостиной. Я заперла дверь на ключ.

– Боишься, что он меня увидит? Что этот сукин сын меня увидит? Тогда одолжи мне ночную рубашку.

Я принесла ей ночную рубашку, и она ее надела.

– Да сюда еще троих поместить можно, чего это ты стала такая толстая?

– Я бросила кормить и теперь похудею.

– Не хочу детей и замуж не хочу. Знаешь, почему я поссорилась с матерью? Им вздумалось выдать меня замуж за какого-то типа из транспортного агентства. У них просто мания вечно искать мне женихов. Хватит! Домой я больше не вернусь. Сниму комнату и буду искать работу. Я этим семейным уютом сыта по горло. Можешь себе представить, как мне хочется, чтобы еще и муж под ногами путался. И изменял мне, как твой. Очень приятно. Мне нравится спать с мужчинами. Но я люблю часто их менять. Раз, другой – и до свидания.

Я смотрела на нее. И слушала со страхом.

– У тебя были любовники?

– Конечно. – Она рассмеялась. – Тебя это шокирует?

– Нет, но я не очень тебя понимаю.

– Что ты не понимаешь?

– Как можно их менять.

– Не понимаешь?

– Нет.

– У меня было много любовников, первый в Риме, когда я пыталась стать актрисой. Он сделал мне предложение, и я смылась. После нескольких раз он мне опротивел. Я готова была выбросить его из окна. Но тогда я самой себя боялась: что со мной такое, черт побери? Может, я просто шлюха, если мне так нравится менять любовников? В юности мы так пугаемся слов. Я тоже тогда думала, что должна выйти замуж и жить, как все женщины. Но потом постепенно поняла, что нельзя все драматизировать. Мы должны принимать себя такими, какие мы есть.

– И других мы тоже должны принимать такими, какие они есть, – сказала я. – И Альберто я должна принимать таким, какой он есть. И потом, мне не нравится менять мужчин.

Она вдруг рассмеялась и поцеловала меня.

– Я мразь, да?

– Нет, ты не мразь, но в старости ты останешься одна.

– Вот уж это меня совершенно не волнует. Когда мне стукнет сорок, я покончу с собой. А может, ты к тому времени все-таки бросишь этого сукина сына, и мы будем жить с тобой вместе.

Я тоже поцеловала ее и пошла к себе в комнату. В голове у меня был туман, и я думала сразу о многом. В голове моей вертелось сразу много слов: сукин сын, капуста, шлюха, мразь, принимать себя такими, как есть, покончить с собой. Я видела Альберто и Джованну, которые не спеша прогуливались по улице – так он гулял и со мной, когда мы еще не были женаты. Теперь мы никогда не ходили гулять. Я легла спать. Мне безумно хотелось пойти к нему в кабинет и лечь рядом с ним. Хотелось положить голову ему на плечо и спросить его, почему мы больше не гуляем вместе. И еще мне хотелось сказать ему, что мне не нравится менять мужчин. Но пойти я не решилась – боялась, как бы он не подумал, что я напрашиваюсь, так и лежала в одиночестве, ожидая, когда меня сморит сон.

Франческа пробыла у нас три недели. Я была этому очень рада, и наши с ней разговоры действовали на меня успокаивающе. Я даже перестала впадать в панику, когда у девочки начинался понос, а когда я все же чего-нибудь пугалась, Франческа обзывала меня всякими словами, и это тоже как-то успокаивало. Несколько раз ей удалось уговорить меня оставить девочку с Джеммой и пойти вместе с ней в кино. Вставая утром, я радовалась, что сейчас увижу Франческу в белом атласном халате, с намазанным кремом лицом и буду болтать с ней до обеда. То, что мне есть с кем поговорить, было для меня огромным облегчением. Тогда я поняла, как мало мы с Альберто разговариваем: мы почти ничего с ним не обсуждали, и я постепенно отвыкла делиться с ним своими мыслями. Дома он большей частью сидел у себя в кабинете. Там царил страшный беспорядок, потому что делать уборку он не позволял. Джемма стелила ему постель, в его присутствии подметала пол, и он тут же прогонял ее. Она не смела прикасаться ни к столу, ни к шкафам. На всем лежал слой пыли, и пахло затхлостью. На столе стояли портрет его матери и гипсовый бюст Наполеона – он вылепил его сам в шестнадцать лет. Наполеон был совершенно не похож на себя, но бюст красивый. Еще там было много военных кораблей, отделанных до мельчайших деталей, – его детское увлечение. Он очень гордился своими кораблями, особенно одним маленьким парусником с флажком. Он даже позвал в кабинет Франческу посмотреть на них и обратил ее внимание на флажок. Он показал ей свои книги, прочел нам вслух Рильке. Он был очень любезен с Франческой, прямо из кожи вон лез, чтобы ей понравиться. Когда попадался новый человек, он всегда стремился его покорить. Кроме того, он, по-моему, побаивался Франчески. Наверно, и Джованни он тоже боялся. А меня он не боялся совсем, вот в чем беда. Меня он не боялся нисколечко.

Франческа попросила меня сходить к ней домой и принести кое-какие вещи. Тетя была дома, увидав меня, расплакалась. Она пристала ко мне с расспросами, и я не знала, что ей ответить. Тетя все пыталась понять, почему Франческа так ополчилась на того типа из транспортного агентства. Такой приличный молодой человек, и собой недурен. И еще она пыталась понять, чего вообще надо Франческе в жизни. Она совсем ничего не понимала в своей дочери.

– Новое поколение, – твердила она, – новое поколение.

Она плакала и вытирала лицо мокрым платком. Я уговаривала ее, что Франческа очень молода и еще найдет человека, которого полюбит по-настоящему. Но она сказала, что ей очень не нравится, как Франческа ведет себя с мужчинами, как она с ними кокетничает и держит возле себя сразу троих или четверых. Думаю, она не подозревала, что у Франчески были любовники. По-моему, ей это и в голову не приходило. Она изо всех сил старалась что-нибудь понять, но ничего не понимала. Я думала о том, как трудно человеку понять другого, как мучается он, стараясь угадать истину, как ощупью передвигается в темноте, точно слепой. Я уложила вещи в пакет и ушла.

Франческа была на кухне и выщипывала себе перед зеркальцем брови. Джемма смотрела на нее с раскрытым ртом, и Франческа состроила ей гримасу.

– Пойди приготовь мне ванну, детка, – сказала она ей.

Джемма, хихикая, убежала. Франческа вынула из пакета свои вещи и с серьезным видом осмотрела их со всех сторон. Я спросила ее, собирается ли она вернуться домой.

– Нет, – ответила она, – с меня хватит!

Я стала выжимать девочке апельсиновый сок. Я в первый раз давала ей апельсиновый сок и оттого волновалась и радовалась. Радовалась, что девочка растет и уже ест, как взрослая. Я положила кипятить чайную ложечку.

– Все квохчешь над ней? – сказала мне Франческа. – А потом она вырастет и будет морочить тебе голову, как я своей маме. И кто ее выдумал, эту семью? Ни за что не выйду замуж!..

Я немножко ревновала Альберто к Франческе. Он был с ней так любезен и все время рисовал ее лицо. Она относилась к нему свысока, но, когда он стал рисовать ее лицо в своем блокноте, она немного смягчилась. По вечерам Альберто звал нас к себе в кабинет и читал нам Рильке, приходил Аугусто, и однажды мне пришло в голову, что Аугусто с Франческой могли бы пожениться. Я поделилась этой идеей с Франческой, но она сказала, что Аугусто со своими пышными усами, шарфом вокруг шеи и слишком короткими рукавами пиджака похож на деревенского нотариуса, и, если уж выбирать, она скорее предпочтет того типа из транспортного агентства. Но все же, когда приходил Аугусто, она сразу бежала пудриться и долго решала перед зеркалом, надеть ей бусы или нет.

Потом она продала свои драгоценности и сняла себе маленькую квартирку с телефоном, ванной и кухней. Собиралась устроиться на работу, но с этим не торопилась, решила пока заняться живописью – на сцену ее больше не влекло. Она писала странные картины с большими цветовыми пятнами. Чего в них только не было: и дома, и черепа, и воины в доспехах, и луна. Луна там была обязательно. Она достала себе большой фартук из серого полотна, весь день проводила дома за мольбертом и уверяла, что теперь у нее нет любовников.

Я почти все свое время посвящала девочке. Она начинала ходить, а я бегала за ней и следила, чтобы она не упала и не ушиблась. Она не желала ни на минуту расстаться со мной, сразу начинала плакать, и мне приходилось брать ее с собой даже в уборную. У нее был скверный характер, она все время капризничала и очень плохо ела. Мне удавалось что-то в нее впихнуть только за играми. Она ходила по комнате, держась за стулья, забавлялась с кошкой или с моей корзинкой для рукоделья, а я шла следом с тарелкой и, подкараулив, когда она откроет рот, всовывала туда ложку.

До года глаза у девочки были свинцово-серого цвета, но потом они стали постепенно меняться на карие. Волосы у нее были светлые, легкие как пух, причесывая, я туго стягивала их ленточкой. А сама она была все такая же худенькая, бледная, некрасивая. Глаза всегда словно потухшие, обведенные темными кругами. И ела, и спала она очень плохо. Плакала до позднего вечера и никак не хотела засыпать, мне приходилось носить ее на руках по комнате и петь ей песню. Она требовала всегда одну и ту же песню, это была французская песня, которой меня когда-то научила мать.

Дагобер, повелитель страны,

Наизнанку надел штаны,

Святой Элуа сказал:

«Сир, осмелюсь, как добрый вассал,  
Намекнуть венценосному франку,  
Что надел он штаны наизнанку»[29].

Я завешивала лампу куском красной материи, ходила взад-вперед с девочкой на руках и пела. Когда я наконец закрывала за собой дверь ее комнаты, я чувствовала себя совершенно измученной, как после долгой битвы. Но очень часто уже через минуту слабый, раздраженный плач вновь слышался в притихшем доме, и мне приходилось возвращаться, укачивать ее и петь песенку. Девочка терпеть не могла Альберто и, как только он брал ее на руки, сразу начинала верещать. Ей нужна была только я, Альберто она видеть не хотела. Он говорил, что я ее слишком избаловала – не ребенок, а настоящее исчадие ада. Его часто не бывало дома, он все время куда-то уезжал, а когда возвращался, запирался в кабинете с Аугусто, и они о чем-то беседовали. Но теперь мне было уже не так важно знать, о чем они разговаривают – о Джованне или о чем еще. Мне было важно, чтобы девочка ела и чтобы на ее тарелочке с нарисованным цыпленком, вылезавшим из скорлупы, ничего не оставалось. Я хорошо запомнила слова Альберто: ребенок – самое главное для женщины и для мужчины. Я убедилась, что для женщины это и правда самое главное. А для мужчины нет. Жизнь Альберто совсем не изменилась с тех пор, как родилась девочка, он все так же уезжал куда-то, так же рисовал в блокноте и делал заметки на полях книг и так же гулял по улицам легким быстрым шагом с вечно зажатой во рту сигаретой. У него не портилось настроение, если девочка не поела или была бледненькой. Он даже не знал, что она ест, и вряд ли заметил, как изменился цвет ее глаз.

Мне казалось, что я излечилась от ревности и мне теперь безразлично, встречается он с Джованной или нет. Я родила ребенка, и больше мне от него ничего не нужно. Мне теперь с трудом верилось, что я когда-то ждала его в пансионе и дрожала при мысли о нем, – так давно это было. Иногда он стал звать меня к себе в кабинет, и мы ложились в постель, но я все время прислушивалась, не раздастся ли в темноте слабый, раздраженный плач, и даже не задумывалась, испытываю я удовольствие или нет. Он не спрашивал меня об этом, и мне теперь казалось, что наш брак мало чем отличается от других браков – не лучше их и не хуже.

Как-то раз я вышла погулять с девочкой. Она только что получила в подарок от Франчески верблюда, и мы первый раз вынесли его на улицу. Он был очень красивый, вертел головой, и прохожие останавливались посмотреть на него. Мы потихоньку шли под теплым, ласковым солнышком, я чувствовала себя счастливой, потому что девочка выпила весь кофе с молоком и съела два печенья. Верблюд падал, я наклонялась, поднимала его и отряхивала его красивое красное седло.

И вдруг я увидела Альберто: он переходил улицу вместе с какой-то женщиной. Она была высокого роста, в каракулевой шубке – больше я ничего не разглядела. Я взяла на руки девочку, верблюда и побежала домой. Девочка вырывалась, кричала, ей хотелось гулять, но я крепко держала ее. Вернувшись домой, я велела Джемме снять с девочки пальто и побыть с ней на кухне, пока я напишу письмо. Я заперлась в гостиной и села на диван. Я так много думала о Джованне, что в конце концов ее облик навсегда для меня определился: большое неподвижное лицо, которое уже не причиняло мне страданий. Но вот это лицо исчезло, появилась высокая фигура в каракулевой шубке, и мне приходилось стискивать зубы, чтобы заглушить боль. Они не спеша прогуливались вместе, точь-в-точь как мне рассказывала Франческа. Он вышел из дома в три часа дня, сказав, что идет на работу, чтобы продвинуть

какие-то застопорившиеся дела. Встретила я их примерно в половине пятого. Значит, он врал, врал постоянно, без зазрения совести. И лицо его оставалось безмятежным. Он снял шляпу с вешалки, надел плащ и ушел своим быстрым шагом.

Когда он вернулся, начинало темнеть. Я все еще сидела на диване, а девочка играла с кошкой на ковре. Джемма накрывала на стол. Он прошел в кабинет и позвал меня. Я пошла к нему. Взглянув ему в лицо, я поняла, что он тоже видел меня. Он был совершенно подавлен. И говорил почти неслышно.

– Мы не можем больше жить вместе.

– Не можем.

– Ты не виновата. Ты сделала все, что может сделать женщина. Ты очень любила меня и много мне дала. Но, должно быть, ты была права, когда говорила, что я слишком стар и не смогу привыкнуть к жене и ребенку. Я связан со своим прошлым. Я больше не могу.

Он смотрел на меня и ждал, что я заговорю. Но я молчала. Он сказал:

– Все не так, как ты думаешь. Я не собираюсь жить с этой женщиной. Я должен пожить один. Именно теперь. Я не хочу, не могу больше тебе врать. Я слишком уважаю тебя. А когда я вру тебе, меня это гнетет. Я постоянно чувствую себя виноватым. Мне надо пожить одному и успокоиться.

– Значит, ты не собираешься жить с Джованной?

– Нет, клянусь тебе.

– Мне, в общем-то, все равно, если уж мы с тобой расстанемся. А почему все же ты не хочешь жить с ней?

– У нее муж и сын. Мы встретились слишком поздно. Так всегда бывает. Но я очень привязан к ней, и мне тяжело жить с другой женщиной.

– Тяжело?

– Да.

– Тяжело со мной? Я тебе противна?

– Нет, дело не в этом. Мне тяжело постоянно врать тебе.

– Но ты же сказал: мне тяжело жить с другой женщиной. Разве ты не так сказал?

– Ох, не мучай меня. Прошу тебя, не мучай. Я сам не знаю, что говорю. Я хотел сказать, что не имею права держать тебя при себе. Ты молода и можешь быть счастлива с другим.

– Но у нас же ребенок. Ты забыл, что у нас ребенок?

– Я буду часто приходить. Вы останетесь здесь, а я сниму себе комнату. И буду очень часто приходить к вам. Мы будем друзьями.

– Не будем мы друзьями. Мы никогда и не были друзьями. Ты не был для меня ни другом, ни мужем. Никем. Но я не буду счастлива с другим. Я не смогу лечь с другим в постель, потому что передо мной всегда будет стоять твое лицо. Не так-то это просто.

– Я и не говорю, что просто. Но я надеюсь на тебя. Ты умница. Ты замечательная женщина, искренняя, мужественная, это и привлекло меня к тебе. А вот я не мужественный и не

искренний. Я знаю это. Я хорошо себя знаю.

– А Джованна? – спросила я. – Какая она?

– Ох, не мучай меня. Если б ты знала, как мне трудно говорить про нее с тобой. Эта история длится уже много лет, и мне теперь трудно в ней разобраться. Она длится уже одиннадцать лет. Мы очень привязаны друг к другу. Мы были очень несчастны, страдали и заставляли друг друга страдать. Она изменяла мне, обманывала, мы жестоко оскорбляли друг друга, расставались, потом вновь сходились, и всякий раз между нами возникало как бы что-то новое, всегда, даже после стольких лет. Она очень страдала, когда я женился на тебе. Мне нравилось, что она страдает, нравилось, что она из-за меня мучается. Потому что я сам столько выстрадал из-за нее. Но я думал, что смогу ее забыть, я думал, что это просто, но вот, когда мы стали жить с тобой, я стал ужасно мучаться, что со мной ты, а не она. Мне хотелось, чтобы у нас с тобой был ребенок, потому что она родила ребенка от другого человека. Мне хотелось говорить «мой ребенок», потому что она говорит «мой ребенок», и иметь собственную жизнь, куда ей не было бы доступа, потому что у нее есть своя жизнь, недоступная для меня. Мы расставались и вновь сходились много-много раз. А сейчас я действительно больше не могу с тобой оставаться. Найду комнату и буду жить один. Я буду часто приходить к девочке. Возможно, у нас с тобой и отношения станут лучше. Во всяком случае, мне будет гораздо легче разговаривать с тобой на некоторые темы.

– Хорошо, – сказала я. – Пусть будет по-твоему.

– Ты умница, – сказал он.

Вид у него был совершенно измученный, и даже голос сел, словно он устал так долго говорить о себе. Ужинать он не захотел, да и мне есть не хотелось, мы просто выпили чаю у него в кабинете.

Потом мне пришлось укачивать девочку и петь ей песню про короля Дагобера. Она долго не засыпала. Наконец я положила ее в кроватку, укрыла и немножко постояла, глядя на нее. Вошел Альберто, тоже постоял минуту у кроватки, потом ушел.

Я разделась и посмотрела в зеркало на свое голое тело, которым теперь я могла распоряжаться как угодно. Могла уехать с Франческой и девочкой. Могла познакомиться с мужчиной и, если захочется, лечь с ним в постель. Могла читать книги, и любоваться природой, и смотреть, как живут другие люди. Это было мне даже необходимо. Конечно, я совершила ошибку, но еще не все потеряно. Надо только постараться, и я стану другим человеком. Я легла в постель и некоторое время лежала в темноте с открытыми глазами – я чувствовала, что в моем теле просыпается какая-то мощная и холодная сила.

На следующий день я написала матери и попросила ее ненадолго взять девочку к себе в Маону. Мать уже давно этого хотела. Приехал отец, и Джемма с девочкой уехали вместе с ним в Маону. Девочка кричала, вырывалась из рук Джеммы, звала меня. Я отошла от окна и зажала уши руками, чтобы не слышать ее плач с улицы. Мне надо было отдохнуть и на какое-то время перестать петь песню про короля Дагобера. Я пошла к Франческе. У нее был Аугусто. Я уже не первый раз заставляла его у Франчески и подумала, что, наверно, они любовники. Франческа рисовала с сосредоточенным видом, Аугусто сидел за столом, курил трубку и читал.

– Я видела «кочан капусты», – сказала я.

Франческа с удивлением взглянула на меня, но быстро сообразила, в чем дело, и громко рассмеялась.

– Ты согласна, что она плохо одевается?



– Не знаю, она была в каракулевой шубе.

Аугусто хмурил брови, он ничего не понимал.

– Мы с Альберто расходимся, – сказала я.

– Наконец-то! – сказала Франческа. Она увела меня в соседнюю комнату и положила мне руки на плечи. – Ты, главное, не зевай и вытряси как можно больше из этого сукина сына! Не зевай, слышишь?

Мы вышли вместе с Аугусто. День был ясный и ветренный, по небу плыли белые тяжелые облака. Он предложил мне немного пройтись, я согласилась. Мы пошли наугад по набережной, потом пересекли мост и поднялись вверх по заросшей травой улице до широкой площади, с которой открывается вид на весь город. Где-то далеко шумели составы, и время от времени раздавались фабричные гудки, мимо ехали трамваи, дребезжа и разбрасывая искорки в зелени бульваров. Ветер трепал мне волосы, развевал шарф Аугусто, и пряди волос бились по его сосредоточенному, невозмутимому лицу. Посреди площади стояла большая бронзовая женщина с пучком колосьев, мы сели под ней, на каменный пьедестал. Я спросила Аугусто, влюблен ли он в Франческу, и он сказал – нет. Но я ему не поверила. Я подумала, что, когда у них с Франческой все будет кончено, я, возможно, пересплю с ним, и при этой мысли мне стало спокойно, сама не знаю почему. Спокойно и хорошо. Я смотрела на него, на его черные усы, суровое, замкнутое лицо и на большой нос, покрасневший от холода, и у меня не было никакого желания ложиться с ним в постель. Но я думала, что еще есть время и, может, мне захочется позднее.

– Значит, вы с Альберто решили разойтись? – сказал он.

– Это не мы решили, а он. Может, и правда так будет лучше.

Зажав коленями мешочек с табаком, он набивал трубку и качал головой, пристально глядя в землю.

– У меня к тебе просьба, – сказала я, – ты ведь видишься иногда с Джованной?

– Вижусь, а что?

– Не можешь ли ты попросить ее как-нибудь ко мне зайти? Нет-нет, это совсем не то, что ты думаешь. Я не собираюсь лить слезы и взывать к ее милосердию. Мне просто хочется немножко поговорить с ней. Мне кажется, после этого я успокоюсь. Я столько думала о ней, столько раз пыталась представить себе, что бы мы сказали друг другу при встрече. Это так неприятно – выдумывать одной в темноте. Мне хочется повидаться с ней по-настоящему, один только раз. А потом я поставлю крест на всей этой истории.

– Боюсь, Альберто это не очень понравится, – сказал он.

– Конечно, не понравится. Он терпеть не может говорить со мной о ней. И думать, что мы обе существуем и можем встретиться. Он хочет сам крутиться между мной и ею и жить как бы двумя разными жизнями. Но мне осточертело все время думать о том, как бы его чем не обидеть. Осточертело никогда его не обижать. Осточертело все время жить одной в потемках и копаться в себе.

Он курил и смотрел вдаль. Небо было поразительно светлым, дул теплый ветерок, и облака медленно плыли над вершинами холмов. Шарф Аугусто чуть-чуть шевелился на ветру, и его замкнутое, серьезное лицо действовало на меня успокаивающе.

Мы ушли с площади и стали молча спускаться по улочке, я обернулась и посмотрела на женщину с колосьями, которая, выпятив свои бронзовые соски, возвышалась в светлом,

прозрачном воздухе. Я подумала, что, возможно, еще вспомню ее в тот день, когда мы с Аугусто станем любовниками.

– Я ведь тоже когда-то был влюблен в Джованну, – сказал он.

Я ничего не ответила. Мне казалось, я всегда это знала.

– Вот тогда все и вышло с револьвером.

– С револьвером?

– Да. Тогда-то мы и купили по револьверу, Альберто и я. Хотели оба покончить с собой. Решили выстрелить в себя в одно и то же время, каждый в своей комнате. Я всю ночь просидел над этим револьвером – он лежал передо мной на столе, я смотрел на него, и с каждой минутой мне все труднее было решиться. Утром я пошел к Альберто, по дороге мне было очень страшно, но, когда я пришел, он как раз одевался, чтобы идти ко мне, мы посмотрели друг на друга и расхохотались. С тех пор у нас с ним так и лежит в столе заряженный револьвер, время от времени я открываю ящик и смотрю на него, но мне совсем не хочется стреляться. Это было много лет назад. Бывают минуты, когда тебе делается невмоготу, но проходят дни, годы, и ты начинаешь смотреть на вещи по-другому. Начинаешь понимать, что в любых нелепостях есть смысл и, как бы худо тебе ни было, жизнь продолжается.

Я подумала, что он говорит это для меня, чтобы на свой лад меня утешить. Я была благодарна ему, но не знала, что ответить.

– Это было много лет назад, – сказал он. – Я всю ночь смотрел на этот револьвер на столе. У Джованны был тогда роман с каким-то дирижером, она была в него влюблена, и мне казалось, что я этого не переживу. Я хотел, чтобы она бросила мужа и того дирижера и была только со мной. Альберто тоже был влюблен, и мы как безумные слонялись по городу, пили где попало. Два дурака. Мы не покончили с собой и еще некоторое время продолжали вместе безумствовать, а потом я вдруг понял, что у него дело на мази и дирижер уже не крутится под ногами. Он не решался сказать об этом мне, все скрывал, как теперь с тобой. Но мне это было уже безразлично. Я стал работать, писать, написал книгу о войнах за раздел Польши и решил для себя, что никто не стоит того, чтобы вот так сходить с ума. Мне казалось, что и у Альберто это долго не продлится, а вот длится до сих пор. Мы снова встретились с Джованной и подружились, да и с Альберто остались друзьями и часто вспоминаем тот день, когда нам хотелось умереть. В юности все мы немножко сумасшедшие.

Я попрощалась с ним и вернулась домой. Джемма уехала, и мне пришлось самой готовить ужин, я стала жарить мясо с картошкой. Я скучала по девочке, и мне уже снова хотелось петь песню про короля Дагобера. Я спела ее, пока накрывала на стол. В столовую вошел Альберто, я спросила его, когда он собирается переезжать. Он сел за стол с газетой в руках и не ответил мне. Потом вдруг сказал свистящим шепотом:

– Тебе не терпится от меня избавиться?

– Что ты, делай, как тебе удобно.

Но после ужина он пошел в кабинет и стал укладывать вещи в оцинкованный ящик. Тщательно вытирал каждую книгу и только потом клал в ящик, положил и бюст Наполеона и все свои военные корабли. Но довольно быстро его это утомило, и он уселся с книгой. Я подмела кухню и легла спать.

Это произошло в воскресенье. Утром Аугусто предупредил меня по телефону. Днем он зашел за Альберто и увел его к себе слушать какую-то негритянскую музыку. Я причесалась,

напудрилась и села ждать.

Внезапно зазвонил колокольчик у калитки. Я нажала на кнопку, чтобы открыть калитку, и услышала щелчок. Потом шаги в саду, по гравию дорожки. Ладони у меня покрылись холодным потом. Я стиснула зубы, силясь сглотнуть слюну. Вошла Джованна, и мы сели с ней в гостиной друг против друга.

Я сразу поняла, что она очень испугана, и это все упростило. На щеках у нее проступил румянец, но постепенно исчез. Лицо сделалось бледным, холодного, мучнистого цвета. Я смотрела на нее и говорила себе: «Это Джованна». Она тоже смотрела на меня. Она была в своей каракулевой шубке, порядком выношенной. Без головного убора. Она держала в руках перчатки и сидела в кресле возле окна, закинув ногу на ногу.

Я всегда думала, что в ней должно быть что-то вульгарное. Именно вульгарное, кричащее и в лице, и во всем облике. И она обязательно должна быть сильно накрашена. Сколько я ни пыталась представить ее себе, я всегда в конце концов выбирала женщину яркую и агрессивную. Но на самом деле вульгарного в ней не было абсолютно ничего. Лицо у нее было бледное и холодное, на больших ненакрашенных губах застыла улыбка. Только спустя несколько минут я поняла, что она очень красива. Крепкие белые зубки. Изящно очерченную головку она чуть клонила набок, черные, подернутые сединой волосы зачесаны кверху и подколоты шпильками. Глаза у нее были голубые.

– Где дочка? – спросила она.

– Ее нет, она у моей матери, в деревне, – сказала я.

– Жаль, мне бы очень хотелось повидать ее.

– Я попросила вас зайти ко мне. Наверно, вам показалось это несколько странным.

– Мы не можем перейти на «ты»? Нам было бы проще разговаривать.

– Я попросила тебя зайти. Но сказать мне особо нечего. С моей стороны это чистое любопытство. И наверно, совершенно бессмысленное.

Она слушала молча, закинув ногу на ногу и теребя длинными пальцами поношенные перчатки.

– Мне правда нечего сказать. У меня и в мыслях нет становиться на колени и просить милости. Или обвинять тебя в чем-то. Я не питаю к тебе ненависти, по крайней мере так мне кажется. Знаю, тут все равно ничего не поделаешь. Альберто скоро переедет отсюда. Вы сможете встречаться чаще, и ему не придется мне лгать. Он говорит, что ложь тяготит его, впрочем, не знаю, правда ли это. Вообще-то нам было плохо вместе. Возможно, ты тут ни при чем. Я очень старалась наладить нашу жизнь, но у меня ничего не вышло. Зря мы поженились.

Она сняла шубку.

– Здесь жарко, – сказала она.

На ней было зеленое вязаное платье с большой, вышитой красным буквой «Д» на левой груди. Совсем некрасивое. Грудь у нее была большая, тяжелая, бедра широкие, круглые, а руки и ноги худые.

Она огляделась.

– В доме все по-прежнему, – сказала она. – Я приходила сюда, когда была жива мать

Альберто.

– Ты приходила к старухе? – спросила я.

– Да, – сказала она и рассмеялась. – Приходила играть с ней в шашки. Она любила меня. Но вообще-то она была настоящей ведьмой. Ты бы с ней хлебнула. Большая удача, что она вовремя умерла. Тебе пришлось бы весь день играть в шашки, да еще все время проигрывать, а то она злилась.

– Я и так хлебнула.

Она спросила, нет ли у меня фотографии девочки. Я показала ей маленькую фотографию. Она поглядела и положила ее на стол. Открыла сумочку и тоже достала фотографию.

– Это мой сын, – сказала она.

Я поглядела на мальчика в матросском костюмчике с пухлыми губами и светлыми глазами.

– Не хочет учиться, – пожаловалась она. – С мальчишками так трудно. Девочки гораздо лучше. Не хочет учить латынь. Но и учителя теперь столько требуют...

Я заварила чай. Мы выпили чаю с печеньем, и она похвалила печенье. Пожалуй, ей пора уже уходить, думала я. Я как-то вдруг очень устала, даже шевелить губами мне было тяжело. Правда, мне хотелось немножко порасспросить ее про дирижера. И о том, как все началось у них с Альберто, как она влюбилась в него.

– Ты его очень любишь? – спросила я.

– Да, очень.

Она поставила чашку на стол и встала. Я тоже встала.

– Это длится одиннадцать лет. Я не могу с ним расстаться, – сказала она. Глаза ее вдруг наполнились слезами. – Правда, не могу. Я много раз думала об этом. Я обманывала его и оскорбляла, лгала ему, мы расставались, а потом снова начинали встречаться, и я наконец поняла, как люблю его. Я не могу от него отказаться. Прости. – Она вынула носовой платок и вытерла глаза. С силой высморкалась, потом вытерла все лицо. И отрицательно качнула головой. – Я была так несчастна. С мужем мы всегда жили очень плохо. С самого начала. Я бы ушла от него, если б не ребенок. Он неплохой человек и по-своему любит меня. Но нам нечего сказать друг другу, он считает меня глупой и странной. Какое-то время я думала, что я, наверно, действительно странная и глупая. И старалась стать другой, какой он хотел меня видеть. Ходила в гости и вела светские разговоры, принимала у себя. А потом мне все это надоело. Поначалу он очень злился и устраивал мне кошмарные сцены, но потом смирился, и мы оставили друг друга в покое. Вот так все и было. – Она надела шубу, перчатки и повязала на шею газовый шарфик. – Если бы я вышла замуж за Альберто, возможно, я была бы другой. Энергичнее, мужественнее, сильнее. И он был бы другим. Ты не думай, что я от него в таком уж восторге. Я хорошо его знаю, и иногда он мне просто отвратителен. Но если бы мы поженились, все было бы по-другому. Мы встретились слишком поздно. В себе так трудно разобраться, и в молодости люди делают столько глупостей. В молодости люди мало что понимают в жизни.

Она взяла мои руки и крепко их сжала. На лице появилась смущенная, грустная улыбка, видно, она не знала, уместно ли нам с ней поцеловаться. Я придвинулась к ней, и мы поцеловались. На мгновение я ощутила запах ее холодного лица.

– Жаль, что я не видела девочку, – сказала она мне уже на лестнице.

Когда она ушла, я вспомнила, что мне еще много надо было ей сказать. И все же, оставшись одна, я почувствовала облегчение, даже дышать стало легче. Я легла на диван, положив под голову подушку. В саду темнело. Вечерами я скучала по девочке и все думала, хорошо ли мать укрывает ее на ночь и не сбрасывает ли она одеяльце во сне. Я пошла на кухню и стала разогревать суп. Позвала кошку и бросила ей корочку сыра.

Я думала, что, повидавшись с Джованной, успокоюсь. Я и правда успокоилась. Мной овладел какой-то ледяной покой. Немые образы сменила живая женщина, которая пила со мной чай и показывала мне фотографию своего сына. Она не вызывала во мне ни ненависти, ни жалости. Я вообще никак к ней не относилась. Мне казалось, что внутри у меня черная пустота. Такой одинокой я еще никогда себя не чувствовала. Теперь я понимала, что все время именно немые образы, которые я рисовала в своем воображении, скрашивали мое одиночество. И когда сейчас я снова пыталась за них ухватиться, рука моя проваливалась в черную пустоту. Я отдергивала ее, точно обжегшись об лед. Настоящая Джованна, та, что сидела в кресле у окна, пила со мной чай и плакала, не питала ко мне ненависти, как и я к ней, и на самом деле никакой связи между нами не было.

Я все спрашивала себя, когда же Альберто наконец переедет. Теперь мне было очень важно, чтобы он сделал это поскорее. Но по всему было видно, что он нисколько не торопится. Каждый день он укладывал в ящик несколько книг. Я смотрела на шкафы, которые постепенно пустели. Я думала, что, наверно, он уедет, когда уложит все свои книги.

Мы совсем перестали с ним разговаривать. Поскольку Джеммы не было, я готовила обед и ужин и гладила ему рубашки. Время от времени он помогал мне убрать со стола и сам чистил себе ботинки. Утром я застилала ему постель, а он стоял у окна и ждал, когда я кончу.

Я не сказала ему, что приходила Джованна, и не знала, знает ли он об этом. Несколько дней спустя после прихода Джованны я поехала в Маону за девочкой. Я хотела сказать матери, что мы с Альберто расходимся, но, увидев ее, ничего не сказала. Мать резала на кухне ветчину, у девочки был насморк, я разозлилась и стала обвинять мать, что это она не уследила и девочка раскрывалась во сне. Мать обиделась, и отец тоже. Я уехала на рейсовом автобусе с девочкой на руках и с плачущей навзрыд Джеммой, которой не хотелось расставаться с родными. Автобус ехал по широкому шоссе мимо виноградников и холмов, я крепко прижимала девочку к себе и старалась представить, как мы останемся с ней одни, только она да я. Мать заплела ей две косички, высоко подбрав волосы, и на открывшемся худом личике появилось новое выражение, пронизательное и печальное. Мне казалось, она знает о том, что произошло. Она сидела у меня на коленях, крошила печенье и все время клала себе в рот по кусочку. Она еще не умела говорить, но вид у нее был такой, словно она прекрасно все понимает.

У калитки нашего дома мы столкнулись с Альберто, который собирался уходить. Он взял девочку на руки, поцеловал, но она расплакалась. Он тотчас же опустил ее на землю, пожал плечами и ушел.

Я позвонила Франческе, и она явилась. Я спросила, не раздумала ли она отправиться со мной и девочкой в то пресловутое путешествие. Дело в том, что Альберто, видимо, собирается переезжать в самые ближайшие дни, и мне не хочется при этом присутствовать. Она очень обрадовалась и сказала, что мы можем сейчас же уехать в Сан-Ремо и остановиться в отеле «Бельвю». И стала расхваливать мне отель «Бельвю», сказала, что вечером в субботу там даже подают горячее мороженое. Я не знала, что это такое, и она мне объяснила. Оказывается, это мороженое, на которое сверху наливают кипящий сгущенный шоколад. Она справилась, когда поезд, и тут же все устроила.

Когда Альберто вернулся домой, я собирала чемодан. На сей раз чемодан собирала я, а он молча смотрел. По-моему, он был недоволен. Я сказала, что в доме остается Джемма. Потом

попросила у него денег, и он мне дал. Мы уехали ранним утром, когда он еще спал.

В Сан-Ремо было очень ветрено. Сначала у нас была одна комната на троих, но девочка плакала по ночам и мешала Франческа спать. Она взяла себе отдельный номер. Первые дни она проводила с нами и все время твердила, что в Сан-Ремо скука смертная, он будто создан для одиноких стариков. Потом она подружилась с другими отдыхающими, каталась на лодке, по вечерам ходила на танцы. У нее было очень много вечерних платьев, одно красивее другого. Я сидела в номере с девочкой, пока она не уснет, а потом ненадолго спускалась в холл и вязала, но все время беспокоилась, вдруг девочка проснется и закричит, а я отсюда не услышу. Поэтому я рано поднималась в комнату и ложилась спать. Когда возвращалась Франческа, она тихонько стучала в мою дверь и шла к себе, тогда я приходила к ней и выслушивала подробный отчет о танцах, и кто там был и кого не было.

Через две недели после нас в Сан-Ремо приехал Аугусто. Он был в плохом настроении, ревновал, а Франческа ужасно ему хамила. Он сидел в холле отеля, курил трубку и писал свою новую книгу о возникновении христианства. Я спросила его, не переехал ли Альберто, он сказал, что нет. Что он продолжает укладывать книги в ящик. Я пыталась заговорить с ним о Джованне, но он это сразу пресек. Видно, ему было совсем не до меня. Он иногда гулял со мной и с девочкой по набережной, но все больше молча, все время смотрел по сторонам, не мелькнет ли где клетчатое пальто Франчески. А она знать его не желала. Завела дружбу с какой-то графиней. Они пьянствовали вместе и все вечера проводили в казино. Ей надоели все ее вечерние платья, и она соорудила себе новое из длинной черной юбки и сшитых вместе шелковых платков. Франческа нарисовала портрет графини, изобразив ее лежащей на тигровой шкуре, и все твердила мне, что вот у графини дети не такие отвратительные крикуны, как моя дочь.

Девочка понемножку начинала говорить, каждый день произносила что-нибудь новое, чем приводила меня в восторг. Съев печенье, она протягивала обе ручки и говорила: «Еще» – с лукавой и вместе с тем печальной улыбкой. Проснувшись утром, она приподнималась на кровати и говорила: «Еще бай-бай, еще!» Тогда я брала ее к себе в кровать вместе с верблюдом, и мы возили его взад и вперед по одеялу. Потом к нам приходила Франческа в халате, на голове бигуди, все лицо в креме, зевая, она садилась, закуривала и начинала рассказывать про графиню.

Я сказала ей, что она не должна так обращаться с Аугусто. Что она его просто затравила. Это же бессердечно. Время от времени они ходили вместе гулять и, наверно, занимались где-нибудь любовью, во всяком случае, он возвращался очень спокойный и довольный, но стоило графине с ее друзьями свистнуть под окном, как Франческа спешно наводила марафет, хватала свое клетчатое пальто и моментально исчезала. Возможно, среди этих друзей был мужчина, который ей нравился, но она это отрицала. Она говорила, что ей с ними очень весело, а Аугусто такой мрачный, ревнивый и вообще зануда, что он до смерти надоел ей со своим возникновением христианства.

Девочка заболела семнадцатого ноября. Весь день она капризничала и отказывалась от еды. Ни кусочка не съела. Была суббота, подавали знаменитое горячее мороженое, но и мороженым я ее не соблазнила. Она выплевывала все подряд и плакала, и в конце концов я потеряла терпение и больно ударила ее по рукам. Она зашлась в крике, и я не знала, что с ней делать. Она не хотела слушать песню про короля Дагобера, не хотела верблюда, ничего не хотела. Так она проплакала до десяти вечера, потом заснула. Я очень осторожно уложила ее в кровать и села рядом. Она поспала с полчаса, но сон у нее был беспокойный. Все время вздрагивала и ворочалась. Зашла Франческа сказать, что уходит на танцы. Она сделала себе очень странную прическу – взбитые волосы в беспорядке были зачесаны на лоб – и намазала губы новой, почти желтой губной помадой. Она была, как сама говорила, в платье баядерки, из сшитых вместе шелковых платков, талию стягивал широкий пояс, расшитый серебром. Она была очень, очень красива. Поглядев на девочку, Франческа сказала, что, раз она так

вздрагивает во сне, наверно, у нее глисты. Франческа расхаживала по комнате, а я ее прямо ненавидела за то, что она так шумит. Под окном засвистела графиня, и Франческа ушла. Когда она была уже в коридоре, девочка с криком проснулась, и я взяла ее на руки. Мне показалось, что она очень горячая, и я поставила ей градусник. У нее было тридцать девять. Я носила ее взад и вперед по комнате и все спрашивала себя, что же с ней такое. Дышала она с трудом, губы у нее кривились. Я решила, что это наверняка что-то серьезное. У нее часто подскакивала температура, но никогда еще она не плакала так надрывно. Я пыталась выяснить, где у нее болит, но она только кричала и отталкивала мои руки. Я совсем перепугалась. Положила ее на кровать и побежала за Аугусто. Он был у себя, лежал на кровати, одетый, при свете. Глаза у него запали, и вид был какой-то взбудораженный, наверно потому, что Франческа пошла на эти танцы. Я сказала ему, что девочке плохо, и попросила сходить за врачом. Он встал, приглаживая пальцами волосы, но, кажется, не очень понимая, в чем дело. Потом все-таки понял и стал надевать пальто. Я вернулась к себе, снова взяла девочку на руки и, завернув в одеяло, стала ходить с ней по комнате. Лицо у нее было красное, глаза блестели. Она время от времени засыпала, но тут же вздрагивала и просыпалась. А я думала о том, как изводят друг друга мужчины и женщины и какая все это чушь по сравнению с больным ребенком! И еще я думала о том, как сама мучилась из-за Альберто, как, дрожа, ждала его, и только удивлялась, что такие глупости могли волновать меня. Я была очень напугана, но в глубине души не сомневалась, что девочка поправится и Франческа опять будет смеяться надо мной. Ведь я уже столько раз смертельно пугалась по пустякам. Пришел Аугусто с врачом. Это был рыжий парень, весь в веснушках. Торопясь и волнуясь, я раздела девочку на кровати. Врач вертел в руках ее хрупкое тельце, а она плакала уже совсем отчаянно. Аугусто молча стоял рядом и смотрел. Врач сказал, что затрудняется поставить диагноз, но не видит причин для излишних волнений. Выписал какие-то бромистые порошки, и Аугусто сходил за ними в аптеку. Врач ушел и обещал зайти рано утром. Аугусто остался со мной, и мне стало намного спокойнее. Девочка заснула, я смотрела на ее маленькое, худое, красное личико и влажные волосы. Я попросила Аугусто побыть со мной, потому что одной мне было очень страшно.

В три часа утра девочка вдруг начала страшно кричать. Лицо у нее сделалось почти лиловым, внезапно случился приступ рвоты, ее вырвало мороженым, которое я заставила ее съесть вечером. Она металась и отталкивала мои руки. Прибежали горничная и женщина из соседнего номера, посоветовали сделать девочке клизму с ромашкой. Пока я готовила клизму, явилась Франческа. По-моему, она была очень пьяна. Опухшее лицо, неподвижные, сверкающие глаза. Она стояла в дверях и смотрела. В тот момент она была мне ненавистна, и я сказала ей:

– Уходи отсюда!

Она ушла. Но тут же вернулась, предварительно вымыв лицо. Попросила горничную принести крепкого кофе. Я так ненавидела Франческу, что даже не могла на нее смотреть. От страха у меня перехватывало дыхание. Девочка перестала плакать, она лежала под одеялом и была очень бледна. Дышала часто и судорожно.

– Вы что здесь, все с ума посходили? – сказала Франческа. – Не видите, что девочке плохо? Ей срочно нужен врач.

Горничная объяснила, что врач уже был. Но Франческа сказала, что в Сан-Ремо есть только один приличный врач. Врач графини. Все остальные ни к черту не годятся. Она говорила громко, с решительным видом, ей, видимо, хотелось доказать, что она совершенно трезва. Она ушла, чтобы привести ко мне этого самого врача. Аугусто ушел вместе с ней. Я осталась одна с женщиной, которая посоветовала мне сделать ромашковую клизму. У этой женщины было полное морщинистое лицо, и во все морщины забились пудра. На ней было какое-то фиолетовое кимоно, и говорила она с сильным немецким акцентом. Не знаю почему, но в ее присутствии я чувствовала большое облегчение. Я очень верила в это толстое морщинистое

лицо. Она говорила, что у моей девочки наверняка что-то с желудком, а желудочные расстройства дети всегда очень тяжело переносят. И ее сыну, когда он был маленьким, однажды было вот так же плохо. У него было все то же самое, что сейчас у моей девочки. А теперь он взрослый. Она подняла руку, чтобы показать, какой он теперь большой. Имеет диплом инженера и уже обручился.

На улице светало. Над морем в легкой серовато-зеленой дымке поднималось солнце. На площадке перед отелем официант в белой куртке расставлял среди пальм соломенные кресла и столики. Другой, в полосатой куртке, мочил в ведре тряпку. Солнце стало красным и ослепительным. Я ненавидела и море, и кресла, и пальмы. Зачем я приехала сюда? Что делала здесь, в комнате, с женщиной в фиолетовом кимоно? Я ненавидела Франческа и думала, что, возможно, они с Аугусто зашли к графине и теперь вместе с ней пьют и веселятся.

Пришла Франческа с врачом графини. Этот новый врач был высокий и лысый, с худым лицом цвета слоновой кости. Нижняя губа у него была отвислая и открывала длинные, желтые, как у лошади, зубы. Он сказал, что порошки не помогут. И клизму я тоже делала зря. И вообще лечение было неправильное. Он выписал новый рецепт, и, пока Аугусто опять ходил в аптеку, он расспрашивал меня о девочке, как она вела себя последние месяцы, как заболела. Слушая меня, он держал за веревочку верблюда и возил его взад и вперед по ковру. Не знаю почему, но меня это очень обнадеживало. Я спросила, считает ли он болезнь серьезной. Он сказал, что ничего серьезного не подозревает. У него есть кое-какие предположения, но ничего определенного он пока сказать не может. Он отослал женщину в кимоно, потому что в комнате больного должен быть свежий воздух и как можно меньше народу. Женщина в кимоно ушла. Франческа принесла мне кофе. День был солнечный, безоблачный, на площадке перед отелем сидели все те же пожилые люди, читали газеты, зажав коленями трости.

В девять пришел рыжий врач, как раз когда лысый готовил шприц для укола. Он, по-моему, рассердился, но Франческа увела его в коридор, и уж не знаю, что ему там сказала. После этого оба врача вместе разговаривали в коридоре. Девочка теперь успокоилась и дышала ровно. Она выглядела измученной, под глазами -фиолетовые круги, губы совсем белые. Вдруг она приподнялась на постели и сказала: «Еще бай-бай». Это были первые слова, которые она сказала, с тех пор как заболела. Я ужасно обрадовалась и расплакалась. Франческа обнимала меня.

– Я думала, она умрет, – сказала я.

Она молча гладила меня по плечу.

– Правда. Всю ночь думала. И с ума сходила от страха.

Мне хотелось попросить у нее прощения за то, что я так ненавидела ее, когда она вернулась с танцев.

– Тебе так идет твоё баядерское платье. Ты в нем такая красивая. И челка тебе очень идет.

– Может, предупредить Альберто? – сказала она. – Отправить ему телеграмму? Хоть он и сукин сын, но все же отец.

– Да, конечно, – сказала я, – но ведь девочке лучше.

– Но телеграмму я бы все-таки послала.

В одиннадцать девочка вновь стала кричать. Ее бил озноб. Температура подскочила под сорок. Днем она заснула, но всего на несколько минут. Аугусто пошел посылать телеграмму.



Теперь мне ужасно хотелось, чтобы Альберто сейчас же приехал. Я ходила взад и вперед по комнате с девочкой, завернутой в одеяло. Франческа все время выходила курить в коридор. Врач спустился вниз пообедать, потом вернулся. Я смотрела на его угрюмое, высокомерное лицо с отвислой нижней губой. Это лицо не оставляло мне никакой надежды. Мне казалось, все они думают, что девочка моя безнадежна, и хотелось объяснить им, что, напротив, ей лучше. Мне казалось, что это совершенно очевидно, и, когда Франческа на минутку взяла ее на руки, она стала играть ее бусами.

Дагобер, повелитель страны,

Вел охоту в полях Сатаны!

На набережной в креслах под пальмами сидели на удивление спокойные мужчины и женщины. Они курили, стряхивали пепел, поправляли свои пледы и показывали друг другу карикатуры в журналах. Проходил мальчик с фруктами, они покупали апельсины, тщательно их выбирая и пересчитывая сдачу на ладони.

Дагобер, повелитель страны,

Наизнанку надел штаны!

Я с ужасом вспоминала, как ударила девочку по рукам вчера вечером, когда она отказывалась от еды. А она отшвырнула ложку и заплакала громко, безутешно. Я смотрела теперь в ее большие карие глаза, и мне казалось, что она все, все про меня знает. Глаза были усталые и потухшие. Это ужасно, когда ребенок так смотрит. Какой-то безысходный, безразличный взгляд, в котором не было упрека, но не было и прощения. Казалось, она уже ничего ни у кого не просит. Я перестала укачивать ее и положила на кровать, укрыв шалью. С тихим судорожным стоном она отбросила мои руки.

Внезапно заплакала Франческа. Вся в слезах выскочила из комнаты. Я посмотрела на врача, и он тоже посмотрел на меня. Его отвислая губа была красной и влажной, и он напомнил мне животное на водопое. Потом снова пришел веснушчатый врач и еще один врач маленького роста, но с очень важным видом. Я спросила, надо ли раздеть девочку, они сказали, что нет. Маленький врач прощупал ей лоб и затылок, несколько раз ударил по колену палочкой из слоновой кости. Потом они ушли. Я снова осталась одна с лысым доктором. И тогда он сказал мне, что, по всей вероятности, это менингит. В десять часов вечера девочка умерла.

Франческа увела меня к себе в номер. Я легла на ее кровать и выпила кофе. Пришли женщина в фиолетовом кимоно, хозяйка отеля и врач с веснушками. Женщина в кимоно говорила, что у меня будут еще дети. Она говорила, что, когда дети умирают маленькими, это не так страшно. Страшно, когда они умирают взрослыми. У нее умер сын, который был младшим лейтенантом на флоте. Такой большой парень. Она подняла руку, чтобы показать мне, какой он был высокий. Но хозяйка отеля говорила, что хуже, когда дети умирают маленькими. Франческа всех их выгнала и велела мне поспать.

Я закрыла глаза, но никак не могла отделаться от видения: лицо девочки и ее глаза, те самые глаза, которыми она смотрела на меня, пока я еще ходила с ней по комнате. Безысходный и безразличный взгляд. Эти глаза уже не знали, что им делать с историей короля Дагобера. Я

вспоминала подряд все одежды, все игрушки девочки: верблюд, матерчатый мячик, резиновый котенок-пищалка, гамаши на пуговицах, фартучек с семью гномиками и Белоснежкой, резиновые сапожки. Вспоминала, что она ела, какие слова умела говорить. Потом я заснула, и мне снилось, что я иду по улице, но вдруг ударяюсь лбом об стенку, и я с криком проснулась.

Позвала Франческу, но ее уже не было. В комнате был только Аугусто. Он стоял у окна, прислонившись лбом к стеклу. Он сказал мне, что Франческа там, с девочкой. Спросил, не нужно ли мне чего, и я попросила его сесть рядом со мной. Он взял меня за руку и стал гладить по голове. И тогда я разрыдалась. Я прорыдала всю ночь в темноте, вцепившись в эту руку и уткнувшись лицом в подушку. И выкрикивая при этом что-то совершенно бессмысленное. Рыдая, я отвлекалась от мыслей о верблюде и матерчатом мячике. В пять часов приехал Альберто. Выронив из рук чемодан, он бросился ко мне. Он плакал, положив голову мне на плечо, а мне казалось, что только это худощавое лицо, эти седые кудрявые волосы мне сейчас и нужны.

Я сказала ему, что больше не хочу видеть ни верблюда, ни матерчатый мячик, и тогда они с Франческой собрали все вещи девочки, унесли куда-то и раздали.

Франческа уехала из Сан-Ремо за день до нас, чтобы убрать из дома кровать, коляску и все оставшиеся дома вещи девочки. Она велела Джемме ехать в Маону и какое-то время пожить у родных. Джемма уехала вся в слезах и увезла с собой кошку. Я не хотела ее видеть, потому что слишком хорошо помнила, как она склонила надо мной свое лицо с ячменем на глазу, и было это в тот день, когда родилась девочка.

Альберто написал моей матери, что я не хочу видеть ни ее, ни отца и пока со мной будет только он один. Раз мне так хочется, им надо набраться терпения, потому что я сама знаю, что для меня лучше. Ведь когда случается несчастье, люди ведут себя по-разному. Каждый защищается на свой манер. А окружающие должны спокойно и молча ждать, когда боль утихнет.

Мы вернулись в город, первое время я не выходила из дома, потому что не хотела видеть детей. К нам стала ходить женщина на несколько часов в день помогать по хозяйству, но мне было так трудно разговаривать, что я ей отказала и стала делать все сама. Дел у меня все равно было немного. Все утро я лежала в кровати, глядя на свои свободные, пустые руки на одеяле. Медленно вставала, одевалась и потихоньку, час за часом, проживала свободный, пустой день. Старалась не вспоминать песню про короля Дагобера. Но она постоянно вертелась у меня в голове. А перед глазами все время стояли врач, напоминавший животное на водопое, или длинные коридоры отеля «Бельвю», лестница с красными коврами, площадка перед отелем, кресла под пальмами.

Альберто сидел дома вместе со мной. И был очень нежен, я даже удивлялась, что он так старается облегчить мое горе. Мы никогда не говорили о девочке, и я заметила, что он убрал из буфета коробки с детским питанием «Меллин» и рисовой мукой, о которых не подумала Франческа. Он сложил их в пакет и куда-то подевал. Я удивлялась, что он так ко мне добр. Читал мне стихи Рильке и свои заметки на полях книг. Он говорил, что когда-нибудь соберет вместе все свои заметки и сделает из них книгу, которую назовет «Вариации в малом масштабе». Наверное, он немножко завидовал Аугусто, у которого уже вышло несколько книг. Альберто попросил меня помочь собрать вместе все его заметки, и иногда я печатала под его диктовку до позднего вечера. Печатала я довольно медленно, но он не сердился. Он просил меня делать ему замечания, если мне покажется, что он выражается недостаточно ясно.

Как-то раз я спросила его, собирается ли он от меня уходить, и он сказал, что нет. И что когда-нибудь снова разберет свой оцинкованный ящик. Но пока ящик так и стоял в кабинете, наполовину заполненный книгами и другими вещами. Когда ему требовалась какая-нибудь

книжка, он рылся в ящике и доставал ее, но никак не мог решиться расставить книги обратно в шкаф. Мы почти все время проводили в кабинете, и он ни разу не сказал, что ему надоело сидеть дома. Поначалу мы совсем не говорили о девочке, но потом начали говорить, и он сказал, что мне будет лучше, если я буду чаще говорить о ней с ним. И еще он сказал, что у нас будет другой ребенок, пускай сейчас мне неприятно об этом думать, но я все равно его люблю и стану спокойна и счастлива, как только увижу возле себя живое существо. Мы снова стали спать вместе, и постепенно я привыкла думать о том времени, когда у меня родится новый ребенок. Я представляла себе, как буду кормить его и укачивать, и думала об этом с удовольствием.

И тут оказалось, что я снова влюбилась в Альберто, поняв это, я пришла в ужас. Теперь при одной мысли, что он может уйти навсегда, меня охватывала дрожь. Я с отвращением смотрела на оцинкованный ящик. Печатая на машинке под его диктовку, я боялась, что печатаю слишком медленно. Когда он смотрел на меня, я боялась, что покажусь ему некрасивой. Я все думала, как легко живется другим женщинам, той же Франческе или Джованне, мне казалось, что обе они понятия не имеют о подобных мучениях. Как легко, наверно, живется тем женщинам, которые не боятся мужчины, думала я. И подолгу рассматривала в зеркале свое лицо. Особенной красотой оно не отличалось никогда, а теперь, как мне казалось, постарело и окончательно утратило свежесть.

Мы все время были дома вдвоем, и теперь я понимала, как должны жить вместе мужчина и женщина. Альберто никуда не ходил и каждую минуту был у меня на глазах. Я видела, как он встает утром, пьет кофе, который я ему приготовила, делает заметки в книгах или, склонившись, роется в ящике. Спали мы вместе, в кабинете, любили друг друга, потом долго лежали без сна в темноте, и я слышала рядом его спокойное дыхание. Перед сном он всегда говорил, чтобы я разбудила его, если не смогу заснуть и мне будет грустно. Будить его я не решалась, но мне было очень приятно думать, что я могу это сделать. Он был так добр ко мне, и теперь я понимала, что означает мужская нежность. И думала, что, конечно, виновата сама, если даже теперь не чувствовала себя счастливой. Я все время боялась за свое лицо и тело. Боялась, что ему скучно со мной в постели. Все, что я говорила ему, я тщательно обдумывала, опять же боясь ему наскучить.

Когда он читал мне заметки для будущей книги, мне не раз хотелось сделать какое-нибудь замечание. Но когда я однажды решила и он долго доказывал мне, что я не права, я поняла, что ему это не понравилось, и готова была язык проглотить от огорчения. Иногда я вспоминала то время, когда мы еще не были женаты, подолгу сидели вместе в кафе и говорила я одна. Тогда мне было легко разговаривать с ним. Я говорила все, что в голову придет, чувствовала себя юной и спокойно выдерживала его взгляд. Но после того, как я родила дочь и потеряла ее, мне стало казаться, что самое страшное на свете – остаться одной.

Я постоянно думала о других женщинах. О Франческе, о Джованне, даже о моей матери. Для них, думала я, все так просто. Мать заготавливала помидоры и шила одежду для детей бедняков, Франческа рисовала свои картины, Джованна надевала каракулевую шубку и выговаривала сыну за нелюбовь к латыни – все они сумели как-то устроиться в жизни и не мучаются понапрасну. Джованна говорила, что она испортила себе жизнь, потому что не вышла замуж за Альберто, и даже готова была всплакнуть, но за всем этим я видела, что такая жизнь ее тем не менее вполне устраивает. В общем-то она совсем неплохо устроила эту свою жизнь, в которой был Альберто, увозивший ее время от времени, сын, не желавший учиться, муж, и еще воспоминания о дирижере, и еще, возможно, музыка, книги, светские приемы, размышления и разговоры. Мне же было совершенно ясно, что я к жизни не приспособлена и вряд ли теперь сумею что-либо изменить, по-моему, всю свою жизнь я только и делала, что пристально вглядывалась в темный колодезь внутри себя.

Как-то ночью я спросила Альберто, знает ли он, что ко мне приходила Джованна. Я долго не

могла решиться спросить его, но молчать об этом тоже больше не могла. Он сказал, что знает, я спросила откуда, и он сказал – от Аугусто. Я сказала, что ему, наверное, это неприятно, а он сказал – нет.

– Ты больше не уедешь? – спросила я.

– Нет, не уеду.

– И из ящика все выложишь обратно?

– Да.

– Хочешь, я помогу тебе его разобрать?

– Нет, не надо. Спешить некуда. Я сам все постепенно сделаю.

И тогда я спросила его:

– Почему ты решил не уходить? Жалеешь меня?

– Не хочу оставлять тебя одну.

– Никак не ожидала, что ты будешь так добр ко мне. Что захочешь мне помочь. Мне казалось, ты не очень любишь девочку, да и меня тоже. Я думала, ты любишь одну Джованну.

Он тихонько рассмеялся.

– Иногда мне кажется, что я никого особенно не люблю.

– Даже Джованну?

– Даже ее. Сейчас она уехала с мужем на озеро, у них там вилла. Когда вернется – не знаю. Когда я не вижу ее, то как-то о ней забываю. Странно, правда?

Мы немножко помолчали. Он лежал рядом со мной, дышал спокойно и держал мою руку поверх одеяла. То сгибал, то разгибал мне пальцы, потом вдруг стал щекотать ладонь. А потом резко отбросил мою руку и отодвинулся от меня.

– И правда, очень трудно понять, что там внутри нас, – сказал он. – То все ясно, то опять темнота. Я никогда до конца себя не понимал. Я очень любил мать и очень страдал, когда она умерла. Но потом как-то утром я вышел из дома, вынул сигарету, и в тот момент, когда чиркал спичкой об стенку, я вдруг почувствовал громадное облегчение оттого, что она наконец умерла и мне больше никогда не придется играть с ней в шашки и слышать ее пронзительный голос, выговаривающий мне за то, что я кладу в кофе слишком много сахара. Вот так же я не могу понять, люблю ли по-настоящему Джованну. Я не виделся с ней несколько месяцев и почти о ней не вспоминал. Я ленив и не люблю страдать.

– Но когда она вернется, тебе, наверно, снова захочется от меня уйти?

– Не знаю, – ответил он. – Впрочем, возможно. – Он повернулся на другой бок и уснул.

Я не спала и думала о том, что он ведь предлагал разбудить его, если мне будет очень грустно. Но разбудить его я не решалась, да к тому же считала, что просить помощи у этого человека бессмысленно. И глупо. Теперь я знала, что даже Джованна не может ничего у него попросить. Я смотрела на его спящее лицо, неподвижный, безвольный рот. Останется он со мной или уйдет? Правда ли, что он опять хочет от меня ребенка? Я лежала с открытыми глазами и говорила себе: «Я никогда не узнаю, чего он хочет на самом деле. Никогда».

С того момента я стала думать о револьвере. Я думала о нем так же, как совсем недавно думала о ребенке, которого буду кормить. Думала и успокаивалась, думала, пока стелила постель, чистила картошку и гладила рубашки Альберто. Думала, пока поднималась и спускалась по лестницам, точно так же, как еще недавно думала о будущем ребенке, которого буду кормить и укачивать. Но если бы у меня родился еще ребенок, я жила бы в постоянном страхе, что он может заболеть и умереть, а я так устала жить в страхе, и потом, мне казалось, что не имеет никакого смысла рожать ребенка этому человеку.

Иногда меня навещала Франческа и рассказывала про своего нового любовника, они познакомились в Сан-Ремо у графини, Франческа теперь бросила писать картины и все время проводит с ним. Она говорила, что немножко влюбилась, но ничего серьезного, а вообще-то он настоящий бандит с большой дороги, и пусть я не удивляюсь, если в один прекрасный день прочту в газете, что ее нашли задушенной. Короче, ничего хорошего она от него не ждет и всякий раз после его ухода бежала проверять, не взломал ли он шкатулку с деньгами. Но он хорош собой, и ей нравится появляться с ним, потому что все женщины пялят на него глаза, к тому же раньше он был на содержании у графини. Графиню Франческа теперь называла старой сукой, к тому же мерзкой скупердяжкой, потому что та отказалась купить портрет, который написала для нее Франческа. Когда графиня вернулась из Сан-Ремо, они встретились и разругались в пух и прах из-за этого альфонса. Об Аугусто Франческа слышать не хотела, и Аугусто, когда приходил к нам, тоже не желал говорить о Франческе. Но приходил он редко, потому что заканчивал книгу о возникновении христианства. Альберто читал ему свои заметки и рассказывал о своей будущей книге, но Аугусто слушал его рассеянно. Куда охотнее он разговаривал со мной или просто смотрел, как я глажу рубашки, а я вспоминала тот день, когда мы гуляли вместе и был ветер, и представляла себе, что когда-нибудь мы окажемся в постели. Я вглядывалась в него, и мне казалось, он чем-то похож на меня: так же пристально вглядывается в глубокий темный колодец внутри себя. И я думала, что именно поэтому мы могли бы быть счастливы вместе, он бы понял меня и помог мне. Но теперь, говорила я себе, уже слишком поздно. Слишком поздно начинать что-то заново – заводить новую любовь или нового ребенка, все это так трудно, а я так устала. И, глядя на Аугусто, я не могла не вспоминать ту ночь в Сан-Ремо, когда заболела девочка, и другую ночь, после ее смерти, как я рыдала на кровати, вцепившись в его руку. Я говорила себе, что в жизни человека, кроме любви и детей, есть еще миллион других занятий, к примеру, можно написать книгу о возникновении христианства. Я думала о том, как бедна моя жизнь, но теперь уже слишком поздно что-либо менять, и все же мои мысли в конце концов наткнулись на этот револьвер.

Альберто снова начал отлучаться, говорил, что ходит на службу, но я думала, что, скорее всего, вернулась Джованна. Альберто говорил, что она еще не вернулась, но я ему не верила. И однажды Джованна пришла ко мне. Это было утром, Альберто только что ушел, а я была в гостиной и перепечатывала на машинке его последние заметки.

На этот раз она была в сером платье, в круглой жесткой шляпе из черной соломки и в какой-то пелеринке. Платье и шляпа были новые, а перчатки все те же поношенные, что и в прошлый раз. Она села и сразу заговорила о девочке. Сказала, что написала мне письмо, но потом порвала его: вдруг решила, что это глупо. Но она постоянно думала обо мне с тех самых пор, как узнала о девочке, и даже теперь долго сомневалась, прежде чем прийти, и никак не могла решиться, а потом вдруг надела шляпу и пришла. Я смотрела на шляпу, и мне не верилось, что она надела ее так вот вдруг. Шляпа очень прямо и крепко сидела у нее на голове, и, по-моему, ей было не очень в ней удобно. Она говорила спокойно, просто и очень тихо, словно боясь причинить мне боль. Но у меня не было никакого желания говорить с ней о девочке.

– Это очень странно, – сказала она, – но я видела девочку во сне за две или три ночи до ее смерти. Мне снилось, что мы сидим здесь, в гостиной, и мать Альберто лежит на диване под одеялом. Она все твердила, что ей страшно холодно, я накинула на нее еще мою шубу, и она

меня поблагодарила. Девочка сидела на скамейке, а старуха, боясь, как бы девочка не простудилась, велела мне закрыть окно. Я купила девочке куклу и хотела вынуть ее из коробки, но никак не могла развязать ее.

– Она никогда не играла в куклы, – сказала я. – Она играла с верблюдом и матерчатым мячиком.

– Этот сон показался мне странным, – сказала она, – и я проснулась с чувством какой-то необъяснимой тревоги. А несколько дней спустя получила письмо – Альберто написал мне о девочке.

Я смотрела на нее и пыталась понять, правда ли, что она видела такой сон. Мне казалось, что она все это придумала.

– В письме было всего несколько слов, – сказала она. – В тот день у нас были гости, и мне пришлось развлекать их, занимать разговорами. А я никак не могла взять себя в руки. Как ни странно, я почти не думала об Альберто. Я думала о тебе.

Она сидела в кресле, закинув одну на другую свои худые ноги и скрестив руки под пелериной. Шляпа крепко и неподвижно торчала у нее на голове.

– Она, наверно, тебе мешает, – сказала я, показывая на шляпу.

– Да, – сказала она и сняла ее. На лбу остался красный след.

Я смотрела на нее. Лицо у нее было доброе и спокойное, и сама она вся такая спокойная, посвежевшая, в весеннем платье. Я представила себе, как она выбирала себе платье, листая журнал мод, и заказывала его у портнихи. Я думала о ее жизни, состоящей из спокойных дней, о ее теле, которому неведомы сомнение и страх.

– Ты ненавидишь меня? – спросила она.

– Нет, – сказала я, – не в этом дело. Просто мне не хочется с тобой разговаривать. По-моему, нам незачем сидеть с тобой вместе в одной комнате. По-моему, это глупо и даже смешно. Ведь мы все равно не скажем друг другу важных и правдивых слов. И знаешь, я не верю, что ты на самом деле видела этот сон. Скорее всего, ты выдумала его, пока шла сюда.

– Нет, – сказала она и тихонько рассмеялась. – Ты меня не знаешь. У меня фантазии никакой. Я не способна ничего придумать. Разве Альберто не говорил тебе, что у меня совсем нет фантазии?

– Нет. Мы не так уж часто говорим о тебе. Однажды зашла речь, и он сказал, что забывает тебя, когда не видит. Казалось бы, радоваться надо, но я, наоборот, расстроилась. Значит, он не любит даже тебя, значит, для него вообще нет ничего святого. Когда-то я ревновала его к тебе, ненавидела тебя, но сейчас и это прошло. Если ты думаешь, что он страдает без тебя, ты ошибаешься. Он не любит страдать. Он просто закурит сигарету и уйдет.

– Я знаю, – сказала она. – Не думай, что ты можешь мне рассказать о нем что-нибудь новое. Ты забываешь, что я знаю его столько лет. Большая часть нашей жизни позади, мы уже не молоды. Мы состарились вместе, я в своем доме, он в своем, но вместе. Мы много раз расставались. Но всегда сходились снова. Не он искал меня, а я его. Это правда. Но он всегда был так рад. Нам хорошо вместе. Ты этого не поймешь, потому что тебе всегда было с ним плохо.

– Уходи, – сказала я ей. – Мне кажется, я тебя возненавижу, если ты сейчас не уйдешь.

– Можешь ненавидеть, это справедливо. Наверно, и я тебя ненавижу. Но мне тебя жаль,

потому что ты потеряла ребенка. Я мать, кто, как не я, поймет, какое это горе? Когда я прочла письмо Альберто, я весь день не могла ни о чем думать. Меня словно оглушили.

– Я не хочу, чтобы Альберто писал тебе, – сказала я. – Не хочу, чтобы вы встречались, гуляли, куда-то ездили и разговаривали обо мне и о моем ребенке. Не хочу. Он мой муж. Возможно, мне не надо было выходить за него замуж, но теперь он мой муж, и у нас была дочь, которая умерла. И все это нельзя зачеркнуть только потому, что вам нравится спать вместе.

– Но и то, что было между нами, вряд ли можно зачеркнуть. – Она сказала это тихо, как бы про себя. Потом снова нахлобучила шляпу, отчего лицо ее сразу исказилось. И очень медленно стала натягивать перчатки, разглаживая каждый палец.

– Я не знаю, что было между вами, – сказала я. – Возможно, что-то очень серьезное, но разве это можно сравнить с рождением и смертью ребенка. Маленькие путешествия, совместные прогулочки, не так ли? А теперь уходи. Я устала от тебя. Устала от твоей шляпы и твоего платья. Я сама не знаю, что говорю. Если ты останешься, я могу просто-напросто убить тебя.

– Ну нет! – Она рассмеялась. Звонким, молодым смехом. – Ты этого не сделаешь. У тебя слишком благопристойный вид. И я тебя не боюсь.

– Тем лучше, – сказала я, – и все-таки уходи.

– Хорошо, я уйду. Но этот день я запомню. Этот день был очень важен для нас. Точно не знаю почему. Но думаю, мы как раз сказали друг другу очень важные и правдивые слова. Я буду приходить к тебе иногда, если ты не против.

– Спасибо, но лучше не надо.

– Да здравствует искренность! – сказала она. – Спасибо. И не думай обо мне слишком уж плохо.

Она ушла. Я снова села за машинку, но не могла сосредоточиться и делала ошибки. Подошла к зеркалу посмотреть, правда ли у меня слишком благопристойный вид. Потом стала готовить обед. Вернулся Альберто. Я спросила его, правда ли, что у меня слишком благопристойный вид. Он поглядел на меня и сказал, что нет. Но потом сказал, что не знает, что это значит – «благопристойный вид». Он был рассеян, нервничал, после обеда сразу ушел.

Мне хотелось позвонить Франческе или пойти к ней, но я подумала, что она, наверно, не одна. Альберто снова уходил из дома каждый день, а иногда и вечером после ужина. Поскольку я теперь спала в кабинете, он перестал запирает его на ключ. И когда я оставалась вечером одна, я часто выдвигала ящик письменного стола и смотрела на револьвер. Посмотрев на него с минуту, я успокаивалась. Осторожно закрывала ящик и ложилась. Неподвижно лежала в темноте, без сна и старалась не вспоминать то время, когда ночную тишину нарушал слабый, раздраженный плач девочки. Я заставляла себя уноситься мыслями очень далеко, в Маону, в детство; вспоминала какую-то черную мазь, которой мама мазала мне обмороженные руки, старую учительницу в очках, которая водила нас на экскурсии, монаха, который приходил к матери по воскресеньям собирать пожертвования с серым мешком, набитым сухарями, вспоминала, как я читала «Рабыню или королеву» и плакала в чуланчике для угля и как однажды мать сшила мне небесно-голубое платье для школьного вечера и оно сначала казалось мне очень красивым, а потом я вдруг увидела, что оно уродское. И у меня было такое чувство, словно я прощаюсь со всем этим, прощаюсь навсегда, я закрывала глаза и ощущала запах той черной мази на своих руках и аромат печеных груш, которыми зимой кормила нас мать. Альберто возвращался домой, и мы занимались любовью. Но теперь он больше не говорил, что у нас еще будут дети. Ему

надоело диктовать мне свои заметки, и, если на короткое время задерживался дома, постоянно смотрел на часы. Порой я думала, что, наверно, он скоро станет совсем старым и тогда ему лень будет все время уходить из дома, он сядет в кресло, будет диктовать мне свои заметки и попросит меня освободить оцинкованный ящик, убрать книги обратно в шкаф и расставить в кабинете военные корабли. Но он не менялся, становился чем старше, тем моложе и быстрым легким шагом уходил из дома: худое жадное лицо, которому словно не терпелось глотнуть чистого уличного воздуха, расстегнутый развевающийся плащ, сигарета в зубах. Я выстрелила ему в глаза.

Он попросил меня приготовить ему в дорогу термос с чаем. Он говорил, что я очень хорошо завариваю чай. А вот глажу и готовлю плохо. Но чай завариваю просто замечательно. Он стал укладывать чемодан и слегка рассердился, потому что рубашки были выглажены не очень тщательно. Особенно под воротничком. Чемодан он собирал сам, не пожелал, чтоб я ему помогала. Достал несколько книг из ящика. Я предложила ему взять Рильке, но он сказал, что не надо.

– Я их помню почти наизусть, – сказал он.

Я тоже положила несколько книг к себе в чемодан. Увидав, что я собираю чемодан, он очень обрадовался. Сказал, что в Маоне я хорошо отдохну и мать будет приносить мне кофе прямо в постель. Я спросила, как он собирается поступить с ящиком.

– С ящиком? – Он рассмеялся. – Я же вернусь. Ты решила, что я больше не вернусь? И потому у тебя такое лицо?

Я пошла посмотрела в зеркало и сказала:

– Лицо как лицо. Благопристойное.

– Вот именно, благопристойное.

Он погладил меня по голове. Потом попросил заварить ему чай. Чай он любил очень крепкий и сладкий.

– Скажи мне правду! – сказала я ему.

– Какую правду?

– Вы едете вместе?

– Кто это «мы»? – И добавил:

Он правды восхотел такой бесценной,

Как знают все, кто жизнь ей отдает.

Когда я вернулась в кабинет, он рисовал. Смеясь, показал мне рисунок. Длинный-длинный поезд, над ним огромное облако дыма. Он послюнявил карандаш, чтобы дым получился погуще. В руке у меня был термос, я поставила его на письменный стол. Смеясь, он обернулся посмотреть, смеюсь ли я вместе с ним.

Я выстрелила ему в глаза.

Ноги у меня замерзли и промокли, я шла через силу, очень болела натертая пятка. На улице



не было ни души, и она блестела под тихим дождем. Мне хотелось пойти к Франческе, но я боялась, что у нее любовник. Я вернулась домой. Была полная тишина, и я старалась в нее не вслушиваться. Я села на кухне и поняла, что буду делать дальше. Все очень просто и совсем не страшно. Я поняла, что мне не придется ничего рассказывать мужчине со смуглым лицом, и мне стало намного легче. Мне больше не придется никому ничего рассказывать. Ни Франческе, ни Джованне, ни Аугусто, ни моей матери. Никому. Я сидела на кухне у мраморного столика и невольно слушала тишину. Из раковины тянуло холодом и плесенью, на шкафу тикал будильник. Я взяла чернила, ручку и начала писать в книжечке для расходов. Внезапно я спросила себя, для кого я пишу. Ведь не для Джованны, и не для Франчески, и не для матери. Так для кого же? Но решить этот вопрос было очень трудно, и я чувствовала, что время простых и ясных ответов теперь уже не наступит никогда.

Перевод М. Архангельской

Валентино

Я жила с отцом, матерью и братом в небольшой квартирке в центре города. Жилось нам трудно – вечно не хватало денег, чтоб заплатить за квартиру. Отец был на пенсии, в прошлом школьный учитель, а мать давала уроки игры на фортепьяно. Приходилось еще помогать сестре, которая вышла замуж за коммивояжера: у нее было трое детей, и она еле сводила концы с концами, – да и вдобавок оплачивать учебу брата, отец верил, что он станет большим человеком. Я ходила на учительские курсы, а в свободное время занималась с детьми привратницы. Родные ее жили в деревне, и она расплачивалась каштанами, яблоками и картошкой.

Брат учился на медицинском и то и дело требовал денег – то на микроскоп, то на учебники, то для уплаты взноса. Отец твердо верил, что он станет большим человеком, причин для этого, пожалуй, не было, но отец верил. Он вбил это себе в голову чуть ли не с самого рождения Валентино и теперь, наверно, уже не мог отказаться от своей мечты. Целыми днями отец сидел на кухне и грезил в одиночку о том, как Валентино станет знаменитым, будет разъезжать по всяким европейским конгрессам и придумает новые лекарства против страшных болезней. Но Валентино, похоже, вовсе не собирался становиться большим человеком. Дома он обычно играл с котенком или мастерил из опилок и лоскутков игрушки для детей привратницы: собачек, котов и еще чертей с огромной шишковатой головой и длиннющим туловищем. А иногда он надевал лыжный костюм и любовался собой перед зеркалом. Катался он на лыжах редко, потому что был ленив и боялся холода. Но выпросил у матери черный лыжный костюм и вязаный шлем из белой шерсти. В том костюме он казался себе очень красивым и расхаживал перед зеркалом, сначала обмотав шею шарфом, а потом без шарфа. Или выходил на балкон, чтобы поразить своим видом детей привратницы.

А еще он постоянно обручался, из-за чего мать бросалась вылизывать столовую и вынимала из шкафа приличное платье. Но помолвки неизменно расстраивались. Поэтому, когда Валентино в очередной раз объявил, что через месяц женится, мы не поверили. Мать стала с обреченным видом наводить блеск в столовой и надела свое серое шелковое платье, в котором обычно ходила с ученицами на прослушивание в консерваторию и встречала невест сына.

Мы ждали появления нынешней претендентки, которую – мы были уверены – Валентино бросит через две недели. Теперь примерно представляли, как она будет выглядеть: Валентино всегда выбирал девушек одного типа – школьниц в беретиках. Все они были очень робкими, и мы в их присутствии ничуть не смущались – знали, что у Валентино это ненадолго,

к тому же они были похожи на маминых учениц.

Но когда он пришел с новой невестой, мы так опешили, что чуть не лишились дара речи. Такого мы и представить себе не могли. На ней была длинная кунья шуба и туфли на резиновой подошве. А сама она была маленького росточка и толстая. Из-под очков в черепаховой оправе на нас глядели круглые, не улыбочивые глаза. На носу у нее выступили капельки пота, а под ним пробивались темные усики. Черная шляпа сбилась набок, и с другого бока торчали темные с проседью патлы, завитые щипцами. Она выглядела по меньшей мере лет на десять старше Валентино.

Мы молчали, зато Валентино тараторил без умолку. Рассказывал и про кота, и про детей привратницы, и про микроскоп. Хотел тут же повести невесту в свою комнату и показать ей микроскоп. Но мама воспротивилась, потому что еще не успела прибрать в той комнате. А невеста обронила, что микроскопы уже видела, и не раз. Тогда Валентино разыскал кота и принес его в столовую. Коту он повязал на шею бантик с колокольчиком – видимо, хотел, чтоб тот понравился невесте. Но кот так перепугался из-за колокольчика, что вскарабкался на гардину: шерсть дыбом, глаза безумные и шипит на нас сверху. Мать разохалась, что он обдерет ей всю гардину.

Невеста закурила и начала беседу. В голосе ее чувствовалась привычка командовать, о чем бы она ни говорила, казалось, будто она отдает команду. Сказала, что любит Валентино и верит в него. Верит, что он перестанет играть с котом и мастерить игрушки. И еще сказала, что у нее много денег, потому что они могут пожениться, не дожидаясь, пока Валентино начнет зарабатывать. Она одна, свободна, родители ее умерли, и она никому не обязана давать отчет в своих действиях. Вдруг мама заплакала. Момент был тягостный, никто не знал, что делать. Ведь мама плакала вовсе не от того, что растрогалась, а от беспомощности и страха, я это чувствовала, и остальные, наверно, тоже. Отец похлопывал по коленям и прищелкивал языком, словно утешая плачущего ребенка. Невеста внезапно побагровела и подошла к маме. Ее глаза беспокойно поблескивали и были полны решимости, и я поняла, что она во что бы то ни стало женит на себе Валентино.

– Ну вот, опять мама плачет, – сказал Валентино. – У нее вечно глаза на мокром месте.

– Да-да, – пробормотала мама, вытерла слезы, пригладила волосы и выпрямилась. – Мне немного нездоровится в последнее время, и я часто плачу. К тому же все так неожиданно. Правда, Валентино всегда поступал по-своему.

Мама училась в привилегированном заведении, она была на редкость воспитанна и умела владеть собой.

Невеста объявила, что им пора: они с Валентино идут покупать мебель для гостиной. Больше им ничего покупать не придется, потому что в доме есть все необходимое. Валентино начертил маме план дома, в котором невеста жила с детских лет и где они будут теперь жить вместе. Трехэтажная вилла с садом в прекрасном районе – одни сплошные виллы и сады. Когда они ушли, мы некоторое время лишь молча смотрели друг на друга. Потом мать попросила меня сходить за сестрой.

Сестра жила на окраине, в квартире на последнем этаже. Целыми днями она печатала адреса на конвертах для какой-то фирмы, платили ей сдельно. У нее постоянно болели зубы, и она повязывала шарфом то одну, то другую щеку. Я сказала, что мать хочет с ней поговорить. Клара спросила, в чем дело, но я ей ничего не стала объяснять. Сгорая от любопытства, сестра взяла на руки своего младшенького и пошла со мной.

Сестра никогда не верила, что Валентино станет большим человеком. Она вообще терпеть его не могла, как только о нем заходил разговор, у нее все лицо перекашивалось от злобы, она тут же вспоминала, сколько денег отец тратит, чтоб его выучить, а она вот вынуждена

печатать адреса на конвертах. Мать боялась, как бы ей не попался на глаза лыжный костюм Валентино, и, когда сестра приходила, я бежала в комнату Валентино посмотреть, убран ли в шкаф костюм и другие купленные им вещи.

Как теперь рассказать моей сестре Кларе о случившемся? О том, что появилась женщина с большими деньгами и с усами, что она может позволить себе роскошь взять Валентино в мужья, а тот вовсе не против. Что он бросил всех девиц в беретиках, расхаживает по городу с дамой в куньей шубе и подыскивает мебель для гостиной. А ведь у Валентино до сих пор ящики письменного стола все еще ломаются от фотографий девушек и от их писем. Ну а в своей новой жизни с этой усатой женщиной в черепаховых очках он уж постарается нет-нет да и улизнуть из дому к какой-нибудь в беретике. И даже потратит немного денег, чтоб ее развлечь, – совсем немного, потому что Валентино довольно жаден и неохотно тратится на других, еще бы, ведь эти деньги он мог бы истратить на себя.

Клара выслушала отца с матерью и пожала плечами. У нее очень болят зубы, а ей нужно печатать адреса да еще постирать и заштопать детям чулки. Зачем мы ее оторвали от работы и заставили притащиться сюда? Полдня потеряла. Она знать не хочет о Валентино, чем он там занят и на ком женится. Эта баба явно ненормальная, ведь ни одна разумная женщина не взяла бы Валентино в мужья. А может, она проститутка, которая нашла себе болвана, шуба-то у нее, скорей всего, искусственная, ведь мать и отец в мехах ни черта не смыслят. Но мать сказала, что нет, шуба натуральная, а сама невеста – настоящая дама, да, она вела себя как настоящая дама, и вовсе не сумасшедшая. Вот только страшна... Мать, вспомнив, какая та страшная, закрыла лицо руками и снова заплакала. Отец возразил, что дело не в этом. Он хотел объяснить в чем и уже собрался произнести речь, но мать его оборвала; она всегда умела так его оборвать, что у бедняги слова застревали в горле и он начинал дергаться и сердито сопеть.

Тут в коридоре послышался шум – это вернулся Валентино. Он увидел Клариного малыша и стал с ним забавляться. Подбрасывал его до потолка, а потом опускал на пол, потом снова подбрасывал, а малыш заливался смехом. Клара сперва даже улыбнулась, глядя, как ее сын веселится. Но через секунду лицо у нее перекосилось, как всегда при виде Валентино.

Валентино стал рассказывать, что они с невестой купили мебель для гостиной. В стиле ампир. Назвал, потирая руки, невероятную сумму, нам даже стало тесно в нашей маленькой комнате от этой чудовищной цифры. Вынул сигарету, щелкнул золотой зажигалкой. Эту зажигалку ему подарила Маддалена, его невеста.

Он и не замечал, что мы все растерянно молчим. Мать опускала глаза, старалась на него не смотреть. Сестра взяла на руки ребенка и натянула ему варежки. Увидев золотую зажигалку, она криво усмехнулась и пошла с ребенком к двери. Уже с порога бросила сквозь шарф:

– Ну и свинья!

Она произнесла это очень тихо, но Валентино услышал. Он хотел догнать Клару на лестнице и спросить, за что она обозвала его свиньей. Мать с трудом его удержала.

– Ну почему свинья? – допытывался Валентино у матери. – За что эта стерва обозвала меня свиньей? За то, что я женюсь? Не много ли она на себя берет, эта стерва?

Мать разглаживала складки платья и молча вздыхала. Отец набивал трубку, и пальцы у него дрожали. Затем поднял ногу, чтоб зажечь спичку о подошву ботинка, Валентино тут же подскочил со своей зажигалкой. Отец поглядел на зажженную зажигалку в руке Валентино и вдруг оттолкнул руку, швырнул трубку и вышел из комнаты. Затем вновь появился в дверях и тяжело засопел – вот-вот что-то скажет, но так ничего и не сказал, ушел, громко хлопнув дверью.

Валентино совсем растерялся.

– В чем дело? Ну почему он сердится? – спрашивал он у матери. – Чем я им не угодил? Что я такого сделал?

– Эта женщина... она такая уродина, – тихо сказала мать. – Просто ужас, Валентино. А если это правда, что она богата, значит, люди подумают, что ты женишься из-за денег. Мы тоже так думаем, Валентино. Ну можем ли мы поверить, что ты в нее влюбился! Ты, который выбирал себе самых хорошеньких, и все равно ни одна не казалась тебе достаточно красивой. В нашей семье такого еще не было, чтобы кто-то женился на одних деньгах.

Тут Валентино сказал, что ничего мы не понимаем. Его невеста вовсе не уродина. Во всяком случае, ему она уродиной не кажется, а ведь это главное, правда? У нее красивые черные глаза и величественная походка. К тому же она очень умна и образованна, очень. Надоели ему эти девчонки, с которыми и поговорить-то не о чем. А вот с Маддаленой он говорит о книгах и многом другом. Нет, он женится не ради денег, он не свинья. Внезапно Валентино надулся, ушел к себе и запер дверь.

В последующие дни он изображал из себя оскорбленного в лучших чувствах человека, который женится наперекор семье. Побледнел, стал серьезен и гордо проходил мимо нас, не удостоивая ни словом. Он больше не показывал нам подарки невесты, хотя получал их регулярно: золотой хронометр с белым кожаным ремешком, бумажник из крокодиловой кожи, каждый день новый галстук.

Отец решил поговорить с невестой Валентино. Мать не хотела его пускать: у отца большое сердце и ему нельзя волноваться, к тому же он все равно ничего разумного сказать не сумеет. То есть мысли у него, может, и разумные, но выразить их как следует он не способен. Сбивается на ненужные подробности, на воспоминания детства, заикается и сопит. Дома ему не удавалось довести до конца ни одну из своих речей: у нас не хватало терпения его выслушать, потому отец всегда с грустью вспоминал времена, когда он преподавал в школе, там он мог говорить сколько влезет и никто его не перебивал.

Отец всегда побаивался Валентино, ни разу слова поперек ему не сказал, даже когда тот провалился на экзаменах. И упорно верил, что Валентино станет большим человеком. А теперь он, похоже, в этом усомнился: ходил с несчастным видом и сразу как-то постарел. Не желал больше сидеть один в кухне. Говорил, что в этой духоте можно сойти с ума, и потому перебирался в кафе на нижнем этаже нашего дома, заказывал себе рюмку хинного ликера и долго его тянул; или отправлялся на реку – смотрел, как удят рыбу, а потом возвращался домой, сопя и о чем-то разговаривая сам с собой.

И тогда мама, лишь бы он не волновался, отпустила его к невесте Валентино. Отец надел свой лучший костюм, лучшую шляпу и перчатки. Мы с матерью вышли на балкон и смотрели ему вслед. И вот, глядя сверху на его медленно удаляющуюся фигуру, мы почему-то успокоились, у нас зародилась надежда, что все еще уладится, как – мы не знали, не знали даже, на что мы, собственно, надеемся, и представить себе не могли, что он там ей скажет, но тем не менее тот день вдруг положил конец нашим тревожностям. Отец вернулся поздно и выглядел совершенно разбитым. Он сразу стал укладываться. Мать, помогая ему раздеться, все его расспрашивала, но на этот раз у него, похоже, не было никакой охоты пускаться в разговоры. Уже лежа в постели – глаза закрыты, лицо землисто-серое, – он вдруг сказал:

– Она хорошая женщина. Мне жаль ее. – Потом добавил: – Я видел виллу. Красивая вилла, просто роскошная. Нам такая роскошь и во сне не снилась. – Он немного помолчал. – Мне-то что, все равно скоро подышать.

Бракосочетание состоялось в конце месяца. Отец попросил у своего брата денег в долг, чтоб нам всем хоть немного приодеться, а то еще, чего доброго, опозорим Валентино. Мать

впервые за много лет заказала себе шляпу – очень сложного фасона, с высокой тульей, лентой и вуалью. И вдобавок достала из шкафа старую одноглазую лису, если прикрыть морду хвостом, то и незаметно, что одного глаза не хватает; мать уже так потратилась на шляпу, что больше на эту свадьбу не желала пожертвовать ни одной лиры. Мне сшили новое платье из тонкой голубой шерсти с бархатной отделкой, а на шею я тоже нацепила лису, правда совсем маленькую, – подарок тети Джузеппины, когда мне исполнилось девять лет. Но, конечно, больше всего денег ушло на костюм Валентино – из сукна цвета морской волны в тонюсенькую белую полоску. Покупал его Валентино вместе с мамой. Он уже перестал корчить из себя оскорбленного, был весел и твердил, что всю жизнь мечтал о костюме цвета морской волны в тонюсенькую белую полоску.

Клара заявила, что на свадьбу не придет – не хочет глядеть на свинство Валентино да еще тратить на него деньги. А Валентино наказал мне передать ей, что просто счастлив – хоть в день свадьбы перед ним не будет маячить ее противная рожа. Что касается противных рож, заявила Клара, то, пожалуй, с него хватит и невесты. Она, правда, видела ее только на фотографии, но и этого достаточно. Однако же Клара все-таки явилась в церковь с мужем и старшей дочкой. Они тоже принарядились, а Клара даже сделала завивку.

Во время венчания мать держала мою руку, сжимая все сильнее и сильнее. А когда новобрачные обменялись кольцами, опустила голову и сказала, что не в силах на это смотреть. Невеста была в черном, поверх накинута все та же длинная шуба. Наша привратница – она тоже пришла на свадьбу – осталась разочарованной: она-то ждала фаты и флердоранжа, и вообще, церемония была не больно шикарная, при том что Валентино, как говорят, женился на больших деньгах. Кроме привратницы и знакомой продавщицы газет, в церкви никого больше с нашей стороны не было, зато полно было приятельниц Магдалены в брильянтах и мехах. Потом мы отправились на виллу. Привратница и продавщица газет ушли, а мы – мать, отец, я, Клара и ее муж – чувствовали себя очень скованно, забились в уголок, и Валентино, подбежав, сказал, что нечего держаться особняком, но мы все-таки держались. В саду и на нижнем этаже виллы было полно того же народу, что и в церкви, но Валентино среди этой публики ничуть не смущался и болтал с ними запросто. Он был так счастлив в своем костюме цвета морской волны в тонюсенькую белую полоску; подходя то к одной даме, то к другой, он галантно брал их под руку и подводил к столу с закусками. Вилла, как и говорил отец, оказалась роскошной, даже не верилось, что теперь Валентино будет жить тут.

Потом гости разошлись, а Валентино с женой сели в машину и укатили – на целых три месяца отправились в свадебное путешествие к морю. Мы вернулись домой. По дороге Кларина дочка не давала нам слова сказать: вприпрыжку, забегая вперед, она взхлеб тараторила о кушаньях, о том, как гуляла по саду и ее напугала большущая собака и как потом она заглянула на кухню, а там кухарка вся в голубом молола кофе. Но дома мы сразу же вспомнили о деньгах, взятых в долг у дяди, к тому же мы устали, настроение было скверное, мать пошла в комнату Валентино, села на неубранную постель и заплакала. Потом все же стала наводить порядок, пересыпала нафталином матрас, надела чехлы на мебель и закрыла ставни.

Казалось, без Валентино и делать нам больше нечего – не надо теперь чистить его костюмы, утюжить их, выводить пятна бензином. Говорили мы о нем мало – я готовилась к экзаменам, а мама часто навещала Клару, у которой болел ребенок. Отец же бродил по городу – определенно разонравилось ему сидеть на кухне, – навещал старых друзей, коллег и уж там-то, должно быть, изливал душу, но, вернувшись, неизменно заключал, что все равно скоро умрет, и слава богу, потому что в жизни ничего хорошего не видел. Иногда к нам заглядывала привратница – приносила фрукты за то, что я занималась с ее детьми, и всякий раз спрашивала про Валентино: по ее мнению, нам очень повезло – теперь, когда Валентино женился на богачке, он станет доктором, заведет частную практику, и мы сможем спать спокойно – сын пристроен. Ну а что жена некрасивая, так это даже к лучшему – по крайней

мере рога ему не наставит.

Миновало лето, и Валентино написал, что задерживается: они купаются, ходят под парусом и собираются съездить в Доломиты. Одним словом, медовый месяц они проводят чудесно и хотят насладиться им сполна, потому что в городе не отдохнешь. Валентино надо готовиться к экзаменам, а у жены тоже дел полно: она ведь сама управляет своими земельными владениями да еще занимается благотворительностью и все такое прочее.

К нам Валентино явился уже в конце сентября, как-то утром. Мы страшно ему обрадовались, так обрадовались, что готовы даже были примириться с его странной женитьбой. Валентино снова сидел на кухне, кудрявый, белозубый, с ямочкой на подбородке, гладил кота своими большими руками и говорил, что хочет его забрать: в подвале виллы водятся крысы, и кот научится ловить крыс, которых сейчас боится. Он долго сидел с нами, намазал себе хлеба томатным соусом и ел, говоря, что их повариха такой вкусный соус готовить не умеет. Потом унес кота в корзине, однако вскоре принес его обратно: кота пустили в подвал ловить крыс, но он так их боялся, особенно больших, что орал ночь напролет и не давал поварихе спать.

Зима выдалась для нас тяжелая. Кларин малыш все болел, у него было что-то серьезное с бронхами, и врач назначил ему хорошее обильное питание. И потом, на нас висел долг брату отца, который мы с трудом понемногу выплачивали. И хотя тратиться на Валентино больше не надо было, мы все равно еле дотягивали до конца месяца. Валентино ничего о наших тяготах не знал, виделись мы редко, ведь он готовился к экзаменам, правда, иногда они все-таки заходили с женой, мама принимала их в столовой, то и дело разглаживала складки платья, и воцарялось долгое, неловкое молчание; мать сидела в кресле очень прямо – тонкое белое лицо, седые гладкие, шелковистые волосы – и время от времени какой-нибудь вежливой фразой, произнесенной бесстрастным голосом, пыталась нарушать это долгое, неловкое молчание.

Утром я ради экономии отправлялась на самый дальний рынок за покупками. Эти утренние прогулки я очень любила, особенно дорогу туда с пустой кошелкой, я шла, наслаждаясь утренней прохладой, и хотя бы на время забывала о наших домашних тяготах, шла и, как все девушки, думала, выйду ли я замуж и за кого. Правда, я понятия не имела, где взять жениха, у нас в доме молодые люди не появлялись, при Валентино, бывало, кто-нибудь и заглянет, а теперь все. Отцу с матерью, видно, и в голову не приходило, что я могу выйти замуж, их послушать – так я должна навсегда остаться при них, и вообще, разговоры обо мне обычно сводились к тому, что я, когда получу место учительницы, начну приносить в дом хоть какие-то деньги. Я иногда недоумевала, почему у родителей и вопроса не возникает, не хочу ли я выйти замуж или хотя бы купить себе новое платье и пойти в воскресенье прогуляться с подругами. Недоумевала, но не корила их за это, тогда еще слишком сильные и болезненные чувства были мне неведомы, я твердо верила, что рано или поздно жизнь моя наладится.

Однажды, возвращаясь домой с полной кошелкой, я увидела жену Валентино, она сидела за рулем и, заметив меня, остановила машину и предложила подвезти. Она сказала, что всегда встает в семь, принимает холодный душ и потом объезжает свои владения за восемнадцать километров от города, а Валентино тем временем валяется в постели; она спросила, всегда ли он был таким ленивым. Я сказала ей, что сын Клары все время болеет, она нахмурилась и сказала, что ничего не знала об этом, – Валентино как-то вскользь упомянул, и она подумала, что ничего серьезного, а мать и вовсе ни словом не обмолвилась.

– Вы все относитесь ко мне как к чужой, мать видеть меня не может, я это с первого раза заметила. Вам даже в голову не приходит обратиться ко мне за помощью в трудную минуту. А ведь ко мне приходят совершенно незнакомые люди, и я всегда откликаюсь.

Она была очень раздосадована, а я не знала, что и сказать; мы подъехали к дому, и я робко пригласила ее зайти, но она сказала, что ей неприятно у нас бывать, поскольку она прекрасно

знает, что мать ее терпеть не может.

Но в тот же день она поехала к Кларе и потащила с собой Валентино, который у Клары не был – с того самого дня, как она обозвала его свиньей. Первым делом Маддалена распахнула все окна, потому что в квартире, видите ли, пахнет затхлостью. Потом сказала Валентино, что просто стыдно плевать на родню, вот у нее никого на свете нет, а она сочувствует чужим людям и по первому зову мчится бог знает в какую даль. Потом послала Валентино за своим врачом, тот сказал, что ребенка необходимо поместить в клинику, и Маддалена вызвалась оплатить все расходы. Клара растерялась, стала лихорадочно собирать вещички малыша, а Маддалена довольно резко на нее покрикивала, чем вконец смутила бедную Клару.

Когда малыша поместили в клинику, у всех нас полегчало на душе. Клара все думала, как отблагодарить Маддалену. Посоветовалась с мамой, они купили большую коробку шоколадных конфет, и Клара понесла ее Маддалене, а та обозвала Клару дурищей: и так еле сводит концы с концами, а еще тратит деньги на конфеты, и вообще, что это за мания такая – непременно за все благодарить. А еще она сказала, что у нас более чем странные представления: родители на всем экономят и посылают меня на самый дальний рынок, а ведь чего проще – попросить помощи у нее; Валентино, похоже, на все наплевать – покупает один костюм за другим, а потом, как обезьяна, вертится перед зеркалом. Отныне, сказала она, каждый месяц она будет присылать нам деньги и ежедневно – свежие овощи, чтобы мне не таскаться на тот дальний рынок, у нее, дескать, овощи свои, прямо с грядки, и она не знает, куда их девать, – гниют на кухне. Клара пришла и попросила нас принять от Маддалены эти деньги, ведь мы ради Валентино стольким жертвовали, и теперь будет только справедливо, если его жена немного нам поможет. И вот каждый месяц к нам стал приходиться управляющий Маддалены и приносить в конверте деньги, а каждые два-три дня в привратничкой мы находили корзинку с овощами, мне больше не нужно было ходить на рынок, и я утром могла поспать подольше.

Отец умер в конце зимы. Мы с мамой в это время были в клинике, у Кларина сына. Отец умер, и никого не было рядом. Мы вернулись, а он уже мертвый: лег в постель, видно почувствовал себя плохо, развел свои таблетки в чашке с молоком, да так и не выпил. В ящике ночного столика лежало письмо к Валентино, написанное, должно быть, за несколько дней до смерти; длинное письмо, в котором отец просил прощения за то, что возлагал на Валентино глупые надежды, будто он должен стать большим человеком, а между тем ему вовсе незачем становиться большим человеком, главное – чтобы он стал просто человеком, мужчиной, ведь пока он все еще ребенок. Пришли Валентино с Маддаленой, и Валентино заплакал, а Маддалена впервые обошлась с моей матерью очень по-доброму, деликатно и бережно; позвонила управляющему, чтобы позаботился о похоронах, и пробыла с мамой всю ночь и весь следующий день. Когда она ушла, я сказала маме, что Маддалена очень добра к нам, а мама ответила, что все равно терпеть ее не может и всякий раз, когда она видит эту уродину рядом с Валентино, у нее сжимается сердце, из-за того и отец умер, не смог пережить, что Валентино женился на деньгах.

Летом у Маддалены родился сын; я надеялась, что мама смягчится, привяжется к внуку, мне даже казалось, что у младенца тоже ямочка на подбородке и он похож на Валентино. Но мама заявила, что никакой ямочки и в помине нет; она совсем сникла, бедняжка, все вспоминала отца, корила себя за то, что не заботилась о нем как следует, никогда не могла выслушать его, все время перебивала, унижала. Теперь же она понимает: отец – единственное, что было у нее в жизни, нет-нет, она не жалуется ни на меня, ни на Клару, и все же мы не уделяем ей должного внимания, а Валентино и подавно – вот, женился на деньгах. Постепенно мама отказалась от уроков: она страдала артритом, и у нее болели пальцы, к тому же денег, которые каждый месяц приносил в конверте управляющий Маддалены, нам вдвоем на жизнь хватало. Управляющего принимала я, в столовой, мать затворяла дверь на кухню и даже слышать не хотела об этом конверте, между тем без этих

денег нам нечего было бы есть.

Как-то пришла Маддалена и спросила, не хочу ли я провести август вместе с ними на море; я бы и рада была поехать, но не могла оставить мать одну и потому отказалась. Маддалена сказала, что я просто дуручка, раз я не могу оторваться от дома, так мне уж точно не найти мужа. Я ответила, что вовсе не собираюсь замуж, но это была неправда; тот унылый август тянулся особенно долго, вечерами я водила маму гулять по парку и по берегу реки, поддерживая ее под руку с распухшими от артрита суставами, а мне так хотелось идти быстро-быстро, одной, и еще – поговорить хоть с кем-нибудь, кроме матери. Потом мама совсем перестала вставать с постели – у нее появились боли в спине, очень мучительные. Я просила Клару приходить почаще, но она все печатала адреса на конвертах для этой своей фирмы. Детей она отправила за город, малыша тоже, он теперь выздоровел, сама же всю неделю молотила на машинке адреса, а на воскресенье она уезжала навестить детей. Поэтому в то воскресенье, в начале августа, когда мама умерла, никого, кроме меня, в доме не было. Всю ночь мама жаловалась на адскую ломоту в костях и бредила, просила пить, сердилась, что я все делаю медленно – и воду подаю, и поправляю ей подушки. Утром я побежала за врачом, и он сказал, что нет никакой надежды. Я послала телеграмму Валентино и Кларе. Но когда они приехали, мама уже умерла.

Я очень любила маму. Теперь я все бы отдала, чтобы вечерами снова гулять с ней и чувствовать, как ее рука с длинными пальцами и распухшими суставами опирается на мою руку. Я корила себя за то, что не заботилась о ней как следует. Бывало, стояла на балконе, ела вишни и не откликалась, когда мама меня звала, долго звала, а я все стояла, держась за перила, и не оборачивалась. Теперь я возненавидела и наш двор, и балкон, и четыре опустелые комнаты, но ничего уже больше мне не хотелось – даже съезжать отсюда.

И тут Маддалена предложила мне перебраться к ним на виллу. Она была очень добра ко мне, как тогда к маме после смерти отца, очень добра, сердечна, куда только девался ее командирский тон! Сказала, что я вольна поступать, как мне вздумается, но что мне делать одной в этом доме, а у нее на вилле множество комнат, и я там смогу спокойно заниматься, а если мне взгрустнется, то хоть будет с кем словом перемолвиться.

Так я покинула дом, где выросла и где знала каждый уголок, и потому даже не представляла себе, как смогу прижиться в чужом доме. Приводя напоследок в порядок комнаты, я нашла баул с письмами и фотографиями девиц в беретиках, бывших невест Валентино. Мы с Кларой полдня читали эти письма и смеялись, а потом сожгли их на газовой плите. Кота я оставила привратнице. Когда через несколько месяцев я его навестила, это был уже не наш худенький диковатый котик, который, пугаясь, всякий раз карабкался на гардины, а невозмутимый толстый котище, отлично ловивший мышей и крыс.

На вилле Маддалены мне отвели комнату с большим голубым ковром. Ковер этот мне очень нравился, и каждое утро, просыпаясь, я радовалась, что он тут, лежит на полу. Я ступала по нему босыми ногами, и он был такой пушистый, теплый. Утром мне хотелось немного понежиться в постели, но я знала, что Маддалена не уважает тех, кто поздно встает, и действительно, ранним утром до меня доносились сердитый трезвон колокольчика и ее властный голос, отдающий распоряжения слугам. Потом она спускалась вниз в своей длинной шубе и сбитой набок шляпе, обрушивалась на повариху и няньку и садилась в машину, громко хлопая дверцей.

Я шла к племяннику и брала его на руки. Я привязалась к малышу, надеясь, что и он ко мне привязан. Валентино, сонный, небритый, спускался в столовую завтракать. Я спрашивала, как у него с экзаменами, но он переводил разговор на другое. Затем приходил управляющий Бульяри – тот самый, что приносил нам деньги в конверте, когда папа с мамой были живы; а еще заглядывал двоюродный брат Маддалены по имени Кит. Они втроем садились играть в карты, но стоило им слышать в саду шум автомобиля, как они тут же прятали карты,



поскольку Маддалена запрещала Валентино тратить время на игру. Возвращалась Маддалена, растрепанная, усталая и осипшая – она до хрипоты ругалась с крестьянами, – и сразу начинала препираться с управляющим, они шли наверх, вытаскивали амбарные книги и что-то подолгу обсуждали. Меня поражало, что она никогда не спросит о ребенке, не заглянет к нему, ребенок ее как будто совсем не интересовал: когда нянька его приносила, Маддалена брала его ненадолго на руки, и лицо у нее сразу молодело и лучилось материнской нежностью, но уже минуту спустя, понюхав у него за ухом, она говорила, что от ребенка плохо пахнет, и отдавала няньке, чтоб та его вымыла.

Киту было сорок лет. Он был высокий, худощавый, лысоватый, а с затылка у него спускались длинные, редкие, вечно влажные волосы, похожие на пушок у новорожденных. Никакой профессии у него не было, а были земли неподалеку от владений Маддалены, но он никогда туда не ездил, только просил Маддалену заглянуть по дороге, посмотреть, что там делается, и она жаловалась, что ко всем ее заботам приходится еще заниматься делами Кита. Кит целые дни проводил у нас – играл с малышом, болтал с нянькой, резался в карты с Валентино или же сидел в кресле и курил. Вечером он и Валентино отправлялись в центр города посидеть в кафе, поглазеть на красивых женщин.

Я очень беспокоилась за Валентино, ведь я ни разу не видела, чтобы он готовился к экзаменам. Садился у себя в комнате с микроскопом, учебниками и черепом, но ни минуты не мог усидеть за столом. Звонил в колокольчик и требовал, чтобы ему принесли гоголь-моголь, потом зажигал в черепе свечу, тушил свет и вызывал служанку, чтоб напугать ее до смерти. После женитьбы он сдал два экзамена, и оба успешно, он всегда успешно сдавал экзамены, потому что язык у него был хорошо подвешен и он умел внушить экзаменатору, будто знает то, в чем на самом деле ничего не смыслил. Но ему для получения диплома надо было сдать много экзаменов, и почти все его друзья, поступившие в университет вместе с ним, уже давно были с дипломами. Стоило мне, однако, заговорить об экзаменах, как Валентино перескакивал на другое, и я просто терялась. Маддалена, вернувшись домой, спрашивала у него:

– Занимался?

Он отвечал, что да, занимался, а она верила или, может, просто слишком уставала за день от всяких перебранок и не хотела браниться еще и дома. Она ложилась на диван, а Валентино присаживался рядом на ковер. С Валентино она вмиг теряла всю свою властность. Прижимала к себе его голову, гладила, и лицо ее лучилось материнской нежностью.

– Валентино занимался? – спрашивала она и у Кита.

– Занимался, – отвечал Кит.

И она успокаивалась, закрывала глаза и все гладила, гладила кудрявые волосы Валентино.

У Маддалены родился второй ребенок, и на лето мы все отправились к морю. Рожала она легко, и беременность не мешала ей объезжать свои земли. Затем, после родов, находила кормилицу и больше ребенком не интересовалась. Главное для нее было знать, что дети живы и здоровы. И с Валентино то же самое – ей важно было знать, что он жив и здоров, но сама она целыми днями была в разъездах; когда вечером, вернувшись домой, она ложилась на диван, ей было довольно, что голова Валентино покоится у нее на животе и она ласково гладит его по волосам. Я вспомнила, как Валентино рассказывал маме, что с Маддаленой можно говорить о чем угодно: о книгах, обо всем, но что-то не замечала, чтобы они о чем-либо говорили. Для разговоров в доме был Кит, вот он говорил без умолку, рассказывал бесконечные, нудные истории про свою полуслепую придурковатую служанку или про свои болезни и домашнего врача. Если вдруг Кит не появлялся, Маддалена звонила ему, чтобы он немедленно приходил.

Итак, мы отправились к морю, и с нами поехали Кит, Бульяри, служанка и нянька. Поселились мы в роскошной гостинице, и я стыдилась, что мне совсем нечего надеть, но не хотела просить денег у Маддалены, а сама она не догадалась мне их предложить, впрочем, она тоже не бог весть как была одета, вечно в одном и том же сарафане в белый и голубой горох, она говорила, что не намерена тратиться на туалеты, хватит того, что Валентино на свои тратит кучу денег. Валентино и впрямь выглядел элегантно – в полотняных брюках, майках и свитерах, которые менял по нескольку раз в день. Его консультантом в вопросах моды был Кит, хотя сам ходил в одних поношенных брюках, мол, урод он и есть урод, что на него ни надень. Валентино уходил с Китом в море на яхте, а Маддалена, я и Бульяри ждали их на пляже; Маддалена все время жаловалась: ей уже надоела такая жизнь – не умеет она целыми днями жариться на солнце, ничего не делая. А еще Валентино и Кит ходили по вечерам на танцы, Маддалена просила его взять и меня, но Валентино отвечал, что на танцы сестер не берут.

Потом мы вернулись в город, я получила диплом и место учительницы, правда нештатной; каждое утро Маддалена отвозила меня на работу, а потом уж ехала осматривать свои владения. Я сказала Маддалене, что теперь вполне могу жить самостоятельно и сама о себе позабочусь; она обиделась, сказала, что не понимает, к чему мне жить одной, когда у нее огромный дом и хорошая кухня, зачем же мне снимать комнатушку и готовить себе какую-нибудь похлебку на плитке. Ей это просто непонятно. К тому же дети ко мне привязались, и я могу последить за ними, когда она в разъездах, а еще могу последить за Валентино, чтоб он занимался.

Я тогда набралась храбрости и сказала ей, что беспокоюсь за Валентино: он, похоже, совсем не занимается, а тут еще Кит взялся обучать его верховой езде, и они теперь каждое утро проводят в манеже. Валентино заказал себе жокейский костюм – высокие сапоги, куртка в обтяжку и даже хлыстик купил; дома он вертится перед зеркалом, то хлыстиком помашет, то жокейской шапочкой. Маддалена призвала к себе Кита и устроила ему разнос: сказала, что если он сам бездельник и неудачник, то это еще не значит, что он может делать неудачника из Валентино, пусть оставит его в покое. Кит слушал, молчал, щурился, приоткрыв рот и поглаживая подбородок, а Валентино заорал, что конный спорт полезен для здоровья и он чувствует себя гораздо лучше с тех пор, как стал ходить в манеж. Тогда Маддалена помчалась в комнату Валентино, схватила жокейский костюм, сапоги и шапочку и хлыстик, завязала их в узел, крикнула, что сейчас же выбросит все это в реку, и выбежала из дома, зажав узел под мышкой; она снова была беременна, живот уже выпирал из-под шубы, и она бежала, припадая на один бок от тяжести живота и узла. Валентино кинулся за ней, и мы с Китом остались одни.

– Она права, – сказал Кит и тяжело вздохнул; потом озадаченно почесал затылок, поросший редкими волосами, и лицо у него при этом было такое нелепое, что я едва не рассмеялась. – Да, Маддалена права, – повторил он, – я и впрямь бездельник и неудачник. Абсолютно права. Такому типу, как я, надеяться не на что. Но и Валентино не на что надеяться, он точно такой же тип. Пожалуй, даже хуже – ему на все наплевать. А мне тоже почти на все, но есть вещи, которые все-таки для меня что-то значат.

– Подумать только, отец верил, что Валентино станет большим человеком, – сказала я.

– Да ну?! – воскликнул он и от души расхохотался; он весь трясся в кресле, вовсю разевал рот и бил себя по коленям.

Мне этот смех не понравился, и я ушла, а когда вернулась, его уже не было. Валентино и Маддалена не приехали к ужину, стемнело, а они все не возвращались; я уже легла, когда с лестницы донеслись их голоса, смех, воркование, и я поняла, что они помирились. Назавтра Валентино снова отправился в манеж в своем жокейском костюме – Маддалена так и не выбросила его в реку, вот только куртка помялась, и пришлось ее выгладить. Кит несколько

дней не показывался у нас, но потом снова объявился: из карманов у него торчали драные носки, и он отдал их служанке заштопать, дома никто не штопал ему носки, он жил один, а его старая полуслепая служанка штопать, разумеется, не могла.

У Маддалены родился третий ребенок, опять мальчик, Маддалена была рада, что у нее рождаются одни мальчики: если бы родилась девочка, то со временем она, чего доброго, стала бы похожей на мать, а Маддалена считала себя настолько уродливой, что не пожелала бы такого лица ни одной женщине. Правда, Маддалена была счастлива, несмотря на свое уродство, ведь у нее дети и Валентино, а вот в юности она столько слез пролила – боялась, что никогда не выйдет замуж, что так и проживет одна до старости на этой громадной вилле среди ковров и картин. Наверно, она и детей столько рожала, чтобы позабыть о тех прежних страхах и наполнить комнаты игрушками, пеленками, детскими голосами; правда, детей она только рожала, а воспитанием их совсем не занималась.

Валентино и Кит отправились в путешествие. Валентино сдал еще один экзамен, сдал успешно, и заявил, что ему надо отдохнуть. Они поехали в Париж, затем в Лондон; Валентино никогда не был за границей, и Кит сказал, что стыдно не побывать в таких великих городах. Он говорил, что Валентино, в сущности, типичный провинциал, что надо его немножко пообтесать, а для этого необходимо ходить в дансинги и картинные галереи. У меня по утрам были уроки в школе, а после полудня я играла в саду с детьми Маддалены или пыталась мастерить им игрушки из тряпочек и опилок, такие же, как Валентино раньше делал для детей привратницы. Когда Маддалены не было дома, нянька, служанка и кухарка сидели со мною в саду, они говорили, что со мной чувствуют себя свободно, не как с хозяйкой, и очень меня полюбили; так вот, они садились прямо на траву, снимали башмаки и ставили их рядом, делали себе шляпы из бумаги, читали журналы Маддалены и курили ее сигареты. Говорили, что я живу уж больно замкнутой жизнью и что Маддалена могла бы меня свозить куда-нибудь поразвлечься, но где там – у нее в голове одни ее земли. А ведь при такой жизни мне трудно будет найти себе мужа, в доме не бывает мужчин, кроме Бульяри и Кита, Бульяри слишком стар, а посему они решили, что надо мне выйти замуж за Кита: он добрый, но какой-то неприкаянный – шляется допоздна по городу и ночами не спит, вот ему и нужна женщина, чтобы штопала ему носки и вообще заботилась о нем. Но они панически боялись Маддалены и, едва заслышав шум ее автомобиля, поспешно надевали башмаки и убегали на кухню.

Иногда я навещала Клару, но она меня встречала неприветливо – говорила, что теперь мне на нее и ее детей наплевать и думаю я только о детях Валентино. Она уже не помнила, что это Маддалена позаботилась о ее больном сыне, поместила его в клинику и оплатила все расходы; теперь она говорила, что это Маддалена погубила Валентино: конечно, женился и живет себе на всем готовом, зачем ему диплом? Он так все женины деньги и промотает. Она разговаривала со мной, не отрываясь от своих адресов; печатая на машинке, она набила себе на пальцах мозоли, и потом у нее все время болела спина, а ночью зубная боль не давала ей заснуть. Ей бы надо лечиться, но это стоило очень дорого, таких денег у Клары не было. Я предложила ей попросить займы у Маддалены, но она оскорбилась и сказала, что у таких не одалживается. Тогда я стала отдавать Кларе свое жалованье, ведь ела и спала я все равно у Маддалены, а больше мне ничего и не нужно; я надеялась, что Клара успокоится, сходит к зубному врачу и перестанет с утра до ночи печатать адреса на конвертах. Но она по-прежнему молотила без перерыва, а к зубному врачу так и не пошла: пришлось, говорит, купить дочке пальто, а мужу – ботинки, я, мол, даже не представляю себе всей тяжести ее положения, вот когда выйду замуж – узнаю, какое это счастье. Клара не сомневалась, что если я и выйду замуж, то непременно за такого же, как и она, голоштанника, у нас в семье один Валентино женился на богачке, разве такая удача второй раз выпадет. Да и это никакая не удача, скорее наоборот, ведь этот бездельник Валентино все равно скоро спустит все эти денежки.

Вернулись из путешествия Валентино и Кит, и мы все поехали к морю; Валентино почему-то вечно был в плохом настроении и беспрерывно ссорился с Маддаленой. Ранним утром

Валентино уезжал один на машине, куда – не говорил, а Кит вместе с нами валялся на пляже под зонтом, и вид у него был очень удрученный. В середине августа Валентино заявил, что на море ему надоело, он хочет в Доломиты, и вот мы все отправились в Доломиты, но там шли дожди, и младший из детей простудился. Маддалена сказала, что ребенок заболел по вине Валентино, ведь это он сорвал всех с места, где было так тепло и хорошо, а тут гостиница прескверная и везде сквозняки. Валентино возразил, что прекрасно мог уехать и один, он ведь никого с собой не звал, а мы всем скопом увязались за ним, и вообще, ему чертовски надоели дети, кормилицы и весь наш табор. Кит ночью поехал на машине искать врача, и, когда ребенок поправился, мы вернулись в город.

Отношения у Маддалены с Валентино вдруг совсем испортились, и, когда они были вместе, никому не было покоя. Маддалена стала страшно нервная и утром, едва проснувшись, набрасывалась с бранью на служанку и кухарку. Иногда и на меня срывалась: каждое мое слово ее раздражало. Теперь я часто становилась свидетельницей долгих семейных сцен: она называла его бездельником и неудачником под стать Киту. Но Кит хоть добрый, а он, Валентино, злой, эгоистичный и думает только о себе да вдобавок тратит уйму денег на костюмы и она даже не представляет, на что еще. А Валентино в ответ начинал орать, что это она ему всю жизнь сломала, по утрам от ее воплей с ума можно сойти, а когда она сидит против него за столом, ему кусок в горло не лезет. Иногда они успокаивались, Валентино просил у нее прощения и плакал, она тоже просила прощения, и на короткое время наступал мир: Валентино, как прежде, сидел на ковре, а она лежала на диване и гладила его волосы; они вызывали Кита, чтобы тот рассказал последние городские новости. Но идиллия длилась недолго и повторялась все реже; оба молча бродили по дому с мрачными лицами, а к ночи вспыхивали скандалы.

После очередного устроенного Маддаленой разноса от нас ушла служанка, и Маддалена попросила меня поискать другую в деревне неподалеку от ее владений: ей дали несколько адресов. Кит меня свозит на машине. Наутро мы с Китом отправились в путь. Мы ехали по полям и молчали, порой я тайком поглядывала на нелепый профиль Кита: нос слегка приплюснутый, на лысой голове торчит беретик, на руках – перчатки Валентино.

– Это перчатки Валентино? – спросила я, чтоб нарушить неловкое молчание.

Он на секунду выпустил руль, посмотрел на свои руки и ответил:

– Да, Валентино. Никак не хотел мне их давать – прямо трясется над своими вещами.

Я придвинулась к ветровому стеклу, разглядывая окрестности, и мне стало легко и покойно при мысли, что я вырвалась на целый день из этого дома с его вечными скандалами, я подумала, что надо мне вообще уйти из этого дома, где жизнь стала просто невыносимой, и теперь я ненавижу даже голубой ковер у меня в комнате, который прежде так мне нравился.

– Какое прекрасное утро, – сказала я.

– Да, замечательное, – сказал Кит. – Мы найдем хорошую служанку, а потом пообедаем в остерии, я знаю одну остерию, там подают отличное вино. Устроим себе каникулы на денек, ведь тебе нелегко приходится с этой парочкой, наверняка ни минуты покоя.

– Да, иной раз становится невольно, – призналась я. – Хочу уйти от них.

– Куда? – спросил он.

– Сама не знаю... куда-нибудь.

– Мы могли бы уехать вместе, я и ты, – сказал Кит, – поискать тихий уголок, а они пусть сами разбираются. Я тоже от них порядком устал. Утром, бывает, встаю и говорю себе: все,

больше туда ни ногой, но потом все равно иду. Вошло в привычку, да, я привык питаться у Маддалены, там тепло и носки мне штопают. Я-то живу в самой настоящей крысиной норе, правда, есть печка, углем топится, но дымоход засорился, и в один прекрасный день я там просто задохнусь, а вдобавок эта служанка, она рта не закрывает. Надо бы установить калориферы, Маддалена иногда приходит ко мне и перечисляет все, что я должен сделать. Говорю – денег нет, но она говорит, что деньги найдет, достаточно с толком распорядиться моими землями – одни продать, другие купить, уж она-то собаку съела на этом деле. Только я не хочу ничего менять. Еще Маддалена говорит, что мне надо жениться. Но на это я, наверно, никогда не решусь. Я убежденный холостяк. Когда Маддалена и Валентино сказали мне, что женятся, я целый день пытался их отговорить. Сказал Валентино прямо в лицо, что не уважаю его. А они не послушали, и вот видишь, чем это все кончилось: грызутся, отравляют друг другу жизнь.

– Значит, ты не уважаешь Валентино?

– Нет. А ты разве уважаешь?

– Я люблю его, как-никак он мой брат.

– Любить – это совсем другое дело. Может, я тоже его очень люблю. – Он почесал в затылке.

– Но не уважаю. Я и себя не уважаю. Ведь мы с ним близнецы, из таких типов никогда ничего путного не выходит. Единственная разница, что ему ровным счетом на все наплевать – на людей, на чувства, на все. Его волнует только собственное тело, оно для него священо, его надо изо дня в день хорошо питать, одевать и вообще следить, чтоб у него ни в чем не было недостатка. А вот меня и чувства, и люди все-таки интересуют, правда, мною никто не интересуется. Валентино – счастливый человек, ведь любовь к себе никогда не приносит разочарований, а я – неудачник, и ни одной собаке до меня нет дела.

Мы добрались до деревни, о которой говорила Маддалена; Кит остановил машину.

– Ну, пошли искать служанку, – сказал он.

Мы расспросили местных жителей, и нам показали дом на дальнем холме, где, кажется, одна девушка не прочь переехать в город.

Мы лезли вверх по крутой тропинке между виноградниками, Кит тяжело дышал и все обмахивался беретом.

– Вот, и служанку им ищи! – ворчал он. – Это уж слишком. Паразиты! Я свои ботинки сам чищу.

Девушка работала в поле, пришлось ее ждать. Мы сели в темной кухоньке, и мать девушки угостила нас вином и маленькими сморщенными грушами. Кит бойко лопотал на местном наречии – хвалил вино, расспрашивал о полевых работах; я молча тянула вино, и постепенно мысли стали путаться: вино было очень терпкое, и я давно уже не чувствовала себя такой счастливой, как в этой кухоньке, за окнами которой расстилались просторные поля, рядом был Кит, он вытянул свои длинные ноги, из-под низко надвинутой беретки торчал приплюснутый нос. А все-таки он симпатичный, этот Кит, подумала я.

Потом мы вышли, сели на каменную скамью возле дома; солнышко припекало. Мы ели груши и наслаждались теплыми лучами; Кит сказал мне:

– Как хорошо, правда?! – Потом вдруг взял мою руку, снял с нее перчатку. – У тебя пальцы точь-в-точь как у Валентино! – Он резко отбросил мою руку. – Неужели твой отец всерьез верил, что Валентино станет большим человеком?

– Да, – сказала я, – верил. Мы во всем себе отказывали, лишь бы он учился, очень нуждались, вечно не знали, как дотянуть до конца месяца. Зато у Валентино всего было вдоволь, отец говорил, что нам за это воздастся потом, когда в один прекрасный день Валентино станет знаменитым врачом и сделает великие открытия.

– Вон оно что, – сказал Кит.

На минуту мне показалось, что он опять начнет корчиться от смеха, как тогда, в гостиной. Он раскачивался на скамье и хлопал себя по коленям, но потом взглянул на меня и сразу посерьезнел.

– Да, – проговорил он, – у отцов бывают странные фантазии. Вот мой мечтал, что я стану летчиком. Представляешь, летчиком! Да у меня даже на американских горках голова кружится!

Вернулась с поля девушка – у нее были рыжие волосы и большие ноги в черных чулках, закатанных чуть выше колен; Кит учинил ей самый настоящий допрос, показав себя большим специалистом в домашнем хозяйстве. Девушка охотно согласилась пойти в прислуги. Сказала, что соберет вещи и дня через три приедет.

Мы спустились в деревню пообедать, а потом долго бродили по улочкам и по полям. Кит и не думал торопиться возвращаться в город. Распахивал первую попавшуюся калитку и начинал шастать по двору; из одного дома выскочила разъяренная старуха, мы бросились наутек, а она запустила нам вслед башмаком. Мы еще долго слонялись по округе; Кит набил себе карманы теми грушами и то и дело угощал меня ими.

– Сама видишь, как нам хорошо без этих супругов, – твердил он, – хорошо и весело. Нам надо вместе уйти от них и подыскать себе тихое местечко.

Когда мы снова сели в машину, уже стемнело.

– Хочешь стать моей женой? – внезапно спросил Кит. Он вцепился руками в руль, но мотор не заводил; хмурил брови, лицо нелепое, испуганное, мрачное, беретка снова сползла на лоб. – Хочешь стать моей женой? – повторил он с какой-то яростью.

Я засмеялась и сказала, что согласна. Тогда он включил зажигание, и мы поехали.

– Но я в тебя не влюблена, – призналась я.

– Знаю, я тоже не влюблен. Да и по натуре я убежденный холостяк. Но как знать? А вдруг жизнь у нас сложится? Ты такая спокойная, мягкая, мне думается, и жизнь наша будет спокойной. Без всяких там причуд, без дальних путешествий, быть может, лишь изредка съездим в такую вот деревню. Будем там распахивать калитки и шастать по дворам.

– Помнишь старуху, которая запустила в нас башмаком? – спросила я.

– Еще бы! Она как с цепи сорвалась.

– Пожалуй, мне надо еще подумать, – сказала я.

– О чем?

– Выходить за тебя замуж или нет.

– Ах, ну да, – сказал он, – давай оба хорошенько подумаем. Но знаешь, я уж не раз об этом думал, смотрел на тебя и говорил себе: «Какая замечательная девушка». Сам-то я человек неплохой, но недостатков у меня хоть отбавляй: ленив, нерасторопен, печка в доме дымит, а

я и пальцем не пошевелю. Но, в сущности, я неплохой человек. Если поженимся, займусь и печкой, и своими землями. Вот Маддалена будет довольна.

Возле дома он остановил машину, открыл дверцу и попрощался со мной.

– Я подниматься не буду, – сказал он. – Поставлю машину в гараж и пойду спать. Устал. – Он снял перчатки и протянул их мне. – На, верни Валентино.

Валентино я застала в гостиной. Маддалена уже легла. Валентино читал «Тайны черных джунглей».

– Нашли служанку? – спросил он. – А Кит где?

– Пошел спать, вот, держи, – сказала я и бросила ему перчатки. – Слушай, а не поздно тебе читать «Тайны черных джунглей»?

– Я прошу не говорить со мной тоном школьной учительницы, – отозвался он.

– Я и есть школьная учительница.

– Знаю, но в таком тоне со мной не говори.

Ужин мне оставили на столике, и я села есть. Валентино продолжал читать. Поужинав, я присела рядом с ним на диван. Взъерошила ему волосы. Он что-то пробурчал, не отрываясь от книги.

– Валентино, – сказала я. – Наверно, я выйду замуж за Кита.

Он уронил книгу и посмотрел на меня.

– Ты это серьезно?

– Вполне серьезно, Валентино, – ответила я.

Тут он криво усмехнулся, словно устыдившись чего-то, и отодвинулся от меня.

– Так ты не шутишь?

– Нет.

Мы помолчали. У него на губах была все та же кривая усмешка, я не могла понять, чего он усмехается, чего стыдится, и вообще не понимала, что у него на душе.

– Я уж не так молода, Валентино, – прервала я затянувшееся молчание. – Скоро двадцать шесть. И красавицей меня не назовешь, и богатством не могу похвастаться, а замуж мне хочется – не больно-то весело доживать свой век одной. Кит, в общем, неплохой человек, я не влюблена в него, но если присмотреться, он неплохой – простодушный, искренний, добрый. Потому я рада, что он берет меня в жены, я хочу иметь детей и свой дом.

– А-а, понимаю, – сказал Валентино. – Ну тогда решай сама. Советы я давать не мастер. Но все-таки подумайте еще раз. – Он встал, потянулся и зевнул. – Он нечистоплотен, не моется.

– Ну, это еще не самый большой недостаток.

– Так ведь он совсем не моется. Это отнюдь не пустяк. Я, например, людей, которые не моются, не выношу. Доброй ночи, – сказал Валентино и легонько потрепал меня по щеке.

Валентино редко проявлял ко мне нежность, и я была очень тронута.

– Доброй ночи, Валентино, доброй ночи, родной мой! – ответила я.

Всю ночь я думала, выходить ли мне замуж за Кита. Так разволновалась, что не могла заснуть. Перебирала в памяти события дня, проведенного вместе с ним, все мельчайшие подробности: вино, маленькие груши, рыжая девушка, дворы, поля. Это был поистине счастливый день, я лишь теперь отдавала себе отчет, как мало счастливых дней мне выпало в жизни, дней, когда я была свободна и принадлежала самой себе.

Утром пришла Маддалена и села ко мне на кровать.

– Ты, говорят, выходишь замуж за Кита. Пожалуй, это не так уж плохо. Конечно, я предпочла бы, чтоб твоим мужем был человек более здоровый, я всегда говорила, что Кит – бездельник и шалопай и к тому же слаб здоровьем. Но, может, тебе удастся переменить его нелепую жизнь. Кто знает, а вдруг удастся. С ним надо только быть построже, ведь у него не дом, а настоящий сарай, там необходимо установить калориферы и оштукатурить стены. А главное – он должен каждый день объезжать свои владения, как я, земля у него хорошая, и, если всерьез заняться, она даст приличный доход, за этим тебе тоже надо последить. Ты скажешь, что и я должна быть построже с Валентино, но у меня, как видишь, не выходит: я постоянно требую, чтоб он занимался, а кончается все жуткими скандалами, и отношения у нас становятся хуже день ото дня. Да, отношения у нас хуже некуда, и я даже думаю иногда, что нам надо разойтись, но у нас все-таки дети, вот я и не наберусь смелости. Ну да ладно, хватит о невзгодах, ты теперь невеста, значит, будем веселиться. Кита я знаю с детства, мы росли вместе; сердце у него доброе, я очень его люблю и желаю вам счастья.

Моя помолвка с Китом длилась двадцать дней. Все эти дни мы с Маддаленой выбирали нам мебель. Но Кит никак не решался что-либо купить. Не могу сказать, чтобы я была уж чересчур счастлива, я все вспоминала тот день, когда мы с Китом ездили искать служанку, и ждала, что вернется то ощущение счастья, но, увы, оно так и не вернулось. Ходили мы и по антикварным лавочкам, тоже большей частью вместе с Маддаленой; Кит и Маддалена все время ссорились: он ни на что не мог решиться, а она говорила, что так мы все на свете проморгаем. Потом приехала рыжая служанка: когда на нее надели черный передник и кружевную наколку, я с трудом узнала в ней ту чумазую крестьянку, но всякий раз, видя ее рыжие волосы, я вспоминала маленькие груши, вино, каменную скамейку возле дома, бескрайние поля и спрашивала себя, помнит ли все это Кит. Мне казалось, что нам надо хоть изредка бывать вдвоем, но Кит, похоже, к этому совсем не стремился: он неизменно просил Маддалену поехать с нами на поиски мебели, а дома по своему обыкновению играл в карты с Валентино.

На вилле все меня поздравляли, особенно радовались кухарка и нянька: они, мол, давно говорили, что нам с Китом надо пожениться. Я попросила в школе трехмесячный отпуск по состоянию здоровья и, когда не надо было вместе с Маддаленой и Китом искать мебель, отдыхала или играла с детьми в саду. Маддалена заявила, что сама позаботится о моем приданом, и вызвалась сообщить Кларе о моей помолвке. Клара видела Кита всего раза два, и ей он страшно не понравился, но перед Маддаленой она робела и не осмелилась высказать свое мнение, а может, на нее подействовало то, что я выхожу замуж за землевладельца, а не за голоштанника, как она полагала.

Как-то раз я сидела в саду и перематывала шерсть; и вдруг мне сказали, что пришел Кит и спрашивает меня. Я встала и пошла – решила, что он подержит мне шерсть. Маддалена куда-то уехала, Валентино спал, и я еще подумала, что наконец-то мы сможем часок-другой побыть наедине.

Кит сидел в гостиной и ждал меня. Пальто он не снял, беретку теребил в руках. Был очень бледен, подавлен и сидел, вжавшись в кресло и вытянув свои длинные ноги.



– Плохо себя чувствуешь? – спросила я.

– Да, неважно. Меня знобит. Может, это грипп. Нет, моток не могу держать, – сказал он, увидев у меня на локте шерсть, и в подтверждение своих слов покачал указательным пальцем. – Ты уж прости. Я пришел сказать, что мы не можем пожениться.

Он встал и начал расхаживать по комнате. Мял, мял свой берет, а потом вдруг бросил его на пол. Встал прямо против меня и положил мне руки на плечи. Лицо у него было как у новорожденного старичка, а редкие, влажные волосы спускались с затылка, как пух.

– Прости меня за то, что морочил тебе голову. Ведь я не могу жениться. Ты замечательная девушка, спокойная, нежная, и я выдумал себе целую сказочную историю про нас двоих. Красивую историю, но не настоящую, а надуманную. Прости меня, если можешь. Не могу я жениться. Боюсь.

– Хорошо, – ответила я, – ничего страшного, Кит. – Я с трудом сдерживалась, чтоб не заплакать. – Я же говорила, что не влюблена в тебя. Если б я влюбилась, то было бы тяжело, а так совсем даже не тяжело. Стоит отвернуться – и думать об этом забудешь.

Я отвернулась к стене. В глазах стояли слезы.

– Я никак не могу, Катерина. Не плачь из-за меня, Катерина, я того не стою. Ведь я просто тряпка, половая тряпка. Целую ночь думал, как я тебе все это скажу, я уж несколько дней мучаюсь. Прости, если я причинил тебе боль, тебе, такой замечательной девушке. Но ты бы сама скоро раскаялась, поняла бы, что я тряпка, просто-напросто половая тряпка.

Я молча теребила в руках шерсть.

– Теперь я могу подержать тебе моток, – сказал Кит. – Теперь я выговорился и успокоился. Пока шел к тебе, меня всего знобило. И ночью глаз не сомкнул.

– Да нет, спасибо, – сказала я, – теперь уж я не буду перематывать.

– Прости меня. Я бы все отдал, лишь бы ты меня простила. Скажи, что мне сделать, чтоб заслужить прощение.

– Ничего, – сказала я, – ровным счетом ничего, Кит. Ведь ничего не случилось – мы даже мебель не купили, все было так неопределенно. В сущности, мы и решили все как-то полушутя.

– Да-да, полушутя, – сказал он. – До конца мы оба в это не верили. Но мы можем еще куда-нибудь съездить вместе, как в тот чудесный день. Помнишь старуху с башмаком?

– Помню.

– Можем еще куда-нибудь съездить, никто нам не запретит. Для этого не обязательно быть мужем и женой. Мы ведь еще поедем, правда?

– Да. Еще поедем.

Я, спотыкаясь, поднялась к себе в комнату. Надо было размотать шерсть, но мне вдруг стало не под силу разматывать шерсть, и волочить ноги по лестнице, и раздеваться, и вешать платье на стул, и укладываться в постель. Я хотела позвать служанку и сказать ей, что у меня болит голова и я не буду ужинать, но мне было так тяжело видеть эту служанку, ее рыжие волосы, напоминавшие тот день. Я подумала, что надо уйти из этого дома, завтра же, чтобы не встречаться больше с Китом. А еще я подумала, что в моих страданиях есть что-то неприятное, ведь я не люблю Кита, а только чувствую стыд, ведь я согласилась выйти за него

замуж, а он от меня отказался. Все эти дни я старалась перечеркнуть недостатки Кита и думать только о его достоинствах, старалась приучить себя к мысли о том, что этот человек с лицом новорожденного старичка будет моим мужем, – все напрасно, напрасно и так унижительно! Боже, до чего нелепо выглядел Кит, дрожавший от страха, что ему и впрямь придется на мне жениться!

Ко мне пришла Маддалена, и я ей сказала, что мы с Китом решили не жениться и что я хочу на время уехать отсюда. Говорила я тихо, отвернувшись к стене, медленно, вяло произносила заранее отрепетированные слова, как будто все это произошло не сейчас, а давным-давно; я не хотела, чтобы Маддалена сердилась на Кита, и потом, мне было так стыдно; однако Маддалена не поверила в то, что мы это вместе решили.

– Решили, говоришь? Да нет, это он решил, Кит. – Похоже, это ее не очень удивило.

– Мы решили, – вяло повторила я. – Мы вместе.

– Нет, он один, – сказала Маддалена. – Уж я его знаю. Ты не из тех, кто меняет свои решения. Да ладно, невелика потеря, найдешь другого мужа, куда лучше Кита. Он же неприкаянный, наш Кит. Завтра снова придет и скажет, что передумал. Уж я его знаю. Бог с ним, видишь, какой он жалкий, неприкаянный, даже мебель купить не решался.

– Я хочу на время уехать, – сказала я.

– Куда?

– Сама не знаю. Куда-нибудь. Хочу немного пожить одна.

– Поступай как знаешь, – ответила Маддалена и ушла.

Я уехала на следующее утро; Валентино еще не проснулся. Маддалена помогла мне собраться, дала денег и отвезла меня на вокзал.

– Чао, – сказала она и поцеловала меня.

– Вы уж поменьше ссорьтесь с Валентино, – сказала я на прощание.

– Ладно, – ответила Маддалена, – постараюсь не ссориться, а ты не плачь и зря не отравляй себе жизнь. Этот дурак того не стоит.

Я поехала к тете Джузеппине, сестре моей матери. Она жила в деревне и всю жизнь проработала учительницей; теперь она больше не учительствовала, а вязала на людей – хоть какой-то приработок к пенсии. Мы давно не виделись, и меня поразило ее сходство с мамой; когда я смотрела на ее маленький седой пучок и тонкий профиль, мне казалось, будто передо мной мама. Тете я сказала, что перенесла болезнь и мне надо немного отойти; она нежно обо мне заботилась, старалась во всем угодить, готовила мои любимые кушанья; перед ужином мы с ней ходили гулять, шли медленно-медленно, ее худенькая рука опиралась на мою, и мне казалось, что я гуляю с мамой.

Время от времени приходили письма от Маддалены, короткие, без подробностей: с Валентино все так себе, дети здоровы, помнят меня и ждут. Я рассказывала тете Джузеппине о детях Валентино и о детях Клары – всегда одними и теми же словами, а она задавала одни и те же вопросы; особенно ее интересовала жена Валентино, такая богатая, владелица земель и виллы, где полно слуг и ковров, и удивлялась, что я покинула роскошную виллу и приехала к ней, в эту глушь и грязь.

Я прожила у тети Джузеппины целых два месяца; пора было возвращаться в школу, и я написала прежней нашей привратнице, чтоб подыскала мне комнату – жить у Маддалены я

больше не хотела. Я готовилась к отъезду, с тетей Джузеппиной обходила всех ее приятельниц, прощалась и обещала присылать открытки.

Как-то утром я получила письмо от Валентино. Бестолковое, с множеством помарок. Он писал: «С Маддаленой мы жить больше не можем. Мне очень жаль. По возможности приезжай поскорее». А в конце приписка: «Ты, верно, уже знаешь о смерти Кита».

Я ничего не знала. Неужели Кит умер? Мне представилось, будто я вижу, как он лежит мертвый и его длинные ноги окостенели. Все это время я старалась о нем не думать: хоть я его не любила, все-таки неприятно быть отвергнутой, а он, оказывается, умер.

Я заплакала. Вспомнились смерть отца, потом матери, передо мной всплыли их лица, почти стершиеся в памяти; я тщетно пыталась припомнить, что они обычно говорили... а что говорил Кит? «Помнишь старуху с башмаком? – говорил он. – Можем еще куда-нибудь съездить, никто нам не запретит. – И еще он говорил: – Я тряпка, просто-напросто половая тряпка».

Я попрощалась с тетушкой Джузеппиной. В поезде я перечитала письмо Валентино – бестолковые каракули. Он снова поссорился с Маддаленой, я уж привыкла, что они вечно ссорятся, и – кто знает, – может, они уже помирились. Но вот слова «мне очень жаль» меня насторожили. Странная фраза, вовсе не в стиле Валентино. И вообще странно, что он мне написал, ведь он всегда испытывал ужас перед бумагой и чернилами.

Живя у тети, я газет не читала: тетя не покупала их, да и прибывали газеты в эту забытую богом деревушку с опозданием на несколько дней. Поэтому я не знала о смерти Кита. Но почему Маддалена мне не написала? Меня трясло как в лихорадке, и сжималось сердце; поезд мчался мимо полей и проезжал те самые места, по которым мы ехали в тот день с Китом, когда искали служанку и были так счастливы; опять вспомнилось вино, и маленькие груши, и старуха, запустившая в нас башмаком.

На виллу я приехала в четыре часа дня. Детишки выбежали мне навстречу и радостно прыгали вокруг меня. Нянька мыла крыльцо, садовник поливал клумбы; с виду все было как всегда. Я поднялась в гостиную.

Маддалена сидела в кресле в очках, сползших на нос; перед ней целая куча драных носков. Обычно в это время она носилась где-нибудь на машине, изредка бывала дома, но застать ее за штопаньем носков я уж никак не ожидала.

– Чао, – сказала она, глядя на меня из-под очков, и мне вдруг почудилось, что передо мной старуха, совсем старая женщина.

– Где Валентино? – спросила я.

– Его здесь нет. Здесь он больше не живет. Садись.

Я села.

– Не удивляйся, что я штопаю носки, – сказала Маддалена, – это очень успокаивает. Знаешь, я не хочу жить, как раньше, хочу штопать носки, заниматься домом, детьми и сидеть все время в кресле. Надоело колесить по моим землям, кричать, суетиться. Деньги у меня есть, и теперь их некому больше тратить на костюмы и прочие прихоти. Валентино я сказала, что каждый месяц буду посылать ему определенную сумму – в конверте.

– Валентино будет жить со мной, – сказала я. – Снимем две комнаты. До тех пор, пока вы не помиритесь.

Маддалена ничего не ответила. Штопала она очень старательно, морща лоб и закусив губу.

– Вы наверняка скоро помиритесь, – сказала я. – Вы и раньше ссорились, а потом мирились. Он написал мне, что ему очень жаль.

– Ах он тебе написал, – сказала она. – Ну и что же он тебе написал?

– Написал, что ему очень жаль, и больше ничего. Вот я и приехала. А еще он написал, что умер Кит.

– Ах он и об этом написал, – сказала Маддалена. – Да, Кит покончил с собой. – Голос ее звучал холодно и словно издали. Вдруг она воткнула иглу в недоштопанный носок и отложила его. Сорвала очки и стала сверлить меня недобрым взглядом. – Так уж вышло, – сказала она, – он покончил с собой. Под каким-то предлогом отослал служанку, растопил в спальне печку, а заслонку не вынул. Он оставил письмо к Валентино. Я его прочла. – Тяжело дыша, она вытерла платком лицо, руки и шею. – Да, прочла. А потом стала рыться в ящиках письменного стола. Там были фотографии Валентино и письма. Видеть его больше не хочу, этого Валентино! – Она зарыдала. – Видеть его не хочу, чтоб ноги его здесь не было! Это выше моих сил. Я бы все стерпела, любую интрижку с женщиной. Но только не это. – Вскинув голову, она недобро сверлила меня глазами. – И тебя не хочу больше видеть. Уходи.

– Где Валентино? – спросила я.

– Не знаю. Спроси у Бульяри. Мы оформляем развод. Скажи своему братцу, чтобы он не волновался: каждый месяц Бульяри будет приносить ему конверт.

– Чао, Маддалена, – сказала я.

– Чао, Катерина. Больше не приходи. Не хочу никого видеть из вашей семьи. Хочу пожить спокойно. – Она снова взялась за носок. – Ты будешь видеться с детьми, – сказала она, – только не здесь. Я договорюсь с адвокатом. И каждый месяц буду присылать конверт с деньгами.

– Не надо денег, – сказала я.

– Нет, надо, надо.

Я уже спускалась по лестнице, когда она меня окликнула. Я вернулась. Маддалена обняла меня и опять заплакала, но уже без ярости, тихо и горестно.

– Это неправда, что я не хочу тебя видеть. Приходи, Катерина, приходи, пожалуйста, родная моя.

Тут и я заплакала, и мы долго сидели обнявшись. А потом я вышла на залитую солнцем притихшую улицу и позвонила Бульяри, чтобы узнать про Валентино.

Теперь мы с Валентино живем вдвоем. У нас две маленькие комнаты с кухней и балконом. Балкон выходит во двор, который очень похож на двор дома, где мы жили с отцом и с матерью. Бывает, утром Валентино просыпается с какой-нибудь идеей: он садится ко мне на кровать и подолгу говорит о баснословных доходах, о кораблях и бочках с оливковым маслом, потом принимается ругать отца с матерью, которые заставляли его учиться, тогда как его настоящее призвание – коммерция. Я ему не перечу.

Утром у меня занятия в школе, а во второй половине дня я даю частные уроки и прошу Валентино в это время не появляться на кухне, потому что дома он ходит в старом халате, который уже превратился в грязную тряпку. Валентино меня слушается, даже заботится обо мне: когда я возвращаюсь из школы усталая и замерзшая, он приносит мне грелку. Он располнел, потому что не занимается больше никаким спортом; в его черных кудрях появились седые прядки.

По утрам он обычно не выходит – слоняется по дому в рваном халате, читает журнальчики и разгадывает кроссворды. В полдень бреется, одевается и уходит. Я гляжу ему вслед, пока он не сворачивает за угол; куда он ходит – не знаю.

Раз в неделю, в четверг, нас навещают его дети. Приводит их гувернантка, теперь у них гувернантка; няньку рассчитали. Валентино снова мастерит для детей игрушки из лоскутков и опилок, как прежде для сыновей привратницы, – тех же котов, собак и чертей с шишковатым черепом.

О Маддалене мы никогда с Валентино не говорим. И о Ките тоже не говорим. Стараемся придерживаться ни к чему не обязывающих тем – еды, соседей. Иногда я вижу с Маддаленой. Она стала очень толстая, совсем поседела и превратилась в настоящую старуху. Занимается детьми, водит их на каток, устраивает для них в саду пикники. В свои владения она теперь ездит редко – говорит, что устала, да и денег у нее больше, чем нужно. Целыми днями сидит дома, и Бульяри с ней. Она радуется моему приходу, но о Валентино мне говорить не дозволяется. С ней, как и с Валентино, я стараюсь придерживаться самых безобидных тем: дети, Бульяри, гувернантка. Вот и получается, что о главном-то мне поговорить и не с кем, некому сказать те настоящие, истинные слова обо всей нашей жизни; эти слова я ношу в себе, и порой мне кажется, что вот-вот задохнусь от них. Бывает, я Валентино убить готова. Бродит себе по дому в рваном халате, курит и разгадывает кроссворды, и это про него-то отец мечтал, что он станет большим человеком. Он всегда брал то, что ему давали другие, и даже в мыслях не держал дать им хоть что-нибудь взамен, зато он никогда не забывал пригладить перед зеркалом кудри и улыбнуться себе самому. Наверняка и в день смерти Кита не забыл улыбнуться себе перед зеркалом.

Но гнев мой длится недолго. Ведь Валентино – единственное, что осталось у меня в жизни, а я – единственное, что осталось у него. Поэтому я чувствую, что не должна давать волю своему гневу; я должна остаться преданной Валентино и быть всегда с ним рядом, так, чтобы он, если вдруг обернется ко мне, сразу меня увидел. Я провожаю его взглядом, когда он выходит на улицу, гляжу ему вслед, пока он не скроется за углом, и радуюсь, что он все так же красив: изящная кудрявая головка на крепких плечах. Радуюсь его походке, все такой же бодрой, победоносной, свободной, – радуюсь его походке, куда бы он ни шел.

Перевод Л. Вершинина

Мой муж

*Uxori vir dehitum reddat;*

*Similiter autem et uxor viro. San Paolo, 1 Con., 7,3[30]*

Я вышла замуж в двадцать пять лет. Уже давно я мечтала о замужестве и частенько с грустью и горечью думала, что у меня не так уж много шансов осуществить это желание. Я – круглая сирота, жила со старой тетушкой и сестрой в провинции. Жизнь наша протекала монотонно: главным занятием было наводить порядок в доме и вышивать огромные скатерти, которые мы потом не знали куда девать. Нас навещали знакомые, с ними мы вели долгие разговоры об этих самых скатертях.

Человек, решивший взять меня в жены, появился у нас случайно. Он собирался купить имение тетушки. Как он прознал о нем, понятия не имею. Служил он врачом в маленьком

городке. Однако человек был весьма обеспеченный. Он приехал на автомобиле, и, так как шел дождь, тетушка предложила ему с нами отобедать. После этого он заезжал еще несколько раз и наконец сделал мне предложение. Я сказала ему, что небогата. Он ответил, что это не имеет для него никакого значения.

Моему мужу тогда исполнилось тридцать семь лет. Высокий, всегда хорошо одетый, волосы чуть с проседью и очки в золотой оправе. Он был серьезен, сдержан, быстр в движениях, в тоне чувствовалась привычка давать предписания больным. Какой уверенностью веяло от этого человека, когда он стоял в своей любимой позе посреди комнаты, заложив руку за борт пиджака, и молча, испытующе глядел на вас!

До замужества мне и поговорить-то с ним толком не пришлось. Он не целовал меня, не дарил цветов – словом, вел себя совсем не как жених. Про него я знала, что живет он в большом старом доме, окруженном огромным садом, всей обслуги там только деревенский парень и пожилая женщина по имени Феличетта. Что он во мне нашел, я понять не могла: то ли его поразило что-то во мне и он влюбился с первого взгляда, то ли просто пришла пора обзавестись семьей. После прощания с тетушкой он посадил меня в машину, забрызганную грязью, а сам сел за руль. Ровная, обсаженная по обеим сторонам деревьями дорога вела прямо к его дому. И тут я посмотрела на мужа. Долго и пристально я разглядывала его из-под полей моей фетровой шляпы. Он обернулся ко мне и с улыбкой пожал мою холодную руку.

– Нам надо получше узнать друг друга, – произнес он.

Первую брачную ночь мы собирались провести в гостинице близлежащего городка, чтобы на следующее утро отправиться дальше. Я поднялась в номер, а мужу надо было заправить машину. Я сняла шляпу, подошла к большому зеркалу и осмотрела себя во весь рост. Красивой меня не назовешь, но лицо свежее и живое, а фигура кажется выше и стройней в новом сером платье строгого покроя. Я ощущала в себе готовность любить этого человека, если он мне поможет. Он должен помочь мне. А я должна заставить его сделать это.

На другой день, когда мы вновь тронулись в путь, никакой перемены в наших отношениях еще не произошло. Говорили мы мало, и нежности друг к другу не чувствовали. Все это было совсем не похоже на мои юношеские мечты; я-то думала, первая ночь должна сразу изменить двух людей: либо отдалить друг от друга, либо соединить навеки. Оказалось, это не обязательно. Я зябко куталась в пальто. Нет, другой я не стала.

В полдень мы прибыли домой; у ворот нас поджидала Феличетта. Это была седая скрюченная женщина, хитроватая и угодливая. Впрочем, и дом, и сад, и Феличетту именно такими я себе и представляла. Здание, хоть и старое, вовсе не выглядело мрачно, как часто бывает. Наоборот, дом был просторный, светлый, на окнах белые занавески, повсюду плетеные кресла. Решетки садовой ограды были увиты плющом и плетистыми розами.

Феличетта вручила мне ключи и, ковыляя позади меня, стала показывать комнаты, каждую вещицу, а мне было радостно и хотелось как можно скорее доказать мужу и всем остальным, какая я хорошая хозяйка. Образованности мне не хватало, да и ума, вероятно, тоже, зато вести дом я умела – аккуратно и без излишеств. Чему-чему, а уж этому тетушка меня научила. Вот примусь за дело, и муж увидит, на что я способна.

Так началась моя новая жизнь. Муж по целым дням был в разъездах. Я хлопотала по дому, распоряжалась на кухне, пекла торты, варила варенье, любила возиться и в огороде, помогая нашему садовнику. С Феличеттой я ссорилась, а с ним ладила. Глядя на меня, он то и дело подмигивал лукаво, откидывал назад свои волосы, и при виде этой пышущей здоровьем физиономии мне тоже делалось весело. Я привыкла подолгу гулять, по дороге останавливалась с местными жителями. Я расспрашивала их, они – меня. Но когда вечером возвращалась домой и сидела возле изразцовой печки, я чувствовала себя одинокой, скучала

по тетушке, по сестре, и мне очень хотелось назад, к ним. Я часто вспоминала, как мы с сестрой перед сном раздевались в нашей комнате, представляла себе наши железные кровати, балкон, на котором мы по воскресеньям любили стоять и спокойно глядеть на улицу. Как-то вечером от этих воспоминаний я даже расплакалась. И вдруг вошел он, мой муж. Лицо у него было бледное и усталое. Посмотрев на меня, растрепанную, зареванную, он спросил:

– Что случилось?

Я молчала, опустив голову.

Он сел рядом, погладил мне руку.

– Грустно?

Я кивнула. Тогда он притянул меня к себе. Потом внезапно встал и запер дверь на ключ.

– Я давно хотел поговорить с тобой, – начал он. – Но разговор этот нелегкий, потому я как-то все не решался. Каждый день думал: «Ну уж сегодня непременно...», и все откладывал, боялся не найти нужных слов, боялся тебя. Женщина, которая выходит замуж, боится мужчину, но она не знает, что мужчина тоже ее боится, даже представить себе не может, до чего он боится. Мне многое надо сказать тебе. Если мы постепенно узнаем и поймем друг друга, тогда, быть может, и полюбим, а грусть пройдет. Я, как только увидел тебя, сразу подумал: «Эта женщина мне нравится, я хочу полюбить ее, хочу, чтобы и она меня любила и помогла мне, хочу быть счастливым с ней». Тебе, наверно, странно, что я нуждаюсь в помощи, но это так. – Он рассеянно перебирал пальцами складки моей юбки. – Здесь в селении есть женщина, которую я сильно любил. Впрочем, ее и женщиной нельзя назвать, это почти ребенок, чумазый зверек. Она дочь местного крестьянина. Два года назад я вылечил ее от тяжелого плеврита. Тогда ей было пятнадцать. Семья бедная, детей полон дом, к тому же родители – жуткие скряги, ясное дело, они не желали тратить на лекарства. Я сам их покупал, а когда она выздоровела, подстерегал ее в лесу, куда она ходила за дровами, и давал немного денег на еду. Дома у них ничего не было, кроме хлеба, соли и картошки; она принимала это как должное: так питались ее братья, отец и мать и почти все соседи. Отдай я деньги матери, та бы поспешила зашить их в матрац. Но потом я заметил, что девочка боится заходить в лавку: ведь это могло дойти до матери, да ей и самой хотелось зашить деньги в матрац, как делала мать, хотя я сказал ей, что если она не станет хорошо питаться, то снова заболеет и умрет. Тогда я начал каждый день приносить ей еду. Сперва она стеснялась есть при мне, но потом привыкла и ела за двоих, а насытившись, ложилась на траву и грелась на солнышке. Так мы привыкли подолгу бывать вдвоем. Мне очень нравилось смотреть, как она ест, это были для меня самые счастливые минуты; когда оставался один, я только и думал о том, что она съела и что бы принести ей завтра. Дальше – больше: мы стали любовниками. Я при каждой возможности мчался в лес и поджидал ее там; кто знает, зачем она приходила: для того ли, чтобы утолить голод, или чтоб заняться любовью, а может, просто не хотела меня обижать. Господи, как я ждал ее!.. Ведь стоит пожалеть кого-то или в чем-то провиниться – и все, ты уже раб этого чувства, и нет тебя больше. Я просыпался по ночам от страха, что она забеременеет и я буду вынужден жениться на ней: одна только мысль навсегда связать с ней жизнь внушала мне ужас, но мне не хотелось увидеть ее замужем за другим, в чужом доме, – словом, эта любовь стала настоящей пыткой и отнимала у меня все силы. А когда я увидел тебя, то подумал, что, соединившись с тобой, быть может, освобожусь от этого чувства, забуду ее, потому что она, Мариучча, мне не пара, мне нужна такая женщина, как ты, взрослая и разумная. Пусть я поступил с тобой нечестно, но мне казалось, ты простишь, поможешь, мы научимся любить друг друга, а все остальное пройдет.

– Пройдет ли? – спросила я.

– Не знаю, – ответил он, – не знаю. С тех пор как мы поженились, я уже не думаю о ней

постоянно и даже при встрече здороваюсь совершенно спокойно. Она улыбается и краснеет, а я говорю себе: через несколько лет она будет замужем за каким-нибудь крестьянином, нарожает кучу ребятишек, подурнеет от тяжелой работы. И все-таки, когда я вижу ее, что-то в моей душе переворачивается. Так и тянет пойти за ней в лес, посмотреть, как она собирает валежник, вновь услышать ее смех, ее простонародный говор...

– Я хотела бы с ней познакомиться, – сказала я решительно, – покажи мне эту девушку. Может, завтра, когда пойдем гулять, мы ее встретим.

Я впервые чего-то от него потребовала и, как ни странно, ощутила удовлетворение.

– Ты на меня не в обиде? – спросил он.

Я покачала головой. Нет, это была не обида; я сама не могла разобраться в своих чувствах, мне было и грустно, и радостно одновременно. Мы сели ужинать поздно, все остыло, впрочем, есть и не хотелось. Потом мы с ним вышли в сад и долго гуляли по темной лужайке. Он держал мою руку и говорил:

– Я знал, что ты поймешь...

А ночью несколько раз просыпался и, прижимая меня к себе, повторял:

– Как ты все сумела понять!

В первый раз я увидела Мариуччу неподалеку от фонтана: она шла с кувшином воды. На ней было выцветшее голубое платье, черные чулки, а на ногах огромные мужские башмаки. Когда она меня заметила, на смуглых щеках появился румянец, и немного воды выплеснулось на ступеньки дома, потому что девушка загляделась на меня. Я так разволновалась, что даже попросила мужа остановиться, и мы присели на каменную скамью возле церкви. Но тут его кто-то окликнул, и я осталась одна. Меня охватило отчаяние при мысли, что я, вероятно, каждый день буду видеть Мариуччу и оттого уже никогда не смогу беззаботно гулять по этим улицам. Я надеялась, что это селение, каждый его уголок станет мне родным, будет дорог, а вот теперь все надежды рухнули. Теперь всякий раз, выходя из дома, я видела, как она полощет белье у фонтана, либо несет кувшин с водой, либо тащит на руках одного из своих чумазых братишек, а однажды толстая крестьянка, мать Мариуччи, пригласила меня зайти к ним на кухню; девушка стояла у входа, сложив руки на животе под фартуком, посматривала на меня с недобрый любопытством, а потом убежала.

Дома я говорила мужу:

– Сегодня опять видела Мариуччу.

Поначалу он молча отводил взгляд, но однажды сказал резко:

– Видела и видела, незачем мне об этом сообщать. К чему ворошить прошлое?

В конце концов я перестала выходить за ворота. Да и беременность мешала: уж очень я отяжелела. Почти все время проводила в саду за шитьем; вокруг меня царил глубокий покой, шелестела листва, отбрасывая тень, садовник копался в земле, а Феличетта начищала на кухне медную посуду. Временами я думала о ребенке, который вскоре появится на свет. Вот удивительно, ведь у его родителей нет ничего общего, они только подолгу молча сидят рядом, сказать им друг другу нечего. Муж, после того как рассказал мне о Мариучче, совсем отдалился, замкнулся в себе и, стоило мне заговорить, поднимал на меня пустой, неприязненный взгляд, будто я неосторожным словом нарушила его мрачные раздумья. Я твердила себе, что надо как-то наладить отношения до рождения ребенка, иначе что он о нас подумает? Вот смех-то: ну что такая кроха может подумать!



Сын родился в августе. По случаю крестин приехали сестра и тетушка; в доме была большая суета. Мальчик спал в колыбельке возле моей постели. Он был весь красный, со стиснутыми кулачками, из-под чепчика торчал черный хохолок. Муж без конца подходил поглядеть на него, радовался и со всеми только и говорил что о ребенке. Как-то после полудня мы в комнате остались одни. Я откинулась на подушку: от жары меня совсем разморило. А он все глядел на маленького и с улыбкой дотрагивался до его волос и бантиков на одеяльце.

– Я и не знала, что ты любишь детей, – вырвалось у меня.

Он вздрогнул и обернулся.

– Не детей, – ответил он, – а только этого, потому что он наш.

– Наш? – переспросила я. – Потому что он наш, твой и мой? Неужели я что-нибудь для тебя значу?

– Да, – произнес он задумчиво и присел на краешек постели. – Когда я возвращаюсь домой и думаю, что ты здесь, на душе становится тепло и покойно.

– И что же дальше? – тихо спросила я и пристально поглядела на него.

– А дальше, когда я прихожу и хочу рассказать тебе про свои дела, оказывается, что это невозможно – сам не знаю почему. Нет, пожалуй, знаю. В моих делах и мыслях есть то, что я должен от тебя скрывать, потому-то я ничего и не говорю.

– А что?

– То, что я снова встречаюсь с Мариуччей в лесу.

– Я знала, я давно это чувствую.

Он наклонился, стал целовать мне руки.

– Умоляю тебя, помоги мне. Сам я с этим не справлюсь.

– Ну что же я могу сделать?! – Я оттолкнула его и расплакалась.

Тогда он взял на руки Джорджо, поцеловал и, протянув его мне, сказал:

– Вот увидишь, теперь нам будет легче.

У меня вскоре пропало молоко, и пришлось взять кормилицу из соседнего селения. Жизнь понемногу вошла в свою колею; тетушка и сестра уехали; я стала вставать с постели и спускаться в сад, возвращаясь к обычным своим делам. Правда, в доме с появлением ребенка все переменялось: на террасе висели пеленки, в коридорах слышалось шуршанье кормилицыной бархатной юбки, и комнаты оглашались ее пением. Это была уже не очень молодая дородная женщина, которая любила с гордостью рассказывать о богатых домах, где она прежде служила. Каждый месяц она требовала новый вышитый фартук или брошку. Когда приезжал муж, я шла встречать его к воротам, и мы вместе поднимались в детскую полюбоваться на спящего Джорджо, за ужином я рассказывала о ссоре кормилицы с Феличеттой, о мальчике, о приближающейся зиме и дровах, а иногда я делилась с ним впечатлениями о только что прочитанном романе. Муж обнимал меня за талию, а я склоняла голову ему на плечо. Рождение ребенка и в самом деле изменило наши отношения. И все-таки иногда – не могу объяснить почему – я чувствовала в разговоре, в его предупредительности и ласках что-то неестественное. Мальчик рос, стал пухленьким, уже начал топотать ножками, и я с удовольствием на него смотрела, но иногда спрашивала себя, а люблю ли я его по-настоящему. Иной раз мне даже не хотелось к нему идти, как будто это

был сын Феличетты или кормилицы, только не мой.

Однажды я случайно узнала, что отец Мариуччи умер. Муж ничего мне об этом не сказал. Я надела пальто и вышла. Шел снег. Покойника похоронили утром. Мариучча с матерью сидели в темной кухне, окруженные соседками; обе обхватили головы руками, раскачивались из стороны в сторону и голосили, как принято в деревнях, когда в доме кто-нибудь умирает, а остальные дети, принаряженные, стояли у печки, пытались согреть посиневшие руки. Когда я вошла, Мариучча бросила на меня удивленный взгляд, в котором промелькнула злорадная усмешка. Но тут же опомнилась и снова запричитала.

С того дня она стала выходить на улицу в черной шали. И я по-прежнему испытывала неловкость при встрече. Возвращалась домой подавленная: передо мной стояли эти черные глаза, эти крупные белые зубы, выпиравшие над нижней губой. Но стоило подольше ее не видеть, и я забывала о ней.

Через год я родила еще одного ребенка. Снова мальчика. Мы назвали его Луиджи. Моя сестра вышла замуж и жила теперь в дальнем городе, тетушка одна ко мне не поехала, потому никто, кроме мужа, не помогал мне при родах. Кормилица, которая была при первом мальчике, взяла расчет, и мы наняли новую, высокую застенчивую молодую женщину, которая привязалась к нам и осталась даже после того, как Луиджи отняли от груди. Муж был очень доволен. Возвращаясь домой, он первым делом справлялся о сыновьях, сразу бежал в детскую и возился с малышами, пока их не укладывали спать. Он любил детей и, конечно, считал, что я тоже их люблю. И я любила, но не так я представляла себе прежде материнскую любовь. Когда я брала их на руки, это не вызывало в душе какого-то особого отклика. Они дергали меня за волосы, теребили бусы, пытались залезть в корзинку для рукоделья, и я сердилась, звала кормилицу. Часто мне бывало так грустно, что не хотелось даже подходить к детям. «Но отчего мне грустно? – спрашивала я себя. – В чем дело? Ведь у меня нет причин для грусти».

Как-то осенним солнечным днем мы с мужем сидели у него в кабинете на кожаном диване.

– Мы уже женаты три года, – сказала я ему.

– Да, – ответил он, – и видишь, вышло по-моему: мы привыкли друг к другу.

Я молча погладила его вялую руку. Потом он поцеловал меня и ушел. Час или два спустя я тоже решила выйти погулять. Прошла по улицам селения и оказалась на тропинке, вьющейся вдоль реки. Захотелось постоять немного у воды. Опершись на деревянные перила мостика, я смотрела на спокойную и темную реку, обрамленную по берегам травой и камнями; ровный монотонный шум потока действовал убаюкивающе. Я озябла и собралась уходить, как вдруг увидела мужа: он быстро поднимался по заросшему травой склону к лесу. Он тоже меня заметил. На секунду в нерешительности остановился, а потом снова стал карабкаться вверх, хватаясь за ветки кустарника, пока не скрылся за деревьями. Я вернулась домой и вошла в кабинет. Села на диван, где совсем недавно он сказал, что мы привыкли друг к другу. Теперь я понимала, что он имел в виду. Он привык лгать мне, и это его больше не мучило. Мое присутствие в доме не пошло ему на пользу. И сама я стала хуже рядом с ним. Моя душа погасла и высохла. Я не страдала, не ощущала боли. Я тоже лгала ему, притворяясь, будто люблю его, а на самом деле ничего к нему не испытывала.

Вдруг на лестнице раздались его тяжелые шаги. Он вошел в кабинет, не глядя на меня, снял пиджак и надел домашнюю бумазейную куртку. Я сказала:

– Я хочу, чтобы мы уехали отсюда.

– Если ты хочешь, я попрошу перевести меня в другое место, – ответил он.

– Ты должен этого хотеть, ты! – закричала я и тотчас поняла: неправда, что я не страдала, нет, я невыносимо страдала, и теперь всю меня била дрожь. – Ты как-то сказал, что я должна тебе помочь, потому ты на мне и женился. Зачем, зачем ты это сделал? – простонала я.

– Действительно зачем?.. Как же я ошибся! – Он опустил на стул и закрыл лицо руками.

– Прекрати к ней ходить. Ты не должен видаться с ней, – сказала я и наклонилась к нему.

– Оставь меня! – крикнул он, отшатнувшись от меня. – Мне скучно с тобой. Что ты можешь дать мне? Ведь ты в точности такая, как моя мать, и мать моей матери, и все женщины, которые когда-либо жили в этом доме. Тебя не били в детстве, не морили голодом. Не заставляли целый день работать в поле под палящими лучами солнца. Да, с тобой мне легко, спокойно, и не более того. Я не могу любить тебя, как бы ни старался. – Он внезапно утих, взял трубку, аккуратно набил ее табаком. – Да и что толку в этих глупых разговорах... Мариучча беременна.

Через несколько дней я с детьми и кормилицей уехала к морю. Мы давно задумали эту поездку, потому что дети все время хворали и обоим был нужен морской воздух. Муж должен был приехать позже и провести с нами целый месяц. Но теперь, хотя мы об этом ни словом не обмолвились, само собой разумелось, что он не приедет. Мы прожили у моря всю зиму. Я писала мужу раз в неделю и регулярно получала от него ответы. Письма были короткими и холодными.

В начале весны мы возвратились. Муж встречал нас на вокзале. Когда мы проезжали на машине по селению, я увидела Мариуччу; живот ее уродливо вздулся. Она шла легко, несмотря на тяжесть, и даже беременная осталась такой же девочкой. Правда, выражение лица несколько изменилось: в нем были покорность и стыд. Она покраснела, увидев меня, но уже без прежнего дерзкого вызова. И я представила ее с грязным младенцем, одетым в длинный балахон, как все крестьянские дети, этот ребенок будет сыном моего мужа, братом Луиджи и Джорджо. И подумала, что не вынесу вида этого ребенка в длинном балахоне, не смогу больше жить с мужем и не смогу остаться в этом селении. Я уеду отсюда.

Муж был крайне подавлен. Бывало, что за целый день он не произносил ни слова. Дети больше его не интересовали. Я видела, как он постарел, перестал следить за собой, даже забывал бриться: щеки заросли жесткой щетиной. Он возвращался теперь очень поздно и часто ложился спать без ужина. А иногда ночами просиживал у себя в кабинете.

По приезде я нашла дом в большом запустении. Феличетта сильно сдала, вечно все забывала, ругалась с садовником, обзывая его пьяницей. Иной раз между ними вспыхивали такие бурные перебранки, что мне приходилось вмешиваться и умирять их.

Я с головой погрузилась в домашние дела. Надо было привести в порядок дом, подготовиться к лету. Убрать в шкафы зимние вещи, одеяла, надеть на кресла белые полотняные чехлы, повесить шторы на террасе, засеять огород, подрезать розы в саду. Я вспоминала, с какой радостью и гордостью занималась всем этим в первое время после замужества. Тогда мне казалось, что каждый мой шаг, каждая мелочь имели огромное значение. Но вот не прошло и четырех лет, а как я переменялась, повзрослела. Теперь я зачесывала волосы назад без пробора и закручивала низкий пучок. В зеркале видела, что такая прическа не идет мне, старит. Но мне уже не хотелось быть красивой. Ничего не хотелось.

Как-то вечером я сидела в столовой вместе с кормилицей, которая показывала мне новую вязку. Дети спали, а муж уехал в дальнее селение к тяжелому больному. Внезапно раздался звонок, садовник босиком пошел открывать. Я тоже спустилась вниз: на пороге стоял мальчик лет четырнадцати, я узнала одного из братьев Мариуччи.

– Сестре плохо, меня послали за доктором, – объяснил он.

– Его нет дома.

Мальчик пожал плечами и ушел. Но вскоре прибежал снова.

– Вернулся доктор?

– Нет еще, – сказала я. – Я пошлю за ним.

Садовник уже улегся спать, но я подняла его и велела отправляться за доктором на велосипеде. А потом пошла к себе и стала было раздеваться, но поняла, что уснуть не смогу: я должна сама что-то сделать.

Я накинула шаль и вышла на темную, пустынную улицу селения. Соседи столпились возле дома Мариуччи и тихо переговаривались. В кухне ее братья спали, положив головы на стол. А в тесной комнатухе между кроватью и дверью, держась за стенку, ковыляла Мариучча и непрерывно стонала. Она посмотрела на меня, не узнавая, и продолжала ходить взад-вперед со стонами. Во взгляде ее матери я почувствовала злобу и неприязнь.

– А где же доктор, синьора? – спросила акушерка. – У девочки уже несколько часов продолжаются схватки. Она потеряла много крови. Роды очень тяжелые.

– Я послала за ним, – ответила я, присаживаясь на кровать. – Он вот-вот должен быть.

Мариучча упала без чувств, и мы отнесли ее на кровать. Я вызвалась сходить в аптеку за лекарствами. Когда я вернулась, она снова пришла в себя и надсадно кричала. Щеки ее горели, она металась, сбрасывала одеяло, хваталась за спинку кровати. Акушерка ходила туда-сюда с бутылками воды.

– Плохо дело, – громко сказала она мне.

– Но надо же чем-то помочь, – отозвалась я. – Раз муж задерживается, надо вызвать другого врача.

– Врачи только и умеют красивые слова говорить, а больше ничего, – сказала мать и опять с укоризной поглядела на меня, прижимая к груди четки.

– Все кричат, когда рожают, – заметила одна из соседок.

Мариучча с разметавшимися волосами билась, на постели. И вдруг она вцепилась в меня худыми смуглыми руками.

– Мадонна, мадонна! – взывала она.

Простыни были все в крови, кровь была даже на полу. Акушерка уже не отходила от нее.

– Держись! – то и дело повторяла она.

У Мариуччи под глазами были круги, лицо потемнело, а из груди вырывались хриплые всхлипы.

– Ей все хуже и хуже, – твердила акушерка.

Она приняла ребенка, приподняв его вверх, потрясла.

– Мертвый. – И бросила в угол кровати.

Я увидела сморщенное, желтое, как у китайца, личико. Женщины завернули его в какую-то шерстяную тряпицу и унесли.

Теперь Мариучча больше не кричала, а лежала очень бледная; кровотечение не прекращалось. У меня на кофте тоже расплылось кровавое пятно.

– Надо водой замыть, – сказала акушерка.

– Бог с ним, – ответила я.

– Спасибо вам за помощь, – сказала она. – А вы смелая женщина. Настоящая жена доктора.

Одна из соседок настаивала, чтоб я выпила кофе. Пришлось пойти за ней на кухню и выпить стакан еле теплой бурды. Когда я вернулась в спальню, Мариучча была мертва. Мне сказали, что она умерла, не приходя в сознание.

Ей расчесали косы, оправили постель. И тут в комнату вошел мой муж. Бледный, пальто нараспашку, в руке кожаный чемоданчик. Я сидела возле кровати, но он на меня и не взглянул. Застыл как вкопанный посреди комнаты. Мать бросилась к нему, выхватила из рук чемоданчик, швырнула на пол и крикнула:

– Ты даже не пришел поглядеть, как она умирала!

Я подняла чемоданчик, взяла мужа за руку.

– Пойдем отсюда.

Он послушно последовал за мной в кухню, прошел сквозь шепоток соседок на улицу. Вдруг я остановилась: решила, что надо во чтобы то ни стало показать ему маленького китайца. Но где он? Бог знает, куда они его дели.

По дороге я крепко прижималась к нему, но он не реагировал, рука бессильно свесилась вдоль тела. Я понимала, что он не замечает меня, что сейчас разговаривать бессмысленно и вообще надо быть с ним поосторожнее. У двери спальни он бросил меня и прошел в кабинет, как часто делал в последнее время.

Уже почти рассвело, на деревьях заливались птицы. Я легла. И вдруг почувствовала, что безмерно счастлива. Прежде мне и в голову не приходило, что смерть человека может доставить такое счастье. Никаких угрызений совести у меня не было. Я так исстрадалась за все это время, и теперешнее неожиданное ощущение счастья как бы разом преобразило меня. А еще я глупо гордилась собой, своим мужеством... Сейчас он, конечно, не мог этого понять, но потом, когда немного оправится, поймет и, возможно, тоже будет гордиться мною.

Вдруг в тишине дома раздался выстрел. Я с криком вскочила с постели, с криком сбежала по лестнице, бросилась в кабинет и стала трясти большое, застывшее в кресле тело с безжизненно поникшими руками. По щеке и по таким знакомым губам стекала струйка крови. Вскоре дом наполнился людьми. Меня тормозили, расспрашивали. Детей куда-то увели. Спустя два дня я похоронила мужа. Вернувшись с кладбища, принялась бесцельно бродить по комнатам. Дом стал мне дорог, но я считала, что не имею права жить здесь, поскольку делила это жилище с человеком, у которого не нашлось перед смертью ни единого слова для меня. Однако идти мне некуда. На всем свете нет места, куда бы я могла и хотела уйти.

Перевод Т. Блантер

Он и Я

Ему всегда жарко; мне всегда холодно. Летом, в жару, он то и дело стонет. И ужасно злится, если к вечеру я натягиваю джемпер.

Он свободно говорит на нескольких языках, я свободно – ни на одном. Даже на тех языках, которых не знает, он как-то умудряется объясняться.

Он нигде не заблудится, я заблужусь непременно. В чужом городе он уже на второй день порхает как мотылек. А я, случается, спрашиваю у прохожих, как пройти к собственному дому. Он терпеть не может обращаться к прохожим: когда мы ездим на машине по незнакомому городу, он требует, чтоб я держала на коленях карту. Для меня карта – что китайская грамота; я совершенно теряюсь в этих красных пунктирах и лабиринтах, а он злится.

Он обожает театр, живопись, музыку – музыку больше всего. Я в музыке – полный профан, к живописи равнодушна, в театре скучаю. Единственное на свете, что я понимаю и люблю, – это поэзия.

Он любит музеи, меня же они утомляют: я хожу туда без всякого удовольствия, по принуждению. Он любит библиотеки, я их ненавижу.

Ему нравится путешествовать, ездить за границу, его все время тянет в незнакомые места. А будь моя воля, я бы всю жизнь просидела дома и с места не сдвинулась.

Между тем я следую за ним повсюду. По музеям, по церквям, в оперу. Даже на симфонические концерты, где неизменно засыпаю.

У него полно друзей среди дирижеров и певцов, и после спектакля он любит зайти к ним за кулисы. Я тащусь за ним по длинным коридорам в уборные певцов и слушаю, как он беседует с людьми в костюмах кардиналов и королей.

Его очень трудно смутить, меня – очень легко. Впрочем, я все же видела, как он тушуетя перед полицейскими, подходящими к нашей машине с блокнотом и карандашом в руке. Вот он чувствует себя виноватым, даже если ни в чем не провинился. По-моему, он очень почитает представителей законной власти.

Я этих представителей боюсь, он – нет. Он их почитает. Это разные вещи. Если к нам приближается полицейский, собираясь оштрафовать, я сразу пугаюсь, что меня посадят в тюрьму. Он тюрьмы не боится, но из почтения смущается и лебезит.

Между прочим, из-за этого почтения к законной власти мы во времена дела Монтези[31] разругались в пух и прах.

Он любит домашнюю лапшу, бараньи отбивные, вишню, красное вино. А я люблю всякие супы, яичницу, зелень.

Тебе бы сидеть в монастырской трапезной, говорит он мне, да хлебать постный суп вместе с монахами, которым все равно, что есть, лишь бы брюхо набить; себя же он считает большим гурманом. В ресторанах он ведет долгие переговоры с метрдотелем о достоинствах вин, заказывает две-три бутылки, рассматривает их со всех сторон, с глубокомысленным видом поглаживая бороду.

В Англии в некоторых ресторанах есть такой ритуал: прежде чем вы закажете вино, официант наливает вам глоточек для дегустации. Это всегда приводило его в бешенство: он мешал официанту, вырывал у него из рук бутылку. А я пыталась его вразумить: мол, официант тут ни при чем и нечего мешать человеку выполнять свои обязанности.

Он и в кино никогда не позволяет билетерше проводить его на место. Сходу сует ей чаевые и кидается в сторону противоположную той, которую указывает билетерша своим фонариком.

В кино он норовит сесть поближе к экрану. Если мы идем в кино с друзьями и они, как большинство людей, стремятся сесть подальше, он уединяется в одном из первых рядов. Мне все равно, где сидеть, у меня зрение хорошее, но раз уж я пришла с друзьями, то остаюсь из приличия с ними – и все же страдаю, что оставила его одного: представляю, как он сидит себе там, чуть ли не носом уткнувшись в экран, и наверняка обижен до глубины души.

Мы оба любим кино и готовы в любое время мчаться на любой фильм. Но он досконально знает историю кино, помнит имена режиссеров и актеров, даже давно сошедших с экрана и забытых; он потащится бог знает в какую даль на какой-нибудь старый, еще немой фильм, если там хоть на несколько секунд появляется актер, который дорог ему по детским воспоминаниям. Помню, в один воскресный день где-то на окраине Лондона шел фильм тридцатых годов о Французской революции; он этот фильм видел в юности, и в эпизоде там снималась знаменитая тогда актриса. Мы поехали; шел дождь, стоял туман, несколько часов кряду мы колесили в поисках кинотеатра среди совершенно одинаковых серых зданий, сточных канав и фонарей; у меня на коленях была карта, но я ничего в ней не понимала, а он злился; в конце концов мы его все же нашли, этот кинотеатр, и очутились в совершенно пустом зале. Но уже через четверть часа, сразу после эпизода с его любимой актрисой, он собрался уходить, а мне после стольких мытарств хотелось все-таки досмотреть фильм до конца. Не помню, кто из нас одержал верх, скорее всего он, и мы ушли через четверть часа, хотя бы потому, что было уже поздно: выехали мы в полдень, а тут и время ужинать подошло. Я просила его рассказать, чем там все кончилось, но так ничего и не добились: он говорил, что сам сюжет никакого значения не имеет, главное – те короткие мгновенья, профиль, жест, локон той актрисы.

Я никогда не запоминаю фамилий актеров, к тому же у меня плохая память на лица и я с трудом узнаю даже самых популярных. Его страшно бесит: не дай бог мне спросить, кто это, про того или иного актера, он прямо из себя выходит.

– Ты что, не узнала Уильяма Холдена?!

Да, я действительно не узнала Уильяма Холдена. Но я тоже люблю кино и хожу туда регулярно уже много лет, хотя мало что в нем смыслю. А вот он про кино знает все от и до; впрочем, он, что бы его ни заинтересовало, непременно становится знатоком в этой области; мне же самые пылкие мои увлечения мало что дали для общей культуры, в лучшем случае новые ощущения да обрывочные воспоминания.

Он говорит, что я нелюбопытна, но это неправда. Кое-что и у меня вызывает любопытство, и я стремлюсь это любопытство удовлетворить, правда, потом во мне остаются лишь обрывки воспоминаний, порой фраза, слово, интонация... но мой внутренний мир, где толпятся все эти воспоминания, фразы и слова, никак не связанные между собой, разве что некими тайными, неведомыми мне самой нитями, этот внутренний мир скуден и уныл. А его внутренний мир – это буйство зелени, богатство, культура; это плодородная, орошенная долина, в которой есть все: леса, пастбища, сады и деревни.

Что бы я ни делала, я никогда не чувствую уверенности в себе; все мне кажется трудным, утомительным. Я ленива: пока доведу дело до конца, должна обязательно прилечь на диван, как следует отдохнуть. Он отдыхать не умеет, он всегда при деле: включит радио и с бешеной скоростью барабанит на машинке, после обеда ложится с корректурой или книгой, выйдя из кинотеатра, тащит меня в театр, оттуда – на прием. Ему – а вместе с ним и мне – удается переделать за день кучу разных дел, встретиться с самыми разными людьми, но, стоит мне самой попытаться жить в таком ритме, у меня ничего не выходит: там, где я намеревалась

пробыть полчаса, проведу полдня, или буду плутать по городу, или наткнусь на самого занудливого из своих знакомых, которого мне меньше всего хотелось встретить, и он потащит меня туда, куда мне меньше всего хотелось идти.

Когда вечером я рассказываю ему, что делала в его отсутствие, он говорит, что весь мой день пошел псу под хвост, насмехается, дразнит, злится и заявляет, что без него я вообще ни на что не гожусь.

Я не умею распоряжаться своим временем. Он умеет.

Он обожает светские приемы. И если все мужчины в темном, он обязательно явится в светлом: во всяком случае, и не подумает переодеться для званого вечера. С него станется прийти в старом плаще и бесформенной шляпе, которая все время съезжает ему на глаза; эту ратиновую шляпу он откопал где-то в Лондоне. Долго он на приемах не задерживается: за полчаса успевает наговориться, стоя с бокалом в руке, и съесть гору пирожных; я к пирожным не прикасаюсь, считая, что, раз уж он ест так много, то хотя бы мне следует из приличия воздержаться; через полчаса, как раз когда я начинаю понемножку осваиваться, ему все это надоедает и он силой уводит меня.

Я не умею танцевать, он умеет.

Не умею печатать на машинке, он умеет.

Не вожу автомобиль. Я не раз собиралась получить права, но он против. Говорит, у меня все равно ничего не получится. По-моему, ему нравится, что я во многом завишу от него.

Я совсем не умею петь, он умеет. У него баритон. Если бы он всерьез занялся вокалом, то, наверно, стал бы теперь знаменитым певцом.

А если бы учился музыке – то и дирижером. Слушая пластинки, он всегда дирижирует, размахивая карандашом. И одновременно печатает на машинке и разговаривает по телефону. Этот человек способен делать массу дел сразу.

Он читает лекции в университете, и, думаю, очень неплохо. Он мог бы выбирать из многих профессий. Но не жалеет о том, что сделал именно такой выбор. У меня выбора не было, я с детства знала, кем буду. Я тоже ни о чем не жалею, но ведь я и не способна ни на что другое.

Я пишу рассказы; много лет проработала в издательстве.

Работала я не плохо, но и не слишком хорошо. Так или иначе, я всегда понимала, что мое место именно здесь. С коллегами и с главным у меня сложились дружеские отношения. Я прекрасно понимала, что, не будь этого, я бы сразу сникла и просто не смогла бы работать.

Я долго лелеяла мечту написать когда-нибудь сценарий для кино. Но такой возможности ни разу не представилось, а самой проявить инициативу мне не под силу. Теперь я и мечтать об этом перестала. Он же писал сценарии, когда был помоложе. И в издательстве тоже работал. И рассказы сочинял. В общем, занимался тем же, чем я, а вдобавок еще и многим другим.

Он очень здорово пародирует людей, особенно одну старую графиню. Наверно, из него вышел бы хороший актер.

Однажды в Лондоне он пел со сцены. Давали «Иова»[32]. Ему пришлось взять напрокат фрак. В этом фраке он стоял перед каким-то пюпитром и пел. Скорее даже это было не пение, а речитатив. А я в ложе умирала от страха. Боялась, что он либо собьется, либо у него из-под фрака брюки свалятся.



Вокруг него стояли мужчины во фраках и женщины в вечерних платьях, изображавшие ангелов, чертей и других персонажей «Иова».

Его дебют прошел с большим успехом: говорили, что он отлично справился со своей ролью.

Если б я любила музыку, то любила бы всей душой. Но я музыки не понимаю и на концертах, куда он заставляет меня ходить, отвлекаюсь и думаю о своем. Или засыпаю глубоким сном.

Правда, петь я люблю. Не умею, и слуха у меня нет, но иногда, оставшись одна, что-нибудь мурлычу себе под нос. Мне не раз говорили, что у меня нет слуха и что я не пою, а мяукаю по-кошачьи. Но сама я этого не замечаю и от пения своего получаю истинное удовольствие. Когда он слышит, как я пою, он тут же начинает меня передразнивать и говорит, что мое пение – это новая разновидность вокального искусства.

Я с детства любила напевать мелодии собственного сочинения – тягучие и такие печальные, что слезы наворачивались.

В живописи и вообще в изобразительном искусстве я тоже не разбираюсь, но это мне совершенно безразлично, а вот то, что я не люблю музыку, меня действительно огорчает: у меня, кажется, вся душа изболелась оттого, что лишена этой любви. Но ничего не поделаешь: видно, я никогда не научусь понимать музыку и никогда ее не полюблю. Случается, какая-нибудь мелодия мне и понравится, но потом я все равно ее забываю, а как можно любить то, чего ты не в силах запомнить?

Слушая песни, я запоминаю только слова. И понравившиеся строчки могу повторять до бесконечности. Я пытаюсь воспроизвести и мотив, но на свой кошачий манер, и чувствую себя почти счастливой.

По-моему, в моих рассказах есть своеобразный ритм. Должно быть, музыка всегда была где-то рядом, но, непонятно почему, так во мне и не поселилась.

У нас дома музыка звучит весь день. Радио он вообще не выключает. Да еще крутит пластинки. Я пытаюсь протестовать, объясняя, что не могу работать в такой обстановке, на это он отвечает, что хорошая музыка любой работе только на пользу.

Пластинок он накопил видимо-невидимо. И утверждает, что у него одна из лучших в мире фонотек.

По утрам он выходит из ванной весь мокрый, в махровом халате, включает радио, садится за машинку и начинает свой шумный и бурный рабочий день. Он ни в чем не знает меры: ванну наполняет так, что вода льется через край, чайник и чашку – тоже. Рубашек и галстуков у него без счета, а ботинки, наоборот, он покупает крайне редко.

Свекровь рассказывает, будто в детстве он был на редкость аккуратным и организованным: как-то раз в деревне, в дождливый день, когда на улице была грязь непролазная, он вышел в белом костюмчике и белых сапожках и умудрился вернуться, совершенно их не запачкав. Теперь того чистюли нет и в помине. Костюмы его вечно в пятнах. Он стал страшным неряхой.

При этом он ревностно хранит старые квитанции за газ. Ими забиты все ящики письменного стола, я нахожу даже квитанции с прежних квартир, и он упорно отказывается их выбрасывать.

Еще мне частенько попадаются ссохшиеся тосканские сигары и мундштуки из вишневого дерева.

Я курю сигареты «Стоп» без фильтра. А он любит иногда выкурить тосканскую сигару.

Я тоже ужасная неряха. Хотя с годами беспорядок мне стал надоедать, и теперь у меня время от времени появляется желание разбраться в шкафах. Это у меня, наверно, от матери. И вот с огромным усердием я навожу в шкафах порядок, а на лето каждый ящик накрываю светлой тряпочкой. Правда, бумаги свои я разбираю очень редко: мама ведь писать не любила и бумаг у нее не было. Мой порядок и мой беспорядок полны сожалений, угрызений совести и всяких сложных чувств. А он своим беспорядком гордится. Считает, что для такого человека, как он, для ученого, рабочий стол в беспорядке – явление вполне закономерное.

Моя нерешительность, неуверенность, комплекс вины из-за него только усугубляются. Что бы я ни делала – все вызывает у него насмешку. Когда я иду на рынок, он, случается, тайком подсматривает за мною. А потом смеется, вспоминая, как я покупала апельсины, взвешивала каждый на ладони и в конце концов выбрала, по его словам, самые дрянные и как я торчала на рынке битый час, покупая у одного прилавка лук, у другого – сельдерей, у третьего – фрукты. Иногда он демонстрирует мне свою расторопность: в одну минуту, у одного прилавка, не раздумывая, покупает все необходимое да еще умудряется отправить продукты домой с посыльным. Покупает все, кроме сельдерея: сельдерей он терпеть не может.

Он постоянно мне твердит, что я все делаю не так. Но случись ему допустить какой промах, тут уж я отыгрываюсь. Я умею быть ужасно занудной.

Иногда он ни с того ни с сего взрывается, и ярость его, точно пивная пена, выплескивается через край. У меня тоже бывают приступы ярости. Но он мгновенно выпускает пар, я же еще долго и нудно ворчу, как обиженная кошка.

Когда он так беснуется, я подчас ударяюсь в слезы, что нисколько его не трогает, а только злит еще больше. Он говорит, что все это чистейшее притворство, и, должно быть, прав. Потому что, сколько бы он ни злился, а я ни плакала, это никак не нарушает моего внутреннего равновесия.

Над настоящими моими горестями я не плачу никогда.

Одно время в припадке ярости я швыряла на пол тарелки и чашки. Но теперь уж больше этого не делаю. Может, потому, что постарела и силы уже не те, а кроме того, я очень дорожу столовым сервизом, который мы когда-то приобрели в Лондоне на Портобелло-роуд.

Этот сервиз, как и многие другие купленные нами вещи, подвергся в его памяти сильной уценке. Ему приятно думать, что он купил вещь по дешевке, совершил выгодную сделку. За сервиз мы заплатили шестнадцать фунтов – я это хорошо помню, – а он утверждает, что двенадцать. То же самое и с картиной, изображающей короля Лира, – она висит у нас в столовой. Эту картину он тоже купил на Портобелло, потом отчистил ее луком и картошкой и говорит, что заплатил за нее гораздо меньше, чем помнится мне.

Как-то раз, уже давно, он купил в «Станде» двенадцать ковриков. Купил по дешевке, про запас, к тому же, видно, хотел доказать мне, какой он хозяйственный, в отличие от меня, ведь я вообще не способна купить что-либо в дом. Эти плетеные коврики цвета виноградных выжимок вскоре приобрели совершенно гнусный вид, задубели так, что прикоснуться страшно, и я с ненавистью смотрела, как они висят на проволоке на кухонном балконе. Припоминая его просчеты, я до сих пор тычу ему в нос этими ковриками, а он оправдывается, что купил их по дешевке, почти задаром. Мне потребовалось довольно много времени, прежде чем я решила их выбросить: уж слишком их было много, и потом, в последний момент меня всегда брало сомнение: нельзя ли их использовать как половые тряпки. И он, и я с трудом расстаемся с вещами. У меня это, видимо, еврейская бережливость и вечная моя нерешительность, а у него стремление хоть как-то обуздать собственную непрактичность и импульсивность.

Обычно он в больших количествах закупает соду и аспирин. Если он болеет, то, как правило, какими-то загадочными болезнями и никогда не может объяснить толком, что с ним; укладывается на день в постель, заворачивается в одеяло, так что видны только борода и красный кончик носа. Пьет лошадиными дозами соду и аспирин и говорит, что мне его не понять, ведь я никогда не болею вроде тех здоровяков монахов, которых ничем не проймешь, а он – человек тонкий, болезненный, подверженный загадочным недугам. Но к вечеру он уже здоров и идет на кухню делать домашнюю лапшу.

В молодости он был красив, строен, изящен, вместо бороды у него были длинные шелковистые усы, и это придавало ему сходство с киноактером Робертом Донатом. Таким он был двадцать лет назад, когда мы познакомились; он тогда носил клетчатые фланелевые рубашки – такие элегантные. Помню, как-то вечером он провожал меня до моего пансиона; мы шли по виа Национале. Рядом с ним я чувствовала себя ужасно старой, придавленной бременем опыта и ошибок, а он мне казался совсем мальчишкой, моложе меня на тысячу лет. О чем мы говорили в тот вечер на виа Национале – не помню, наверно, о пустяках; во всяком случае, я была очень далека от мысли, что когда-нибудь, через тысячу лет, мы станем мужем и женой. Потом мы потеряли друг друга из вида, а когда встретились опять, он был похож уже не на Роберта Доната, а скорей на Бальзака. Когда мы встретились опять, он продолжал носить все те же рубашки в клетку, но теперь они смотрелись на нем как экипировка для полярной экспедиции; он отрастил бороду, на голове красовалась бесформенная ратиновая шляпа; весь вид его говорил о том, что он отправляется на Северный полюс. Ведь, несмотря на то что ему всегда жарко, он нередко одевается так, как будто вокруг вечные льды, снега и белые медведи, а иногда, наоборот, как владелец кофейных плантаций в Бразилии – одним словом, всегда не так, как другие.

Порой я напоминаю ему о той нашей давней прогулке по виа Национале, он притворяется, что помнит, но я-то знаю, что это вранье – ничего он не помнит; я часто спрашиваю себя, неужели это были мы, там, на виа Национале, двадцать лет назад; неужели это мы так непринужденно и учтиво беседовали в лучах заходящего солнца обо всем и ни о чем; неужели это мы – приятные собеседники, молодые интеллектуалы, такие беззаботные, такие воспитанные, с такой беззаботной симпатией глядели друг на друга и вместе с тем были готовы здесь, вот на этом углу, в этот закатный час распрощаться навсегда.

Перевод И. Заславской

Парик

Женщина сидит на кровати. Снимает трубку телефона.

Алло! Синьорина, нельзя ли поскорее Милан? Восемьдесят – восемнадцать – девяносто шесть. А еще я заказывала яйцо всмятку. Да, чай принесли, а яйцо – нет. Кстати, это не чай, а бог знает что. Да, синьорина. Ладно, неважно. Мужу чая не надо, он выпьет кофе с молоком, попозже. Будьте любезны, дайте поскорее Милан. Что? Да, тот самый номер. О господи, теперь я уже его не найду... А, вот: восемьдесят – восемнадцать – девяносто шесть. По коду? Да нет, я же сказала, что не хочу по коду.

Подходит к зеркалу и начинает подкрашиваться.

Из соседней комнаты доносится свист.

Массимо! Я попросила дать поскорее Милан. Перестань свистеть. Кожа вся сухая, желтая, смотреть тошно. Еще бы, всю ночь глаз не сомкнула. Попробуй усни на таком матрасе,

сплошные бугры. Да еще замерзла. В этой гостинице не одеяла, а решето. Массимо, учти, у меня нос распух и кровоточит. Как приложу ватку, так на ней кровь. Не выношу вида своей крови. Когда чужая – ничего, а своя – страшно. Только посмей еще раз поднять на меня руку, я от тебя уйду, совсем. Щека тоже ноет, и нос. Господи! Да вылезешь ты когда-нибудь из этой проклятой ванной? Ты после нее еще грязнее становишься... вот странно! Я, даже если не моюсь, все равно чистая. А парик этот теперь только выбросить. Вид у него хуже половой тряпки. Как ты посмел швырнуть его в окно. Он весь в грязи. А жаль. Как-никак твой подарок! Единственный за шесть лет нашего супружества. Ты жмот. Экономил исключительно на мне. Для себя небось не жалеешь! Вон пиджак себе отхватил. Мы и так на мели, а ему, видите ли, пиджак понадобился. Да он тебе как корове седло. Такому-то коротышке – да малиновый бархат. Чертова гостиница! Яйца всмятку и то не допросишься.

Звонит телефон.

Это мать, наконец-то.

Алло, мама? Мама, привет! Целый час жду у телефона. Нет, по коду Массимо запретил. Такой жмот, на всем экономит, кроме своей одежды. Представляешь, при его-то росте купил малиновый бархатный пиджак, просто кошмар. Волосы отрастил, ты еще не видала его с длинными волосами. Пшеничные усы и такие же патлы по плечам болтаются. Да, не звонила, но я ведь писала тебе, что он отрастил волосы! Не писала? Странно.

Знаешь, откуда я звоню? Из Монтезауро. Это в горах. Снег идет. Наша гостиница называется «Коллodoro». Да что ты, какая там роскошь. Яйца всмятку и то не допросишься. Ночью такой был собачий холод, пришлось натягивать свитер поверх ночной рубашки. Что делаем? Сама не знаю. Девочки? Да нет, они в Риме остались, с прислугой. Они ее любят. Веселая, все время поет. Да-да, вполне порядочная. И толковая. Ничего не умеет, но толковая. Мне везет? В чем? Ах, с прислугой. Это да, а в остальном как утопленнику.

Вот именно. Хорошо еще, девочек с собой не притащили. Здесь снежные заносы. Вообще-то мы в Тоди ехали, но по дороге наш «дофин» забарахлил... мотор сначала так противно чихал, а потом заглох. Снег валит – хоть плачь... Мы нагрузились чемоданами, картинами – и пешком. Полчаса тащились, пока не нашли станцию техобслуживания. Туфли у меня насквозь промокли. Сапоги? Не взяла. Ну не взяла, потому что в Риме была отличная погода. Представляешь, я в замшевой курточке и в черной юбке макси. Какие там колготки. Механик со станции техобслуживания отбуксировал машину. Кажется, пробит аккумулятор. Эту гостиницу нам механик порекомендовал. Вчера мы съели какие-то резиновые котлеты и едва доползли до кровати. Ноги у меня были как ледышки. А Массимо, нервный и злой как черт, перетасил свою постель в ванную, говорит, ему лучше спать одному.

Мама, я по делу звоню. Нам нужны деньги. Мы, когда выезжали, денег взяли в обрез. Потому что в обрез, кто знал, что пробьет аккумулятор? Переведи, пожалуйста, телеграфом двести тысяч. Да, да. Ну что делать? Постараюсь потом вернуть. Восемьдесят – на аккумулятор, остальное – на расходы. Иначе нам не выкрутиться. Мы выезжали в субботу, банк был закрыт. Да и что там у нас в банке? Почти ничего. Мы думали, доберемся до Тоди в тот же вечер и как-нибудь устроимся, там у нас друзья. Переведи, пожалуйста, телеграфом. Нет, простым переводом не надо. Мы же не можем здесь сидеть до скончания века. Массимо злой как черт. Буквально рвет на себе волосы, благо они у него длинные. Вчера закатил мне оплеуху, кровь носом пошла. До сих пор ватой затыкаю. Ночная рубашка вся в крови. Нет, мама, ничего я не сочиняю. Чем я его так разозлила? Ничем. Только и сказала, что его картины – барахло. Все одинаковые. Лужайки с цветами, а над ними огромный глаз. Честно говоря, меня тошнит от этого глаза. Даже во сне его вижу. Вытарщенный, с длинными загнутыми ресницами. Огромный, желтый, как яичница-глазунья.

Мама, возьми бумагу и запиши адрес. Надень очки, а то потом не разберешься в своих

каракулях. Гостиница «Коллодоро». Не «Поллодоро», а «Коллодоро». Монтезауро. Провинция Тоди. Как это не провинция, провинция. Да здесь же снег, пойми. Ну да, я же говорю. Пока не получим твой перевод, мы с места не сможем тронуться. Да ничего у нас нет. Даже за гостиницу нечем расплатиться. Мы не в своем уме? Может, ты и права. В Тоди остановимся у приятельницы, у некой Розарии, она страховой агент. Обещала познакомить с каким-то старикашкой адвокатом, который покупает картины. Мы ему шесть штук везем. Все тот же глаз. Позвонить Розарии и попросить у нее в долг? Нет, нельзя, Массимо говорит, что это неэтично. Да она и сама еле сводит концы с концами. Массимо прихватил с собой книгу, а мне и почитать нечего. Нашла здесь какой-то старый номер «Аннабеллы». Приемник? Нет, не взяла. Сидит в ванне, читает «Психологию подсознания». Кажется, Фрейда. У него привычка читать в ванне. Часами там отмокает, а выходит еще грязней, чем был. Ну вот, наконец-то принесли яйцо. Погоди, не вешай трубку, пока я ем, поболтаем. Заказывала соломку, а принесли булку, черствую как камень. Что? Свежее ли яйцо? Как будто. Мама, у меня жизнь рушится, а ты спрашиваешь, свежее ли яйцо.

Мама, я думаю, нам с Массимо надо расстаться. Не знаю, я его видеть больше не могу. Он меня тоже. У нас сплошные скандалы. Нет, нет, мама, какое там временно, все значительно хуже. Вот как раз перед отъездом был чудовищный скандал... За обедом я сказала, что у меня нет ни малейшего желания ехать с ним в Тоди. А он мне по-английски: «Попробуй только не поехать, я тебя из дома вышвырну!» Почему по-английски? Потому что там девочки были. Ну, я ему тоже по-английски: это я тебя могу вышвырнуть, дом мой, куплен на папины деньги, записан на дочерей, и право пользования – за мной. Он в этот момент ел хурму да вдруг как швырнет ее на пол! Я нагнулась и стала собирать ложкой. Девочки? Ничуть не испугались, даже захихикали. А пока я на корточках подбирала хурму, он подскочил ко мне, сорвал с головы парик и швырнул в окно. Он шлепнулся на козырек подъезда, там как раз была лужа после дождя. Пришлось отправить прислугу к аптекарю, его квартира под нашей, и оттуда они вместе, прислуга и аптекарь, шваброй вытащили парик, мокрый и перепачканный. Я велела прислуге одевать девочек и вести их гулять, на Вилла Боргезе. Когда мы с Массимо остались вдвоем, меня такая злость взяла, а тут как раз попались его картины, они были прислонены к стене у входа, и я ну пинать их ногами. Он люто взвыл, а я заперлась в своей комнате и стала расчесывать парик. Потом он умолял меня открыть дверь, поехать с ним в Тоди, чуть не плакал. Со мной якобы он чувствует себя уверенней. Не понимаю, с чего он это взял, ведь я, наоборот, все время твержу, что картины его никуда не годятся, а этот глаз – просто шутовство. Ну, в общем, я согласилась, и напрасно, лучше бы осталась дома, а то не успели мы сесть в машину, как снова начались перебранки...

Знаю, мама, знаю. Он совсем не плохой и очень добрый. Руки только распускает, а так очень добрый, глаза б мои на него не глядели. Да, пользуется успехом. Ну конечно. Да, у него прекрасная репутация. Безусловно. И здоровье отменное. И у меня, между прочим, со здоровьем тоже все в порядке. Да-да, у нас дети. Мама, ну при чем тут здоровье? Да-да, я знаю, у нас прелестные девочки. Ради детей все можно вынести, а его я не выношу. Разумеется, он отец моих детей, но я все равно его не могу больше выносить.

Послушай, мама, я тебе признаюсь, у меня есть другой. Что? Да нет, Массимо в курсе. Я ему это при каждом удобном случае говорю. Ну довольно, прекрати читать мне мораль, не то я вообще ничего рассказывать не буду. Да, у меня есть другой, Франческо. Да нет, не любовник, любовник – это не то слово. Он до меня почти не дотрагивался. Почти. У него времени нет. Страшно занят. Редактор еженедельника. Политический деятель. Да, известный. Богат? Куда там! Вечно без денег. Ведь он кормит всю эту ораву детей. Каких? Его детей. У него шестеро детей. Нет, красивым его не назовешь, а молодым и недавно. Сорок девять лет. Да, мама, и совсем не красив, потому что у него плешь и громадный носище. Да, громадный. Что я в нем нашла? Сама не знаю.

Да не разрушаю я семью. Жена? Жене наплевать. Живут, можно сказать, врозь. Он наверху. У него огромная квартира. На виа дель Джезу. А этажом ниже – жена с детьми. Но дети вечно

крутятся у него под ногами. Не квартира, а проходной двор! Звонки, пишущие машинки, телефонные разговоры, дети. Того и гляди наступишь на какого-нибудь ребенка. Жена тоже заходит с продуктами: они питаются врозь. Жена-то? Да, со мной очень любезна. Красивая, но толстовата. Все потому, что они оба обжоры. Он, как бы ни был занят, никогда не забудет забежать на кухню помешать соус. Истовые католики. Левые, правда. Пора бы уж мне кончать с этими католиками.

Самое неприятное, что я, кажется, беременна. Нет, не от Массимо. От Франческо. Правильно, почти не дотрагивался, но в тот единственный раз, когда он едва до меня дотронулся, я и влипла. Это было в воскресенье. Мы заперли дверь на цепочку. Нет, не у нас, у него. На виа дель Джезу. Дети трезвонили в дверь, а мы не открывали, кошмар! Я говорю тихо, потому что об этом Массимо не знает. Я ему не сказала, что беременна. И Франческо не сказала. Вот вернусь в Рим – скажу. Аборт? Еще чего! Я оставлю ребенка. Да, мама, у него будет громадный нос. Мне совершенно безразлично, какой у него будет нос! Я хочу жить с Франческо. Нет, я в своем уме. Я его обожаю. Беда в том, что он этого не хочет. У него нет для меня ни места, ни времени. Нет, квартира огромная, нам с девочками хватит, там уйма комнат. Мне не в квартире, мне в жизни его нет места. Не знаю, что и делать. Я просто в отчаянии. Пройдет? Это тебе кажется, что пройдет, а я хочу к нему, и точка. Я так решила. Правда, он не хочет. Но я его уговорю. Да, он тоже влюблен, но как-то растерялся, окончательно еще не решил. А потом, он говорит, что вместе мы можем открывать детский сад. Ты поговоришь? С кем? С Массимо? Бесполезно, выкинь это из головы. Сиди дома. Лучше денег пришли. Только телеграфом. Пока, мама! Я кладу трубку. Боишься? Не бойся! Вот увидишь, все образуется! Не знаю как. Нет, я не сумасшедшая. Давай закругляться, а то наговорим бог знает на сколько. Не забудь перевести деньги! Гостиница «Коллодоро». «Коллодоро». Да, спасибо, мама.

Кладет трубку, возвращается к зеркалу и продолжает краситься.

Массимо! К твоему сведению, мама завтра вышлет деньги! Бедная мама, она так ошарашена. Я бы даже сказала, потрясена. Ошарашена и потрясена. Я ей все сказала. Даже то, что ты до сих пор не знаешь. Я беременна. Мы всего несколько раз переспали с Франческо, и я забеременела. Ты слышишь? Ну да, наверно, слышишь, раз даже насвистывать перестал. Снег все идет. Чем бы заняться, ума не приложу. Так и сиди в этой вонючей норе. Хоть бы журнал с кроссвордами попался.

Массимо! Да здесь течет, целая лужа. Твои картины уже подмочило! Я их оботру аккуратненько ватой... Видишь, как я о них забочусь, хоть они и барахло. А ты мои вещи портишь, из окна швыряешь. Вон во что парик превратился. А ведь ты сам мне его подарил. Помнишь, когда у тебя купили одну из первых картин. Обыкновенный пейзаж. Правда, совсем малюсенький глаз уже примостился на цветке, как майский жук. С тех пор прошло четыре года. Какие мы были тогда счастливые. Я порой грущу по тем дням, когда любила тебя. Ты еще был без усов и без этой всклокоченной гривы. Стригся под бобрик. И голова была колючая, как у ежика. Знаешь, напрасно мы сюда приехали. Мне не верится, что адвокат купит у тебя хоть одну картину. У этой Розарии вечно бредовые фантазии. Как холодно. Выходи немедленно из ванной, иначе я тебя пристрелю. Я жду ребенка от Франческо, понятно? И не собираюсь делать аборт. Уйду к нему. И девочек с собой заберу. Тебе на них все равно наплевать. Ты можешь жить на виа Черки, дом я оставляю тебе. Не насовсем, конечно, он принадлежит девочкам. Сдам тебе за семьдесят тысяч в месяц. Нет, за восемьдесят. А я буду жить на виа дель Джезу. Господи, опять кровь из носа. Выходи из ванной, помоги мне и захвати полотенце, а то весь свитер закапало, а ведь он у меня один.

Стучит в дверь ванной. Толкает ее, она распахивается.

Нет его. Господи, его нет! Куда же он делся? И одежды нет. Наверно, спустился вниз через террасу. Неужели уехал? Оставил меня одну в этой дурацкой гостинице?

Снимает трубку.

Алло! Синьорина, вы не видели моего мужа? Внизу в ресторане? Что он там делает? Пьет кофе с молоком? Попросите его немедленно подняться. Скажите, что мне плохо. Пусть все бросает и бежит сюда! Скажите, что с ума схожу, и мне плохо, и холодно, и все осточертело, и больше я не могу, и, если он сию же минуту не придет, я возьму ножницы и искромсаю все его дурацкие картины!

Перевод Е. Молочковской

1

Драма Г. Д'Аннунцио, написанная в 1904 г. –

Здесь и далее примечания переводчиков.

2

Детский выпуск миланской газеты «Коррьере делла сера».

3

Короткая фраза

(франц.)

4

Два чая! Два чая с булочками и джемом! С горячей водой!

(франц.)

5

Белое вино

(франц.)

6

Смугла, но стройна

(лат.)

7

Редкие пловцы

(лат.). « Apparent rari nantes in gurgite vasto» – «Изредка только пловцы появляются в бездне огромной». Вергилий. Энеида, I. 118.

8

Сердце... голова!

(исп.)

9

Она плачет, ей надо дать грудь!

(франц.)

10

Крепкий кофе с небольшим количеством молока.

11

Широко рекламируемая марка итальянского пива.

12



Островок так называемого Тосканского архипелага в Лигурийском море близ побережья Италии

13

Воскресный рынок на одной из римских окраин, где торгуют подержанными вещами.

14

«Нет у нас ни самолетов – нет ни танков и ни пушек – ой, Кармела!»

(исп.)

15

Один из новых кварталов Рима, на окраине.

16

Универмаг стандартных цен.

17

Лавочка, преимущественно антикварная

(франц.).

18

Продавщица

(франц.).

19

Духовой музыкальный инструмент XVII–XVIII веков типа трубы.

20

Магазин стандартных цен.

21

Игристое красное вино.

21a

Сборник стихотворений французского поэта Ш. Бодлера.

22

Квартира на последнем этаже с выходом на крышу, где устроена терраса с цветником.

23

Мафай, Марио (1902–1965) – итальянский художник-экспрессионист.

24

Сарту – неаполитанское кушанье: рисовый пудинг в соусе, запеченный с мясными фрикадельками, крутыми яйцами, грибами и сыром «моццарелла»; vol-au-vent

(франц.) – круглый слоеный пирог с любой начинкой; цуккотто – круглый охлажденный торт с шоколадом и взбитыми сливками.

25

«Гусенок»

(итал.) – серия комиксов с диснеевским гусенком.

26

Итальянское макаронное блюдо с начинкой из мясного рагу.

27

Припев песенки: нам фашисты не страшны

(исп.).

28

Перефразированная цитата из «Божественной комедии» Данте.

29

Перевод с французского И. Кузнецовой.

30

Муж, оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу

(лат.). Первое послание к Коринфянам св. апостола Павла, 7, 3.

31

Нашумевший процесс конца 50-х годов по делу о нераскрытом убийстве римлянки В. Монтези.

Одноактное произведение итальянского композитора Л. Даллапиккола для чтеца, солистов, хора и оркестра.